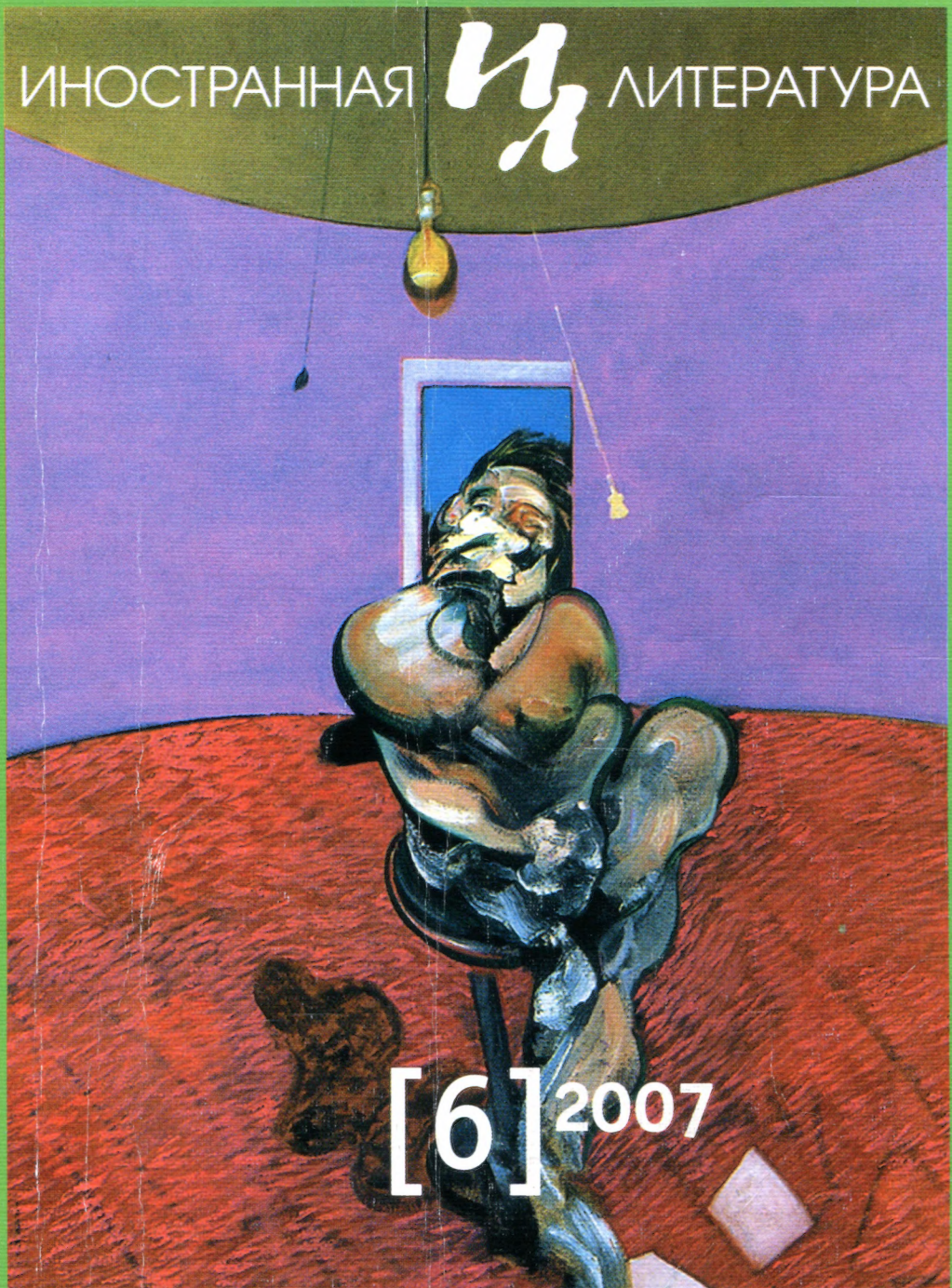
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[6] 2007

ИРЛАНДИЯ: ПРЕДАННОСТЬ НЕУТРАЧЕННОЙ ТРАДИЦИИ – РОМАН ПАТРИКА МАККЕЙБА "ПОМОЩНИК МЯСНИКА" / СТИХИ У. Б. ЙЕЙТСА, ШЕЙМАСА ХИНИ И ДР. / РАССКАЗЫ ДЖОНА МАКГАХЕРНА, РОДДИ ДОЙЛА, ДЕРМОТА БОЛДЖЕРА И ДР. / ПЬЕСА АЛАНА ТИТЛИ "ГОДО ПРИХОДИТ" / ДЖОН БЭНВИЛЛ, УИЛЬЯМ ТРЕВОР И ДР. В РУБРИКЕ "ИНТЕРВЬЮ"

Основан в 1891 году

Двенадцать лет назад наш журнал уже посвящал свой специальный выпуск ирландской литературе. За эти годы существенно изменились и "Иностранная литература", и "Остров святых и ученых", как принято издавна называть Ирландию. В журнале появились новые рубрики, новые авторы и переводчики. Ирландия из страны по европейским понятиям отсталой превратилась в страну благополучную, даже процветающую, ученые в ней, надо полагать, еще есть, святых же сменили коммерсанты, программисты и брокеры, даже извечное противостояние между католиками и протестантами сходит — чтобы не сказать, сошло — на нет. А вот ирландская литература, ее "фирменный стиль" практически не изменились.

У сегодняшних писателей, поэтов и драматургов "изумрудного острова" то же мрачное, трагикомическое ви́дение мира, та же извечная, исконно ирландская любовь к игре словами и смыслами, которые еще в начале прошлого века привили этой большой литературе малой страны ее, если воспользоваться выражением Б. Эйхенбаума, "литературные полководцы": Джеймс Джойс, Оскар Уайльд, Бернард Шоу, У. Б. Йейтс, Сэмюэл Беккет, Флэнн О'Брайен. Джойс и Йейтс присутствовали на страницах номера "Иностранной литературы" двенадцатилетней давности, задавали в нем тон: то была первая попытка познакомить читателя со всем многообразием жанров и тем многовековой ирландской словесности, и упор, хотя номер и назывался "Не только Джойс", делался в основном все же на авторов именитых.

В июньском же номере за 2007 год, который читатель держит в руках, звучат по преимуществу современные голоса ирландской словесности, впрочем, не забыты также и писатели старшего поколения, ставшие классиками еще при жизни, давно и прочно вошедшие в канон не только ирландской, но и мировой литературы: североирландец Луис Макнис, Уильям Тревор, Джон Бэнвилл, лауреат Нобелевской премии Шеймас Хини, Джон Макгахерн.

Что же бросается в глаза в ирландской литературе XXI века? Прежде всего жанровое и тематическое постоянство, "неутраченная традиция", как выразился в одном из недавних интервью крупнейший современный ирландский драматург Брайен Фрил, которого, к слову, ставят и в России.

"Неутраченный" жанр по-прежнему, как и во времена джойсовских "Дублинцев", — новелла. "Неутраченные" темы, как и во времена Синга, О'Флаэрти, О'Кейси, О'Фаолейна, — "свинцовые мерзости" провинциальной жизни, религиозное и нравственное становление личности и, разумеется, предрассудки — национальные, религиозные, моральные, бытовые. Никакому благосостоянию излечиться от них не дано...

А. Ливергант, составитель номера

Редакция "ИЛ" благодарит за финансовую поддержку
Посольство Ирландской республики в РФ,
Институт Ireland Literary Exchange, Dublin, Ireland

www.irelandliterature.com
info@irelandliterature.com

[5]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Ирландия: преданность неутраченной традиции

3 Патрик Маккейб *Помощник мясника.* Роман. Перевод О. Дементиевской

Антология современной ирландской поэзии

106 Шеймас Хини *Стихи из книги "Пересадка на кольцевую".* Перевод и вступление Г. Кружкова

116 Дерек Махун *Стихи.* Переводы Г. Стариковского, А. Нестерова

121 Пол Малдун *Стихи* Перевод Г. Стариковского

124 Деннис О'Дрисколл *Obiter Poetica: из записной книжки.* Перевод Марии Фаликман

Драматургия

126 Алан Титли *Годо приходит.* Трагикомедия в двух действиях. Перевод с ирландского Т. Михайловой

Антология современной ирландской новеллы

168 Юджин Маккейб *Небо – рядом.* Перевод Анны Веденичевой

195 Том Макинтайр *Иная тишина.* Перевод Евгении Тиновицкой

198 Джон Макгахерн *Парашютики.* Перевод Л. Беспаловой

209 Родди Дойл *Анекдот.* Перевод Ирины Пашаниной

215 Колум Макканн *Как называется твоя страна за горой?* Перевод Ирины Пашаниной

217 Дермот Болджер *Улицы Марты.* Перевод Марии Фаликман

222 Клэр Киган *Рябиновая ночь.* Перевод Анны Гениной

Из классики XX века

241 Уильям Батлер Йейтс *Стихи.* Перевод и вступление Г. Кружкова

250 Луис Макнис *Стихи.* Переводы Г. Стариковского, А. Нестерова

255 Томас Кинселла *Стихи из книги "Дублинские очерки".* Перевод Дмитрия Веденяпина

Документальная проза

260 Джон Макгахерн *О прошлом.* Фрагменты книги. Перевод Юлии Муравьевой

Статьи, эссе

275 Памела Трэверс *Главное – соединять.* Перевод Е. Скрылевой

283 Шеймас Хини *Три эссе.* Переводы Г. Кружкова, Г. Стариковского

305 Алан Титли *Уроки русского.* Перевод О. Каркищенко

Интервью

309 *Вчитываясь в будущее.* Беседы с Джоном Бэнвиллом, Джоном Макгахерном, Шеймасом Хини, Уильямом Тревором. Перевод Е. Скрылевой

Ничего смешного

338 Кирен Карсон *Выгодная сделка.* Рассказ. Перевод Марии Фаликман

Среди книг

341 Екатерина Тарасова *Русский Джойс – исторические факты и личные переживания*

Ирландская литература на страницах "ИЛ" [1995—2006] 345

Авторы номера 347

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
и. о. заведующего отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

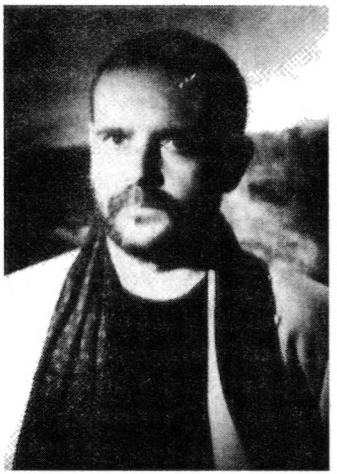
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Патрик Маккейб



Помощник мясника

Роман

Перевод О. Дементиевской

Посвящается Маккейбам, Брайану, Юджину, Мэри и Димпне

Лет этак двадцать-тридцать, а то и все сорок назад был я молод и жил в городишке, жители которого все как один ополчились на меня – за то, что я изобидел миссис Ньюджент. Скрывался я у реки – в норе под терновыми кустами. Это укрытие мы соорудили на пару с Джо. И сказали: смерть всем собакам, пусть только сунутся. Ну, кроме нас, понятное дело.

Из укрытия все здорово просматривалось, а вот нас видно не было. В темноте под сводом моста медленно плыли сорняки, бревна, всякий мусор. Уплывали к какому-нибудь Тимбукту[1]. Ну что ж, удачи вам, сорняки, сказал я.

Потом высунул нос – поглазеть, что снаружи. Кап-кап-кап – дождь, вот ведь, а!

Но это я не к тому, чтобы жаловаться, нет. Дождь я любил. Бульканье воды, мягкая-премягкая земля, яркая зелень – так и прет, прям из-под ног. Вот она, жизнь, сказал я. Сидел в норе и глядел на дождевую каплю, повисшую на листе. Капля все никак не могла решить: то ли упасть, то ли остаться. Ну да мне-то что, мне не к спеху. Ты, капля, не торопись, сказал я, времени у нас навалом.

Времени у нас – полным-полно.

© Patrick McCabe
© О. Дементиевская. Перевод, 2007
Роман печатается в журнальном варианте.
1. Древний город в Мали, недалеко от Нигера. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вдалеке послышался гул самолета. Как-то раз мы стояли в проулке между домами, смотрели в небо, заслонив глаза от солнца, и вдруг Джо говорит: слышь, Фрэнси, видал тот самолет? Я: ну да. Маленькая такая серебристая птичка. Мне вот что интересно, сказал Джо, как это им удается так уменьшить человека, чтоб он внутри поместился? Я: откуда мне знать. Не больно-то я понимал в них, в самолетах этих.

Я думал о миссис Ньюджент, небось стоит там и рыдает, все глаза выплакала. Я и сказал: какой толк теперь рыдать, а, мадам? Из-за вас все неприятности и приключились. Вот не лезли бы куда не след, был бы полный порядок. Что правда, то правда. С чего бы мне обижать ее сынка Филиппа? Против Филиппа я ничего не имел. В самый первый день, когда он пришел в нашу школу, Джо и говорит: видал новенького? Филиппом Ньюджентом звать. Ну-ка, ну-ка, говорю я Джо, надо посмотреть. Прежде новичок учился в частной школе и явился в пиджаке с золотистым кантом и гербом на нагрудном кармане. На голове темно-синяя фуражка с бляхой, на ногах – серые гольфы. И как тебе все это? спрашивает Джо. Фу-ты, ну-ты, говорю, Филипп Ньюджент. Знакомьтесь – Филипп Ньюджент, сказал учитель. Филипп будет у нас учиться. Он жил в Лондоне, но его родители родом из нашего городка, и вот они вернулись. Я хочу, чтобы Филипп чувствовал себя у нас как дома, понимаете? Новичок сильно смахивал на Уинкера Уотсона из комиксов "Дэнди" – только тот нет-нет да и затеет какое-нибудь озорство, а Филипп никогда. Вечно разглядывал под камнями букашек или втолковывал очередному сопляку про точку кипения воды. Мы с Джо частенько расспрашивали Филиппа о прежней школе. Как там? Расскажи про тайные собрания с паролями, про школьный буфет, а? Слышь, Филипп? Но, сдается мне, он не врубался, о чем мы. Если с этим типом и стоило водиться, так только заради комиксов. Нет, ты прикинь, твердил Джо, мне такое и не снилось. Филипп аккуратно складывал комиксы в коробки из-под рубашек – ни тебе помятых страниц, ни загнутых уголков, как будто только-только из магазина. А уж какие комиксы у него были! Мы, считавшие себя спецами по этой части, таких сроду не видывали. Миссис Ньюджент нам: вы, ребята, поаккуратнее, они теперь немалых денег стоят. Мы, конечно, в ответ: *само собой!* а потом Джо и говорит: слышь, Фрэнси, мы должны заполучить эти комиксы. Так что зачинщиком был Джо, а вовсе не я. Мы с ним это дельце долго обговаривали и наконец решились.

Комиксы будут нашими, и точка.

Наведались к Филиппу и завладели его богатством.

Как липку ободрали. Признаю. Но ведь только для смеха. Попроси он, сразу б вернули. Вот сказал бы: послушайте, парни, я не прочь получить свои комиксы обратно, и мы бы ответили: нет проблем, Фил.

Но его мамаша, конечно, не могла маленько потерпеть. В общем, оставили мы Филиппа возле груды мусора, а сами отправились в укрытие, где хохотали над комиксами до слез. Да погоди ты, вот послушай, говорил Джо. Одна блоха другой: ну как, пешком пойдем или прокатимся на собаке? Джо читал, а я помирал со смеху, аж задыхался. До того дошло, что замолотил кулаком по земле, умоляя: всё, Джо, всё, не могу больше! А на следующий день мамаша Филиппа обо всем дозналась, и нам стало не до смеха.

Шел я себе по площади, вдруг навстречу Джо: берегись, Фрэнси, мамаша Филиппа объявила нам войну. К моим уже успела, вот-вот к твоим заявится. И в самом деле, лежу я наверху у себя в комнате, слышу — стук во входную дверь. Мама идет, напевая, тапочки по линолеуму шаркают. А, миссис Ньюджент! Входите-входите! Но Ньюджентиха была не в том настрое. Как набросится на маму, как начнет выговаривать ей про комиксы и все такое, я только и слышу в ответ: *да-да... понимаю... конечно!* и все жду, что сейчас мама ворвется, схватит меня за ухо, спустит со ступенек и швырнет под ноги этой тетке. Так бы и было, не услышь она про свиней. Ньюджентиха вдруг и говорит, мол, навидалась я таких еще до отъезда в Англию, не следовало, мол, подпускать сына к этим паршивцам, да и вообще что можно ждать от семейки, чей папаша вечно где-то шляется да в пабах рассиживает, одно слово — свинья. И не думайте, будто мы не в курсе, что творится в вашем доме, очень даже в курсе! Неудивительно, что мальчишка таким вырос, бегает допоздна по улице, одежонка на нем болтается, и ведь не такие уж большие деньги — ребенка одеть, да пребудет с ним Господь! ребенок-то не виноват, только если он еще хоть разок подойдет к моему Филиппу — быть беде. Быть беде, попомните мое слово!

Вот после этого-то мама взяла мою сторону, и потому последнее, что я услышал, было: *вот ведь свиньи! Все в округе это знают!*

Мама стащила меня по лестнице и всыпала по первое число, да только ей же от этого хуже стало, не мне — руки у нее дрожали, как листья на ветру. Отшвырнула палку, оперлась о кухонный стол и все твердит: прости меня, сынок, прости... Дескать, нет у нее в целом свете никого ближе меня. Обняла и говорит: это, мол, нервы, все из-за них. Знаешь, у нас с твоим отцом не всегда так было. Потом глянула мне прямо в глаза: Фрэнси, ты ведь никогда не сделаешь мне больно, правда?

Она имела в виду, что я никогда не причиню ей боль, как это сделал отец, и я сказал, что конечно нет, ни за что, сколько бы раз она ни охаживала меня палкой. Мама снова извиняться, мол, такое больше не повторится, никогда-никогда, покуда она жива.

Еще мама сказала: в мире полно людей, готовых сделать другим больно. И прибавила, что все началось с миссис Ньюджент, раньше таких, как она, в городке не было. Мама жаловалась, что каждый божий день, выходя по делам, с ней сталкивается. Потом заплакала и все повторяла, какое это ужасное место. Вытащила из кармана фартука малюсенькую бумажную салфетку и начала промокать глаза. Да, без толку — салфетка на клочки расползалась.

В окно падал косой луч солнца, в переулке кричала ребятня. Дети играли в магазин, расплачиваясь за товары голышами. У них были пустые коробки из-под стирального порошка и банки из-под фасоли. Нет, сейчас моя очередь! крикнул кто-то. Ворчун Армстронг расчесал себе ухо и с воем носился среди детворы.

А я все думал, как же права оказалась мама — ведь миссис Ньюджент прямо-таки рассыпалась в любезностях при встрече с нами: как поживаете, миссис Брейди? как ваш Фрэнси? В голове не укладывалось, что на самом-то деле она каждый раз думала: *а-а, здрасьте-здрасьте, мадам Свинья! Глянь-ка, Филипп, кто идет – Свинячья Семейка!*

Ну да нам с мамой плевать на это, мы только дружней стали, я, как собирался куда, обязательно спрашивал, не нужно ли чего. Иной раз мама и просила что-нибудь, но я всегда спрашивал. Как-то накрыла она к ужину и говорит: Фрэнси, как появится у тебя подружка, ты говори ей одну правду, не делай ей больно, хорошо?

Я: конечно, ма. А она в ответ: да я, сынок, и так знаю. А потом мы с ней сидели и сидели долго так и все смотрели на решетку камина. Только вот огня в камине не было, мама как-то не утруждала себя, а я говорил: нам и так хорошо, поглядим и на золу.

В тот день команда нашего городка выиграла матч, и кто-то с железной дороги привел отца домой. Я был на втором этаже и слышал только бессвязное бормотание да звяканье монет, падавших на пол. Вдруг будто разбилось что, вроде как стекло, и посыпались проклятья, отец поносил городок со всеми его жителями, кричал, что, не свяжись он с Эдди Кэлвертом, все было бы иначе. Потом как рявкнет маме: я с тобой разговариваю!

Не надо было ей отвечать, потому что он сразу же завел шарманку о своем отце, мол, тот бросил семью, когда ему было только семь, мол, никто его не понимал, да и она, жена, давно потеряла интерес к его музыке, плевать ей на то, что он не виноват, она всегда была придурочной, как и вся семейка Мэджей, мол, в доме все вверх дном с самого начала их совместной жизни, она палец о палец не ударила, ни разу ужин не приготовила, вот он и сидит в пабах...

Снова хрустнуло — может, посуда, а может, еще что, потом мама заплакала: нечего на меня сваливать, на себя посмотри, да если в тебе что и было, ты ж все пропил!

Так оно и тянулось, а я все стоял и слушал, хотя и знал, что надо бы спуститься, ну да теперь уже все равно, ведь я не спустился. Не спустился, и все дела. Хотя и говорил самому себе: все, хватит слушать их дрязги, пора с этим кончать.

И тут до меня донеслось: будь проклят тот день, когда я впервые тебя увидел!

На следующий день занятия в школе закончились раньше, потому как наш городок выиграл матч; когда мама увидела меня в окно, она вдруг оживилась, давай шутить и все такое. Протянула мне кошелек и говорит: Фрэнси, вот тебе шесть пенсов, сходи-ка к Мэри в кондитерскую, накупи конфет с четверть кило. Ма, не хочу я конфет, лучше куплю два шоколадных батончика и миндальное печенье, можно? Конечно можно, ответила мама. Ну иди же, иди. А у самой лицо красное, в пятнах, будто сидела у огня, вот только никакого огня не было. Жаль, но кондитерская Мэри оказалась заперта, так что пришлось возвращаться. Хотел спросить у мамы, можно ли оставить шесть пенсов себе. Взялся за ручку, дверь не поддается. Постучал в окно — тишина, только вода из крана капает. Должно быть, мама наверху, сказал я себе и стал думать, хватит ли на два батончика? Или на шесть лакричных конфет? Вдруг как грохнет, я и решил, залезу-ка в окно, погляжу, что там творится — вдруг эта псина, Ворчун Армстронг, или еще кто снова ворует у нас сосиски. Забрался в кухню и спрашиваю: кто здесь? Но увидел только маму, а на столе опрокинутый стул, а с потолка свисает отцовская прово-

лока. Ма, это еще зачем? спросил я. Но она стояла и молча кусала ногти; вроде и хотела что-то сказать, да так и не сказала. Я ей: ма, кондитерская закрыта, можно оставить деньги себе? Она: можно. Ур-р-а-а! завопил я и дунул в дальнюю лавку за лакричными конфетами. А когда вернулся домой, вижу, мама, согнувшись пополам, сидит в кресле у потухшего огня, и мне даже показалось, что она дрожит от холода. Но мама глянула на меня и сказала: а знаешь, Фрэнси, ты, когда родился, весил всего пять фунтов.

Вскоре после этого маму увезли в гараж. Как-то раз мама сказала: Фрэнси, я пошла по магазинам, хочу чего-нибудь испечь — дядя Эло приезжает на Рождество. Ага, говорю, я тогда посижу, телик посмотрю. Ну, мама и отправилась. Уж не помню, сколько времени прошло, только слышу — пришел отец, а с ним миссис Коннолли и другие женщины. Миссис Коннолли рассказывала, что, мол, видели, как мама целых два часа стояла перед витриной рыбной лавки, сумка рядом валяется, из нее банка фасоли выкатилась. Отец покраснел, а когда женщины попросили мамину ночную сорочку, покраснел еще больше, и тогда миссис Коннолли сказала: ничего, Бенни, я сама найду. И похлопала его по плечу, прямо как заботливая мать, после чего подобрала юбки и поднялась наверх, напевая. Отец направился в кладовку и стал судорожно рассовывать под пальто бутылки с виски, словно боялся услышать: *стоять! Ни с места! Медленно поставь бутылку, и чтобы без фокусов!* Пришли еще женщины и, шепотом переговариваясь, встали у камина. Миссис Коннолли дергала молнию маминого халата и все повторяла: ужас-то какой, ужас! Ну да мне какое дело. *Гони все стадо в Миссури!* крикнул Джон Уэйн[1] и — *хей-хо!* — умчался под громкий перестук копыт. Женщины еще потолкались, болтая о том, что, по их мнению, могло бы занять отца, — о городском оркестре, о том, что правительство совсем довело страну до ручки, — но отца все это интересовало не больше чем их самих, он лишь кивал, поддакивая. Скажи они: а дочку-то миссис Лэверти волки прямо на площади загрызли! Вот жуть, правда? он кивнул бы и ответил: в самом деле, жуть! Миссис Коннолли сказала: ну, пойду, пожалуй, у меня ужин на плите, сами знаете, каковы мужчины, вечно им няньку подавай. Еще бы, загалдели женщины, а одна: кому ты говоришь, твой хоть ест, а мой от всего нос воротит, что на стол ни поставлю. Ох уж эти мужчины, житья нам не дают. А после Джона Уэйна осталось лишь облачко пыли да следы копыт на песке. Ладно, пошел я, мне тут по делам надо, сказал отец, а ты, парень, не горюй. И протягивает мне пару шиллингов. А потом отчалил "по делам", в "Тауэр", в бар то бишь. Я про маму-то ни сном ни духом, правда, миссис Коннолли что-то бубнила про аварию. Меня Джо просветил: если приключается авария, в гараж увозят. Грузовик приезжает и отгоняет. Ну что ж, неплохо, подумал я, мама в своем пальто на буксире. Кто это? поинтересуются прохожие. А это миссис Брейди, ее отгоняют в гараж.

Дайте гаечный ключ — надо потуже закрутить щиколотку миссис Брейди. Ха-ха, вот умора, развеселился я.

1. Джон Уэйн (1907–1979) — актер, игравший ковбоя в фильме "Красная река" (1948).

Да, в те времена мы с Джо вечно хохотали до упаду.

Ну а потом отправлялись в путешествия.

Все шло хорошо, пока не сломался телик. Бабах!

Повертел переключатели туда-сюда, на экране сплошная "пурга". Уселся перед теликом и жду себе, вдруг картинка появится, а там и отец вернулся. Как это случилось? спросил он; я ему и объяснил. Мол, сижу себе, ничего не трогаю, и вдруг — пустота, прямо как свет вырубили. Отец стащил с себя пальто; оно на пол свалилось. Ладно, говорит, весь из себя деловой такой, сейчас разберемся. Знаешь, телевизоры эти, что Мики Трейнор продает, ничем не лучше обычных. Отец купил телевизор у Мики Трейнора, продавца "священных" теликов: в нагрузку Трейнор давал религиозные картинки. Попробовал починить, но ничего не вышло, тогда он передвинул его к окну, может, загвоздка в антенне, но вышло только хуже. Наконец стукнул по телику кулаком. И что бы вы думали — даже "пурга" прекратилась. Тут отец разозлился и стал винить во всем Трейнора. Вроде того, что не следовало доверять этому типу с его бумажными иконками: уж меня он не проведет! Уж мне-то не впарит барахло за здорово живешь! Я таких, как Трейнор, насквозь вижу! Сколько он у нас? Полгода — вот сколько! Свои кровные за него отдал! Вот что я скажу: Трейнор вернет мне все до последнего цента, Богом клянусь!

Отец размахнулся и заехал по телику ногой — стекло разлетелось во все стороны. Я починю его, твердил отец, еще как починю, чтоб ему пусто было!

И завалился на диван дрыхнуть.

Делать было нечего, глазеть на птиц, скакавших по забору, надоело, так что я вышел на улицу. И сказал себе, мол, вот и конец Джону Уэйну, никто и не почешется сдать телик в ремонт. Ну и ладно, Джо наверняка расскажет, чем там все закончилось. И тут появляются Филипп и миссис Ньюджент. Она-то наверняка рассчитывала — едва я ее увижу, тут же слиняю. Смотрю, наклонилась к Филиппу, сморщила нос и что-то там шепчет. Я-то знал что, только она навряд ли об этом догадывалась. *Гляди, вон он, отсиживался в своей комнате, а отец знай себе над матерью изгалялся. Уж ты не поступай так, Филипп, хорошо? Будь всегда на моей стороне, ладно?*

Филипп кивнул и улыбнулся. Его мать тоже довольно улыбнулась; потом ее губы чуть скривились, и она потянула руку сына вверх: *ведь ты-то знаешь, что его мать делала с проволокой, правда, Филипп?*

Небось думала: стоит мне такое услышать, вмиг поверну назад красный как рак. Ха, не тут-то было! Я как шел себе, так и шел. А, миссис Ньюджент, здравствуйте! Здоро́во, Филипп! И встал у них на пути. Миссис Ньюджент одной рукой придерживает шляпку, другой берет Филиппа за руку и говорит: пожалуйста, будь так добр, пропусти нас.

Ни-ни, даже не просите, говорю, вот заплатите, тогда пожалуйста. У нее на носу аж сосуды полопались, а брови так и поползли вверх, чуть не до волос: что-что? Да как тебе такое в голову взбрело? изумилась она, а Филипп нахмурился, и лицо у него стало совсем как у профессора, небось задумался: вдруг можно исследование провести? Научную работу напи-

сать? По мне, пусть пишет, что хочет, мне до лампочки, лишь бы заплатил. А это свинячий дорожный сбор, говорю. Да, миссис Ньюджент, свинячий налог, и каждый проход обойдется вам в шиллинг. Губы у нее стали как полоска, можно подумать, карандашом нарисованы, кожа на лбу натянулась, того и гляди черепушка треснет. Но не треснула, а я и говорю: слышь, Филипп, можешь пройти за полцены. Подумаешь, всего-то шиллинг с миссис Нуддит, говорю, и шестипенсовик с Филиппа. Вот уж не знаю, с чего это я назвал ее миссис Нуддит, так, случайно вышло. По мне, очень даже неплохо звучит, но она, видать, так не думала. Покраснела натурально как помидор. Ну да, миссис Нуддит, а вы гоните по полному тарифу. У нее из ушей аж пар повалил. Сынок ее не знал, как быть, по всему видно, ему не терпелось слинять, и все дела, но я сказал, что никак не могу пропустить их, пусть платят — таковы законы Свинячьей Земли. Извините, ребята, говорю, — в фильмах всегда так говорят, когда требуют денег, — понимаю, многовато, но что поделать. Кто-то же должен взять с вас плату. *Ну да, кто-то же должен, ха-ха-ха!* Миссис Ньюджент попыталась было пройти, но я схватил ее сзади за рукав, так что она попала в весьма неловкое положение, даже не видела, что это ее держит. Шляпка с искусственным лимоном сбилась набок. Она попыталась высвободиться, но я держал крепко, так что ничего у нее не вышло.

Блин, налоги все эти, говорю, очень несправедливые! Глянул на миссис Ньюджент, а у нее в глазах слезы, но она сдерживается, чтобы не доставить мне удовольствия. Я, когда это понял, усмехнулся и отпустил рукав. Ладно, говорю, вот что я вам скажу, ребята. На этот раз валите, но уж в следующий готовьте денежки — платить свинячий дорожный сбор. Стоял и смотрел им вслед: миссис Ньюджент неслась быстрее Филиппа и на ходу все пыталась поправить шляпку. Когда они поравнялись с кинотеатром, я возьми и крикни: миссис Нуддит, я вам тут не шутки шучу! Уж не знаю, слышала она или нет.

Мимо прошел какой-то тип, я его и спросил, в курсе ли он, что, когда дорожные сборы не платят, положение дел в стране ухудшается? Он мне: а ты кто такой будешь? Брейди, отвечаю.

Он прислонил велосипед к столбу, засунул руку глубоко в карман брюк и выудил трубку и жестянку с табаком. Брейди? переспросил. Это что же, тот, что с Террас-стрит? Он самый, отвечаю я. Ах, вот как! Понятно. А что вам понятно? спрашиваю. Одно время твой отец был великим человеком. Лучший музыкант в нашем городке. Ну а потом связался с Эдди Кэлвертом. Ты-то сам музыку любишь? Как думаешь, выиграем мы субботний матч? Я ему: сдался мне этот футбол! Что же ты, ведь победа в кубке это же здорово, разве нет? удивился тип. Нет, отвечаю я, жаль, что они не продули. Понятно, говорит. А что это ты там спрашивал про какой-то налог, чего это он тебя так беспокоит? Тип этот не прочь был порассуждать о правительстве и положении дел в стране. Вытряхнул пепел, похлопал себя трубкой по ляжке и поинтересовался: а что за сбор такой?

Он-то небось думал, это какой-нибудь очередной возмутительный налог, и пора правительству уже кончать эти дела, не то доведут страну, но тут я ему и сказал: да не, какое там правительство. Это я придумал, и платят его только те, кому я укажу.

А ты-то кто такой?

Фрэнси Свинья, сборщик налогов, сказал я, он покачал головой и снова вытряхнул пепел: да-а, насмешил так насмешил.

Насмешил? Да что смешного-то? А он: ну, ты даешь! Хм, свинячий дорожный сбор... Первый раз о таком слышу. Он все попыхивал трубкой, то смыкая, то размыкая губы вокруг коричневого мундштука — ни дать ни взять рыбина курит. Вообще-то сбор должен был зваться Сбором Миссис Ньюджент И Ничьим Иным, но я не стал объяснять. Ладно, сказал тип, я, пожалуй, пойду.

Я зашел в лавку. Визжал нож, резавший бекон, продавщица мусолила во рту кончик карандаша. У полки с кукурузными хлопьями стояли три женщины, жаловались друг дружке, мол, все сильно подорожало. Знаете, сколько я отдала за ботинки для Питера в том магазине, что выше по улице? Вдруг увидели меня и как воды в рот набрали. Одна попятилась и уперлась задом в витрину. Здравствуйте, дамы! поздоровался я. Да что это? спрашиваю. Женщина о трех головах? Только сказал, гляжу, они вроде отошли, заулыбались. А, Фрэнси, это ты! Ну да, говорю. Они сгрудились надо мной и тихо так спрашивают: как там твоя мама, Фрэнси? Мама? Она в гараже, скоро вернется. Вот, говорю, только подлатают маленько. Эй, Майк, подай гаечный ключ! Ха-ха-ха, рассмеялись женщины, ну вот и чудно. Ага, говорю, скоро уже вернется, а то пора готовку затевать — дядя Эло приезжает. Надо же, твой дядя приезжает погостить?! Ну да, на Рождество, говорю, прямиком из Лондона. А точно приезжает? вкрадчиво так спрашивает миссис Коннолли, а у самой аж голос дрожит. Точняк, говорю, на две недели. Две недели? повторяет она и улыбается себе так. Я уж было хотел спросить: что это вы, миссис Коннолли, не верите мне, что ли? Но не стал — хватит мне одной миссис Ньюджент, уже сыт по горло. А он неплохо устроился в Лондоне, твой дядя Эло, сказала одна из женщин. И тут их всех точно прорвало. Да, очень неплохо! И впрямь, совсем даже неплохо! Отличная работа! Пусть у него все будет еще лучше! Вот уж точно, нелегко приходится в таком большом городе, как Лондон! Именно, именно! поддакивает миссис Коннолли, и все начинается по второму кругу. Прямо программа какая-то под названием "История дяди Эло". Миссис Коннолли: когда я видела его в прошлый раз, он был в роскошном синем костюме, а из нагрудного кармашка выглядывал чудный красный платочек.

Я тоже видал — прямо член правительства, официальное лицо.

Да так оно и есть. Брейди, они такие, поддакнули женщины.

А то, говорю я.

Хороший ты парень, Фрэнси, сказали женщины.

Вот приедет дядя Эло, скажу ему, чтоб наведался к вам, тогда и поболтаете с ним, послушаете про Лондон и все такое.

Да уж, Фрэнси, пожалуйста, попросили женщины.

Заметано, говорю. Ну ладно, дамы, недосуг мне тут задерживаться, побегу-ка я по делам.

Ах ты, Фрэнси, ну и мастер номера откалывать! воскликнули женщины.

Так я пошел, мне в центр надо, у меня там дела, дорожный сбор, знаете ли.

Дорожный сбор? Надо же, а я ничего не слышала. Это еще что такое, Фрэнси?

Моя придумка, говорю. Ну да Ньюджент разве заплатит. Скорее камень прослезится.

В смысле миссис Ньюджент? переспросила миссис Коннолли.

Ага. Сама виновата. В следующий раз так легко не проскочит.

Все женщины, едва такое услышали, навострили уши.

Не проскочит? Но, боже мой, Фрэнси, где? Где не проскочит? загалдели они.

Да на дороге, где ж еще.

На дороге? изумились женщины.

Ну да, на дороге. Троица как воззрится на меня, можно подумать, умом тронулись.

Ну ты и фрукт, Фрэнси! проговорила миссис Коннолли.

Две другие спрятались за нее, небось испугались, что я и у них выманю деньжат в счет уплаты дорожного сбора.

Да ладно вам, говорю, и вышел из лавки. А когда проходил мимо окна, видел, как миссис Коннолли говорила что-то, и остальные женщины удивленно кивали — брови у них так и ползли вверх, чуть ли не до самого потолка.

Я стоял на улице. Мимо пропердел трактор с прицепом навоза, направляясь домой в сторону гор. Стоп, а это кто? Всего-навсего отец Доминик, шурр-шурр и скрип-скрип — начищенные ботинки. Ну что, Фрэнси, какие новости, бу-бу-бу? Ей-богу, святой отец, денек сегодня — задубеть можно, говорю и руки потираю — ни дать ни взять нескладный парнишка из сельской местности. Хм, это точно... А ты что, ждешь кого?

Нет, отвечаю, у меня тут одно дело.

Дело? переспросил он. И что же это за дело такое?

Я прекрасно знал, что он скажет, узнай про этот мой свинячий дорожный сбор. Вот как? Дорожный сбор? Очень-очень любопытно. Да вот, жду Джо Парселла. Хотя на самом деле он уехал к дяде.

Вон оно как, отвечает святой отец, а большие пальцы у него точь-в-точь два гнома, танцующих старинный вальс — то выглянут, то снова спрячутся за маленькие черные пуговицы одеяния.

Как отец?

Отлично, говорю, лучше не бывает.

Вот и чудесно. А мама? Скоро домой вернется?

Скоро. К Рождеству снова будет на колесах.

К Рождеству! Ну что ж, отличная новость!

Ага, говорю. А еще дядя Эло приезжает.

Отец Доминик очень заинтересовался дядей Эло.

Эло... повторил он. Должно быть, ты гордишься дядей?

Уж это точно!

Значит, к Рождеству, говоришь, приезжает?

Так и есть.

Ну, если повезет, повидаюсь с твоим дядей. Да, наш городок может им гордиться. Твоя мама много рассказывала про то, какая у него в Лондоне работа.

Ага, целых десять человек в подчинении. Отец Доминик улыбнулся. А когда уже собрался уходить, наклонился так близко, что я разглядел жесткие волосинки у него в ноздрях — прямо матрас, вывернутый наиз-

нанку, — да и говорит: знаешь что, Фрэнси? Будь хорошим мальчиком, беги-ка ты домой, а?

И так это сказал, что можно подумать, готов пару-тройку шиллингов приплатить, если я его послушаю. Эх, надо было ответить: хорошо, непременно, если вы будете так любезны и снабдите меня небольшой суммой шиллингов в пять, так сказать, в счет уплаты налога на уход домой. Но нет, я только ответил: конечно, святой отец. А сам не пошел — едва отец Доминик скрылся в церкови, поскакал вприпрыжку к Ньютаун-роуд. В дверях "Тауэра" валялся пьяный в порванном пальто; алкаш напевал в бутылку: *и кто же целует ее сейчас.* А я стоял и глазел на него. Домой не хотелось, правда, и торчать здесь тоже желания не было. Смеркалось; я глянул в небо, а там — луна, ну, сами знаете, такая бледная-пребледная, не поймешь, есть она или нет, а еще пошел снег — первые легкие хлопья. Что-то мы рановато в этом году, сказали они, ну да оно и к лучшему. Точно, ответил я, поймал одну снежинку на язык и проглотил.

Да чтоб меня! вырвалось у Джо. Ну и образина! В витрине галантерейной лавки он высмотрел стучащую в барабан обезьяну, челюсть у нее была больше головы. Фермеры возвращались домой в горы, к багажникам их машин были привязаны большие светловолосые куклы, умеющие говорить *ма-ма!* На верхнем этаже "Тауэра" гремела музыка. Кто-то наяривал Нат Кинг Коула[1], полуживой аккордеон дышал с присвистом, словно взывал о помощи. На покрытой снегом лужайке возились с собакой дети, городской оркестр уже в четвертый раз обходил маршем городок, как будто приговоренный бродить вечно. Снежные хлопья подпрыгивали на замерзающей воде реки.

Ха, и чё вы терь будете делать, рыбины? ухмыльнулся Джо. Все, хана вам!

Мы сунули носы в воду, но лупоглазых рыбин нигде не увидали. Извините, уплыли. И подпись: Рыбины. Наши удочки так и стояли без дела, который уже день.

Мама вернулась из гаража, но никакой тебе суеты, объятий, никакой болтовни до полуночи, ну ничего, хоть ты тресни. Глядишь, мама стоит наверху, на лестнице, а через секунду она уже рядом, болтает о чем-то. Сказала, больше не позволим так с собой обходиться, мол, еще покажем — мы ничем не хуже их. Глянула мне в глаза и говорит: вовсе не обязательно быть как эти Ньюдженты. Мы им еще покажем, правда, Фрэнси? Еще обзавидуются! Мы же Брейди! А, Фрэнси? Мы — Брейди!

Я: само собой, так и есть. Ну-ка, сказала мама, глянь, что я купила: пластинка, самая замечательная пластинка в мире. Спорим, Фрэнси, ты никогда не слышал ничего лучше. А как она называется? спросил я. Мама сказала: "Помощник мясника", а потом: ну, давай потанцуем. Поставила пластинку: шипение, треск, наконец заиграла. Вот здоровско, мы закружились по комнате, мама знала слова на память и подпевала. Чем дольше она пела, тем краснее становилось у нее лицо. Ма, давай передохнем, попросил я, но мы снова закружились.

1. Натаниэль Адамс Коулз (1917—1965) — американский певец, автор песен и джазовый пианист.

Пусть на коленях у отца
наш улыбается малыш.
А я умру, и надо мной
зеленый вырастет камыш.

Он дверь сломал на чердаке
и труп висящий увидал.
Ножом веревку разрубив,
письмо в кармане отыскал:

а на могильном камне пусть
голубка будет, чтобы вновь
прохожий вспомнил: здесь лежит
та, что погибла за любовь[1].

Песня была хорошая, да только я не больно-то уловил смысл. Когда она закончилась, мама спросила: ну, Фрэнси, что ты об этом думаешь *Он дверь сломал на чердаке и труп висящий увидал*! Правда, не слишком сообразительный парнишка этот помощник мясника? Мама сказала что-то еще, но я уже не слушал. Потом она — фьють — умчалась в кладовку, напевая уже другую песню: ах, деньки эти, их уж давно нет. Никто уже не сделает Энни Брейди больно.

Она то выключала пластинку, то снова ставила. Когда б я ни пришел, песня все играла. А мама знай себе подпевала из кладовки.

Теперь ей бы лучше подошло имя Фьють. Скажем, начнет она говорить: а вот на миссис Коннолли такое хорошенькое новое пальто, и не успеешь ей даже ответить, как она уже: что, в городе отключают воду? или принимается рассказывать про больницу, в которой я родился. А потом снова упорхнет раскатывать тесто и выкладывать печенье в виде бабочек, противень за противнем.

В доме полно было этого печенья.

Ну и печенья у нас к приезду дяди Эло, говорю я.

Точно, соглашается мама, Эло его обожает. Уж что-что, а это твой дядя любит. Пожалуй, испеку еще.

И столько этого печенья понаделает, что в доме не пройти, впору туннели прокладывать. Я видел, что отец то и дело порывался сказать ей: *да хватит уже петь эту проклятую песню!* Но не говорил: вдруг мама — фьють — снова загремит в гараж? Вместо этого он отправлялся в "Тауэр" и сидел там до самого закрытия.

Я повстречал Филиппа Ньюджента, когда тот собрался на музыку — в руках у него была папка для нот из крокодиловой кожи. Проходя мимо домашней пекарни, Филипп остановился и с минуту подождал. Вышла его мамаша, и я увидел, как она уставилась на меня. Она передала Филиппу белую картонную коробку, в какие обычно упаковывают печенье. Медленно так передала. Бедняжка, небось взаправду считает, будто мне есть

1. Перевод Марии Фаликман.

дело до нее и ее печенья. Я аж развеселился. Мне-то? Да у нас этого добра завались, на целую армию хватит!

И вообще мне на этих Ньюджентов плевать, причем давно. Бывало, иду им навстречу, поравняюсь и... ничего. Так что я развернулся да и пошел себе, все еще смеясь. Этой миссис Ньюджент долго придется ждать, чтобы такие, как она, снова задели меня за живое.

Слышь, под его началом аж десять человек, сказал я Джо.

Джо присвистнул и метнул камешек, который пошел прыгать вниз по течению реки.

Десять, повторил он. Целых десять. Да, Фрэнси, вряд ли кто с ним сравняется.

Слышь, Джо, сегодня у нас вроде вечеринки затевают.

Ага, вечеринка в честь Эло, отзывается он.

Перед приездом дяди Эло я несколько ночей не мог глаз сомкнуть, все думал о нем. Как мы пойдем по улице, а навстречу нам миссис Ньюджент. Кто эта женщина? спросит дядя Эло с чистейшим британским акцентом. Что это она на нас уставилась? Знать не знаю, отвечу я. В первый раз ее вижу. И пойдем себе дальше, пока миссис Ньюджент не превратится в маленькую точку на Фермана-стрит.

После того как бары закрывались, в городке становилось тихо. Только и было слышно, как вдалеке воет Ворчун Армстронг.

Знаешь, что он говорит, когда так воет? спрашивает Джо.

Нет. Что?

А за каким чертом мне знать, я по-собачьи ни бум-бум, отвечает Джо.

Послышались голоса. Снаружи рядом с укрытием кто-то был. Это Баттси с гор. Миссис Ньюджент приходится ему сестрой. Плохи у него дела, у этого бедняги. Видок точь-в-точь как у священника на обложке журнала про Африку — все лицо в веснушках, морковного цвета волосы свисают, закрывая глаза. Лю-ю-ди-и... подайте на строительство больницы. Но весь интерес Баттси к больницам заключался в том, чтобы упечь в одну из них меня. Он орал не переставая: *Брейди!* Потом закурил сигарету, и я увидел, что рука у него так и ходит ходуном. Девлин все повторял: будет тебе, Баттси, найдем мы его, найдем, не мог он удрать далеко. У Девлина наверняка болела голова, он все виски тер. Вот увидишь, продолжал Девлин, скоро мы его поймаем, а уж там сделаем с ним что захотим. Все в городке за то, чтобы паршивец получил по заслугам. Если удастся сцапать его раньше полиции, уж я знаю, что с ним делать, мы его утопим, Баттси, как тебе такое, а? Но у Баттси мозгов побольше: понимал, что они только время зря теряют, раз до сих пор меня не нашли, то и не найдут, ни они, ни полиция. Гаденыш наверняка сюда побежал, рассудил Девлин, вороша палкой кусты. *Эй, Брейди! Нечего отсиживаться в кустах, давай вылазь!* Но без толку, так что в конце концов оба отправились обратно в город.

Когда они ушли, я вылез из укрытия и лег на берегу, сунув лицо в воду. Эй, рыбины! позвал я. Вы здесь? Э-ге-гей!

А ну вылазьте, гаденыши!

Печенье горами высилось на стульях. Лежало и на шкафу, и на стиральной машине. Некоторые с глазурью, другие — нет, но все разукрашенные, с марципаном и самой разной формы. Мне досталась непростая работенка — отгонять мух. Я размахивал свернутой газетой. А ну прочь, собаки! кричал я мухам. Приходилось следить, чтобы они не садились на глазурь, не то потом их уже не прихлопнешь без того, чтобы все не испортить. Фрэнсис, еще будешь? крикнула из кладовки мама. Мне уже не хотелось. И без того слопал восемь штук. Я решил прогуляться в центр и всем встречным рассказывал про дядю Эло. Потом вернулся домой: ну как, еще не приехал? И снова — фьють — на улицу. То было лучшее время, и оно долго не кончалось. Пекарь забежал в булочную с подносом свежих батонов, завернутых в подарочную бумагу с узором из остролиста. Дети кидали камни и глядели, как они отскакивали, ударяясь об огромную заледеневшую глыбу фонтана. Будь добр, помоги чуть-чуть, и все вместе мы многое осилим, доносилось из радио. Когда вернулся домой, мама снова раскатывала тесто: вдруг не хватит. Потом к дому подъехала машина. Я глаз не мог оторвать от дяди Эло. Само собой, в нагрудном кармашке у него торчал красный платочек, а стрелкой на синих в тонкую полоску брюках можно было запросто порезаться. Седые, со стальным отливом волосы аккуратно разделены посередине пробором и зачесаны за уши. Дядя с гордым видом стоял у камина, и я подумал: миссис Ньюджент? Ха! Вот уж у нее нет никого, ну совсем никого вроде моего дяди. Даже развеселился. Добро пожаловать в наше заведение, пригласила мама, вытирая руки о фартук, иначе как кондитерской его и не назовешь. Ну, называй как хочешь, а для меня это дом родной, улыбнулся дядя Эло и крепко обнял ее. Отец что-то запаздывал, но вечеринка все равно началась. Давайте за Рождество и всех здесь присутствующих! просиял дядя, поднимая свой стакан с виски.

А и в самом деле, Эло Брейди, откликнулись все на его тост.

Да уж, сказал Эло, это точно, и взболтнул виски в стакане.

И куда только время уходит, куда вообще девается?

Представляешь, этой зимой двадцать лет будет, как ты уехал из Кэмдена.

Теперь небось и не вернешься.

С чего ему возвращаться, правда, Эло? Ему и там очень даже неплохо.

Да уж, десять человек под началом, крикнула мама из кладовки.

Да благословит Господь этот городок, сказал Эло, долгих лет процветания ему.

Я так и ел глазами дядю, его позолоченную булавку для галстука, ногти с безупречным маникюром, так и заслушивался его безупречным выговором. У мамаши Филиппа произношение было гораздо хуже. Чем дальше я думал, тем больше сомневался, что о ней вообще стоило говорить.

За здоровье, закричали все, и я услышал, как — щелк! — закрылась входная дверь, и вошел отец, но его появление осталось незамеченным. Глаза у отца были маленькие, ну чисто шарикоподшипники, он обошел стол, молча взял бокал. Тогда послышалось: а, Бенни! и все началось по новой — воспоминания о старых добрых временах.

Эх, жаль Пита с нами нет.

Да уж, бедняга Пит, один из лучших парней нашего городка.

А музыка? Да не было ни одной песни, которой он не знал.

Подумать только — так рано ушел!

Да, Господь всех прибирает, никого не забывает!

А Бинг Кросби[1]? Как наш Пит пел его песни, а!

У дяди Эло загорелись глаза. А как насчет песни? спросил он, и мы пошли в гостиную. Он оперся о пианино, и когда все запели "Белое Рождество", его голос перекрывал остальные — он вкладывал в песню всю душу. Когда дядя тянул высокие ноты, вены у него на лбу так и вздувались. Песня закончилась, повисла тишина, и глаза у всех затуманились.

Мэри, вдруг послышалось со всех сторон, потрясно сыграла! Превзошла сама себя!

Ну что вы, начала отнекиваться Мэри, сто лет уже не садилась за пианино.

Ага, с тех пор как Эло уехал, засмеялись все.

Но-но-но, полегче с девушкой, не то больше не будет играть!

Эло спел *Тирон в зелени*. Он вспотел, на спине у него расплылось темное пятно. Он поднял бокал и раскланялся.

Отлично как всегда, Эло, зашумели вокруг, Тирон в зелени, лучше не споешь!

Потом начали декламировать: Сорвиголова Дэн Мак-Грю и Сэм Мак-Ги[2], вперед!

Мама вошла с подносом, неся серебристый чайник и блюдо с печеньем — громадный замок, грозивший вот-вот упасть.

Кому еще? спросила она. Я принесу.

Нет-нет, здесь всего хватает, посиди лучше с нами, не хлопочи!

Дядя встал за спиной у Мэри, положил руки ей на плечи и запел *Когда тебе, милая, было шестнадцать*.

Хлопали ему аж целую минуту, а Мэри прямо не знала, куда глаза девать.

Ну зачем ты, упрекнула она дядю.

Дядя раскраснелся как помидор, в глазах сумасшедшинки. Он рассмеялся и схватил Мэри за руку. Она ничего такого не ожидала и чуть не упала со стула.

А почему бы и нет, дорогая?

На долю секунды мне показалось, что Мэри обнимет Эло. Она грызла ноготь, а ее нижняя губа дрожала, как у ребенка. Но она не расплакалась. Когда смех вокруг затих, Эло поднялся и поправил галстук. Вставая, он слегка коснулся щеки Мэри, и она опустила голову. Стало тихо, но дядя Эло не желал тишины. Он подскочил к столу и налил себе еще. А потом потребовал петь дальше.

Было уже далеко за полночь, все пели кто во что горазд. Гляньте-ка на часы, вдруг сказал кто-то, и в гостиной раздался низкий продолжительный свист.

Завтра на утреннюю мессу ни за что не встанем.

Да уж, пора по домам, чертовски здорово было повидаться!

1. Бинг Кросби (1903—1977) — американский певец и актер.
2. Стихи Роберта Сервиса (1874—1958) "Выстрел Дэна Мак-Грю" и "Кремация Сэма Мак-Ги".

Мэри встретилась взглядом с Эло. Он хотел было коснуться ее плеча, но отдернул руку, как воришка в магазине, в самую последнюю минуту потерявший присутствие духа. Случись такое раньше, все бы взяли и засвистели или начали напевать, чтобы нарушить неловкое молчание. Но теперь лишь позвякивали мелочью и застегивали пуговицы пальто, больше ничего в голову не приходило. Мэри приоткрыла губы, собираясь что-то сказать. Я-то знал что. *Рада была повидаться с тобой.* Но тут Эло именно эти слова и произнес, так что фразы столкнулись друг с дружкой, повиснув в воздухе. Мэри попыталась начать сначала. То же самое сделал и Эло. Потом, бледный, подался вперед и нежно поцеловал ее волосы, но когда она обернулась, его уже не было. Эло снова сидел в гостиной с бутылкой виски. Отец пробурчал что-то себе под нос, я не расслышал что, а его глаза-шарикоподшипники сделались стального цвета. В курятнике гудел вентилятор, куры, радостные такие, сидели в своем теплом мирке из квохтанья и рассыпанных повсюду зерен. Они будто говорили: а нам очень даже неплохо!

Мэри уже села в машину, не знаю, плакала она или нет, мне было не видно. И досталось же ей, сказал отец, нелегко это для женщины, я-то думал, у него побольше мозгов, у мужика в таком возрасте.

Отец сказал едва слышно, но я понял, это он насчет дяди Эло. Мама ничего не ответила, сделала вид, что не слышит, хотя ведь наверняка слышала, потому что отец, когда говорил, смотрел прямо на нее.

Наконец затарахтел мотор. Машина обогнула угол у торфяной ямы и вырулила на дорогу.

Отец стоял, будто загипнотизированный, и щелкал пальцами. Я хотел сказать: перестань, хватит уже. Но зачем-то сказал: отлично вечер прошел, так весело еще не бывало.

Почему это ты до сих пор не в постели? спросил отец.

А в гостиной дядя Эло откупорил еще одну бутылку виски. Отец велел мне ложиться на диване, так что я лег и закрыл глаза, но слишком много сегодня было сказано, чтобы я смог заснуть, прямо фейерверк из всяких разных слов. Тени пожирали комнату. Ну, пожалуйста, последнюю песню, упрашивал дядя Эло, последний стаканчик на ночь, а, Бенни?

Хватит. Уже напелись.

Да ладно тебе, Бенни, засмеялся дядя Эло. Лишняя песня никому не повредит, правда ведь, хозяюшка?

Он затянул "Старую дорогу в болотах", сказал, что это та самая, которую давным-давно они разучивали со священником в детском доме. Стоило только дяде произнести слово "дом", как я уже знал, что он об этом пожалеет. Даже если и не детский дом имелся в виду, отец все одно бледнел, а бывало, даже вставал и выходил из комнаты. Дядя попытался замять неловкость: а помнишь, как мы обчистили монастырский сад?

И засмеялся. Но что сделано, то сделано. Словно треснувшее за мгновение до этого стекло разлетелось вдребезги. Отец промолчал, а дядя Эло все никак не мог остановиться.

Вспомнил еще пару-тройку историй, снова громко пел. Тишина вокруг отца так и леденила меня. Мама всхлипнула. Отец и на нее ноль внимания, сидит себе за стеклянной стеной тишины. Дядя Эло стоял

спиной к камину, все ждал, что отец заговорит. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы тот нарушил молчание. Но отец говорил только тогда, когда считал нужным. Я видел, как он смотрит на дядю. Мне этот его взгляд знаком. Теперь отец будет смотреть на дядю до тех пор, пока не разделается с ним. Так же он поступал с мамой. Мог запросто человека взглядом проткнуть, такой он у него был острый, как игла. А потом отец заговорил. Кому ты, Эло, морочишь голову, а? Так и будешь выставлять себя на посмешище? Или хочешь всем понравиться? Думаешь, хоть один здесь поверил в дерьмовые россказни, которые ты плел весь вечер?

Бенни, ради бога, оставь его в покое! крикнула мама.

Приехал к нам домой, да еще и раскукарекался... Хочешь, чтобы все над тобой потешались?

Нет, ты только глянь на него, на этот его красненький платочек. Небось жена наглаживает, а?

Бенни, только не начинай, взмолилась мама, пожалуйста, не надо!

А я его предупреждал! Говорил ведь, что не потерплю больше такого! Но нет, мы снова все это выслушиваем, да еще и приходится смотреть на его глупости с девчонкой, прямо школьник какой-то, полудурок. Все в округе теперь узнают, что он выставил себя полным идиотом. Кишка тонка поговорить с девушкой напрямую, вот и дотянул, пока не стало слишком поздно. Как же, Эло, Кэмден — отличное местечко, мы все это знаем. В Кэмдене ты встретил единственную женщину, к которой решился подойти. Подумать только, на двадцать лет старше! И эта подслеповатая старуха ненавидит тебя с того самого дня, как ты на ней женился!

Я понимал — мама хочет остановить отца, не желает, чтобы все начиналось по новой, знал — она боится, боится гаража. И все же она сказала: господи, Эло, мне очень жаль!

Но отец еще не закончил. Уж я-то знал, что до конца еще далеко, лежал себе молча с закрытыми глазами и притворялся, что сплю.

Десять человек у него под началом, ага, разошелся отец не на шутку. Да он всего-навсего вахтер на захудалой фабрике, с самого первого дня, как приехал, стоит в своем синеньком костюмчике и берет под козырек перед начальством. Далеко он пошел, как же!

Мама коснулась руки дяди Эло, и он посмотрел на нее глазами маленького мальчика, наделавшего в штаны.

У отца на верхней губе выступил пот, капли блестели как бусинки. Отец сказал: да он всегда такой был, с той самой поры, как в Белфасте нас упекли в приют. Такой же слабак и недоумок, вечно лебезил перед монашками и слонялся по коридорам. Знаешь, что он им рассказывал? Что завтра папа приедет и заберет нас! С утра до ночи одно и то же! Долго пришлось бы ждать, покуда Энди Брейди соизволил бы объявиться! Я тогда говорил ему: заткнись! На кой нам папаша, мы и сами справимся, не надо нам никого. И слушать не хотел! Никак не мог заткнуться, все трепался! А остальным только того и надо — знай себе потешались!

Мама вскрикнула. Никогда еще не видал у нее такого лица. Нечего винить брата, что тебя отправили в приют! Господи, господи, Бенни, неужели ты никогда не успокоишься?! Ведь столько времени прошло! И когда все это закончится?

Лицо у дяди Эло дергалось, казалось, он вот-вот скажет что-нибудь и в самом деле идиотское: как думаете, дождь пойдет? Или того почище: *где вы купили эту скатерть?*

Но нет, он сказал: уже поздно. Пожалуй, лягу спать.

Потом прибавил: завтра вряд ли увидимся.

И спросил у мамы, где сейчас останавливается автобус — все там же на углу? Она ответила, что да, на углу.

Отец держал в руке стакан с виски. Рука едва заметно дрожала. Я подумал, может, он хочет отбросить стакан, сжать дядю Эло в объятиях и крикнуть что есть силы: что, попался? Здорово я тебя, а? Небось проглотил и наживку, и грузило? Да... времена, что мы провели в Белфасте! Дом? Славное местечко! Лучшие наши годы! Да... мы с Эло... нам там нравилось! Правда ведь, старина?

Едва я так подумал, мне захотелось подскочить и завопить от радости. Крикнуть: давайте снова устроим вечеринку, я сбегаю за Мэри, и все пройдет как надо, что скажешь, дядя Эло? как тебе такое?

Ничего такого не произошло, я лишь услышал, как закрылась входная дверь, тихо, чуть слышно. Мама вконец расстроилась. Да он совсем раздавил тебя, приют этот, разве ты не видишь? сказала она. Даже говорить об этом не можешь! А ведь сколько времени прошло! Бенни, поверь, нечего стыдиться, что тебя туда отправили! На родного брата как собака кидаешься!

Отцу такие слова не понравились, и он переключился на нее. Сказал, его по крайней мере в психушку не забирали, и он не позорил семью. Тогда-то я и понял до конца: не была мама ни в каком гараже, да я, по правде говоря, с самого начала знал про сумасшедший дом, просто не хотел, чтобы миссис Ньюджент или кто еще услышали, потому и сказал про гараж. Хотя, конечно, мамаша Филиппа была в курсе — миссис Коннолли и другие женщины наверняка сболтнули ей. Не знаю, зачем я вообще говорил про гараж. Я прямо слышал, как эта миссис Ньюджент возмущается: подумать только, он вообразил, будто может вешать мне лапшу на уши!

Мама выбежала из комнаты, а я не знал, как мне быть. Отец засмеялся и налил себе еще виски. Стоял посреди кухни и кричал: я всегда был сам по себе. И все делал по-своему — отец там или не отец! И никаких "спасибо", ни Энди Брейди, ни кому еще! Поняла?

Так и стоял в ожидании очередной ссоры, но сцепиться было не с кем. И он не знал, что делать. Стоял посреди комнаты со стаканом в руке и шатался, будто обкуренный. *Эй, слышишь меня?* снова рявкнул он, пролив виски себе на брючину. А потом смотрел, как жидкость стекает двумя ручейками на линолеум. Все смотрел и смотрел, будто в очертани-

ях лужи крылся некий смысл. И зарыдал, сотрясаясь всем телом с каждым всхлипом.

Я подождал, пока он заснул в кресле, открыл входную дверь и вышел.

Мне было не по себе, потому что я никогда еще не убегал из дому, даже не думал о таком. Надо бы сумку захватить, ну или что еще. Но не стал возвращаться, зашагал прочь. Хотелось идти и идти, пока подошвы не сотрутся и я больше не смогу ступить ни шагу. Я был прямо как тот мальчишка, нарисованный на обороте раскраски. Щеки — большущие красные сливы, изо рта вырывается облачко пара; идет себе по земному шару. Я ему даже имя придумал — Мальчик, Который Мог Идти Вечно. Вот таким я хотел стать — раз и навсегда.

Городок остался позади, и я ступил на большую дорогу. Белые облака проплывали по голубому небесному стеклу. Я все думал об отце и дяде Эло, представлял, как много лет назад они оказались у ворот приюта. Священник провел их длинным коридором с натертыми до блеска полами. В актовом зале было не протолкнуться. Священник откашлялся и попросил тишины. Я хочу представить вам наших новичков — Бернард и Эло. Бернард и Эло? хором переспросили мальчишки. А фамилии? Кто они? Священник улыбнулся, потирая мягкие руки. Я ждал, сейчас он скажет: *Брейди.* Но он сказал: *Свиньи.*

День за днем я шагал и шагал. Спал под кустами, а один раз — скрючившись в здоровенной покрышке. Пока добрался до города, потерял всякий счет дням. Я совсем выдохся и прислонился к большому указателю. Надпись гласила: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДУБЛИН.

По улицам проезжали зеленые, как крыжовник, автобусы, а каменный столб протыкал небо. Это Дублин? спросил я прохожего. Ну да, Дублин, что же еще. Хоссподи, во дают! Мне понравилось, как он это сказал, и я попробовал сказать так же. Хоссподи. Кто это там? спросил я у одной женщины, а она как уставится на меня разинув рот. Огромная серая статуя вещает что-то посреди улицы, а голова вся птицами уделана. Думал — президент какой, но женщина сказала: Дэниел О'Коннелл[1]. Я о нем не больно много знал, слыхал только, что он был как-то связан с англичанами. Люди так торопливо пробегали по мосту, словно им кто сказал: извините, но в любую минуту может упасть атомная бомба. Велосипедисты катили десятками, только и слышен был стрекот колес. Куда они все? Было восемь утра. Вокруг стояли кинотеатры и всякие другие здания. Я подошел ближе и прочитал вывеску из незажженных лампочек: кинотеатр "Коринф". Интересно, что сейчас идет? подумал я. Инопланетяне прилетели захватить Землю и сеют смерть и разрушение, было написано кривыми буквами. Как кино откроется, надо будет сходить. Зашел в закусочную, где подавали жареную картошку. Там сидела бородатая женщина; проливая чай, бормотала себе под нос: надеюсь, коммунисты победят, они ничуть не хуже других. Глянув на меня, женщина прибавила, что у нее двое сыновей. И хоть бы от одного был толк! Я ее

1. Дэниел О'Коннелл (1775–1847) — ирландский политический лидер, сторонник ирландского национализма в ненасильственной форме.

не слушал. Обдумывал, где бы раздобыть денег, чтобы сходить на инопланетян. Официантка спросила, чего я желаю. Я ответил: картошки. Чем это ты занимался, спросила она, ну и видок, тебя что, в канаве изваляли? Да так, просто шел пешком, ответил я. Тогда вот тебе добавка, сказала она и протянула мне большой пакет с жареной картошкой. Я заметил, что девица за прилавком считает деньги. Когда бородатая тетка ушла, а девица вышла на кухню, я пулей подбежал к кассе, ухватил сколько мог денег, сунул в карман и дал деру. Всю дорогу, пока бежал по улице, в голове у меня вертелось: Фрэнси Брейди, Беглец!

Перво-наперво пошел в кондитерскую. Там была женщина в очках, висящих на цепи. Чего это она? Неужто думает, очки могут спереть прямо с лица? Тридцать шоколадных батончиков, попросил я. Съел, сколько смог, остальные рассовал по карманам.

Пахло крепким портером и большим кораблем, который входил в док. Я подумал: а не пора ли в кино? Интересно, что там будет про инопланетян? Я зашел в отель "Гришэм" и назаказывал кучу всего. И кто же будет платить? поинтересовался официант, слюнявя кончик карандаша и издавая хм-хм. Я сам себе хозяин, говорю я, мистер Элджернон Каррадерз. Имя это я вычитал в одном из комиксов Филиппа. Элджернон Каррадерз плавает на таких вот кораблях вокруг света, и обеды у него шикарней некуда. Конечно-конечно, господин Каррадерз, ответил официант. Небось подумал, что я один из тех самых мальчиков-миллионеров. Сидевшая неподалеку женщина улыбнулась. День добрый, мадам! поприветствовал я ее. Ну и хрен с тобой!

После катался на автобусах, разъезжал куда глаза глядят. Фьють! — автобусы пролетали точно стрелы. Да, сказал я себе, Дублин это что-то! А потом настал черед инопланетян.

Металл в голосе — майор бесстрашно встретил главаря инопланетян и сказал ему, мол, это им так не сойдет. Все до последней армии мира сразятся с вами. Ну а инопланетянин взял и расхохотался. У него было человеческое тело, которое он украл у какого-то фермера-трудяги, согласившегося подвезти его, но по кривой ухмылке сразу было понятно, что внутри — большой зеленый пузырь со щупальцами, как у осьминога, а на лице сплошная чешуя. Даже не сомневайся, сказал он, мы завладеем всем миром, и ни ты, ни кто другой в этом городишке нас не остановят. Когда инопланетянин произнес: *в этом городишке*, я тут же вспомнил наших дам и миссис Ньюджент — очень похоже говорят. Миссис Ньюджент заявит: я вам вот что скажу — наш Филипп никогда бы так не сделал. Ни один мальчик, если он хороший сын, не опозорит свою семью.

Миссис Коннолли вздыхала: ох, храни ее Господь, бедную. Видала на днях: совсем рассудка лишилась. Как будто у нее мало было горя, недоставало только, чтобы этот мальчишка сбежал!

И не говорите, миссис Коннолли, и не говорите.

*

Дождь лил ливмя. Я стоял на углу улицы, уставившись на рекламу. На огромного неонового мужика с лысой макушкой. Когда реклама гасла, волос у него не было, но когда огни загорались, у мужика появлялась шевелюра. Здоровская такая реклама. ЗАЧЕМ ХОДИТЬ ЛЫСЫМ?

спрашивала она снова и снова, переливаясь всевозможными цветами. Я мог глядеть на нее хоть тыщу лет. Из церкви доносился голос поющей девушки, и я решил зайти туда. На девушке было белое платье, она пела о садах. Никогда не слышал ничего подобного. Звуки пианино были чистыми, как весенний ручей, сбегающий по камням, я сразу о Джо вспомнил. Мы с ним познакомились в переулке позади нашего дома. Было нам лет пять от силы. Джо сидел, склонившись над большой лужей около курятника. Она уже давно замерзла, и Джо долбил палкой лед. Я постоял, поглядел и да спросил: что бы ты сделал, если бы выиграл сто тысяч миллионов миллиардов долларов? Он даже головы не поднял, так и продолжал долбить лед. А потом ответил, чтó бы он тогда сделал, и мы долго еще болтали на эту тему. Так я и познакомился с Джо Парселлом.

Вошел алтарник, укатил пианино. Девушки в белом платье уже не было. Но если прислушаться, все еще можно было услышать ее пение. "Спускаясь вниз садами Сэлли" — вот как называлась та песня. Хотелось сидеть и слушать, пока не растворится последний звук. Словно плыть внутри разноцветного солнечного света, льющегося через окно.

Я знал, что когда-нибудь в мыслях вернусь к этому времени и подумаю: а был ли я вообще в этой церкви или все придумал?

Вот так я вспоминал и о тех деньках, когда мы с Джо встречались в переулке: а вдруг их и вовсе не было? Священник спустился и положил руку мне на плечо. Он спросил: мы знакомы?

Я ответил: нет. Он спросил: почему ты плачешь, дитя мое?

Я сказал, что не плачу, и вышел на улицу. У канала я остановился. Крыса, сказал я, чтоб тебе!

Прислонился к стене у мола. На бурой воде плавали оранжевые и желтые пятна. Не знаю, что на меня нашло, ма, сказал я. Какой-то старикан остановился и спросил: что с тобой, ты весь дрожишь. Потом мама улыбнулась и сказала, что она понимает, знает, что я не виноват. Пошли домой, Фрэнси, сказала она. Прости меня, ма, повторил я, а она снова позвала: пошли домой, я устала тебя ждать.

Ага, ма, сказал я, радуясь, что все закончилось, я никогда больше ничего такого не сделаю, никогда-никогда.

У меня оставалось немного денег из тех, что я стащил в закусочной, и я купил домой подарок.

Это походило на срез дерева, в середине которого вырезаны ноты какой-то мелодии, а края украшены зеленым трилистником. Внизу была изображена старуха в красной шали, сидящая в кресле-качалке. Еще была надпись, которую я перечитал несколько раз. *Где бы тебя ни носило, любовь матери с тобой как благословение.*

Не знаю даже названия тех городишек, через которые проходил. Мне не было до них никакого дела, все, чего я хотел, это поскорее добраться до дома, откуда ушел, в чем теперь раскаивался и чего никогда больше не собирался повторять.

Ворчун Армстронг лежал под трактором и даже не шелохнулся, хотя видел, что я иду через площадь. Вокруг почти никого не было, все сидели по домам и пили чай. У магазина как обычно скрипел — кр-р-р — и подвывал рекламный щит "Эссо". Алкаша, который вечно валялся на

пороге "Тауэра", не было. Время от времени я щупал карман, проверяя, на месте ли подарок. Уж не знаю, как я мог бы его посеять, ведь не выскочит же он, но все равно проверял карман. До того был занят, что, завернув за угол гостиницы, не сразу понял, что прямо передо мной стоит не кто иной, как миссис Ньюджент. Я столкнулся с ней, она чуть сумочку не выронила, но даже не рассердилась, будто не заметила. Боже мой, Фрэнсис! воскликнула и — подумать только! — коснулась моей руки. Потом запричитала: господи, Фрэнсис! Какая жалость, что ты опоздал на похороны, а сама давай креститься. Похороны? Какие еще похороны? спросил я и стал озираться, нет ли кого поблизости, может, она решила подшутить надо мной, но вокруг никого, улица пустая. Хотел сказать, чего, мол, пристала, Ньюджентиха, чего за руку хватаешь, но и слова вставить не смог, она трещала как сорока: твоя мама то, твоя мама сё. Да что ты вообще знаешь о моей маме, хотел сказать я, только и делала что поносила ее за глаза, так что заткнись. Но не мог и рта раскрыть, она все говорила и говорила. А потом вдруг наклонилась ко мне, да так близко, что я разглядел жесткие волосинки у нее на подбородке, розовые румяна и пудру на щеках. Меня аж замутило. Я едва ее слышал. Старался не смотреть на вытянутые ниткой губы и не вдыхать запах пудры. Приказал себе: ничего не делай, Фрэнси. Все в порядке. Все в полном порядке. И, нащупав подарок в кармане, обхватил деревяшку ладонью.

Ньюджентиха улыбнулась, сказала до свидания и пошла через дорогу, прижимая к себе хозяйственную сумку. У бакалейной лавки она остановилась да так и осталась стоять, обернувшись в мою сторону. Дверь с черного хода была открыта, в раковине полно банок из-под сардин. Когда отец устраивал пирушку, он ел сардины. Вокруг туча мух. Повсюду разлита простокваша, на полу книги и какие-то шмотки, выброшенные из ящиков. Уж и не знаю, как долго отец стоял и смотрел на меня, не отводя взгляда. Под глазами красные круги, и разит от него чем-то. *Ты*, только и произнес он. Я не понял, что он хотел этим сказать. Ну да отец растолковал. Он имел в виду следующее: *ты* сделал это, ты виноват в том, что случилось с мамой. Я переспросил: случилось? с мамой?

А ты что, ни сном ни духом? горько усмехнулся отец. И рассказал, как прочесывали озеро рядом с гаражом и как на дне нашли ее. А потом и говорит: пойду наведаюсь в "Тауэр", может, вернусь, а может, и нет.

Не знаю, сколько было времени, когда я зашел во двор к Ньюджентам. Во всем городке ни звука. В доме горела маленькая лампочка, освещавшая кухню, которая казалась теплой и уютной. Виднелся стол с книгами и парой очков. Стол был накрыт. Масленка со специальным ножом, кувшин в голубую полоску и такие же чашки, в общем, всякое такое. Как будто оттого, что они Ньюджентs, у них одно подходит к другому, прямо волшебство какое-то, все до единой вещички к месту. Я вскарабкался по водосточной трубе. За окном горел ночник, комната была наполнена тенями. Мне показалось, мистера Ньюджента нет дома. Иногда он уезжал в командировку. Филипп спал вместе с матерью на ее кровати. Лежал, запрокинув голову и раскрыв рот. Ньюджентиха спала крепко, грудь вздымалась и опадала, как будто говоря: в моих снах все спокойно, сын рядом, а муж уже завтра будет дома. Рот Филиппа напоминал маленькую букву "о". Если бы у него изо рта выплыл пузырь, я знаю, что в

нем было бы написано. Я люблю свою маму больше всего на свете и не сделаю ничего такого, что могло бы причинить ей боль. Рядом с кроватью столик, на нем комиксы. Я разглядел надпись: Адам Бессмертный Повелитель Времени.

Хотел бы я прочитать его. Но комиксы и так уже бед понаделали...

Я спустился по трубе во двор. По небу были разбросаны звезды. Я знал, обо мне скажут одно: подумать только, и он, свинья этакая, гордится собой после всего того, что сотворил со своей несчастной матерью.

Я не был уверен, что в тот день Филипп Ньюджент пойдет на занятия музыкой, но все равно поджидал на углу, пока не увидел его, с нотной папкой из крокодиловой кожи: он шел и на ходу рассеянно похлопывал папкой по колену — привычка у него была такая. Как только Филипп меня заметил, тут же перешел на быстрый шаг, но я побежал за ним, крича вдогонку: а, Филипп, наконец-то! Догнав, пошел с ним рядом, болтая о всякой всячине. Сказал: твоя нотная папка самая красивая из тех, что я видел. Пожалуй, самая лучшая в городке. Филипп сказал спасибо, но я-то заметил, что он старается ускорить шаг. Я остановился и схватил его за руку. Да, да, сказал я, в самом деле лучшая в городке! Филипп вроде как ухмыльнулся и даже хохотнул, щеки у него порозовели. Сказал, что рад, раз папка мне нравится. С минуту я обдумывал ответ, а потом выдал: слушай, Филипп, а можно поглядеть поближе?

Он не знал, что ответить, но я смотрел на него с надеждой, и он сказал: конечно. Протянул мне папку, я закрыл глаза и провел рукой по ее отлакированной поверхности. Папка и впрямь была превосходная. Потом поинтересовался, что там внутри. Можно глянуть? спросил я. Да, конечно, ответил он. А сам все оглядывался и теребил карман пиджака. В папке были книги. Такие же новехонькие, как комиксы. Будто только из магазина. Ух ты! вырвалось у меня. На обложке одной из книг телега с осликом уезжала в направлении покрытых зеленью гор. Называлась книга "Изумрудные сокровища Ирландии". Я пролистал ее. Эту знаю! завопил я. У меня по ней отец поет! "Мне снилось, что я живу в мраморных залах!" Ну-ка, есть тут еще что интересненькое? Слушай, Филипп, а вот эти можешь спеть? Научишь какой-нибудь, а? Тут есть очень даже неплохие песни, точно-точно, сказал я. Потом закрыл книгу и спросил: сколько стоит такая книжка, совсем новая? Филипп нахмурился и уже собирался ответить, что, мол, не знает, что книгу купила мать, но не успел, я перебил его: а все же сколько, по-твоему?

Филипп подумал, а потом сказал: два фунта. Дороговато, сказал я, ну да стоит того. Я еще порассуждал насчет книжек и вернул их Филиппу. Лучшие книжки в нашем городке, верняк! сказал я. Потом мы прошли еще немного, болтая о музыке. Я сказал: у моего отца тьма-тьмущая пластинок. Сотни, точно. Слышь, Филипп, а вы покупаете пластинки? Он ответил, да, покупаем. И кто же? поинтересовался я, а он: отец. Что, мама ни разу не купила? Филипп помотал головой, мол, нет. Оказалось, только отец и покупает, потому как одного его они интересуют. Вот как, сказал я и прибавил: спорим, твоя мама никогда не купит пластинку с названием "Помощник мясника", а, Филипп? Спорим? Он ответил, нет, не купит. Ну да, сказал я, с чего бы ей покупать такую? А ты хоть раз слыхал ее? Он ответил, что нет. Даже по радио? Филипп ответил, что и по

радио не слышал. Ну, ты не много потерял. Самая дурацкая песня из всех, какие я слышал. И захохотал. Знаешь, о чем она? Филипп помотал головой. Если расскажу, ты решишь, я совсем того, сказал я и посмотрел на него, то и дело утирая слезы, потому что, как вспоминал ту песню, начинал давиться от смеха. Так вот, она про женщину, которая повесилась, а все из-за того, что ее парень, помощник мясника, соврал ей. Ты когда-нибудь слыхал про такое?

Да уж, и на песню-то не похоже, сказал Филипп. Что бы там он ни имел в виду, я все равно захохотал, слезы так и прыснули из глаз. А потом говорю: навряд ли твоя мама выложит денежки за песенку вроде этой, а?

Филипп ничего не ответил, только запустил пятерню в волосы и задумался: хм-м, но когда я снова спросил его, ответил: вряд ли. А я ему: знаю-знаю, что навряд ли.

Ну и умора, сказал я, помотав башкой, и мы пошли дальше.

Мы вроде как поладили, щеки у него уже не так пылали, и я заговорил о комиксах, о том, что мы стащили их в шутку, ну и все такое. Понимаешь, Филипп, мы же не со зла все это затеяли. Да мы б сразу их вернули. Филипп ответил, что из-за меня ему здорово влетело. А, ты о свинячьем дорожном сборе? Так это все глупости. Не нужно ничего платить! Чушь какая! Деньги отдавать, чтобы пройти по улице! Ты небось шутишь, сказал я, и мы оба захохотали. Да ты чего, Филипп, это ж просто хохма. Я видел, Филипп рад был услышать такое. Потом я рассказал ему про комиксы, которые мне прислала тетя из Америки. Вот уж комиксы так комиксы, ты в жизни таких не видал. Они у меня в курятнике, все до единого. Я наведываюсь туда каждый день, читаю про всех этих супергероев, хохочу до упаду. Прикинь, нападает один на Зеленого Фонаря, рассказываю я Филиппу. А в следующую минуту — бац! — огроменный молот Зеленого Фонаря вылетает из кольца и расшибает чувака в лепешку. А уж другие что вытворяют, почище этого будет! Филиппу, конечно, страсть как захотелось посмотреть. На музыку ты всегда успеешь, говорю ему, а вот комиксы я могу обменять или продать, и очень даже скоро. Мы повернули обратно. Никому не было известно про тайный лаз через разбитое окно с задней стороны курятника, только мне и Джо. Когда попадаешь внутрь, оказываешься в темном и теплом мирке из квохтанья и бормотанья. Голые лампочки свисают с потолка и маячат прямо перед носом, не достают до пола всего каких-то четыре фута. Ух ты! восхитился Филипп, я такого еще не видел.

Он ползал на коленях, разглядывал клетки, а потом вытащил учебник по музыке и давай вычислять что-то, исписывая карандашом поля. Уж не знаю, что он такое высчитывал, может, объем пространства, который занимал каждый цыпленок. Его интересовало, чем их кормят, да сколько в день съедают, да какая температура для них лучше. Я оставил его у клеток, а сам пошел в дальний угол сарая за комиксами. Когда я вышел оттуда, Филипп все еще трудился над своими математическими подсчетами, сидя ко мне спиной. Я позвал его: *Филипп!* а когда он обернулся, взмахнул цепью — метил ему в лицо, но не попал. Вместо этого задел шнур лампы, и она начала раскачиваться. Цыплята всполошились, запищали, почуяв неладное, я снова замахнулся, раздался глухой удар по мешку с зерном, я никак не мог разглядеть Филиппа, потому

что крутящаяся лампа рисовала на стене тени. Такая меня злость взяла на этого Филиппа, я даже выругался. Видать, он уронил очки и теперь ползал по земле, пытаясь их найти. Я лупанул — хрясь! хрясь! — по ковру из щепы. Наконец увидел его, он оказался прямо передо мной, и тут слышу: *Фрэнси!*

Лампочка перестала раскачиваться, и я снова услыхал: Фрэнси! Это был Джо. Он схватил меня за руку и толкнул назад. Филипп снова приник к земле, он так и не нашел очки. Только ползал на коленях и повторял: пожалуйста, не надо. Джо вырвал у меня из рук цепь. Она с грохотом приземлилась на бочку с отходами. Джо выговаривал мне: вот, смотри, что ты натворил! Прости, Джо, говорю, я на самом деле жалел о том, что наделал. Теперь Джо отвернется от меня, останусь один-одинешенек, ни мамы, никого.

Но вот какое дело — Джо от меня не отвернулся! По Филиппу я не попал, так что Джо хоть и пришел в ужас от моей выходки, все же уговорил его сказать, будто он порвал пиджак, свалившись с яблони. Джо проводил Филиппа до дороги, а когда вернулся, набросился на меня, сказал, если я еще раз такое выкину, меня упекут кое-куда, как и всякого, кто себе такое позволяет. Он сказал, что с того самого дня, когда мы вместе долбили лед, я стал его лучшим другом. Ему плевать на то, что дома говорят обо мне, моем отце и вообще о нашей улице, но если я стану поступать так, как сейчас, дружбе конец. Я стоял, прислонившись спиной к стене, казалось, я на краю скалы. Фрэнси, сказал Джо, поклянись, что такого больше не повторится. Я и поклялся. Поклялся жизнью, что такого больше не повторится. Так бы оно и вышло, если бы не Ньюджентиха.

Ну а после мы укатили на велосипедах к реке, как раз в тот день у нас и появилось убежище. В земле мы вырыли небольшой туннель, подперли его изнутри сосновыми ветками, а сверху накрыли листьями, терновником и папоротником. Если пройти мимо, только и увидишь заросли ежевики да жухлые листья вокруг. Но мы, мы с Джо, сидели внутри и строили планы. А еще разожгли костер. Раскрасили черным лица, провели под глазами две полосы, сделали на руках надрезы, смешали кровь и поклялись, что с этого дня Фрэнсис Брейди и Джо Парселл — кровные братья и друзья на веки вечные. Помолимся маниту[1], предложил Джо; так мы и сделали. Пусть у тебя будет имя, сказал Джо, как у краснокожего. Я стал Парящей Птицей. Поднялся в небо над черепичными крышами, заскользил между клубящимися шлейфами дыма и гнутыми антеннами, а потом крикнул Джо, который остался далеко внизу: видишь меня, Джо, я тут, наверху, ныряю на пару с ветром! Но когда спустился, Джо даже не шелохнулся, сидел на одеяле сгорбившись, стругал веточки и приговаривал ямма, ямма, ямма, молясь духам маниту.

Я торчал у окна. На улице было пустынно. Из детворы никого, завтра они снова выйдут, будут ковылять в ботиках на вырост, устраивать чаепития со щавелевыми листьями на тарелочках. Им дела не было до то-

1. В мифологии североамериканских индейцев духи-покровители, дающие людям волшебную силу.

го, что тревожило взрослых. У них одна забота — чей черед играть. На другой день после возни со льдом мы с Джо играли в переулке в шарики. Тогда нас тоже тревожило только одно. Вот именно, Фрэнси, сейчас твоя очередь, сказал Джо.

В канаве на улице подснежник с фарфоровой головкой сделал реверанс и представил свою крошечную труппу. Надо же, и в этом году проклюнулся, сказала мама о подснежнике. Небо было цвета апельсинов. Я глянул на свои белые-пребелые руки, и мне стало интересно, каково это быть мертвым вроде той женщины из песни.

Я этого не говорила! возразила Ньюджентиха, но на самом-то деле говорила, вот почему я наведался к ним домой. Я ничего, ничего не говорила, что ты несешь, только и повторяла она, так что я даже спросил ее: вы что же, миссис Ньюджент, за дурака меня держите? Я все слышал. Шел себе через площадь, а они с Филиппом выходили из магазина. Филипп нес два нарезанных батона, по одному в руке, а у нее была с собой хозяйственная сумка. Я стоял от них далеко, но видел, как мамаша задержалась и показала Филиппу на меня. *Вон он!* сказала она. *Теперь, сынок, он не станет болтать про этот свой свинячий дорожный сбор!* Остановись она на этом, я бы, может, ничего и не сказал, но она приплела сюда дядю Эло. До меня донеслись только последние слова, но и этого оказалось достаточно. *Подслеповатая, да еще и ненавидит его с того самого дня, как вышла за него! Ну, что я тебе говорила, Филипп!*

Филипп с батонами шел себе вразвалочку, а рядом, ехидно улыбаясь, его мамаша в платке и с сумкой; я же решил: после такого непременно к ним наведаюсь. Перед тем как постучать в дверь, глянул в окно — внутри уютно, пламя отбрасывало тени, скакавшие по всей комнате: по медному экрану перед камином с букетом нарисованных розовых цветов, на крышке пианино красного дерева и по миссис Ньюджент в овальной раме. А она в молодости была хорошенькая, эта миссис Ньюджент, с белой розой в волосах, и губы, как у актрис из старых фильмов, изящно очерчены и совсем не похожи на ее нынешний рот. Никаких тебе платочков на голове или там пальто со здоровенными коричневыми пуговицами, ничего такого. Интересно, куда подевалась та, прежняя миссис Ньюджент? И не спрашивайте — сам не знаю. А мистер Ньюджент висел напротив, он вовсю улыбался, одетый в твидовый пиджак с полосатым галстуком. Сразу видно, у него классная работа. Своим взглядом он так прямо и говорил: у меня важная работа. Мистер Ньюджент глядел куда-то вдаль, размышляя о всяких важных делах, которые намеревался сделать, о людях, с которыми собирался встретиться. Не знаю, был ли он англичанином, но говорил-то уж точно как истинный британец. При встрече с ним всегда услышишь: добрый день! тогда как наши, местные, ограничивались чем-нибудь вроде *здорóво!* или *похоже, дождь ливанет.* Под фотографией Джона Кеннеди стояла плетеная корзинка с ландышами. А на пюпитре для нот, что на пианино, ослик тащил тележку далеко в горы Изумрудной сокровищницы Ирландии. В комнате было уютно и тепло, она вся светилась янтарным светом, так и манила войти. Не стесняйся, входи, говорила она, я даже подумал, а не зайти ли, и постучался — тук! тук! — дверь открыла миссис Ньюджент. Она была ну нисколечко не похожа на ту, с розой в волосах. Изящные губки? Какое

там! Миссис Ньюджент вышла в затрапезном переднике с незабудками и карманом-сердечком, который топорщился от прищепок.

Подбитые мехом тапочки жутко меня рассмешили.

Она наверняка затеяла стирку, потому что на руках у нее были резиновые перчатки. Лоб прорезала извилистая морщина, она спросила, что мне надо. Нет, в самом деле, что, ну что тебе надо? Я увидел коридор. Там висел барометр, который показывал на очень жарко. Говорят, собирается дождь, миссис Ньюджент, сказал я и деловито потер руки. Фермеры такому не обрадуются. Что тебе надо? повторила она свой вопрос. Потом еще раз, но я ответил, мол, ничего особенного, так, решил заглянуть, узнать, как дела у Филиппа. Филипп очень занят, уроки учит, ответила миссис Ньюджент. Я и без того знал, что занят. Он только и делал что занимался, все подсчитывал да вычислял. Исследовал то, вникал в это. Ну да, Филипп он такой. Вот что я сказал миссис Ньюджент. Ага, говорю, мистер Профессор как всегда занят! Ньюджентиха промолчала. Все теребила прищепку, сунув руку в карман передника. Ну вот, миссис Ньюджент, и еще одно Рождество отметили, сказал я, но она все молчала. Теперь уж потише будет, заметил я, до самого Святого Патрика. Да, сказала она.

Небось рады, что пережили всю эту кутерьму? спросил я, скрестив руки на груди. И улыбнулся. Миссис Ньюджент прикусила уголки губ — да, мол, рада. Потом шепотом так: ну, до свидания — и хотела уже закрыть дверь, но я просунул в щель ногу. А ведь на самом-то деле все ради них, детишек, сказал я, да и бывает такое раз в году. Миссис Ньюджент стояла в замешательстве, не зная, что делать. И все теребила прищепку. Я вот подумал: может, Филипп все же выйдет и мы попинаем мяч, совсем недолго? Он да я, "Манчестер Юнайтед" против остальных. Вы за "Манчестер" болеете? Томми Тейлор и Дэнис Ло. Лучше их нет. А мюнхенская авиакатастрофа[1], сказал я. Виданное ли дело? Вся команда, миссис Ньюджент. Я читал в газете. От Томми Тейлора только и осталось что бутсы. Это было ужасно. Просто ужасно. Я уныло покачал головой, да и миссис Ньюджент, видать, тоже расчувствовалась, потому как глаза у нее покраснели. Мы забьем пару голов, и он снова засядет за уроки как миленький. И позвал: эй, Филипп! Я знал, он сидит на кухне, там ведь лежали его очки, а он всегда в них занимался. Я снова позвал, но он меня не услышал, так что я крикнул еще раз. Давай, всего гол-другой, сказал я. Ну как, идешь? Но в ответ ни звука, и я подумал, что, может, комиксы вытащат его. Слышь, Филипп, у меня пропасть новых комиксов, сказал я. Эй, Фил? А неплохо я тогда назвал его — Фил. Мы с Филом... да, мы да-а-авнишние приятели, вот что я сказал. *Дэнди Бино Топпер Виктор Хотспур Хорнет Ураган Диана Банти Джуди* и *Командос* выпалил я на одном дыхании, ну прямо волшебник, вытягивающий изо рта бесконечную ленту разноцветных платков. *Вот что я скажу тебе, Филипп,* наконец крикнул я, *давай меняться: все мои Командос против всех твоих Топперов, так будет по-честному, что думаешь, Фил, а?! Командос* стоят шиллинг, а *Топперы* потянут всего на пару пенсов, ну кто еще предложит такую выгод-

1. Катастрофа 1958 года, когда рухнул самолет с футболистами "Манчестер Юнайтед" на борту.

ную сделку. Но Филипп носу не казал, пришлось мне прокричать все снова, с самого начала. Ну а после миссис Ньюджент сказала: пожалуйста, уходи. Только и всего. Миссис Ньюджент, ответил я, если вы думаете, будто я пришел стащить у Филиппа комиксы, вы очень даже ошибаетесь, у меня такого и в мыслях не было. С этим все, покончено. Да если хотите знать, миссис Ньюджент, мы вообще тогда пошутили. Послушайте, я в самом деле отдам Филиппу своих *Командос*. Филипп! позвал я. Потом снова выпалил: *Дэнди Бино* и прочее. Да чем он там занимается? Лоб миссис Ньюджент стал влажным, а голос задрожал. Я и решил ее приободрить, чтоб не думала, что я намереваюсь обокрасть ее сыночка. Послушайте, миссис Ньюджент, да не собираюсь я ничего красть! сказал я громко и внятно. Пусть выбирает любые комиксы из моей коллекции. И вообще комиксы меня больше не интересуют. Сдались они мне! Но миссис Ньюджент все еще не верила. Она только фыркнула и отвернулась. Гляньте-ка, миссис Ньюджент, сказал я ей и опустился на четвереньки. Но на всякий случай протиснулся в щель еще дальше, чтобы дверь не захлопнули, потом вытянул шею, сморщил нос, а глаза сощурил, чтобы они сделались совсем-совсем маленькими, да как хрюкну. И снова глянул на нее, снизу вверх. Хрю! Меня разбирал смех. Ну, как вам, миссис Ньюджент? Правда, животики надорвать можно? Чем больше я хрюкал, тем веселее мне становилось, кажется, никогда я так не смеялся, особенно когда появился Филипп с выраженьицем на лице: что, мол, здесь происходит? *Инспектор сыскной полиции Филипп Нуддит из Скотленд-Ярда собственной персоной!*

Поначалу Филипп растерялся, не знал, что и делать, не каждый же день выходишь из кухни и видишь свинью в штанах и куртке, ползающую возле твоего порога. Стоял с карандашом за ухом. Я думал пошутить на этот счет, да не стал говорить вслух. Слыхали, был такой профессор, все запорами страдал? Так вот, он помогал себе карандашом. Но я слишком увлекся, глядя, как Филипп пытается разрешить профессорскую задачку. Хрю! И снова посмотрел на Филиппа. Прямо в глаза. Сыграем в футбол? Мы с тобой против остальных? Сыграем? Я опять хрюкнул, бедняга совсем засмущался. Хрю! Я захохотал. Ну а он не придумал ничего лучше, как вытолкать меня. Ай, Филипп, ты чуть глаза мне не выколол своими пальцами! Я слышал, как колотится у него сердце. Он уперся ботинком мне в плечо. Ай, вскрикнул я, убери свои костыли! И снова ну хохотать. Эй, больно жестко ты ведешь, не буду с тобой играть! Ты что, шуток не понимаешь? Миссис Ньюджент все причитала: Филипп! Филипп! Слышь, говорю я, кто лучше: Дэнис Ло или Томми Тейлор? А Филипп все пытается меня за дверь вытолкать, покраснел как рак, пыхтит, отдувается. Карандаш на пол упал. Миссис Ньюджент стояла не двигаясь, только перебирала прищепки в кармане фартука, а я-то видел, Филипп вот-вот сдастся, ну а в следующую секунду приключилось вот что: он развернулся и задел висевшую на стене свадебную фотографию. Та возьми и разлетись вдребезги — стекло по всему коридору. Ясное дело, не мог Филипп помешать мне хрюкать у них в доме. Ничего уже не соображая, он кинулся собирать осколки, а мамаша его как заверещит: *стекло! Стекло! Осторожно, порежешься!* И тут я хрюкнул. На свинячьем языке это означало: осторожно, Филипп, порежешься! У Филиппа аж лоб покрылся испариной, он еще больше растерялся, и взгляд у него сделался грустным-прегрустным.

Сдается мне, это из-за него, из-за его грустных глаз я поднялся с четвереньек и сказал, мол, здорово повеселились, пора возвращаться на скотный двор, как считаете, миссис Ньюджент? Но она ничего не ответила, только стояла и вертела в руках прищепку, а потом вдруг как начнет: пожалуйста, прекрати! Да прекрати же! Ну, бывайте, миссис Нуддит, крикнул я и побежал вприпрыжку по улице, еще наведаюсь к вам на днях! И наведался.

А причина тому была такая. Дома я вдруг подумал: чего это я так волнуюсь насчет грустных глаз Филиппа? Может, он вообще притворялся. И чем больше думал, тем сильнее казалось, что он и впрямь притворялся. Филипп Ньюджент, сказал я себе, да ты ловкий чертяка — так обычно пишут в комиксах. Ну и Филипп, ну и ловкач! Так что денька через два я заявился к ним снова, только уж на этот раз наперед убедился, что дома никого нет. Дождался, пока машина отъехала — знал, что они собираются в горы навестить Баттси.

Влез я через окно на заднем дворе: привет, Фрэнси, добро пожаловать к Ньюджентам! Привет-привет тому, кого дома нет! сказал я.

Та-да-да-да!.. Добро пожаловать к Ньюджентам, мистер Фрэнси Брейди! Спасибо, спасибо, отвечаю я, благодарю. Весьма рад, миссис Ньюджент, оказаться здесь, вот на этой черно-белой плитке в вашей кладовой. Ну что ты, Фрэнси, это мы рады, мы просто в восторге, что ты заглянул к нам. Сейчас я познакомлю тебя со всеми. Вот мой муж, а вот Филипп, ну да с ним ты уже знаком. Мне не приходилось опасаться, что миссис Ньюджент вместо этого скажет, что позвонит в полицию, — она уехала в горы, пьет себе чай из оловянной кружки в обществе Баттси, своего братца с морковными волосами, в его хибаре, провонявшей торфяной гарью и лошадиным навозом. Ага, а в доме Ньюджентов так не пахло, нини. В нем пахло свежими булочками, совсем недавно испеченными. Я принялся искать их, но так и не нашел. Видать, запах прежних дней пропитал всю кладовую, ну а сегодня миссис Ньюджент никаких булочек и не пекла. Впрочем, ладно. Нюх-нюх... Так, полировка. Миссис Ньюджент полировала все и вся, пока не становилось видно собственное отражение. Кухонный стол, полы... На что ни глянь, сразу видишь свое отражение. Да, что касается полировки, тут миссис Ньюджент не было равных. А мухи? Нет, только не в доме Ньюджентов! Все пироги, какие имелись, были надежно заперты, Мухе с ее товарками не подобраться. Пироги лежали в стеклянной коробке с пластмассовой крышкой, а рядом стояла трехъярусная ваза с наполовину съеденным именинным тортом, тоже накрытым. Небось мухи просто с ума посходили, еще бы — видеть все это великолепие и не добраться до него. Я и сам испытывал то же, так что прекрасно их понимал. Конечно, можно разбить стекло, но не хотелось ничего портить, пироги с тортом смотрелись так красиво. Наверняка миссис Ньюджент испекла их сама. На стене фотография: миссис Ньюджент на траве в каком-то парке. Мне вдруг пришло в голову: ведь и миссис Ньюджент когда-то было столько же, сколько сейчас мне. Я долго думал, что она родилась уже такой, какая сейчас, ну да это, понятное дело, глупости. На фотографии ей было лет пять. Между зубов большая щель, а по всему лицу рассыпаны веснушки, совсем как у Баттси. Хи-хи-хи, смеялась она в фотоаппарат. Старая добрая миссис Малют-

ка Нуддит, подумалось мне. Интересно, как давно это было? По мне, так лет сто назад. В углу стоял портфель мистера Ньюджента, а за дверью висело его твидовое пальто. Я угостился бутербродом с джемом, а потом включил телевизор. Показывали "Путешествие на дно моря"[1]; адмирал Нельсон и команда подводной лодки попали в передрягу, сражаясь с засевшим в пещере гигантским осьминогом. Ну и красавчик осьминог этот все сворачивал и разворачивал свои щупальца с присосками, колошматил перевернутой подлодкой о камни... Только и видны были два его глаза, горящие в темноте пещеры, они так и говорили: ну что, попались, умники-разумники, селедки вы этакие, посмотрим, что теперь делать будете. *Погружаемся! Погружаемся!* рявкал адмирал в микрофон, но что-то не получалось. Музыка стала совсем сумасшедшей. *Прикончи ублюдка!* крикнул я, мне тоже стало не по себе, *загарпунь его, он и заткнется!* Но адмирал вовсе не был таким тупицей, как полагал осьминог. *Вот так, порядок, а теперь все системы к бою!* и в следующий миг глубинные бомбы как вдарят осьминогу промеж глаз — бум! — тот как запищит. Прыг-скок, оба глаза вылетели, щупальца обвисли как лопнувшие резинки, а подлодка уже неслась наверх, команда повеселела, а адмирал утирал пот с лица, улыбался и говорил: отлично, а теперь за работу. Чтобы отпраздновать победу, я заварил себе большущую кружку чаю и сделал еще один огроменный бутерброд с джемом. Очень уж не хотелось уходить, я ел и наслаждался жизнью. Погодка хоть куда. На небе всего пара-тройка белых клочков. У окна вертелись птицы, все больше вороны, любопытно им, что в доме происходит. Надо же — Фрэнси Брейди! А ведь ему не следует там быть. Эй, вороны, сказал я им, а ну отвалите! — они и слиняли. Красота, сказал я себе, интересно, а найдется ли здесь сыр или маринованные огурчики? Так вот же, в холодильнике, в коричневом горшочке! А до чего вкусные! Прямо пальчики оближешь! Решено — в следующий раз опять остановлюсь в отеле Ньюджентов.

Перекусив, я поднялся на второй этаж поглядеть на комнату Филиппа. Нашел без проблем. На кровати лежали комиксы. Открыл платяной шкаф, и что вы думаете? увидел школьную форму Филиппа, ту самую, что он носил, когда учился в английской частной школе. Темно-синяя фуражка с бляхой и пиджак с кантом и серебристыми пуговицами. Там же были и серые брюки с острыми как бритва стрелками, а еще черные, начищенные до блеска ботинки, ну-ка, увижу я в них свое отражение? а то, конечно увижу! Я решил, что неплохо бы развлечься, и надел ботинки. А потом глянул на себя в зеркало. И важно так сказал: Фрэнсис, окажите мне любезность, сходите в буфет. Потом покружился и ответил: с превеликим удовольствием, друг мой! Позвольте узнать, как вас зовут? Ах да, говорю, прошу прощения! Меня зовут Филипп Ньюджент!

После чего принялся расхаживать по дому, совсем как Филипп. Миссис Ньюджент кричит мне снизу: Филипп, ты наверху? Я отвечаю: да, и она зовет к чаю. Спускаюсь, а на столе уже стоит солидная порция бекона, яйца, чай и все такое. Филипп, сынок, чем это ты там занимался? спрашивает миссис Ньюджент. Да так, мам, ничем особенным, возился с набором "Юный химик". Надеюсь, ты не задумал сделать какую-нибудь

1. Приключенческий фантастический фильм 1961 года.

вонючую бомбу? интересуется она. Что ты, мам, разве я способен на такую шалость! Тут мистер Ньюджент опускает газету и смотрит на меня поверх очков. Вот это правильно, сынок, правильно говоришь. Рад слышать от тебя такое. Ну, у меня аж мурашки побежали по коже, так я заволновался от этих слов мистера Нуддита. А когда глянул на него, он уже снова читал газету.

Как закончил с чаем, сказал, пойду к себе, но не пошел, а стал вальсировать на площадке второго этажа, напевая одну песенку из "Изумрудных сокровищ", и так попал в спальню мистера и миссис Ньюджент. Лег на кровать и вздохнул. Вдруг послышался голос Филиппа. Он тихо так сказал: мам, ты ведь понимаешь, зачем он здесь, правда? Он хочет стать одним из нас. Хочет, чтобы его звали Фрэнсис Ньюджент. Вот чего он добивается!

Миссис Ньюджент теперь стояла надо мной. Да, Филипп, сказала она. Понимаю. После чего медленно расстегнула халат и вынула грудь.

Возьми, Фрэнсис, говорит.

Обхватила меня за затылок и решительно прижала к груди. Филипп все так же стоял в ногах кровати и улыбался. Я выкрикнул: *ма, это все неправда!* Миссис Ньюджент покачала головой и сказала: *поздно ты спохватился, Фрэнсис. Раньше надо было думать, пока не решил жить с нами!*

Я задыхался, прижатый к жирной, теплой плоти.

Нет!

Отшатнувшись, я перескочил через туалетный столик и разбил зеркальце. Миссис Ньюджент покачнулась, ее грудь обвисла. Ну что, Филипп? сказал я и засмеялся. Филипп заканючил: *ну пожалуйста, Фрэнси.* Я спросил его: это ты со мной говоришь, мистер Свинья? Не знаешь, как ведут себя свиньи? Так я научу. В следующий раз не забудешь. А вы тоже, миссис Ньюджент! Давайте подходите поближе! Хватит с меня ваших глупостей. Итак, сегодня мы учимся быть свиньями. Пожалуйста, вытяните шеи и сморщите носы, чтобы были похожи на пятачки. Отлично, Филипп. В одном из ящичков я нашел губную помаду и большими буквами написал на стене: ФИЛИПП – СВИНЬЯ. Ну, спрашиваю, разве не красота? Да, Фрэнсис, подтвердил Филипп. А теперь вы, миссис Ньюджент. Что-то вы не больно стараетесь. Ну-ка, на четвереньки, не отвлекайтесь. Она опустилась на четвереньки и теперь выглядела точь-в-точь свиньей на скотном дворе, с ее-то розовым торчащим задом. Миссис Ньюджент, изумился я, да это ж просто здорово! Спасибо, Фрэнси, ответила миссис Ньюджент. Такая вот школа свиней. Потом я напомнил им, чтобы впредь не вставали с четверенек. Тебе все понятно, Филипп? Да, ответил он. Вас, миссис Ньюджент, это тоже касается. Ваш долг как свиноматки приглядывать за Филиппом, чтобы вел себя как примерный поросенок. Запомнили? Она кивнула. Потом я заставил их повторять за мной. Я – свинья, сказал Филипп. Я – свиноматка, сказала миссис Нуддит. Вот и отлично, молодцы!..

Миссис Ньюджент стояла рядом со мной. Но не в халате – в своей обычной одежде и держала в руке сумку, набитую всякой всячиной, которую она привезла от Баттси.

У нее аж челюсть отвисла, она плакала, показывая на разбитое зеркало и исписанную школьную доску, то бишь стену. Я глянул на Филиппа – тот побледнел как привидение. Мистер Ньюджент заявил, что лич-

но во всем разберется. *Сейчас я им займусь!* произнес он голосом, пропитанным дорогим табаком "Айриш Вирджиния". Филипп и миссис Ньюджент пошли вниз, а в спальне остались только я да он. Выглядел мистер Ньюджент очень даже неплохо, этого у него не отнимешь. Аккуратно расчесанные волнистые волосы, на локтях пиджака нашиты блестящие кожаные заплаты. На лацкане красовался металлический нагрудный знак, какой дает "Пресвятое Сердце", он как бы говорил: *в жизни не брал в рот спиртного! Не брал и не собираюсь!* Мистер Ньюджент уставился мне прямо в глаза и ни разу не сморгнул. Даже голос не повысил. Только сказал: на этот раз так легко не отделаешься! Уж я похлопочу, чтобы ты попал туда, где тебе самое место. Ну а прежде чем за тобой явится полиция, уберешь вот это и еще стены вымоешь, моя жена уборкой заниматься не будет. Довольно она от тебя натерпелась. Блин, мистер Ньюджент, подумал я, как мне, спрашивается, руководить свинячьей школой, если вот так вот мешают? Мистер Ньюджент, спросил я, как поживает Баттси? Он не ответил и встал спиной к двери, на случай, если я вздумаю дать деру. Но я об этом и не помышлял. Я задумался... и вдруг получил оплеуху — сержант полиции потирал свои костяшки и приговаривал: *не смей! А ну, не смей*! Иначе, парень, сильно пожалеешь. Не смей? Не смей — что?

Меня уже уводили, а миссис Ньюджент все еще лила слезы — мистер Нуддит обнял ее и отвел в дом. Когда заканчиваются немые фильмы, вдруг откуда ни возьмись появляется рука и вешает табличку, на которой написано: КОНЕЦ. Точно так же было, когда меня увозили на машине. Стоит себе дом Нуддитов, вдруг рука вешает табличку на входную дверь, и — ту-ту! — мы отъезжаем.

На этом у меня с Ньюджентами и закончилось, до поры до времени.

Сержант сидел на переднем сиденье и вспоминал, как давным-давно ухаживал за моей мамой, как она считалась одной из самых хорошеньких девушек городка, и все могло бы сложиться иначе, если бы не шатия-братия, с которой ей пришлось связать свою жизнь. Благодарение Господу, что мама сейчас далеко и не видит всего этого.

Да нет, говорю, она в озере, причем из-за меня.

Господи боже, будь ты моим сыном, я бы переломал тебе все кости, сказал он. Потом вытер губы и пробормотал: вот только вряд ли от этого был бы толк.

Мы мчались к монастырской школе. Мальчишки пинали мяч, который ударялся о стену. Я махнул им из окна машины, и они замахали в ответ, пока не узнали меня. А узнав, тут же подобрали мяч, как будто я собирался его отнять. Я снова махнул, но они сделали вид, будто ничего не заметили. Не желали водиться со мной с той самой игры, когда нашу команду поставили против команды из Кэррика. Ты вон как вымахал, сказал учитель, и мускулы прямо стальные — из тебя получится отличный нападающий. Я видел — ты, когда захочешь, бегаешь не хуже мартовского зайца. Я даже забил два гола, так что не знаю, чего это они. Небось все из-за долговязого увальня в другой команде. Посреди игры он мне говорит: эй, ты, хитрожопый, я тебе покажу. И как заедет по ногам, а потом судье: я ничего не делал. Ему и сошло с рук. Меня аж перекосило от боли, добрых полчаса хромал, можно было подумать, бедняга Фрэнси

Брейди уже не выйдет на поле. Видно, тот увалень так и решил, потому что в следующий раз, когда мяч оказался у меня, подбежал этак не спеша, полагая, будто шутя отобьет у меня мяч. Так вот, если бы он постарался, ему бы это удалось, потому как меня интересовало только одно — отомстить за то, что он со мной сделал. Так что я размахнулся и заехал ему ногой прям между ног, он рухнул, как мешок с картошкой, выдыхая: у-у-уй-я-я-я! ну и все такое. Я решил еще разок ему наподдать, но судья выкрикнул мое имя и удалил с поля. Потом мне от препода досталось, он меня и слушать не стал, так что я сказал: ну и пшел к чертям собачьим со своим футболом! А ведь верзила тот, ублюдок из Кэррика, наверняка обрадовался. Ну и здоров же он был, я запросто мог пробежать у него между ног. Ага, пока не отбил ему яйца.

Сержант был ну вылитый клоун из цирка Даффи, только не по виду, а по манере говорить. Особенно когда расписывал все те ужасы, которые меня ожидали. Хох-хо! приговаривал. А потом: гыыы! Ну точь-в-точь как клоун Сосиска. Хох-хо! да ты страшный чеек, ну стршенно жуткий тип, орал Сосиска и удирал в своих широченных полосатых штанах. Небось они с сержантом земляки.

Сержант снова затрещал: хох-хо! вот попадешь к святым отцам, дури-то в те поубавится, хох-хо! Я ему: простите меня, сержант Сосиска, но он как ткнет окурком в пепельницу, мол, поздновато спохватился, надо было те, паря, раньше кумекать, когда задумывал всякое непотребство в доме Ньюджентов! Попался, хааа!

Ой-ой-ой, щас прям заплачу, сержант Сосиска, сказал я.

Но сержант не заметил, что я обозвал его Сосиской. Вдоль улицы тянулись кусты, садовник разбрасывал навоз. Когда мы проезжали мимо, он выпрямился и все глядел нам вслед, одной рукой упершись в бок, а другой поправляя кепку. Я обернулся к заднему стеклу и состроил ему рожу — он едва не грохнулся в навозную кучу. И вдруг откуда ни возьмись вырастает домина в сотню окошек. Местечко что надо, говорю я. Хох-хо! отозвался сержант, поглядим, что ты запоешь через полгода! Хах-ха!

Главный в школе для плохих мальчиков — человек-пузырь. Вот он, у окна, с огромной башкой-пузырем, а вот уже идет к нам, подпрыгивая — прыг! прыг! — и говорит сержанту: *добрдень!* В жизни не видал такой здоровенной, отполированной до блеска башки, как у отца Пузыря. Добрдень всем! говорит, и сержант запыхтел, отдуваясь: добрый, добрый. Как доехали? Да ничего, святой отец, ничего, спасибо.

Вот и замечательно, сказал Пузырь.

И окинул меня взглядом. Вот он, значит, какой, знаменитый Фрэнси Брейди.

Да, святой отец, отвечаю я, он самый Фрэнси Брейди и есть.

А ну, молчать, тебя не спрашивали, прикрикнул на меня Сосиска, но Пузырь поднял руку, мол, ничего-ничего, сержант.

Этот парень сущий злодей, предупредил Сосиска.

Пузырь уставился на меня, так и буравит своими глазюками. Вам, мистер Брейди, надо бы вести себя поучтивей, вот что я вам скажу. Сер-

жанту такие речи пришлись по нраву, он принялся потирать руки, приговаривая: полгода, всего полгода, вот увидишь!

Ты все-таки прислушайся к моим словам, посоветовал мне Пузырь, после чего погрузил руки глубоко в прорези сутаны, улыбнулся Сосиске, и они давай чесать языком о футболе и погоде. Наконец Сосиска сказал: ну, мне пора. Потом глянул на меня: а к тебе я еще наведаюсь.

Да, сержант, ответил я.

Он медленно так попятился, можно подумать, я выхвачу револьвер — бах! бах! — и они с Пузырем валяются с дырками в головах, потом послышалось тррр, тррр пых-пых-пых и хох-хо! — сержанта и след простыл.

Ну а теперь, сказал Пузырь, поглаживая подбородок и глядя прямо на меня, надеюсь, мы лучше поймем друг друга. Как тебе твой новый дом, мистер Брейди?

Здоровский, сказал я, вполне сгодится для свиней.

Что? Что ты сказал? переспросил Пузырь, но то, что я повторил, ему все одно не понравилось.

Невероятная Школа для Свиней! объявил я голосом диктора из телика.

Нет, нет тут никаких свиней! на последнем слове он аж взвизгнул — вот развлекуха-то!

Добро пожаловать в школу для свиней, сказал я и на всякий случай отодвинулся от Пузыря.

Ладно, не ты первый, не ты последний!

И начал закатывать рукава. Я сложил ладони рупором, и под кустами разнеслось глухое эхо: поросята, а поросята! Отпирайте! кричал я.

Пузырь попытался схватить меня, но я оказался для него слишком вертким, а уж когда опустился на четвереньки, то он и вовсе не мог меня поймать. Я ползал вокруг него, что его страшно злило. Потом пару раз хрюкнул.

Ну а после Пузырь ухитрился влепить мне такую затрещину, что искры из глаз посыпались. Это еще цветочки, пригрозил он. А я был рад, что он мне всыпал. Сам напрашивался на взбучку.

Чего я только не вытворял, чтобы окончательно довести Пузыря. Говорил, что, мол, добро пожаловать в свинячью школу. Хрюкал. Ну, давайте, говорил я, подставляя щеку. Но священник только молча отступал, буравя меня своими глазами-сверлами. Ничто его не брало. Он просто смотрел на меня, так что в конце концов я угомонился. Ну, закончил? спросил он, и я ответил: да, закончил. Совсем выдохся, аж голова заболела. Да еще эти вороны на телефонных проводах. Чё уставились, дряни этакие, подумал я. А священник мне: ну-ка заходи, и чтобы я больше дерзостей не слышал. По лестнице я поднялся в общую спальню, где на каждом подоконнике стояло по святому, отродясь не видал таких уродов, выглядят так, будто вот-вот окочурятся. Я скорчил кислую мину, потом показал на Богоматерь. Что-то она плоховато выглядит, ей бы пососать леденцы от простуды. Пузырь ничего не ответил, сказал только, чтобы через полчаса я был внизу, на молитве, а завтра утром подъем в шесть часов — торф укладывать. На окне против моей кровати стояла маленькая фигурка Иисуса. Иисус смотрел на меня сверху вниз. Бедняга Фрэнси Брейди, говорил он, *ну разве это не кошмар?* Я подошел к нему и спросил: *что* кошмар?

Ну... это... я просто так сказал, ответил Иисус. Нет уж, договаривай! Что именно ты назвал кошмаром?

Ладно, сказал я, не хочешь говорить, получай и — р-р-раз! — шмякнул Иисуса об раковину, маленькая голова скатилась в сточное отверстие, торчит там, повернувшись набок — буль-буль! — захлебывается водой. Вдруг меня как током ударило — Джо к этому времени уже все должен был узнать. Выходит, подвел я его. Теперь у меня никого не осталось, совсем никого, а все сам виноват. Если Джо не напишет, и не подумаю обижаться — с чего ему общаться со мной после всего, что я натворил? Дал слово и не сдержал. Я попробовал резануть по запястьям каким-нибудь боком разбитого Иисуса, где поострее. Зазубрины-то я нашел, да только никакого вреда они мне не причиняли, сколько ни старайся, хоть сто лет. Потом подошел какой-то деревенщина. *Что это ты тут делаешь? Бог мой, он же разбит, Господи, да если священник увидит, он же тебя убьет!* Я глянул на него, не выпуская фигурки из рук. Никогда еще таких не видал. На макушке торчит клок волос, а еще два — по сторонам, ни дать ни взять антенны. *Слышь, парень, да у тя бут ба-альшие проблемы,* сказал он. Штаны, как у пугала, только до лодыжек, стоит ссутулившись, оттопырив костлявый зад, будто несет на спине невидимый мешок с картошкой. Нда, те не позавидуешь, снова сказал он, ну да мне надоело все это слушать, я как замахнусь на него обломком, он и смылся, побелев точно привидение, чуть не обделался. Я швырнул Безголового в мусорное ведро и лег на кровать.

Й-и-ху-у! крикнул Джо, и санки с шумом понеслись по белому покрывалу лужайки. Да, вот ведь были деньки, сказал я Джо, а спокойные какие. Цветной шарик из мрамора угнездился у него между большим и указательным пальцем. Джо посмотрел на меня озадаченно. Ну так как, Фрэнси, чей черед? Мой? Я сказал, что да, его, пусть даже это было и не так.

Шарик покатился по твердой глине вдоль тропинки из света.

Старина Джо. Когда пришло письмо, я места себе не находил. Разболтал всем и каждому. В ответ же только: а? чё? Ну да мне все равно было. Я прям-таки сам не свой сделался. Но одно знал наверняка. Больше я ни в какую передрягу не попаду. Все, начинаю прилежно учиться, получу аттестат на имя Фрэнси Брейди Совсем Даже Не Отъявленного Выродка, и прощай школа для свиней и деревенских парней. Будем на пару с Джо гонять к реке да сидеть на берегу. Я нашел отличное местечко, где можно было скрыться от костлявых задниц, вечно за мной таскавшихся, — в бойлерной за кухней, я прятался там и все перечитывал письмо, раз за разом. Бу-бум! заработал большой котел, засветился, вспыхнул фейерверком искр. Я сел на сваленные в кучу мешки и стал читать:

Привет, Фрэнси, ну и идиотина же ты, каких делов понаделал! Ведь говорил тебе насчет этой миссис Ньюджент, так нет, ты не послушал, и за каким ты вообще оказался у них? Ты что, Фрэнси, хотел дом спалить? У нас чего только не болтают. Я подкатывал к Филиппу, но он отмалчивается. С Филиппом порядок, но если ты, Фрэнси, еще хоть раз тронешь его, наживешь большие, очень большие неприятности. С Филиппом в самом деле порядок. И он не хочет проблем. Сам сказал мне. Не надо было нам красть у него комиксы,

Фрэнси, зря мы это тогда затеяли. У нас сейчас ярмарка, работает аж до двенадцати. Можно выиграть все что угодно. Медведей... ну просто все. Ты когда-нибудь в тире был? Целишься из ружья, и поднимается шериф. Ну такой, из картонки. Стреляешь в него, а если попадаешь, у тебя еще пять выстрелов. Мы там были в прошлую субботу. А бьет ружье — загляденье! Филипп попал два раза и выиграл золотую рыбку. Он отдал ее мне, потому что у них уже есть одна. Я положил ее в окно между рам. В следующие выходные снова пойдем на ярмарку. Если что выиграю, пришлю тебе. Филипп придумал одну штуку с игровыми автоматами, так что может и удастся выиграть. Ну, бывай, скоро напишу еще,

Джо.

Я все думал об этой золотой рыбке. И что это Филипп Ньюджент возомнил о себе? Я читал и глазам своим не верил. Он нам не ровня. Эх, забрать бы рыбку у Джо. И вообще, зачем Джо взял ее? Почему не сказал: извиняй, Филипп, но ты нам не ровня.

Потом дошло: Джо делает так, чтобы между всеми был мир, чтоб без всяких там обид, а когда я вернусь, все будет как раньше. Лишь бы только Филипп не вообразил, что заради золотой рыбки мы готовы принять его в свою команду. Нам с Джо есть чем заняться. Рыскать по горам, строить хижины... Если Филипп вздумает молиться маниту, придется ему поискать себе брата по крови. Надеюсь, Джо ему все растолкует, все уладит. Сумеет повернуть так, что ему не будет обидно. Джо ведь мастер улаживать дела, как тогда, в курятнике.

Главное — выбраться из этой школы для свиней и вернуться к Джо. Как только я все это обдумал, сразу полегчало, прям камень с души свалился. Я даже подошел к этим неуклюжим парням, перекинуться парой словечек. А вечером написал ответ, рассказал Джо, что теперь все переменилось. Больше у него проблем с Фрэнси Брейди не будет. Все, конец. Я рад, что он принял от Филиппа золотую рыбку, ни к чему нам враждовать. Написал, что теперь Ньюдженты что хотят, то пусть и воротят. А нам есть куда пойти и чем заняться. Если повстречаюсь с ними на улице, поздороваюсь и вся недолга. Кончились те времена, когда Фрэнси Брейди был грозой Ньюджентов, все в прошлом, писал я. Конец неприятностям, Джо.

Я провел по краю конверта языком и заклеил его. Потом улыбнулся и положил письмо на подоконник, чтоб утром отправить.

Но тут в голову прокралась мысль: *а как же золотая рыбка?* Как вообще все это понимать?

Проснулся посреди ночи. Увидел во сне миссис Ньюджент. Она пекла булочки. Весь дом пропитался ароматами сдобы. Миссис Ньюджент крикнула: ну что, кто-нибудь хочет булочек?

Да, ответил Филипп, и вдруг спрашивает: а ты, Джозеф?

У меня аж лицо побелело, когда я увидел Джо — он смотрел на Филиппа. Они вместе делали уроки. Джо улыбнулся и ответил: спасибо, миссис Ньюджент, с удовольствием. Булочки просто объедение!

Вот и чудесно, Джозеф, отозвалась миссис Ньюджент.

В ту ночь я так и не заснул, все думал, что Филипп сказал Джо. Не то чтобы они говорили обо мне или там о чем еще. И вообще, странная

штука вышла. Во сне они вроде даже не знали про меня. На следующий день я сказал себе: все, больше не хочу видеть этот сон, никогда.

Ночами я лежал без сна и все строил планы, что сделаю, когда выберусь из школы. Хотя вообще-то трудно строить планы, когда вокруг целая орава недоумков. Только выключат свет, сразу отовсюду — хр-р-р, хр-р-р. Крикнуть бы: хорош сопеть, ублюдки! но как знать, вдруг за дверью притаился Пузырь с фонарем. Так вот, перво-наперво сколочу плот и поплыву вниз по реке. Отправимся с Джо куда глаза глядят. Было бы неплохо. Или устроим шалаш на дереве. Джо ходит дозором, бабах из винчестера: умрите, вороны поганые! У старой железной дороги есть склад, можно устроить в нем штаб-квартиру нацистов. И раскочегарился же я, прям как тот котел в бойлерной, — идеи точно искры в голове роились. Не успевал додумать одну, как уже поспевала другая, говоря: а вот я поинтереснее буду, гляди-ка. Одно было ясно: пройдет еще немало времени, прежде чем я снова потревожу спокойную жизнь Филиппа Ньюджента. Теперь я даже радовался, что Джо взял золотую рыбку. Так оно вернее будет, мы с Джо начнем все сначала. Филипп пойдет своей дорожкой, мы своей. Вот о чем я теперь думал. Наконец заснул и во сне превратился в Парящую Птицу, раскинувшую крылья над заснеженными горами, в которые пришла Зима.

Каждый день Пузырь отводил нас на болота, топал впереди, улыбаясь местным, которые стояли и таращились — можно подумать, на нас штанов не было. Женщины шептались: вот они, сиротинушки. Я хотел было обернуться и крикнуть: эй, вы, уродины, я вам не сирота! но вспомнил, что я прилежный ученик, что в конце года я должен получить аттестат на имя Фрэнси Брейди Совсем Даже Не Отъявленного Выродка, так что прикусил язык и бросил на женщин грустный, пристыженный взгляд. Как только мы вышли на открытое пространство, Пузырь почувствовал себя вольготнее, начал размахивать руками и напевать *Святой Михаил к берегу гребет*, а окружавшие меня неотесанные болваны подпевали *Аллилу-у-уйа-а-а!* из кожи вон лезли, лишь бы Пузырь обратил на них внимание. Только и слышно было со всех сторон: до чего он здоровский, классный мужик. Ага, говорил я, поет аж заслушаешься. Да-да, подхватывали недоумки, он лучший певец во всей школе. И бежали вперед, стараясь догнать святого отца и заговорить с ним. Вообще-то Пузырь был ничего. Мне нравилось, как он выводил аллилу-у-уйа! Рожа красная, прям румяное яблочко. Обычно мы копали весь день, а Пузырь развлекал нас историями о прошлом, когда сам он был молодым, англичане убивали всех и каждого и считалось большой удачей, если на всю семью находился кусок пресного хлеба.

Да, святой отец, ничто не сравнится с толстым ломтем пресного хлеба, соглашался я, отирая со лба пот и кидая дерн в общую кучу. Пузырь умолкал, облизывая губы. Потом смотрел на меня затуманенным взглядом. А вот если его еще маслом намазать... Истинная правда, отвечал я и снова принимался за работу. На меня бросали недобрые взгляды — еще бы, с Пузырем говорю. Я усмехался. А знаете, для чего сгодится добрый ломоть пресного хлеба? хотелось мне спросить их. Для чего? спросили бы они. Чтобы такие деревенские сморчки, как мы, вырастали в крепких мужиков? Не, чтобы шевелились ваши задницы, идиоты,

сказал бы я. Ну да не стал говорить. Только еще раз усмехнулся и сделал вид, будто спину ломит. *Вот черт! Эй, ребята, ну и работенка*, вон как скрутило. И физиономии же у этих простофиль! Стояли и не знали, что ответить.

Однажды Пузырь отвел меня к себе в кабинет и сказал: рад, что ты стал вести себя лучше.

Да, святой отец, ответил я.

Тут его взгляд снова затуманился, он уставился в окно, да и выдал целую речь про мальчиков, которые на его памяти учились в этой школе. Я видел, как они поступали и выпускались, говорил он, с самого первого дня, когда сам еще был новичком, младшим приходским священником. Знаешь, Фрэнси, я хорошо помню тот день, для меня все было в новинку. Потом перешел к другой истории, про покрышки, которые загорелись как раз в день его рукоположения. Да уж... сказал он, качая головой, и завел речь о чем-то другом. Да уж... вот только я не прислушивался, меня гораздо больше занимала обертка от шоколадного батончика, которую носило ветром над крытой галереей, я глядел на нее и думал: неплохо бы умять такой батончик. Вот бы сбегать в кондитерскую с половиной кроны. Тридцать шоколадных батончиков, пожалуйста. Что-что? переспросил бы тот тип за прилавком. А потом мы бы ушли подальше и слопали их один за другим у железнодорожных путей, я и Джо. И все перемазались бы в карамели и шоколаде. Пузырь разглагольствовал о чуваке, который основал школу. Вот его портрет, сказал он. У чувака того была не голова — кусок шлакоблока, а брови-слизняки так и ползли вверх. Не хотел бы я затеять с ним потасовку. Видать, тоже из деревенских. Так, значит, это он основал школу для неотесанных болванов с тощими задницами? полюбопытствовал я. Пузырь улыбнулся и сказал: приятно было поболтать с тобой, Фрэнси, продолжай и дальше работать над собой. Еще бы, отец Пузырь, как же иначе, ведь мне надо выбраться отсюда с аттестатом на имя Фрэнси Брейди Совсем Даже Не Отъявленного Выродка.

После меня назначили прислуживать во время мессы. Вот смеху-то было. На улице темным-темно, ни души не видать. Я приносил потиры и прочее, мы с отцом Сэлливаном шли по коридору к часовне, громко шурша: шурр-шурр. Domine, exaudi orationem meam[1], произносил отец Сэлливан, а я должен был ответить: et clamor meus ad te veniat[2]. Едренифени бени мени, сказал я вместо этого. Да какая разница, главное что-нибудь пробубнить. И вообще, отец Сэл никогда не вслушивался. Поговаривали, будто он не в себе с тех пор, как побывал миссионером. Уж не знаю, что там с ним приключилось, какой-то негр из племени балубас[3] посадил его в котел, что-то типа того, только с тех пор лицо у отца Сэла сделалось серым, как овсянка, и он перестал спать ночами.

Примерно тогда я и начал слышать голоса святых. Пузырь спросил меня как-то, что это я все пропадаю на нижнем поле, да еще в одиночку?

Я и брякнул: вроде как со мной Пресвятая Дева говорит. Прочитал в одной книжке про итальянского мальчика, которому являлись видения. Он был в поле, пас овец и вдруг возьми и услышь мягкий, не пойми отку-

1. Господи, услышь голос мой (*лат.*).
2. И вопль мой к Тебе да приидет (*лат.*).
3. Воинственное племя в Конго.

да идущий голос: ты мой избранный вестник, скоро конец света и все такое. И вот был мальчишка простым пастухом, а стал знаменитым священником, начал путешествовать по миру, писать книги, разъезжать в автомобиле, говоря, что, мол, Царица ангелов избрала его. Ну что ж, подумал я, хватит с тебя, святой Овцевод-итальяшка, настал черед Фрэнси Брейди. Привет, Пресвятая Дева. Привет, Фрэнси, ответила она, как поживаешь? Да неплохо, сказал я.

Хвала Господу, изрек Пузырь, и я подумал, что он сейчас не сходя с места вознесется на небеса.

Я стал коленями на влажный торф, чтобы помолиться. Поднял голову и увидел ее возле площадки для игры в мяч. Я не знал, что сказать, может: а, так это вы? или: как доехали? и промолчал. У Пресвятой Девы Марии голос оказался что надо. Хоть всю ночь слушай. Как будто всех добрых женщин мира перемешали в огромной квашне и получилась Пресвятая Дева.

На ее жемчужно-белые руки были намотаны четки, она сказала, что рада моему решению хорошо себя вести.

Я: без проблем, Пресвятая Дева.

Потом рассказал об этом отцу Сэлливану, и тот ответил, что я открыл в себе нечто очень ценное.

На следующий день я беседовал еще с кем-то, потом со святым Иосифом, с архангелом Гавриилом и другими, чьих имен и знать-то не знал. Ну, чем больше, тем веселее. Я поглядел в книжки отца Сэлливана и обнаружил там до кучи этих типов. Святой Варнава, святая Филомена. Столько народу, что можно было бы разом аж шесть матчей провести.

Наши болваны рвали и метали. Что это она тебе является, возмущались они, можно подумать, ты какой-то особенный.

Я послал их куда подальше.

Прошло не так уж много времени, как в нашу школу прибыл отец Размазня. Шутка — на самом деле он все время был в школе. Ага — отец Сэлливан, он самый! Отец Сэл обожал слушать мои россказни про святых в поле, однако ж больше всего он любил двоих, святую Екатерину и святую Терезу Авильскую, которая спустилась с неба на облаке из розовых лепестков. Стоило только заговорить о них, как у него уже глаза на мокром месте, а руки сложены для молитвы. Эти две никогда не приходили на поле, но он все расспрашивал меня, так что пришлось придумать пару-тройку небылиц про то, о чем они мне возвестили. Мы были в ризнице, я дошел до середины своего рассказа, как вдруг старикан начал гладить меня по голове, гладит и гладит. Взгляни на себя, мальчик мой, сказал он, слуга Божий. Introibo ad Altare Dei[1], ответил я сам не знаю почему, а в следующую секунду Сэл возьми да и смачно так чмокни меня своим большим, слюнявым ртом прямо в губы. А потом и попроси: пожалуйста, расскажи мне еще раз историю про святую Терезу Авильскую. Пока я рассказывал, у него на лбу аж пот выступил, большие такие капли, как ягоды, а когда закончил, он принялся бормотать что-то под нос и расхаживать туда-сюда. Устроил фирменное отца Размазни. Мне подумалось, что это даже забавно. Как ты, Фрэнси, ничего? вдруг спрашивает он меня. Лучше не бывает, отвечаю я и робко опускаю ресницы,

1. И подойду к жертвеннику Божию (*лат.*).

ни дать ни взять Пресвятая Дева. Ну-ка сядь, хлопает он себя по коленям. Я сел. И что же Размазня? Вынимает свою штуковину и начинает тереть ею вверх-вниз, подбрасывая меня на коленях. Потом все его тело задрожало и он согнулся, чуть пополам не разломился. Случись такое, мне бы точно несдобровать. Что тогда скажет Пузырь? Спросит: что здесь вообще происходит? Почему это одна половина отца Сэлливана валяется за книжным шкафом, а вторая сидит на стуле? Ну-ка, мистер Брейди, не ваших ли это рук дело? Что, опять за старое? Мне бы следовало догадаться! Ну да, к счастью, до этого не дошло. Размазня только помялся весь, как бумажный пакет, и лежит, пряча глаза. Я сказал ему, чтобы не тревожился попусту, но он никак не отнимал рук от лица. Хлюп-хлюп! — такой вот он, старикан Сэл, то бишь Размазня. Поджидая, пока он наконец уберется, я стал читать книжку. Классная была книга! Один чувак бродил по улицам Дублина весь обмотанный под пальто цепями и говорил: прости меня, Иисус, за все дурное, что я содеял. Мэтт Тэлбот — вот как его звали. А уж что он вытворял! Идет, скажем, в лавку и покупает лосося. Потом варит его в котелке. А дальше что? Дальше рыбу отдает кошке, а сам выпивает воду, и все из-за своих прошлых грехов. Вот ведь ненормальный! Раньше он пьянствовал в пабе с лесорубами. А потом решил: стану спать на голых половицах и носить вериги. Тогда Господь простит мне пьянство и все плохое, что я сделал. Простишь, Господи? А как же, отвечает Господь, прощу, если половицы будут крепкими и твердыми. И вот Мэтт спит на голых досках и носит вериги, бродя под дождем, пока однажды не падает замертво, а находят его, представьте, монахини! Глядите, здесь человек, святой мученик, весь в веригах! Я чуть не помер от смеха, пока читал, и тут Размазня говорит: прости меня, Фрэнси! Я сказал, мол, ничего, все нормально, у вас сигаретки не найдется?..

Ах ты девочка моя ненаглядная, сказал Размазня и сел за свой стол, бормоча какую-то чушь.

*

Он сказал, что во взгляде моем узрел все то прекрасное, что есть в мире.

Так что, значит, оно сейчас у меня в глазах? спросил я. И рассказал ему про детей в нашем переулке, про небо цвета апельсинов над нашим домом. Эх, надо было держать язык за зубами. Я и до половины рассказа не дошел, когда увидал, что у него по лицу текут слезы. Он начал целовать мне руку, все целовал и целовал. Расскажи мне о них, расскажи еще, прошу тебя, Фрэнсис! Я уж думал, у него глаза повыскакивают из орбит, прыг на ковер, ох, ну ни хрена себе! да что же это мы делаем — вдруг Пузырь дознается!..

Размазня отдал мне три сигареты — все, что у него оставалось. Я знаю — он бы и сотни для меня не пожалел. И все смотрел на меня, смотрел... Вот дурак.

Однако не такой уж и дурак. Сказал Пузырю, что абсолютно уверен в моем призвании к духовным занятиям и впредь будет меня наставлять. Пузырь был на седьмом небе от счастья. Встретившись со мной на крытой галерее, он остановился и воскликнул: бери пример со святого Августина!

Хорошо, святой отец, ответил я и склонил голову. Хотя и знать не знал, кто такой святой Августин. Если Господь призывает тебя, не надо бояться. Помни, мы всегда с тобой, Фрэнсис! Да, святой отец, я знаю. Прямо чувствовал, как он глядел на меня и только что не мурлыкал от счастья, пока я шел в сторону поля перебросится парой слов со святыми, выкурить сигарету и умять пакетик "Роло", который дал мне Размазня.

*

В следующий раз Размазня сказал, что я пахну розами, как святая Тереза, и обещал дать сколько угодно пакетиков "Роло", если расскажу о своем самом плохом проступке. Я рассказал, что творил дома, но он все повторял: нет-нет, еще хуже! и я чувствовал, как дрожит его рука. Я просил, чтобы он перестал, но он все твердил: что-нибудь такое, чего ты не можешь простить себе, что-нибудь ужасное, Фрэнсис, жуткое, пожалуйста, расскажи! но я сказал: прекратите! А он не прекращал, и тут я снова услышал маму: ты не виноват, Фрэнси. Тогда я вцепился зубами Размазне в руку, а потом крикнул: *прекратите, никогда больше не говорите этого!*

После того случая я к нему близко не подходил. Вообще не хотел его видеть, с этим его запахом, его дыханием и этими его ужасными вещами. Но Размазня стал еще больше сходить по мне с ума. Отвез в кафе и признался: я люблю тебя.

Ладно, Размазня, сказал я, только чтобы без этих вопросов. Хорошо, Фрэнсис, ответил он, как скажешь, так и будет.

Однажды приехал отец, он шел по дороге, путаясь в пальто, огромном как у Аль Капоне. По его виду я понял, что он побаивается, наш приют напомнил ему белфастскую школу для свиней. С собой он прихватил полбутылки виски. Я видел – из кармана пальто торчало горлышко. Отец никак не мог взять себя в руки, глаза у него так и стреляли по сторонам, а все из-за статуй святых, смотревших на него сверху, будто говоря: ну что, мистер Свинья, прибыли обратно?

Вот почему он опустил глаза и полез в карман, чтобы схватиться за бутылку, точно ребенок за погремушку. В приемной пахло мастикой, а еще там стоял большой дубовый стол на коротких толстых ножках, прям деревянный слон. Прибыл Пузырь, отец как раз бутылку успел спрятать. Пузырь стоял рядом со мной и улыбался, мягкие руки на животе сложены, смотрел на меня сверху вниз с тем идиотским выражением, которое напяливал, когда приходили родители, полицейские или кто еще. То ли священник, то ли корова. Знаете, а ваш сын делает успехи, сказал он, хотя никто его не спрашивал. Отца же беспокоило только одно – что его застукают с бутылкой, вытолкают взашей и запретят здесь появляться. Каждый день в семь уже на ногах, мессу не пропускает, никогда не огрызается, да он вообще молодчина, мистер Брейди. Потом Пузырь понизил голос и сказал: видите ли, мистер Брейди, я столько раз был свидетелем тому, какие они к нам поступают и какие уходят – словом, понесло Пузыря. Я стоял у окна и глядел, как худосочная команда ходит по кругу, прогуливаясь. Ворона раскорячилась на стойке ворот,

а потом слетела, углядев червяка. Где-то едва слышно работало радио. Взгляни на пирамиды по берегам Нила, неслась песня, погляди, как над тропическим островом солнце встает. Я стоял там на залитом солнцем песке, смотрел, задрав голову, на пирамиды и думал, до чего же я маленький, и тут услышал тихий щелчок дверного замка, прямо как в ту ночь, когда дядя Эло ушел, а комната раздулась, став втрое больше обычного. Отец снова принялся за виски. Казалось, ему уже все равно, есть кто в комнате или нет. Он словно шел по следу собственных слов, не подозревая, куда они его приведут, отвлекаясь только на то, чтобы глотнуть из бутылки. Давно, как же давно было это путешествие в автобусе к приморскому городку Бандоран, что в графстве Донегол. Война закончилась, и все были счастливы. Каждый раз, как автобус катился с горы, пассажиры смеялись, хлопали в ладоши и пели. Она случайно прислонилась к его плечу. Бог мой! раздались возгласы вокруг, только гляньте!

Щелкнул фотоаппарат. Теперь только и разговоров будет, что о нас с тобой! воскликнула мама, но отец лишь обнял ее.

Они держались за руки, гуляя по взморью, рассуждали о духовом оркестре, который он соберет в городке, о книге, что он читал, о временах Майкла Коллинза[1], героя-революционера, о нем самом. Да ладно тебе, ну что я могу об этом знать, говорила мама. И откуда ты такой умный, смеялась она. В тот день не было ни ссор, ни виски, ничего такого. Потом они снова встретились в том же самом городке и сразу пошли через пестрое сумасшествие ярмарки в пансион под названием "Над волнами", где по вечерам играла музыка. Его попросили спеть, и как же она была горда, когда он закрыл глаза и выдал свою версию песни *Мне снилось, что я живу* в мраморных залах. Все нас там знали, рассказывал отец. Хозяйка дома каждый вечер повторяла: как бы нам упросить мистера Брейди спеть еще разок? Вот так она говорила. *Вы мои самые дорогие гости! Голубки! Бенни и Энни Брейди.* За окном спальни слышался приглушенный рокот моря, и мама, я видел, как она лежит с ним на кровати, только это была другая женщина, призрак той, которая была моей мамой. Не знаю, что я чувствовал, когда он об этом распространялся, где-то в глубине таилось желание наброситься на него, крикнуть: какой толк говорить об этом сейчас. Хоть бы Христос проклял тебя в ту ночь, ты, ленивый, никчемный бродяга. Так я думал, но слова увяли, не достигнув губ, его дряблая плоть, обнажив кости, медленно растаяла, исчезла. Его больше не было в комнате, не было и гневно взирающих сверху святых, он видел только ее, как она стоит у края воды, а он зовет, его голос спотыкается, пробиваясь через годы и соленый ветер: Энни, Энни! А после на лужайке он обнимал ее и спрашивал: готова ли ты жить на одной картошке и соли до конца своих дней? а мама отбросила свои волнистые волосы и засмеялась: и это все, что ты можешь предложить такой хорошенькой девушке, как я, Бенни Брейди?

Они опустились на колени и вместе прочитали молитву, а я все думал, каким был этот миг с их едва слышной молитвой, унесенной ветром, с

1. Майкл Коллинз (1890–1922) – лидер ирландского восстания 1916 г., министр финансов Ирландской Республики, глава разведывательной службы ИРА, член ирландской делегации на переговорах по англо-ирландскому договору, председатель временного правительства и главнокомандующий национальной армии.

ярмаркой, кружащейся вдалеке, с волнами, лижущими берег, и отцом, перебирающим четки и нетерпеливо глядящим в ее глаза. Но слышал только шепот мертвого дня, когда мы стояли в пустой тишине казавшейся огромной комнаты.

Заткнись! крикнул я, заткнись, довольно, что-то поднялось во мне, я хотел, чтобы все это кончилось. Она была хорошей женщиной, твоя мать, сказал он, всхлипывая. У нас не всегда так было, ты даже не представляешь, как сильно я любил ее. К окну приблизилась парочка тощезадых, норовя поглазеть, раззявив рты, и я снова сказал, чтоб он заткнулся, поздно все это, да и ни к чему. Он потребовал, чтобы я не говорил с ним таким тоном, у него, мол, тоже есть чувство собственного достоинства. Я опустился на колени, как делал он, когда заваливался домой пьяный, потряс кулаком и, прищурив глаз, захрипел его голосом: Пусть проклятие Христа падет на тебя, сука, на тот день, когда я вытащил тебя из этой дыры, из этой лавчонки в Дерри, это самый несчастный день моей жизни. Дальше — больше, и под конец он заплакал. Сынок, если хочешь знать, я пришел повидать тебя, мямлил он. А я: нет у тебя сына, ты упек мать в психушку. Может, так и лучше, без сына-то, как можешь ты быть мне сыном после всего, что сделал. После чего всего, чего всего? я схватил отца за ворот пальто и по его глазам понял: он боится меня. *Что, что я такого сделал?* Слова давались ему с трудом: я любил тебя, Фрэнси, так, как никакой отец не любил своего сына, вот что он сказал, лучше бы ударил, я отпустил ворот и повернулся к нему спиной: отвали, отвали заради бога! но что его давно уже нет, сообразил, только когда услышал Пузыря, тот тихонько спрашивал: правда ведь, Фрэнси, приятная была неожиданность?

Шурр-шурр — мы пересекаем двор. А я и не знал, что твой отец — музыкант, сказал Пузырь. Да, святой отец, он музыкант, еще какой, ответил я, он основал в нашем городке духовой оркестр, никто лучше его не сыграет на трубе. Вот как, воскликнул Пузырь, это же просто замечательно! Да, вскоре после женитьбы отец собрал оркестр. Знаете, а ведь мои родители расписались в Бандоране. В самом деле? Пузырь весь превратился в слух. Да, сказал я, там был пансион, назывался "Над волнами", в нем-то они и провели медовый месяц. Они частенько поговаривали насчет того, чтобы как-нибудь наведаться туда, но так и не собрались. Их все знали в этом пансионе. Отец пел им по вечерам. Жаль, что родители так и не побывали там снова. Возможно, они еще выберутся, Фрэнсис, сказал Пузырь, времени у них достаточно. Ну да, конечно, поддакнул я, нечасто увидишь поющий скелет, после такого выступления хоть пансион закрывай.

Размазня сказал: вот было бы замечательно, если бы мы могли сыграть свадьбу! Я ответил: да, было бы здорово. Я покупал бы тебе цветы и конфеты, а ты бы готовил мне ужин, сказал он. Ха-ха-ха, засмеялся я, прямо как девчонка, а Размазня аж засветился от радости! Маленькая мисс Подснежник, сказал я, Королева Всего Прекрасного В Мире! Он от таких слов чуть умом не тронулся. Уж так разгорячился, аж пар повалил. Ну а я — р-р-раз! — в рот конфетку.

Однажды я спустился в бойлерную и сидел, глядя на цирковое представление, которое устроили искры внутри огромного котла. Попыхивал сигаретой из пачки "Парк Драйв", полученной от Размазни. И вдруг слышу: *я знаю, знаю, что ты здесь, меня не проведешь!* И не думай, будто я боюсь тебя, Психованный Брейди. Я тебя поймаю! Вот я-то тебя и поймаю! И никакие фокусы не помогут! Давай вылезай! Вылезай, змееныш!

Я услышал звяканье ключей, поднял голову, а передо мной садовник, наставил на меня навозные вилы и таращится как полоумный: попался, гаденыш, поглядим, что на это скажут святые отцы!

Я прямо побелел: ну, похоже, мне хана, а садовник вдруг возьми да и захихикай, а потом запер дверь: дай-ка зажигалку. Мерзкие попы, да пошли они! Чего с таких взять, ссут, а и пару не допросишься. Сказал, что еще с сорокового года они ему пять шиллингов задолжали. По всей бойлерной вдруг завоняло сорняками и удобрениями. Мы стояли и глядели на цирковое представление искр через маленькую дверцу в котле. В садовнике этом тоже было что-то от тупого деревенщины. Жарища, сказал он. Ну и жарища от этой печки. Ага, поддакнул я, еще какая жарища! Прям жуть!

Кажется, ты пропустил полосу дерна, это мне один из мерзких попов говорит. А у меня как раз ножницы в руках! Представляешь! Подвезло тому попу, ох и подвезло. Вот на сколько я был от того, чтобы пустить в ход ножницы! сказал он и показал мне кончик большого пальца, зажатый между указательным и средним.

И это я, говорит, я, который воевал за нашу страну! Да-да, в ту самую Пасхальную неделю я тоже был на Главном почтамте[1]. Меня в этой истории интересовал только Майкл Коллинз, да и то потому, что отец, когда они с мамой были в Бандоране, читал о нем. А вы что, *в самом деле* знали Майкла Коллинза? спросил я у садовника. Его чуть удар не хватил. *Знал?!* Да он одно время в моем доме жил!

Садовник стоял передо мной и стряхивал пепел, а сам зырк-зырк по сторонам. Я сказал, мол, отец знает про Коллинза. Ага, ну да, только не столько, сколько я, хо-хо, уж я-то знавал его, что было, то было, и, присев на корточки, посмотрел мне прямо в глаза. Что, не веришь? спросил и хлопнул меня по руке, да так, что я чуть не свалился в огонь. Верю-верю, ответил я. *Видал бы ты, скока ветчины и кровяной колбасы слопал этот парень,* сказал садовник, *неудивительно, что он был хорошим солдатом!*

Потом сложил руки на груди и откинулся с окурком в углу рта. Да все притоптывает ногой, ждет, что скажу. Я сплюнул, да залихватски так, точно какой-нибудь фермер. Мать честная! удивляюсь, мало кто может таким похвастать! Надо же, у вас дома жил! Садовник прямо возликовал, как кобель, почуявший сучку.

То-то же, и радостно затянулся сигаретой.

А знаешь еще что? Коллинз назвал меня лучшим из стрелков, каких только встречал.

Вот это да-а-а! сказал я, да так и остался с раскрытым ртом.

1. Здание центрального почтового управления, служившее штаб-квартирой ирландским лидерам восстания 1916 г. против британского владычества.

Так-то, садовник прищурил глаз: только чур молчок. Не хочу доставлять радость этим ублюдкам.

Уже почти стемнело, когда он закончил взрывать три бронемашины и перестрелял всех "черно-пегих"[1].

Кончик сигареты светился красным глазом между пальцами цвета обожженной глины.

Ладно, завтра снова здесь встретимся, сказал садовник, и я подумал: неужели еще один Размазня? Ну да я знал, что садовник не такой. Ему одно было нужно — усадить "черно-пегого" себе на колено так, чтобы сподручнее прострелить тому башку. Ч-черт! ругнулся он, попы, пригнись, да пригнись же, говорю, и мы оба присели на корточки. Послышалось какое-то бормотание, потом конечно-конечно и скрип кожаных ботинок — святые отцы удалялись, рассуждая: *разумеется, в конце финала на кубок графства он получил по заслугам!* Все нормально, сказал я, ушли. Вот сволочи, выругался садовник, подсматривая в дверную щель, поймают меня здесь, ведь с работы попрут!

Так оно и шло. Если забыть, что я был женушкой Размазни и караулил "черно-пегих" для садовника, в свинячьей школе все шло путем, вот только Размазня взял да и самым дерьмовым образом все испортил, и надо ж ему было.

Ну-ка садись ко мне, сказал он и усадил меня к себе на колено. Да ты прямо картинка! Ха-ха-ха, засмеялся я так, как нравилось Размазне, а он и говорит: ни за что не угадаешь, что я тебе принес.

Я сунул палец в рот и с озорным видом закатил глаза.

Угадай, предложил мне Размазня. Давай говори.

Конфеты, решил я.

Нет, не конфеты.

Тогда книга, сказал я, это книга.

И не книга.

Чего я только не называл, но все мимо. Вдруг он стал шарить за большим креслом — послышалось шуршанье оберточной бумаги. Пытаясь развернуть сверток, Размазня вступил в сражение с бечевкой.

Давайте я.

Ох, пожалуй, с облегчением уступил Размазня.

Глаза у него стали что крышки от банок из-под варенья. Я изобразил дикий восторг.

Святой отец, какая прелесть!

Из упаковки показалась дамская шляпка с длинной белой лентой.

Меня так и подмывало заржать, но бедняге такое не пришлось бы по вкусу, он кусал губы и говорил: ах, Фрэнсис!

Ну, как вам? спросил я, нацепив шляпку и покружившись перед зеркалом. Я все кружился, а Размазня совсем обмяк, даже оперся о ручку кресла.

Как вам кажется... я... уф! красивая?.. уф! я даже запыхался.

У Размазни задрожала нижняя губа. Сядь-ка ко мне, сказал он, и я сел к нему на колени. Он обнял меня: ты и представить себе не можешь,

1. Солдаты английских карательных отрядов в Ирландии.

до чего я люблю тебя, Фрэнсис, ты даже мне снишься. Хочу все о тебе знать. Я ему: десять "Роло". И наболтал кучу всякой чепухи вперемежку с всамделишными историями. Вот развлекуха, рассказал про футбольный матч, про наш городок, про алкаша и всякое такое, но только ему нужно было не это. Да-да, говорит, но я хочу узнать о тебе, Фрэнсис, именно о тебе. Готов поспорить, ты живешь в прелестном, уютном домике! Правда ведь?

И я впервые подумал: нет, не нравишься ты мне больше, Размазня.

Размазня подергал за ленту шляпки и прищурился. А дальше? Расскажи, не стесняйся. Поначалу ничего говорить не хотелось, но он все приставал, и я рассказал ему, что кладовка у нас выложена черно-белой плиткой, что есть телевизор в двадцать три дюйма, но ему было мало, он говорил: еще, еще. Чем больше он заставлял меня рассказывать, тем сильнее краснело мое лицо, я уже столько всего наговорил, что назад дороги не было, я не мог уже признаться, что рассказывал вовсе не про свой дом, а про дом Ньюджентов, приходилось продолжать; вот если бы он остановил меня, все было бы нормально, но он все расспрашивал и расспрашивал. Только этого миссис Ньюджент и ждала. Я увидел ее, она стояла под деревом в переулке за домами, неподалеку от нашей с Джо лужи. Мама вышла во двор снять высохшее белье. А когда увидала миссис Ньюджент, та усмехнулась, растянув тонкие губы. Потом подошла и перегнулась через забор. Мама споткнулась, чуть не уронив гору белья. А Ньюджентиха все смотрела и лыбилась, мол, когда сочту нужным, тогда и заговорю.

И наконец сказала: Вы знаете, что он сделал? Попросил меня стать его матерью. Говорит, на все готов, лишь бы перестать быть свиньей. Вот как он обошелся с вами, миссис Брейди. Вот зачем явился к нам! Ее грудь снова начала душить меня, я почувствовал, меня сейчас вывернет. Кажется, я первым ударил Размазню, он упал на спину, и я услышал крик: *не делай мне больно, Фрэнси, я ведь люблю тебя!*

На столе всегда лежал нож для разрезания бумаги, я попытался найти его и воткнуть в Размазню, но никак не мог. *Пожалуйста, ну пожалуйста! Я люблю тебя!* только и слышал. Вдруг раздалось: *а ну положи нож!* я не понял, кто это сказал, вроде Пузырь или еще кто, я не разбирал лиц, перед глазами все плыло, видел одну только маму, она улыбалась и говорила мне, снова и снова: не волнуйся, Фрэнси, что бы она там про тебя ни болтала, я ей ни за что не поверю, ты всегда будешь моим сыном, всегда-всегда. Но я ведь в самом деле отказался от тебя, ма, сказал я, *нет, сынок, нет!* закричала она, а я ответил: да, ма, это правда!

Зажаренной свиньей — вот кем я почувствовал себя, проснувшись в темноте: меня заперли в бойлерной. Снаружи доносился шепот, но я не сразу разобрал слова. Да ты ужасный парень, Фрэнси. Тебя четверо с трудом утихомирили. Говорили, ужа и то легче удержать. Эй, слышишь? Ну и показал ты этим говнюкам! Хе-хе-хе!

Искры устроили для меня настоящее цирковое представление. Гляди, Фрэнси, говорили они, но я не мог, похоже, мне что-то вкололи: то мы с Джо стоим в переулке, то Пузырь проплывает словно черный парашют. Я слышал музыку с ярмарки, там был Джо. Большое колесо повернулось, и желтые шарики запрыгали на струях воды из брызгалок. Бах! выстрелили ружья, и старые мишени упали. У прохода в большом стеклянном аквариуме плавала золотая рыбка. Рядом висели пластико-

вые пакеты, в которых можно было уносить рыбок домой. Стрелявший мальчишка обернулся и откинул челку со лба. Это был Филипп Ньюджент, он улыбался и считал дыры в мишенях. Хотел что-то сказать, но из горла у него вырвался какой-то чужой голос: *эй! Слышь? Ты здесь? Ха-ха-ха! Сигарету хочешь?*

В щель под дверью вкатилась эта самая сигарета. Не помню, сколько я их выкурил, пока сидел взаперти. Кажется, не одну сотню. Потом двери распахнулись, и в полосе света появился Пузырь, только он сам на себя не был похож, не дергал по своему обыкновению за рукав и, когда говорил, отворачивался. Да, таким я его еще не видал. Ну что, мой друг прекрасный, будешь вести себя примерно? спросил он.

Я видел — Пузырь боится услышать нет. Он понятия не имел, как в таком разе быть. Ну да я и не сказал. Старина Пузырь мне нравился. Не то что Размазня, тот совсем другое дело. Если он еще хоть раз ко мне сунется, я не знаю, что с ним сделаю.

Не моя это обязанность — срезать гребаную траву на газонах, ворчал садовник. Если мне еще раз скажут, все, конец, ухожу.

Ну, ты-то что посоветуешь?

Я молчал, только посмотрел на него и, прикрыв глаз, затянулся — на сигарете прибавилось на дюйм пепла.

Или ты и с разговорами завязал?

И так это прозвучало, что я решил все же что-нибудь ответить, пока он не проткнул меня вилами.

А вы не срезайте траву, сказал я. Не срезайте и все, точка!

Садовник так разволновался, что чуть не лопнул. Даже шлепнул себя по вельветовым штанам видавшей виды кепкой.

Вот именно! крикнул он.

Ни единой травинки! продолжал я.

Ни единой хреновой травинки, повторил он, да ты отличный парень, мамой клянусь, вот, возьми, и вытряхнул несколько сигарет, *по сигарете за каждого мерзкого попа, которому ты дал пинка под зад! Налетай!*

А я рассказывал, что однажды вызволил Майкла Коллинза из брайдуэллской кутузки? спросил он.

Нет.

Неужто?!

Садовник облизнул губы, и маленькие пехотинцы перебежали из одного глаза в другой. *А ты здесь за каким оказался? спросил офицер. Видите ли, я – Святой Дух, сказал я. Отлично, ответил офицер, проходите, падре. Так что я прошел, а через полчаса мы, я и глава Ирландской республиканской армии, уже тряслись по дублинским улицам в телеге, запряженной лошадью! Ты отличный парень, сказал тогда Коллинз из-под кучи репы, мы тебя не забудем!*

Снаружи уже начинало темнеть, и все направлялись к трапезной — подошло время полдника.

Чем больше я старался выкинуть золотую рыбку из головы, тем упорнее она возвращалась.

Однажды дождливым днем Размазня уселся в машину, и больше я его никогда не видел, может, он укатил в гараж и там трется своей штуковиной о какого-нибудь сельского парня, ну и удачи ему, скатертью дорожка. Пу-

зырь вызвал меня к себе — решил немного поиграть в детектива. Каждый раз, когда ему казалось, что я не вижу, он рассматривал меня поверх чашки с чаем, из которой все время отхлебывал. И если я поворачивал голову, тут же отводил взгляд. Он все пытался подобрать верные слова, потому как понимал, что, если что-нибудь невпопад ляпнет, я ничего ему не скажу, хотя такое могло произойти при любом раскладе. Я утонул в большом кожаном кресле, а Пузырь спросил, люблю ли я конфеты, и я ответил, что да, еще бы. Потом поспрашивал, как идут дела. Я отвечал: то так, то эдак. У него аж лицо покрылось морщинами, уж как он старался, подыскивал верные слова, ну да это все равно что на двухколесном велике за угол заворачивать. Иной раз я просто-напросто пожимал плечами и смотрел в окно. Пузырь сказал, что жизнь не так проста, что у всех свои неприятности. Поступки некоторых трудно понять, мол, отец Сэлливан человек неплохой. Я промолчал. Он начал рассказывать мне эту самую историю, про то, что отец Сэлливан уехал в Дублин навестить сестру. Я и не думал смеяться, но не сдержался, когда Пузырь сказал такое. Как же, сестра! Хрена лысого! Бедняга Размазня небось сейчас карабкается по стенке гаража и кричит какому-нибудь фермерскому пареньку: *я люблю тебя!*

Пузырь видел, что я смеюсь, ну а что он мог поделать. Если бы он одернул меня: а ну, прекрати эти смешки, я бы еще больше расхохотался. Оттолкнул бы его, вылез в окно и крикнул: эй, вы, недоумки! Слыхали об отце Размазне, который конфеты раздает?!

Вот чего он боялся. Что все услышат. Ну да ему нечего было беспокоиться. Покуда он меня не трогал, покуда не лез не в свое дело, я и не собирался болтать о святом отце с большой штуковиной, то бишь о Размазне. Раз он уехал, то и плевать. Просто я хотел, чтобы меня оставили в покое. Надеюсь, тебе у нас хорошо? спросил Пузырь. Я ответил, что да. И прибавил: ну, я пошел.

Да, Фрэнсис, иди, сказал Пузырь, он держал чашку, оттопырив мизинец. Я не собирался болтать о Размазне. Но Пузырь-то этого не знал. Зато видел, как Размазня стоял в уголке и ныл, повторяя мне: я люблю тебя. Навряд ли бедняга Пузырь привык к такому. Последнее, что я видел уходя, был Пузырь, беспомощный и со страдальческим взглядом. Небось думал: ну почему все это не может просто закончиться? Я бы снова был счастлив, снова напевал песенки. Да вот хотя бы эту *Святой Михаил к берегу гребет*!

После все дни стали похожими, мелькали мимо меня, дни без Джо, без отца, без ничего. После той заварушки с Размазней мне уже не было нужды заботиться о том, чтобы получить аттестат на имя Фрэнси Брейди Совсем Даже Не Отъявленного Выродка, я знал, что теперь-то они избавятся от меня при первом же удобном случае, я был для них все равно что плесень на стене, которую они хотели отдраить до блеска.

В день моего выпуска Пузырь схватил меня за руку и сказал, что у него прямо на душе полегчало. В ответ я улыбнулся во весь рот.

На прощанье пожелал удачи садовнику. Тот ответил: *это просто чудо, что ты успел, завтра меня здесь уже не будет. Они у меня вот где сидят со своей травой.* Он уставился мне прямо в глаза и постучал кулаком в грудь. Не

моя это работа, не моя! прошипел зло. Последнее, что я увидел, был раскисший от воды мяч, он так и взмыл вверх.

Прощай, дом в сотню окошек, скатертью дорожка, сказал я.

Я пошел прямо к Джо, но его не оказалось дома. Где же он? спросил я. Мистер Парселл смерил меня взглядом. Понятия не имею, ответил он и закрыл дверь. Хотел бы я знать, какая муха его укусила?

Я заходил к Джо еще пару-тройку раз, но мне не открывали, наверно, не было дома, небось уехали к дяде или еще куда. В конце концов я решил подождать Джо у холма Чёрч-Хилл и встретил его, когда он возвращался с учебы. Теперь он учился во втором классе средней школы. С собой у него был большой портфель, набитый учебниками. Слышь, Джо, хохотнул я, у тебя, видать, книжек просто немерено. Рядом с Джо шел какой-то парень, я его не знал и сказал, мол, давай топай. Тот: что? Я ему: чё, совсем оглох?

Ну, Джо, я вернулся, говорю, вернулся из дома в сотню окошек. Сказал так и заржал, собственные слова смешными показались. Хотелось рассказать ему обо всем, но я не знал, с чего начать. Сказал, насчет золотой рыбки это все ерунда, да и остальное тоже в прошлом. А он посмотрел странно: какой еще золотой рыбки? Я хлопнул его по плечу. Какой, какой! Да ладно, Джо, скажешь тоже!

Давненько уже я так не веселился. Потом поинтересовался, как там наше укрытие. Он ответил, что давно туда не заглядывал. Ну а крыша-то хоть сохранилась? Джо сказал, что не знает. Я ему: обязательно надо сходить проверить. Если сверху протекает, все, пиши пропало. Джо согласился. Ну что, когда пойдем, спросил я, может, сегодня вечером? Джо сказал, что сегодня он никак не может. Ладно, говорю, завтра тоже нормально. Но Джо сказал, что и завтра не сможет, придется отложить на выходные. Мне так не терпелось, чтобы наступили выходные, аж живот разболелся.

Мы были на берегу реки; Джо лежал на спине, отмахиваясь от мошек, а я рассказывал ему о садовнике и "черно-пегих", о деревенских недоумках с тощими задницами, о том, как меня заперли в бойлерной, как я попыхивал сигаретами и общался со святой Терезой. Да, забавно, рассудил Джо, а за что это тебя заперли в бойлерной? Я ему, мол, так, ерунда, нашкодил, сам понимаешь. Больше ничего не собирался говорить, но Джо привязался: а все же, за что? Друзья тем и хороши, что с ними можно поделиться всем на свете, и как только я так подумал, решил: а, была не была, расскажу все, без утайки. Стоило мне только начать, как дальше пошло-поехало. Я хохотал до слез, когда вспоминал про шляпку и Размазню, про это его *я люблю тебя*! и все такое. Видал бы ты, сколько конфет он мне надавал, я их столько умял, этих чертовых конфет, Джо, тысячи две небось. Конфеты, повторил Джо, значит, он давал тебе конфеты, но за что, за что именно? Я понял, что Джо интересует только это. А я вообще не хотел вспоминать ни о чем таком. Наше укрытие, наши прежние деньки, когда мы долбили лед на луже, когда спорили, чей черед бросать камешек, и все такое... вот о чем мне хотелось говорить. Да, те деньки, лучше их не было. Такие прозрачные, словно натертое до блеска стекло, хоть смотри через них. Но Джо все выспрашивал, и в

конце концов я рассказал ему, а он и говорит: Фрэнси, но ведь он не сделал этого, правда? Я ему: ты о чем, Джо, да сделал он, сделал, разве я тебе только что не сказал?

Тут Джо как глянет — меня аж пот холодный прошиб. В следующую минуту я только и увидал что примятую траву: он уже не лежал на прежнем месте, сидел поодаль. Не слишком далеко, не хотел, чтобы я заметил. Но я заметил. Мы встретились взглядами всего на долю секунды, но и он и я, оба все поняли. Я сказал: ты что, Джо, я же пошутил. Ха, Размазня! Неужто ты поверил, будто кто-то на такое способен?! Размазня, конфеты эти... ну ни хрена себе!

Я принялся хохотать, да так, что слезы из глаз покатились. *Я ж разыграл тебя!* кричал я Джо. У меня разболелась голова, лицо стало красным. Джо сказал, что, пожалуй, пойдет домой, на выходные много задали. Я ответил: ладно, зайду завтра, и мы двинем на ярмарку. Конечно, сказал он, постараюсь все успеть, а потом я смотрел, как он бежит обратно в город.

Вскоре Баттси и Девлин прознали о том, что я вернулся из школы для свиней, и пожаловали ко мне допросить, что я наделал в доме Ньюджентов. Я слышал, как эти тупицы дубасили в дверь. Прикидывал, сейчас расправиться с ублюдками или погодить, и решил все же погодить, после чего выбрался на крышу по каминной трубе, старая галка смотрела на меня сверху вниз, как будто говоря: чего приперся, это мой дом. А ну, Брейди, выходи, мы знаем, что ты дома! крикнул Баттси. Если сам выйдешь, обещаем сильно не бить. Господи, ну и вонь здесь, пожаловался Девлин, заглядывая в окно. А чего ты хотел, здесь же свиньи живут, сказал ему Баттси. Глянь-ка, позвал Девлин, тухлая рыба в раковине, наверняка в доме полно крыс. Да не, возразил Баттси, только свиней. Ха-ха-ха, засмеялся Девлин. Ха-ха-ха, вот умора! Когда я так и не вышел к ним, они потеряли терпение. Баттси выругался и что-то там расколошматил. Давай спалим эту конуру, предложил Девлин. Он точно где-то здесь, и я услышал, как они принялись шнырять вокруг дома. Потом снова вернулись и, ругаясь, устроили погром во дворе. После чего ушли, да такие злые, что хоть вяжи их: достанем мы тебя, гаденыш, рано или поздно точно достанем. А на следующее утро я увидел в окне огромное, бледное солнце. У меня сразу отлегло от сердца. Ух ты, сказал я сам себе, денек намечается очень даже ничего.

Я вышел в переулок и зашагал по заиндевевшей земле, вдыхая бодрящий воздух. Поравнявшись с курятником, остановился глянуть, замерзла ли лужа — конечно замерзла. Как увидел это, на душе сразу потеплело. Из белого, матового льда торчала вмерзшая в него задубевшая и перекрученная бумага. Я хотел вытащить ее, постучал по льду ботинком, но ничего не вышло, так что я отломал ветку и принялся долбить лед. А когда поднял голову, увидал мальчишку, тот стоял поодаль, прям открытка рождественская, в длинном полосатом шарфе и в шапке с помпоном. Эй, мистер, что вы делаете? Это наша лужа! Ваша лужа? переспросил я. Ну да, ответил он, наша, моя и Бренди. Ладно, сказал я и отдал ему ветку, больше я к луже не притронусь. Вот и хорошо, мистер, сказал мальчишка, а я ничего не расскажу Бренди. Мне даже расцеловать его захотелось, розовощекого и с соплями под носом. Не так, как это делал Размазня, а просто потому, что все вдруг показалось таким ми-

лым. Я сказал себе: как здесь хорошо — так бы и стоял, хоть целую вечность.

Теперь это твоя лужа, сказал я мальчишке, а знаешь ли ты, чья она была раньше? Мальчишка потер лицо варежкой: нет. Чья?

Моя и Джо Парселла, ответил я.

Понятно, ну да терь она не ваша. После чего опустился на колено и начал колотить по льду, пытаясь вытащить кусок бумаги.

Я зашел к Мики Трейнору. На стене у него висело большое изображение Господа. И надпись: *Не будь уродом, купи телевизор!* Да не, на самом деле так: Спаситель заботится о всех нас.

Дочь Трейнора стояла на коленях и молилась, перебирая четки, а на громоздком радиоприемнике была разложена целая куча картинок со святыми. Ну что, Мики, сказал я, не забыл еще про старый телевизор? Тот заложил карандаш за ухо: какой еще телевизор? А тот самый, говорю, который сломался, отец еще стольник за него отдал. Разве он не заходил? Не, ответил Мики, что-то не припомню, чтобы твой отец вообще у меня появлялся. Сказал и снова за работу, ковыряться внутри очередного телика. Телик без крышки, точь-в-точь как город будущего, вроде тех, что рисуют в комиксах про научную фантастику. Да ты приноси его, я посмотрю, сказал Мики. Ладно, говорю, ерунда, проехали. Я теперь слишком занят, чтобы забивать себе голову такими вещами. Ну как хочешь, сказал Мики и вдруг как пернет, да громко так, как из рупора. Вот черт! выругался он. Я засмеялся и вышел. Да, приятно вернуться в старый добрый городок. Зашел я в магазин, а там как раз миссис Коннолли с другими женщинами: *Фрэнси, а мы и не знали, что ты уже вернулся!*

Хох-хо, нет, дамы, я снова в строю, ага, пых-пых сигареткой, вот он перед вами, невероятный Фрэнси Брейди: *ну, как поживаете?*

Они никак не могли решить, кому отвечать. Смущенно покашливали, переглядывались, мол, ты скажи, нет, ты! И так минуты две, не меньше. Небось решили, щас вытащу из-под пальто пулемет и — тра-та-та-та-та! — смерть собакам!

Меня прямо смех разобрал при мысли об этом. Когда я засмеялся, засмеялись и они, не успели мы и глазом моргнуть, как уже болтали о старых добрых деньках, о свиньях и всяком таком. А уж как мы раньше веселились, сказал я. И не говори! согласились они. Фрэнси, а ты к нам насовсем? поинтересовалась одна, а две другие уставились на нее, будто хотели сказать: *ну что ты такое говоришь! Ради бога, не спрашивай его об этом!*

Отчего же? Можете спрашивать о чем угодно, почтенные дамы, ага, говорю. А в ответ — три улыбки, повисшие в воздухе. Девица за прилавком за все время даже рта не раскрыла. Хотя нет, раскрыла. Стояла и глядела на нас разинув рот. Да, что ни говори, а приятно было толковать с этими женщинами у полки с хлопьями, как будто они, пока меня не было, так и не сдвинулись с места, всё судили-рядили про Кеннеди, какой, мол, он приятный мужчина, и вообще, что-то надо делать с этими ценами, вон сколько масло стоит. Да, разве забудешь старые добрые свинячьи времена, сказал я. Что ты, Фрэнси, не говори так! сказала миссис Коннолли. Ха-ха-ха, засмеялись женщины, вот уж точно, деньки были неплохие. Ну, теперь-то все закончилось, сказал я, нельзя же оста-

ваться свиньей всю жизнь, правда ведь, дамы? Они согласились, мол, сущая правда.

Ну, хорошего вам дня, дамы, а я, пожалуй, почесал. Ха-ха-ха, *почесал!*

Миссис Коннолли пробормотала вполголоса: интересно, а прилично ли смеяться над "почесал"? Еще бы, конечно неприлично. Ну да мне по барабану. Пусть хоть поглупеют от смеха, если захотят. Я сказал: ну, дамы, мне пора. Да, Фрэнси, согласилась миссис Коннолли, тебе же надо повидаться с приятелями. Надо, как же без этого, ответил я. Ну и улыбочки у них были, животики надорвешь, это и на улыбки-то не походило. Хотя какое мне дело, пускай улыбаются как хотят, я им и слова не скажу. Даст бог, скоро увидимся. Ага, кивнул я. А когда проходил мимо окна, выдал по нему барабанную дробь. Боже правый! вздрогнула одна, кажется миссис Коннолли, а другие сразу: что с вами, миссис Коннолли, вам нехорошо? Да, вот уж не знал, что в этом городишке столько смешного.

На тротуаре валялась жестяная банка. Бэмс! — и она полетела через изгородь. Как знать, подумалось мне, может, я еще сыграю за сборную нашего городка.

Фонтан не замерз, из него била струя, прям небоскреб на площади, вот я и присел рядом с ним. Про фонтан этот я знал только одно. Его установили ради королевы Виктории, в том самом году, как построили Юбилейную дорогу в честь ее же визита. Только вот какая штука: королева взяла и не приехала. А фонтан поначалу был совсем даже ничего. Но однажды вечером в него врезался грузовик и посбивал всех ангелов, так что теперь гипсовый фонтан пересекает большая трещина, прямо порез. Я сплюнул и подумал: *да здравствует королева Виктория!* Только вот незадача, где она, черт возьми?

В дальнем конце городка на ярмарке повернулось огромное колесо, подняв в воздух визжащих понарошку людей. И вдруг я глазам своим не поверил: навстречу мне старый отец Доминик, чуть ли не путается в сутане, ботинки из-под нее едва выглядывают. А ты неплохо успевал в э-э... школе, сказал он. Конечно, ответил я, оказалось, отец Доминик знаком — подумать только! — с нашим старым другом Размазней. Да, воскликнул он, да-да, отец Сэлливан, мы с ним давние приятели! Как он там? Лучше не бывает, заверил я, просто замечательно. Ужас до чего книги любит! засмеялся отец Доминик. Просто страсть как! подтвердил я. Отъявленный любитель книг!

Я закрыл глаза и вдохнул, получилось, будто внутри меня оказался весь морозный воздух и весь городок. Вдали, позади домов в нашем переулке как и прежде мерно гудел вентилятор курятника. Однажды Джо сказал мне: знаешь, это лучший звук в мире. Я спросил: почему? А он: потому что всегда знаешь, что он на месте.

А ведь Джо был прав. Если специально об этом не подумаешь, так и не услышишь вентилятор. Ну а если прислушаешься, то вот он, гудит себе тихонько, как машина, на которой весь городок и держится.

Булочник выгружал из фургона подносы с горячим хлебом. Ворчун Армстронг свернулся калачиком возле входа в библиотеку, а через площадь брел алкаш, напевал себе в пивную бутылку: *И кто же целует ее сейчас?* Потом остановился, ноги у него подкосились, и он свалился на обочину Юбилейной дороги.

Вдруг послышалось, будто меня позвали: Фрэнси!

Я решил, это Джо, йо-хо! выкрикнул я, но позвал меня кто-то другой, понятия не имею кто. Я не знал, что делать, куда идти, а потом сказал: чего это я, возьму и отправлюсь к Джо, тут и раздумывать не о чем.

Ну что, мистер Парселл, ваш-то дома? Тот посмотрел с минуту, потом глянул поверх моего плеча и махнул соседу, тащившему из машины пакет с продуктами. Нет, ответил он мне, Джо нет дома. Сосед что-то крикнул мистеру Парселлу, и тот рассмеялся. Какое-то время они трепались, о погоде и всем таком. Вот видите, сказал мистер Парселл, на воскресном матче было не протолкнуться. Точно. А Марти Даудс отлично сыграл. Отлично. Из этого малыша выйдет классный игрок. Обязательно.

А я все стоял на крыльце, ждал, пока Джо вернется. Они заговорили о чем-то еще, кажется, о машинах или какой другой ерунде. Наконец мистер Парселл сказал: ну, всего вам хорошего. Помахал с улыбкой соседу и закрыл за собой дверь, не хлопнул, нет, просто тихо прикрыл. Я так долго дожидался, аж позабыл, что́ хотел спросить, ну а когда сообразил, было уже поздно, дверь закрылась. Подождал еще минуту-другую и ушел.

Оказалось, я должен остаться в начальной школе, пусть даже мне и больше лет, чем остальным. В новом классе я никого не знал. Мой класс ушел вперед, они учились уже в средней школе, как и Джо. Я сел на заднюю парту, сидел себе и ничего не делал. Хотя нет, делал. Играл в крестики-нолики и еще нацарапал перочинным ножиком: здесь был Фрэнси Брейди. Учитель спросил: кто прогнал викингов обратно в море? а я ответил: Дэниел О'Коннелл. Ну-ка подойди сюда, сказал учитель и хлестнул меня розгой по руке. Ты у меня получишь, пригрозил он, не думай, со мной такие номера не пройдут! Таким, как ты, самая дорога к Ледди, только там от тебя и будет прок!

Я знал, с чего он так разошелся — услыхал, как в сортире болтали, будто Брейди, мол, поколотит учителя. Уж не знаю, откуда они это взяли, делать мне, что ли, нечего, как только лупить выживших из ума старикашек с красными от вискаря носами и вечно трясущимися руками, так что я решил, что лучше будет совсем не ходить в школу. Все вокруг будто помешались на этом Ледди. Вот и отец посмотрел на меня и сказал: либо ты ходишь в школу, либо отправляешься к Ледди! Выбирай!

Ледди этот — мясник, у него была собственная скотобойня. Ему вечно не хватало рабочих рук, потому как никто на такую работу не шел. Ну его к чертям, этого Ледди с его свиньями, сказал я. *Для таких, как ты, самое оно, сказал отец, уж куда лучше, чем на диване валяться с утра до вечера!* Сказал и отправился в "Тауэр", бормоча себе под нос.

Я всегда встречался с Джо у холма. Мы больше не говорили про свинячью школу и про то, что там творилось, это осталось в прошлом, а между нами все должно было стать по-прежнему.

Я приносил ему всякую всячину, не комиксы, они его уже не особо интересовали, а сигареты или что-нибудь сладкое. Сигареты я таскал из-за стойки бара в гостинице — знал, что бармен отлучается в одно и то же время поменять бочонок с пивом. А конфеты брал в лавке у Мэри, но за них платил, у Мэри я бы никогда ничего не спер. Так вот, дожидался я

Джо, и мы отправлялись к реке. Да, там было весело. Совсем как в старые добрые времена. Даже лучше. Правда, Джо? Он кивал.

Я уговаривал Джо побродить вместе по горам. Помолимся маниту, как раньше, будет здоровско. Да ладно тебе, Фрэнси, бог с тобой!

Маниту, ямма ямма ямма, смерть всем собакам, какие только сюда сунутся! Хрен с ними, Джо!

Тут Джо засмеялся и сказал, что, мол, ладно, то был самый лучший день, и забудь про всяких Ньюджентов, школу для свиней и Размазню. Мы бросали камешки, прыгавшие по воде, и когда я глядел на Джо, мне аж плакать хотелось, до того было хорошо. Вот они, те самые деньки в переулке. Мы их не придумали. Они были такими же, как эти, сказал я себе.

Так я думал, закрыв глаза, когда услыхал голос Баттси. Он стоял надо мной, заведя большие пальцы за ремень.

Девлин жевал спичку, в руке у него была удочка.

Так-так-так... протянул Баттси. Неужто нам повезло?

Девлин потирал руки, ни дать ни взять мастерски отбил мяч. Баттси глянул на Джо.

Слышь, Парселл, к тебе у меня ничего нет, сказал он ему. Нам нужен он, прибавил Девлин. Ты, Брейди, сейчас сполна получишь за все, что сделал, пожалеешь, что на свет родился.

Кто это заставит меня пожалеть? поинтересовался я. Баттси аж побледнел, когда я так сказал.

Джо мне: Фрэнси, не надо. Лучше не начинай.

Мы, мы заставим тебя пожалеть, сказал Девлин и бросился на меня. Я увернулся, но наступил на камень и подвернул ногу.

Тогда Баттси ударил меня и повалил на землю.

Девлин крикнул: *давай!* а сам угодил ногой в огромном фермерском ботинке в яму. Тут Баттси вытащил охотничий нож, он дрожал у него в руке. Ну все, Брейди, конец тебе, сказал Девлин, щас выпотрошим, как свинью.

Что ты сделал с моей сестрой, а? подступался ко мне Баттси. Она с тех пор вся на нервах.

Он был белый как бумага, я видел, как на лбу у него блестят капли пота. Эй ты, слышишь?! крикнул он. После твоих выходок ей пришлось идти к врачу! Роше столько понавыписывал ей — *три разные таблетки!*

Девлин пнул меня по больной ноге. Ах ты сукин сын! выругался он. Когда он так сказал, у меня слезы брызнули.

Ха! хмыкнул Баттси.

Только погляди на него, сказал Девлин.

Да, согласился Баттси.

Я же тебе говорил, сказал он, сунув нож обратно в карман, уже спокойно, этому гаденышу ничего не стоит испортить другому жизнь, а у самого-то кишка тонка. Я сказал: слушай, Баттси, я знаю, что поступил плохо. Знаю! При этом я все старался поймать взгляд Джо, хотел подать ему сигнал, но он не смотрел на меня, он был сам не свой.

Только и может что наводить страх на женщин, на это его хватает, а вот когда перед ним мы с тобой, Баттси, это совсем другое дело, правда?

Затем они стали шептаться, решая, как со мной поступить.

Я что угодно сделаю, сказал я. Раньше надо было думать, когда вламывался в чужой дом, бросил Девлин и снова меня пнул.

Ну ни хрена себе, да посмотри же на него! Посмотри! Ведь я твой друг, Парселл. Твой дружок с Террас-стрит!

Баттси вынул сигарету и закурил.

Потом подошел к Джо и спросил: а ты чего с ним водишься? Тебе отец что говорил?

Джо ему: и вовсе я с ним не вожусь. Раньше да, бывало, а теперь — нет!

Я только и видел что зажженную сигарету, ходившую туда-сюда во рту у Баттси, да его кивающую голову, пока он говорил с Джо. Баттси выпустил дым, стряхнул пепел, а потом провел рукой по лбу, чем я и воспользовался — бац! — он даже не понял, что его ударило. Уж не знаю, сколько раз я приложил ему камнем, пока Девлин и Джо не оттащили меня, я бы прикончил Баттси, это он заставил Джо сказать такое, сам бы Джо никогда так не сделал. Я попытался еще раз ударить, но меня снова оттащили с воплями: нет, Фрэнси! нет! Девлин сказал, мол, я и так слишком далеко зашел, он чуть в штаны не наложил, решив, что пришел его черед, но на Девлина мне было начхать, хотелось поговорить с Джо. Я бросил камень в канаву: Джо, говорю, что ты имел в виду? Почему так сказал?

Он посмотрел на меня невидящими глазами. Джо, ну пожалуйста, взмолился я, но он и слушать ничего не хотел. У меня стали подгибаться коленки, я вытягивал слова из самого живота: ну пожалуйста, Джо!

Но он все равно не слушал, он пятился от меня, выставив перед собой руки: нет, Фрэнси, только не сейчас, только не после этого!

Стоило мне открыть рот, как он вскидывал руку: нет! и останавливал меня. Я заорал вслед ему: Джо!.. Вернись! Ну пожалуйста! Я все сделаю. Все, что захочешь! Но он карабкался по откосу к железной дороге, я отвел взгляд, а когда снова посмотрел, его уже и след простыл. Рядом ныл, корчась от страха, Девлин: пожалуйста, Фрэнси, не надо!

Я было хотел дать ему тумака, но потом сказал себе: а какой смысл, какой, к черту, смысл? так и оставил его бормотать свое: *ну пожалуйста, Фрэнси*, на пару с Баттси, который извивался на земле и стонал. А-а-а! А-а-а! Помогите! Как же, разбежался.

Я решил побродить по ярмарке, можно подумать, все эти лодки-качели возьмут и навсегда унесутся в небо. В жизни не слыхал столько визга, девчонки прижимались к парням с воплями: спасите! и все такое. Я слушал Джима Ривза, смотрел на розовых плюшевых мишек и блестящие электромобильчики, но решил все же пойти в тир, глянуть на золотых рыбок. Уж не знаю, сколько их там в этом аквариуме. Может, десятков пять. Каждый раз, как они дергали хвостом, поворачивая в другую сторону, мелькала маленькая серебристая вспышка. Я долго-долго на них смотрел, а они плавали себе в аквариуме. Рядом с электромобильчиками я увидел девчонок, они сидели, болтали ногами и хихикали, прикрываясь ладошками. Была среди них блондиночка, все подталкивали ее ко мне, чтобы она что-то там сказала. Девчонка постарше говорила: ну же, давай, иди! и надувала пузырь из розовой жвачки, а блондиночка упиралась: нет, не пойду!

В конце концов подошли все вместе, держась за руки и пререкаясь: ты скажи! Нет, ты! Я не знал, куда глаза девать, стоял красный как рак,

понятия не имел, как с ними разговаривать. Однако потом понял — они надо мной смеются. Посмотри на него, он весь красный. С чего бы? Я решил, что это они и хотели сказать, ну а теперь-то мне кажется, что вовсе даже и нет. А поговорить они хотели о Джо. Спросили: ты ведь дружишь с Джо Парселлом, да? Хочешь, мы тебе кое-что расскажем? Вот она влюбилась в него!

Они снова подтолкнули ту самую блондиночку, и она упала прямо на меня. Я хотел выкрикнуть: осторожнее! или спросить: не ушиблась? в общем, что-то вроде того, но вдруг начал заикаться, ну да не важно, потому как девчонки уже убежали и снова хихикали и шушукались, обсуждая Джо.

Когда вернулся, в доме везде валялись бутылки. Отец дрых на диване, рядом с ним лежала труба, а в кресле сидел какой-то старикан. Сегодня мы отлично посидели, сказал он, вспомнили старые добрые времена, всех-всех, кто наведывался в "Тауэр", а ты скажи своему отцу, чтоб он не брал в голову, мало ли что доктор болтает, Брейди, они крепкие ребята, настоящие мужчины. Их голыми руками не возьмешь. Правильно я говорю, а, Фрэнси? Я ответил, что да, правильно. Потом старикан заснул, уронив голову на грудь, совсем как тряпичная кукла. Меня тоже в сон потянуло. Я знал, что пройдет день-другой и все наладится. Мы еще повеселимся, я и Джо. Мне не терпелось увидеть, как Джо отделает Баттси. *А-а-а! А-а-а! Помогите!*

Да, у нас тут не соскучишься, непременно скажет Джо. А потом мы сунем носы в воду и скажем рыбинам все, что о них думаем. Я уж было решил, что не засну, столько в голове мыслей. Но заснул. Спал как убитый. Во сне я бродил — ямма ямма ямма — прямо по крышам домов нашего городка, а когда вернулся к берегу, Джо сидел там на корточках и улыбался, а потом глянул на меня и сказал: ну и что, подумаешь, поспорили! Мы же все равно братья по крови, правда ведь? Ага, кивнул я, навсегда. Так оно и должно быть, Фрэнси, дружок!

Я обождал несколько дней, пусть все уляжется, а потом наведался к Джо, а мистер Парселл мне: Джо нет дома. Мол, уехал на выходные к дяде, так что до понедельника не вернется. Вот как, сказал я, ну тогда приду в понедельник, хотя сам был почти уверен, что видел Джо за занавеской на втором этаже. Я ничего не сказал, не хотел нарываться на неприятности. Вот и хорошо, ответил мистер Парселл, я ему передам. Спасибо, поблагодарил я и ушел. Но в том-то и дело, в понедельник я с Джо так и не встретился, потому что мистер Парселл сам заехал за сыном в школу, и я разглядел через запотевшее стекло машины только очертания Джо, он даже не обернулся — вдруг я дожидаюсь его на углу или где еще.

Отец сказал: я тут утром говорил с Ледди, а потом как начал сморкаться в платок, огромный точно простыня.

Я не стал дожидаться, чтобы услышать, о чем он с ним говорил.

Через пару дней я сам встретил Ледди, тот шел по улице, хлопая голенищами своих высоких резиновых сапог, за полчаса до его появления уже начинало вонять свиным навозом. Сдается мне, ты собирался зайти к нам помочь, сказал он. Да, подумалось мне, стоит увидеть Ледди, как

разговор сразу о свиньях! Уж не знаю, как там мы, а вот он точно был вылитой свиньей. Так долго работал на скотобойне, что и сам превратился в хряка. У него было широкое розовое лицо, вздернутый нос напоминал свиное рыло. У вас там и без меня хватает свиней, ответил я. Это точно, сказал Ледди, выбор за тобой, и пошел себе дальше — хлоп-хлоп! хлоп-хлоп! — вниз по улице.

Я снова наведался к Джо. Здрасьте, мистер Парселл, вот, хочу узнать, дома ли ваш парень? Мистер Парселл минуту-другую молчал, просто стоял и кусал себе изнутри губы, а потом спросил: разве ты не приходил утром? Я ответил, да, приходил. И что же тебе сказала миссис Парселл? А, это... она сказала, что Джо занят, помогает ей на кухне. Так, кажется. Ну что ж, тебе правильно кажется, сказал мистер Парселл, Джо будет занят весь вечер, а теперь, если не возражаешь... И начал дверь закрывать. Впервые мистер Парселл говорил со мной в таком тоне. Я так и остался стоять, все смотрел на голубую краску двери, не зная, что и думать. В следующий раз, когда я зашел, мне открыла миссис Парселл, а когда я спросил, пойдет ли Джо со мной на реку, она сказала, что он на музыке. Музыке? переспросил я, не знал, что Джо занимается музыкой, а куда это он ходит? В монастырь, ответила она, туда же, куда и все. В монастырь? снова переспросил я, вот уж не знал, что Джо ходит на музыку, миссис Парселл. Ведь раньше он не ходил, так? Раньше не ходил, ответила она. И тоже начала было закрывать дверь. В конце переулка разворачивался бензовоз. Я посмотрел на него с минуту, а потом и сказал миссис Парселл: ладно, тогда загляну попозже, может, Джо будет дома. Вот и хорошо, Фрэнсис, ответила она уже через щелочку и тихонько так закрыла дверь, только замок щелкнул. Я все стоял, меня аж оторопь взяла. Потом подумал, что на самом деле она имела в виду: надеюсь, больше к нам не заявишься. Я почувствовал себя так, будто поперхнулся куриной косточкой, она сидела у меня в горле, и я никак не мог ее выплюнуть. Глянул на верхние окна: вдруг кто-нибудь стоит там? Но конечно же никого не увидел. Я было пошел по переулку, хотел погулять, но потом передумал, все никак не мог в толк взять, как это Джо занимается музыкой, ведь у него и пианино-то нет. Заглянул в окно — точно, так оно и есть, новехонькое пианино из красного дерева, а на пюпитре нотная книга с осликом и тележкой на обложке, ослик бредет в направлении туманных, покрытых зеленью гор. Я не мог разглядеть название, но точно знал, что это *Изумрудная сокровищница Ирландии.*

Филипп шел мимо изгороди миссис Коннолли, размахивал папкой для нот и напевал себе под нос. Я только-только вышел из ворот, увидал его и говорю: а, Филипп! Привет, Фрэнсис. Я ему: не Фрэнсис, а Фрэнси. Фрэнси, поправился он и покраснел. Я не знал, с чего начать, в голове у меня вертелась парочка разных мыслей насчет того, как заговорить, но ни одна не подходила. В конце концов я просто взял и спросил: слушай, это ты дал Джо Парселлу книжку с нотами?

Он переспросил: что? и поднял брови, а я задал вопрос еще раз. Нет, я не давал, ответил он. Ну а мне сдается, что давал, возразил я, но Филипп сказал: нет, не давал. Раз не давал, значит, книга у тебя в папке, так? Ну да, согласился он, не очень-то слушая меня и смотря куда-то мимо. Ну-ка дай мне глянуть, сейчас посмотрим, и все сразу станет ясно. Можно, Филипп? Он протянул мне папку, а сам отвернулся. Я провел по

блестящим чешуйкам кожи, мне нравилось, как они оттопыривались и липли к пальцам, как старая краска. В папке было полно книжек и тетрадей с песнями. А еще этюд фа-мажор. На дне лежала ручка. Я разложил все это на земле, чтобы рассмотреть как следует. И не заметил маленькую лужицу, так что одна книжка слегка замочилась. Как раз та самая, этюд фа-мажор. Вот черт, выругался я, извини, Филипп. Я все извинялся и извинялся, а Филипп повторял, что, мол, ничего страшного. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности, сказал я. Нет-нет, что ты, заверил он. Я несколько раз перебрал книжки и тетради, а потом сказал: слушай, а ведь ее здесь нет. Он мне: ну не знаю, Фрэнси, может, я ее дома оставил. Нет, Филипп, дома ее тоже нет, и ты это прекрасно знаешь, а все потому, что книга у Джо. Да ладно тебе, Фрэнси. Я ему: от тебя всего-то и требуется что сказать, мол, да, я отдал ее Джо. Ведь я своими глазами видал книгу у него дома на пианино. Не знаю, Фрэнси, снова затянул свое Филипп, может, ему ее купили, а может, я и давал книгу, не помню. Слушай, ну какой толк отпираться? Ты ведь дал ему ее, так? Может, не насовсем, но все же дал, правда? Филипп, я только это и хочу узнать, всего-то. Тогда он заикаясь сказал: д-да, после чего шмыгнул носом. Я сам добивался, чтобы он признался мне, но когда так оно и вышло, мне это не понравилось. Поначалу я думал было сказать: ну вот и все, что я хотел узнать, надо было сразу ответить. Но вместо этого сказал: зачем ты так сделал? Просто взял и дал, мне учитель музыки велел. Это из-за золотой рыбки, так ведь? А он: какой золотой рыбки? Не понимаю, Фрэнси, о чем это ты?

Смотрю на него и думаю: ну пожалуйста, Филипп, не становись таким, как твоя мать.

Я все ему растолковал. Это ничего, что он отдал Джо золотую рыбку, когда я был в монастырской школе. Но теперь-то все иначе. Не воображай, что с помощью этих книжек ты войдешь в нашу команду. Не хочу тебе врать, так будет нечестно. И спросил, уяснил он или нет? Он ответил, что уяснил, и, хотя я видел, что он повесил нос, мне показалось, что и в самом деле лучше было сказать ему сразу.

Слушай, Филипп, я тебе вот что скажу. Мы выберем денек и пойдем побродить по горам, и ты можешь пойти с нами, ладно? Только ей не говори. Ты ведь знаешь, что она сделает. Он сказал, да, знает. Я собрал книжки и сложил в папку. Потом немного прошелся вместе с ним. Мы дошли до угла, а там я сказал Филиппу: пока, еще увидимся. И пошел домой.

Дома стояла прям мертвая тишина, только мухи жужжали, да еще отец сидел в кресле около приемника. Я начал рассказывать про Филиппа, про то, как здорово говорить с людьми напрямки, а не ходить вокруг да около. Заварил чай и спросил у отца, не выпьет ли он чашку. Что это ты там делаешь? Смотришь в окно на подснежник? Я слегка тряхнул его за плечо, у него из кармана выпал платок, и я увидел, что он весь в пятнах крови. Что с тобой, па? вырвалось у меня, я и не знал, что тебе плохо. Пощупал отцу лоб, а он холодный как лед. Ты только не волнуйся, па. Я о тебе позабочусь. Уж я сделаю так, чтобы все было хорошо. Может, раньше я и огорчал тебя, ну да теперь ни-ни! Только не теперь! Мы, Брейди... мы им всем еще покажем! Покажем, что умеем держаться вместе!

Когда я сказал так, отец улыбнулся. Я подтащил его кресло поближе к камину: ты посиди, па, я мигом. Развел хороший такой огонь, побро-

сал в камин все, что только нашел во дворе, сколько себя помню, это был первый раз, когда в нашем доме топился камин. С огнем было хорошо, он горел, а по потолку плясали тени. Я поискал хлеб, насадил его на вилку, а потом мы пили чай и просто сидели, больше нам ничего не хотелось. Отец поглядел на меня, и когда я увидел его глаза, сплошная тоска и боль, мне захотелось сказать: я люблю тебя, па.

Отец молчал, но в глазах его было: ты не бросишь меня, сынок?

Я ответил: не брошу. Я тебя никогда не брошу.

На этот раз ведь все будет хорошо, правда, сынок?

Я сказал, что да, правда. Мы будем счастливой семьей, сынок. Я знал, что в конце концов так оно и будет. Я сказал, что да, уж я об этом позабочусь. Теперь все зависит от меня. Только от меня, ни от кого больше. Отец попросил: *труба... найди трубу.* Я поднял с пола трубу и тер ее до тех пор, пока она не заблестела, как прежде. Потом положил ее в футляр, прямо как отец, уложил точно младенца, уставшего за долгий день. *Не позволяй им лапать мою трубу, Фрэнси!* сказал отец.

Я ответил, что ему не о чем беспокоиться. Твои беспокойные дни кончились, па, сказал я.

И тронул его за руку.

Спасибо тебе, Фрэнси, сказал он, а я вдруг стал таким счастливым, аж заплакал, слезы так и брызнули.

На следующий день я сказал, мол, теперь все зависит от меня, они скоро увидят, из какого теста слеплены Брейди!

Пошел в центр, зашел в магазин, взял там корзинку и все такое. Я видел, как миссис Коннолли показывала на меня, да, нечасто увидишь Фрэнси Брейди с корзинкой в магазине. Натурально, дамы, говорю я, ну да теперь вы частенько будете меня здесь видеть, я теперь стану деловой человек! Уж прям и не знаю, с чего начать, миссис Коннолли, столько дел, столько дел.

Похоже, она сначала решила, будто я шучу, но когда увидела, что я не смеюсь, сразу посерьезнела: и не говори, никому не нравится заниматься всем этим, ну да никуда от этого не убежишь, ха-ха-ха. Вот именно, подтвердили остальные женщины, так оно и есть. Когда я набрал все, что было нужно, сказал: ну, дамы, не могу задерживаться, работа не ждет. Ох, и в самом деле, Фрэнси, забеспокоились женщины, нам тоже пора по домам, не то дай нам волю, мы бы тут целый день сплетничали. Ха-ха-ха, засмеялся я.

Когда чистил сарай с углем, наткнулся на старый телевизор. Поставил его на стол, на прежнее место. Наконец с уборкой было покончено — сарай заблестел чистотой. А теперь сделаю-ка вот что, сказал я себе. Заварил отцу чай и прибрался на верхнем этаже. Я старался никогда не пропускать по радио "Музыку в пятницу вечером".

Это была любимая передача отца. Он завсегда спешил из "Тауэра" домой, чтобы поспеть вовремя, и попробуй только пикни, пока он слушает. Дамы и господа, ваш ведущий, мистер Иан-Пристли Митчелл!

Но какими бы порошками я ни драил, запашок все равно оставался, а еще мухи, сновавшие в поисках тухлой рыбы, так что я снова вышел на

улицу и купил липучек, они лучше всяких брызгалок, да к тому же видно, сколько тварей попалось.

Я то и дело проверял их и все подсчитывал мух. Недолго они летали. Не успел и глазом моргнуть, как на ленту приклеилось уже одиннадцать. Я пошел еще за одной липучкой, так, на случай если первая заполнится слишком быстро. Так-так-так... сказал отец Доминик. Да ты, Фрэнси, весь в делах, как я погляжу, уже который раз куда-то бежишь. Кем это он себя возомнил, Фэбианом[1] из Скотленд-Ярда? Да, святой отец, вот, затеял генеральную уборку, весна ведь, то одно нужно, то другое, сами знаете. А это у тебя что? спросил отец Доминик, неужто ты куришь? Да нет, святой отец, это липучка, а на сигарете вы меня не подловите, нет. Хм, Фрэнсис, а ведь ты бросил школу, так? Да, бросил, бросил, и все дела. Разве ж это хорошо, любой скажет — ты должен учиться. Может, и должен, ответил я, да только так уж вышло, а потом сказал: ну, мне надо сбегать в "Тауэр" за пивом. Но ты же не пьешь, Фрэнсис? только не говори, что начал пить! Нет-нет, святой отец, всего пару-тройку бутылочек для начальства. Вот оно что, с облегчением вздохнул священник, значит, пиво для твоего отца. Ну да, конечно, сказал я, а потом попрощался со святым отцом, и тот поплыл дальше. После покупки пива деньги кончились. В карманах у отца ничего не осталось, в мусорном ведре только и валялась что корка хлеба. Я присел рядом с отцом и задумался, что бы такое предпринять, ну и в конце концов решил сходить к Ледди. Ты не волнуйся, па, сказал я, буду начинать с утра пораньше и возвращаться засветло. Все образуется, вот увидишь.

Он посмотрел на меня и спросил: сынок, ты меня не бросишь?

Зря он беспокоился. Я не собирался его бросать. Я больше не хотел никого огорчать, ни маму, ни отца, ни кого другого.

Надо же, а сам говорил, что не желаешь знаться со свиньями, припомнил мясник. Мне нужна работа, мистер Ледди. Запах мочи и дерьма, а еще — грязных кишок, даже не представлял, что бывает такая вонь. Рядом с бойней бетонная яма, куда бросают навоз и прочие отходы, просто сваливают в кучу. Зловонная Яма — вот как я назвал это местечко.

Ворчун Армстронг трепал большой лоскут кожи, возил по всему двору, то и дело останавливаясь, чтобы рвануть или поскрести лапой. Из ямы поднимался пар, она кишела трупными мухами. Прямо шевелилась, можно было подумать, сейчас встанет и пойдет со двора. Ледди шумно дышал. Спорим, тебе нечасто доводилось бывать в таких местах, сказал мясник, небось подумал: вот он, пресловутый Фрэнси Брейди, ну-ну, сейчас посмотрим, какой он крепкий, посмотрим, насколько его хватит здесь, на скотобойне. Но я только улыбнулся. Придется вскакивать ни свет ни заря, предупреждал Ледди, как тебе такое, а? Отлично, мистер Ледди. У того, кто думает, будто работать на скотобойне легко, с мозгами не все в порядке — чтобы выдержать здесь, надо быть крепким парнем! Само собой, мистер Ледди, соглашался я, мне казалось, мяснику нравится, как я к нему обращаюсь. Чем больше он говорил, тем больше ему хотелось сказать. Лекция о свиньях знаменитого профессора Ледди. Я только слушал и

1. Персонаж популярного телесериала о работе британской полиции.

поддакивал. Ну а теперь, сказал мясник, как насчет вот этого малого — через прутья загона на меня смотрел маленький поросенок, — что ты о нем думаешь? Я ответил, он такой славный, совсем забылся, ведь Ледди ждал от меня другого. Славный? переспросил Ледди, так по-твоему он славный? Ладно, сказал и схватил поросенка. Посмотри-ка на него теперь. Поросенок был розовый, как попка младенца, большие глаза говорили: я всего-навсего маленькая свинка. Пожалуйста, не причиняйте мне вреда. Его передние ножки свисали с руки мясника, покрытой татуировкой в виде змеящегося меча. Правда ведь, миленький? снова спросил Ледди, и тут вдруг я увидал у него в руке пистолет с ударным стержнем, Ледди приставил пистолет к поросячьей голове и — чпок! — стержень с отвратительным звуком вошел прямо в череп. А потом — шварк! — на бетонный пол, поросенок лежал и как будто говорил: вот, ты обещал не дать меня в обиду, а сам обманул. Ледди посмотрел на меня: хо-хо-хо! а потом: ну как, Джон Уэйн? Спорим, не ожидал — ха-ха-ха — такого? А?! Не ожидал? Ну, что теперь думаешь? Очень хорошо, говорю, пять баллов, мистер Ледди, пять баллов от Университета по потрошению свиней. Хотя, понятное дело, мог затянуть: зачем, ну зачем вы так ужасно с ним обошлись, он же никому ничего плохого не сделал, вы жестокий, очень жестокий человек, мистер Ледди! а потом броситься на бездыханного поросенка, несчастного, мертвого поросенка, который лежал с раскрытой пастью.

Но я не стал разводить нюни, подошел к загону и поймал за ноги другого поросенка, меньше первого. Этот был уже сам не свой, он ведь все видел. В его глазах стояло: пожалуйста, ну пожалуйста, не убивай меня, я сделаю все что пожелаешь! А как вам этот красавчик? спросил я мясника, вполне себе кандидат. Дайте-ка мне пистолет, мистер Ледди, я поучу его хорошим манерам. Ледди сделал шаг назад и, уперев руки в боки, захохотал. А ты молоток, Брейди, только не думай, будто меня легко провести. Хотя, черт с тобой, попробовать можешь, давай. И все же придется тебе пообвыкнуться, прежде чем выдюжишь такое, ха-ха-ха! А вот и нет, мистер Ледди, совсем даже нет. Несправедливо оставлять этого малыша в одиночестве, когда его несчастный товарищ откинул копытца. Дайте мне пистолет — поглядим, что можно сделать для этой свинки. Ты небось вообразил, будто я вчера родился, усмехнулся Ледди. Да твой папаша тогда еще не скакал на твоей мамаше. Мне не понравилось, как он сказал о моей маме, мне это совсем не понравилось, следи за своим языком, Ледди, но я обещал отцу, так что ничего не сказал, только: знаю, вы много чего повидали, много где были, и все же дайте мне попробовать. Поросенок норовил вырваться у меня из рук: пожалуйста, Фрэнси, пожалуйста, отпусти! Ледди протянул мне пистолет: на, говорит, держи, только поосторожней, а я: да вы не тревожьтесь, мистер Ледди. Поглядел на пистолет — не бог весть какое дело, поросенок все смотрел на меня, задрав морду, одно ухо у него то и дело падало, закрывая глаз: ну пожалуйста, Фрэнси! В любое другое время я бы опустил его на землю или посадил обратно в загон, но мне надо было, чтобы Ледди в тот же день взял меня на работу, надо было купить что-нибудь домой и все такое, так что я лишь пожал плечами: мол, знать не знаю, к чему все это сопение и пыхтение. Взвизг — стержень вошел, и я бросил поросенка на пол рядом с его товарищем. Ледди смотрел на меня, потирая татуировку и кусая губу. На столе позади него лежал кусок коровы с торчащими ребрами, прямо недостроенный корабль. Давай-

ка мы с тобой уговоримся, сказал Ледди, когда я протянул ему пистолет. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, понял меня, Брейди?

Как прикажете, капитан Хряк! выпалил я. Нет, на самом деле ответил: можно начать прям сейчас, мистер Ледди?

Жду тебя завтра к девяти часам, сказал он, смерив меня взглядом. Удачного вам дня, мистер Ледди! крикнул я и выскочил на свежий воздух — йо-хо! — прочь-прочь, ноги в руки и бежать. Теперь я принят на работу в самом деле, по-настоящему. Мне было хорошо. Па, я получил работу, сказал я отцу. Работай на совесть, сынок, ответил отец, я не сомневался, что у тебя все получится. Меня захлестнуло чувство, будто весь наш городок принадлежит мне.

Я повстречал женщин: слыхали? слыхали? я получил работу у Ледди! Они ответили, что это просто замечательная новость. Еще бы, дамы, сказал я, вот погодите, в один прекрасный день я буду зваться мистер Элджернон Каррадерз Брейди. Они не поняли, но все равно рассмеялись. Ох-ох-ох, сказали они, подумать только — мистер Элджернон Каррадерз Брейди! Ну ты, Фрэнси, и скажешь — хоть стой, хоть падай!

Всего вам, дамы, сказал я, недосуг мне болтать, побегу уже, столько дел — не знаю, за что и хвататься.

Да уж, теперь ты занятой человек, закивали они.

Вы правы — теперь все зависит только от меня!

До свидания, Фрэнси, и три руки помахали мне, как листья на ветру.

Каждый день я забирал со двора Ледди тележку и отправлялся по домам и гостиницам собирать картофельные очистки и всякие объедки. Называлось это отбросами, а Фрэнси, Сборщик Отбросов, забирал их. Когда Ледди не было поблизости, я говорил резвым поросятам: ну что, Свинка, приехали, конечная остановка. Потом говорил: чпок! и всаживал в жирную свиную башку стержень. Гони все стадо в Миссури! кричал я. Пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня, я такой жирный, что и убежать не могу! Тем хуже для тебя, Свинка! Чпок! Ну-ка, Розанчик и Резвунчик, угоститесь свинцом!

Вскоре Ледди сказал: а ты не самый плохой работник, давай помоги мне, становись-ка за прилавок. Вот так-то! Вон оно как повернулось! Фрэнси Брейди, Помощник Мясника! Я был доволен как не знаю кто и не собирался никого подводить, уж будьте покойны, сэр! Здрасьте-здрасьте, хозяюшка! Тут чуть больше полфунта, пойдет? Да-да, Фрэнсис, пойдет, большое тебе спасибо. А потом мне доверили доставку, я отправлялся в путь на велике, сбоку которого было написано: Дж. Ледди Поставщик. Разъезжал мимо гор и болот, по сельским просекам — дзынь! дзынь! — вот он едет, Помощник Мясника, насвистывает себе, у него синий в полоску фартук и всегда прекрасное настроение. Отличный денек, мадам! Отличный, Фрэнси, слава богу. Привет-привет, старая деревенщина, то бишь мистер Фермер! Что, уже убрали сено? Вы ведь завсегда первый убираете? Еще бы, конечно первый!

Ну, всего вам! Дзынь! дзынь! Фью-фью-фью, насвистываю, гав! гав! пошли прочь, собаки! Утро доброе, папаша! На следующей неделе как обычно? Нет? Два фунта свиных отбивных, парочку почек и оковалок на ростбиф. Ах да, и парочку костей вашему Бонзо. Не, никаких проблем, будет сделано, папаша! Пока-пока, трам-пам-пам!

И ехал себе дальше, прыг-прыг-прыг на кочках.

Привет, Фрэнси, благослови тебя Господь, да ты везде поспеваешь! говорят мне женщины. А то как же, отвечаю я и перебрасываю свертки с мясом через мраморную доску прилавка.

Здравствуй-здравствуй! здоровается изумленный отец Доминик. Вы уж извиняйте, святой отец, недосуг мне с вами болтать, я на важной работе, некогда сплетничать. Особенно с типами навроде доктора Роше, который как-то раз остановил меня, выставив свой черный чемоданчик, да так и стоял, все таращился как всегда, будто бы в пустоту. Послушайте, Роше, не с руки мне ерундой заниматься, так что ступайте по своим делам и не мешайте другим.

Он у меня уже вот где сидел, я бы так ему и выложил. Но не стал, а он возьми и подойди ближе, лицо у меня так и запылало, словно огромный помидор, и чего только он встал. Я слышал, ты устроился к Ледди?

Ну да, говорю, а чего в этом плохого?

Я и не говорю, что это плохо, так, просто спрашиваю. И как тебе работа, нравится?

Ага, говорю, десятка в неделю.

И что же ты делаешь с такими деньгами?

Кладу на счет, доктор.

Весьма разумно, одобрил он. Я вот о чем хотел поговорить: твой отец должен был показаться, но так и не пришел. Передашь, чтоб заглянул ко мне сегодня вечером или завтра?

Да, говорю, конечно передам.

Не забудешь?

Что вы, говорю, не забуду. А он снова спрашивает: так не забудешь? и я вижу, он оглядывает меня с головы до ног, а хуже всего, что при этом начинаешь думать: да нет, вроде бы ничего такого не видно, вроде и лоб не вспотел. Ага, не вспотел... стоит только так подумать, как нате вам, вот они, бисеринки пота, выступили. И я вдруг выпалил: ой, совсем запамятовал — он же уехал в Англию, навестить дядю Эло.

Он... что? нахмурился доктор.

Ясно, сказал доктор и как-то странно на меня поглядел. Пришлось сунуть руку в карман, чтобы не дрожала, потому как стоит доктору заметить, он, черт этакий, враз догадается, что я вру.

Доктор потер подбородок: вот как, значит. Что ж, когда отец вернется, передай ему, чтобы зашел, и как можно скорее. Это очень важно.

Будет сделано, доктор, сказал я и отдал честь, как бы говоря: уж на мой счет не сомневайтесь. Да только по Роше было видно, что он так не думает.

Я сказал себе: не поеду обратно к Ледди, сверну-ка с дороги, присяду, пораскину мозгами, глядишь, все и встанет на свои места. Так бы оно и вышло, не заметь я Джо. Он сидел в кафе между той самой блондиночкой и еще какой-то хохочущей девчонкой, и там же — подумать только! — сидел Филипп Ньюджент и что-то рассказывал, размахивая руками. Джо курил и кивал. Блондиночка убрала прядь волос, лезшую в глаза, и залилась смехом — ха-ха-ха. Потом подперла голову рукой и стряхнула пепел с сигареты, а Филипп забарабанил по пластиковой крышке стола в такт музыке. Я стоял, уставившись в окно, в голове крутилась песня: *Когда ты садишься рядом со мной, дрожь по телу идет волной!*

Потом я увидел, как Джо шевелит губами: пойду поставлю еще песню, ладно? а блондиночка кивает. Я видел: что бы Джо ни предложил, она со всем соглашается: конечно-конечно, Джо. Когда Джо встал, мы увидали друг друга, его лицо как раз оказалось против окна, вровень с моим. Был бы это кто другой, я, Фрэнси Брейди, Помощник Мясника, просто подмигнул бы и улыбнулся, но передо мной стоял Джо, и впервые я не знал, как себя вести. Он, едва кивнув, прошел к музыкальному автомату и склонился над ним, что-то выстукивая пальцами по крышке. Я все ждал, что он снова обернется и скажет: давай заходи, ну или что-то в этом роде, но он так и не взглянул в мою сторону.

В конце недели Ледди сказал: знаешь, Брейди, что бы там злые языки ни болтали, а ты отличный работник, так что вот, держи десятку, и я — йо-хо! — дунул в "Тауэр" за пивом, а после — в магазин, где накупил ветчины. Представляю, как загорятся глаза у отца, когда он увидит мясо. А почему бы и нет? У меня еще много денег оставалось. Захоти, мог бы купить целую банку ветчины. Мог бы взять и сказать продавщице: видите вон ту банку? Я беру ее всю, целиком!

Когда я шел по улице, то увидал, как Джо и та самая блондиночка идут через площадь. Я спрятался за машину, на случай если они повернут в мою сторону, но, оказалось, зря беспокоился: парочка пошла на ярмарку.

Я нарезал ветчину треугольниками и выложил на тарелку. Как насчет сандвичей, па? Может, еще нарезать? Пожалуй, так и сделаю. Я мазал хлеб маслом и весело напевал вполголоса. За окном рос подснежник. Я рассказал отцу про него и про детей, игравших на улице: да, прекрасное все меняет, па. Хорошо, когда оно есть. Я подолгу глядел на подснежник и слушал радио. Вечер пятницы — вечер музыки. Ну вот и снова твоя любимая передача, сказал я отцу, и он улыбнулся. Иной раз я заглядывал в кондитерскую и брал на крону три десятка шоколадных батончиков. Совсем недорого, скажу я вам. Покупал и один за другим запихивал в рот. Когда нам с Джо случалось разжиться хотя бы половиной кроны, мы тут же — р-р-раз! — прямиком в магазин Мэри: тридцать шоколадных батончиков, пожалуйста! У Мэри они едва помещались в руках. Потом я глядел на себя в зеркало. Шоколадная борода. Да и хрен с ним! Иной раз сворачивал в переулок посмотреть, играют ли возле лужи дети. Видите эту лужу? спрашивал я, а потом рассказывал про нас с Джо.

Тот мальчишка в шарфе с кисточками говорил: мы это уже слышали. Хватит рассказывать одно и то же!

Я забрался в курятник и слушал, как коготки скребут по жести и урчит вентилятор. Когда мы с Джо сидели в курятнике, знали: ничего плохого никогда не случится.

Но теперь все переменилось.

Я пошел в "Тауэр" взять пива к сандвичам, а когда вышел, увидал, как из машины выходит мистер Парселл. Бутылки так и звякали, я приказал: эй, бутылки, кончайте звякать, а потом свернул в переулок, чтобы меня было не видно. Мистер Парселл захлопнул дверцу и застегнул плащ. Тут же и Джо объявился, встал подле него и давай оглядываться. А затем —

подумать только! — из машины вышел не кто иной как Филипп Ньюджент, я как увидал его, аж похолодел весь. На глаза Филиппу свисала челка, он обошел машину и встал рядом с Джо, а потом открыл книгу и показал что-то — оба заржали. Мистер Парселл открыл другую дверцу, и из машины вылезла миссис Ньюджент. Он сказал: позвольте, я помогу вам. Ну а потом все вошли в дом Парселлов и закрыли за собой дверь. Накрапывал дождь. Я перешел улицу и осторожно заглянул в окно. В гостиной включили телевизор. Джо на что-то там смотрел. Вошел Филипп, на ходу откидывая волосы со лба. Гляди, воскликнул Джо, Джонни Кидд и "Пираты"[1]. Я видел лишь смутные тени, но зато хорошо слышал громкие звуки гитар. Мне стало обидно, потому что я ничего не слыхал ни про них, ни про ихние песни, вообще ничего. Я сказал себе: да, Фрэнси, ты только и знаешь что Джона Уэйна. Мистер Ньюджент с мистером Парселлом говорили что-то про садоводство и про то, как сажать картофель. Правильно-правильно, конечно, сказал мистер Ньюджент. Миссис Парселл вовсю болтала с миссис Ньюджент. Я не сразу разобрал, что речь идет о нас с Джо, их голоса мешались с голосом телеведущей. О лучшем для нашего Джо и мечтать нельзя, сказала миссис Парселл, мы уже начали беспокоиться, что он водится с этим парнем. Ах, Джозеф у вас замечательный, ответила миссис Ньюджент, просто замечательный, мы в нем души не чаем. Они так увлеклись музыкой, сказала миссис Парселл, но ведь они еще всего-навсего мальчишки, правда?

Конечно, согласилась миссис Ньюджент. И вот что я вам скажу: пусть пользуются свободой пока можно, мы с вами тоже когда-то были молоды, так ведь, миссис Парселл?

Были-были, вот уж точно, миссис Ньюджент, это вы правильно заметили. Пускай пока гуляют, на следующий год у них не будет столько времени, начнутся серьезные занятия. Тогда уже конец шатаниям-болтаниям!

Кстати, сказала миссис Ньюджент, помните, я как-то рассказывала вам о колледже Святого Винсента?

Тут Джо с Филиппом ушли из гостиной, поднялись на второй этаж.

Только очутившись дома, я понял, что оставил бутылки на улице, а когда вернулся за ними, их, понятно, и след простыл. Машины Парселлов тоже не было, на улице стемнело, стало пусто, только и слышно, как ветер гоняет по площади жестянку.

На следующий день я подступился с разговорами к Ледди, а он бросил мне, мол, отстань, прекрати нести чушь, какие еще подснежники, что за оранжевое небо. Я подумал: может, он и прав, к черту эти подснежники, к черту небо, да и детей тоже, к черту все. В тот вечер я сказал отцу, что вернусь поздно, пусть не беспокоится, и пошел в "Тауэр", сказав десятке, которую вынул из кармана: не пойдем домой до тех пор, пока не просадим все до последнего пенни, и будь что будет. В общем, напился до чертиков, а когда уже вышел, споткнулся, не удержался и растянулся посреди улицы. Алкаш пару-тройку раз гаркнул мне свое привычное: *ты ведь знаешь меня, да? Знаешь?*

1. "Пираты" — английская группа в стиле рок-н-ролл, популярная в конце 50—60-х, ведущим вокалистом в которой был Джонни Кидд.

Я ему в ответ крикнул: а меня ты знаешь, да? Знаешь?

Не, сказал он, а ты меня знаешь? Так мы и перекликались, пока оба не свалились посреди площади и не принялись распевать *И кто же целует ее сейчас?*

Я стоял на ступеньках набережной и орал: Брейди Свинтус, она вспорхнула, а петушок ее и прижал!

И поделом, сказал алкаш, а ты, Брейди, хороший парень! Мы обошли все пабы в городке. Эй, свиньи пришли, орал я и опускался на четвереньки, а алкаш разъезжал у меня на спине и горланил *И кто же целует ее сейчас?* Все хлопали. Вот уж не знал, что свиньи могут петь, говорил один смеясь. Ну, теперь-то знаете, отвечал я, а еще свиньи умеют пить виски, так что давай. Хрю-хрю, ваше здоровье!

Если алкаша не было поблизости, я валялся у порога "Тауэра" и распевал в горлышко пивной бутылки.

Я пошел на танцплощадку, хотя понимал, что танцевать со мной никто не будет. Ты уж извини, но со свиньями мы не танцуем, скажут. Была там одна в розовом пиджачке, так она даже отвернулась, увидев, что я к ней подхожу. Алкаш подталкивал меня: давай-давай, пригласи ее! Прошу прощения, сказал я, не желаете ли потанцевать? На голове у нее была черная лента, так она сначала ее поправила, а потом уже сказала, что она здесь с друзьями. Я видел, как алкаш хохотал, мол, гляньте-ка на Брейди, нет, вы только на него посмотрите. Тогда я спросил девицу: а что это вы без вязания? Девица покраснела. Я отошел, согнувшись от хохота. Алкаш решил, что это классная хохма. Мать честная, сказал он, да ты лучший чувак в этом городишке: *а что это вы без вязания!* Он всем это повторял. После я с девчонками разговаривал только так. Они уже не могли сказать мне это свое *Спасибо, нет!* потому что я им рта не давал раскрыть. Алкаш просветил меня насчет женщин. *Да все они одинаковые, когда лежат на спине!* говорил он. *Хох-хо, ты только гляди, уж я ей всуну, будь уверен! Я мужик что надо!* Бывало, мы сидели на сцене и орали музыкантам: эй, дерьмово играете! Музыканты были в белых костюмах, они пели *Я люблю тебя, мама* и *Отвези меня обратно в Дикси.* В танцзале выпивку не продавали, так что мы с алкашом приносили с собой. Вышибала как-то сказал, что у них распивать нельзя. Я уставился на него и захохотал. У вышибалы был сломан нос, физиономия красная, как у ошпаренного рака. Эй, я не люблю, когда смеются, предупредил он. *Пошли вон!* И не подумаем, сказал я, а алкаш зашептал: ты чё, офонарел, он же в армии служил. Вышибала схватил меня и давай валять по всему залу, а потом вышиб на улицу, уж как девчонки визжали. Прижал к багажнику какой-то машины, сплюнул и поднес кулак мне прямо к носу. Сунешься еще раз, Брейди, я тебе такое устрою — мало не покажется. Ага, кивнул я, как же, так прям и испугался! И через неделю заявился, а он снова меня вышвырнул. Ледди все спрашивал: и откуда у тебя столько синяков, господи, да ты полюбуйся на себя. А, говорил ему я, об соломинку споткнулся, курица и клюнула. Иногда я ходил на другие танцплощадки в округе и болтался где-нибудь в сторонке, пока не высматривал парня покрепче, чтобы подраться. К концу потасовки мой противник всегда оказывался на полу, а девчонки вокруг с ума сходили. Ну давай, ты, говнюк, приговаривал я, стоя над ним и потрясая кулаками, но противник

лежал и не думал вставать. Домой я возвращался под утро, так что ложиться уже не имело смысла, поэтому я сидел рядом с отцом и думал всякое, к примеру о том, что у немых должны быть черные дырки в животе, ведь они не могут кричать.

Каждые выходные мы с алкашом отправлялись в центр, но отец не имел ничего против, ведь я никогда не забывал накрыть его одеялом и всегда говорил, куда иду, отец только просил: если встретишь кого из "Тауэра", передай, что я справлялся о них. Я отвечал: конечно, и уходил. Мы заявлялись в бар "Даймонд", алкаш обнимал меня за плечи и говорил: я знаю тебя, ты знаешь меня. *Дин-дон* звучала музыка, *Увези меня обратно в Мейо.* Вы все просто сборище жалких уро-о-одов! орал алкаш. В баре играли в дротики, а теперешнее правительство хуже некуда, ты еще одну будешь? не, не буду, а я говорю, будешь! вот вам и Карибский кризис, все это вертелось-крутилось, пока голова не начинала трещать, эй, ты куда? крикнул он мне, вернись, слышь! Я двинул к реке, а потом пошел по проселочной дороге. Дошел до кафе поглядеть, нет ли там кого, но кафе было заперто, и свет не горел. Мне захотелось встать посреди площади и крикнуть: *вы меня слышите?* но я сам не знал, что́ они должны были услышать. Зашел в аптеку с черного хода. Там было хорошо. Я сказал себе: чего здесь делают все эти фотоаппараты? Эй, фотики, что это вы в аптеке, а не в фотоателье!

Вот смеху-то было. Я так долго смеялся, что решил пошуровать среди таблеток, вдруг какие помогут успокоиться. На полках стояли всякие пузатые склянки коричневого цвета. Щелк крышкой, и таблетки у меня внутри, быстрее, чем конфетки Размазни. Потом закружилась голова, как будто в патоке ворочаешься. С плаката смотрела девушка, что-то там про крем для загара, она шла по песчаному пляжу с полотенцем в руке. Девушка улыбнулась и позвала: Фрэнси! а потом ее губы округлились: она изобразила нежный воздушный поцелуй. Я прямо чувствовал, как жарило солнце, пробивавшееся сквозь ветви пальм у нее за спиной. Потянуло в сон. Девушка сказала: жаль, что ты не можешь остаться.

Да, ответил я, чего бы мне хотелось больше всего на свете, так это остаться с тобой.

Знаю, сказала она, но к тебе же приезжает дядя Эло. Если бы она не сказала, я бы и не вспомнил. Так что ты лучше поторопись, Фрэнси! Давай, беги! Да побыстрее! Ты ведь не хочешь расстроить его, правда?

*

Я катался по всей аптеке, как плевок по горячей конфорке, но так никуда и не прикатился. Надо бы пораскинуть мозгами, сказал я себе. Вдруг до меня дошло: дома-то шаром покати. Я выбрался через окно и поначалу даже не понял, улица это или что еще, совсем позабыл, как оно называется. Но потом все встало на свои места: все в порядке, Фрэнси, топай по этой улице. Фьють — и я уже в пути. Постучал в пекарню, но в ответ ни звука, так что я зашел с черного хода. Похватал всякого разного, сколько мог унести. Поискал печенье в виде бабочек, но не нашел. Зато попались булочки с кремом. Я подумал: такие ему понравятся, возьму-ка десяток.

Снял старую липучку и повесил новую. В липучках у меня недостатка не было. В доме страшно воняло, пришлось еще раз топать в аптеку.

Набрал всего, что только попалось под руку, духи, освежитель воздуха, тальк, лишь бы избавиться от вони. Нельзя же так — войдет кто-нибудь в дом, а там такая вонища. Я хлебнул виски. А потом слышу, дверца машины хлопнула. Ну, привет-привет! закричал я, когда они ввалились гурьбой. У них горели щеки, пальто были в пятнышках снега. Гляньте-ка, кто это, говорили они, Фрэнси Брейди, счастливого Рождества этому дому! А впереди всех, конечно, Мэри, стоит себе и улыбается. Ну что, Эло приехал? спрашивает. Нет, Мэри, пока еще не приехал, ответил я, но скоро будет. Знаешь, Фрэнси, мне просто не терпится увидеть его, спорим, ты даже не знал, что я влюблена в него. Спорим?!

А вот и ошибаешься, Мэри. Очень даже знал, с самого начала!

Захлопали пробки, и мы столпились вокруг пианино. И где моего братца носит, сказал отец, боже ты мой, вот негодник! Мэри, сыграй-ка нам, пока мы ждем, Мэри сказала: хорошо, ее пальцы легли на клавиши, и полилась мелодия *Тирон в зелени*. Я тоже малость попел, а потом — фьють! — умчался налить себе еще. Откупориваю бутылку, и в этот самый момент на пороге появился не кто иной, как дядя Эло в синем костюме с красным платочком в кармашке. Эло собственной персоной! воскликнул отец и бросился обнимать его. Дай погляжу на тебя, сказал он брату, а затем они принялись вспоминать истории из прошлого. Ха, я кое-что получше расскажу, говорил отец, помнишь, мы залезли в монастырский сад? Помнишь, Эло? Помню, спрашиваешь?! Да как будто вчера было! отвечал Эло. Кому еще чаю, спрашивал я, угощайтесь, берите булочки, у нас их полно. Эло положил руки на плечи Мэри и запел *Когда тебе, милая, было шестнадцать*. А Мэри-то что сделала: вскочила и обняла дядю Эло. Ах, Эло, я люблю тебя! Я хочу, чтобы ты взял меня в жены. Ур-р-а-а! завопили все и захлопали. Кому еще булочек? крикнул я из кладовки. Вот такой он, Эло! сказал отец. Дядя Эло обнимал Мэри, глядя ей в глаза. Я выскочил за порог — на землю опускался снег. Послышались голоса детей, играющих на улице, но в такой-то поздний час этого быть не могло. Мне стало интересно, замерзла ли лужа в переулке. Ну конечно замерзла. Мэри сидела на коленях у дяди Эло, она гладила его лицо, а он пел. Кухня наполнялась гулом голосов. Я перебегал от одного к другому и все спрашивал: не хотите еще булочек? Ну как, весело? Правда, здорово, что дядя Эло приехал? Да, десять человек у него под началом, говорил я. Потом хлопал в ладоши и кричал: ура!

Сержанта я узнал не сразу. Выглянул за дверь, а там он, стоит во дворе, в непромокаемом плаще. И смотрит на меня. Лицо у него было какое-то расплывчатое, будто из-под воды. Я только и понял, что это он, ничего больше.

Дядя Эло сказал Мэри: погоди, я сейчас! и подошел ко мне. Тронул за руку и сказал: ничего, Фрэнси, все в порядке.

Я стал просить дядю Эло: пожалуйста, помоги мне!

Но он не мог помочь, потому что был не дядей Эло, а доктором Роше.

Ой, дядя Эло! вырвалось у меня. Я и не заметил, как гости разошлись. Ушли не попрощавшись. Отца тоже не было, он куда-то делся. Мухи пировали, лакомясь остатками булочек на пианино.

Я почувствовал прикосновение холодной руки. Она была такой же холодной, как отцов лоб. Послышались разные голоса, они проплывали мимо, как завитки дыма.

Дядя Эло! позвал я.

Сержант говорил другому полицейскому: черви — да они проели его насквозь!

Другой полицейский ответил: Матерь Божья!

Все в порядке, Фрэнси, успокаивал меня доктор. Я не хотел ничего плохого, сказал я. Знаю-знаю, отвечал доктор и закатал мне рукав. Укол я едва почувствовал, а после уже лежал на спине в постели из подснежников.

Вот ты где, Джо, а я тебя искал. До меня доносилось журчание бежавшей неподалеку воды.

Ручей, сказал я. А Джо даже не обернулся.

Ну конечно ручей, ответил он. А ты что думал, это какая-нибудь Рио-Гранде?

И ублюдок же этот сержант Сосиска! Наверняка его рук дело! Он что, не мог придумать ничего лучше, чем разъезжать по округе и пихать меня куда ни попадя? Я вот что придумал... по-о-овезу-ка Фрэнси Брейди в другую ночлежку с сотней окон, ага, так и сделаю, как тебе, а, Фрэнси? Хох-хо! Хах-ха! Уж там тебя научат хорошим манерам!

Воняло затхлым и порошками для чистки. Последнее, что я увидел, был Пузырь, он стоял у окна в самом конце длинного ряда кроватей, сложив руки за спиной и щелкая пальцами. Потом он медленно обернулся и посмотрел прямо на меня. А на плече у него — огромная голова инопланетянина, похожая на осиную. И вот чудеса-то — голова напоминала самого Пузыря. Хотя и оса с торчащими усиками, все равно видно было, что она — вылитый Пузырь. Вот ч-черт! вырвалось у меня. Я даже не знал, испугаться мне или нет. Пузырь не двигался. Просто стоял и смотрел. Я огляделся по сторонам: боится ли кто еще. Но вокруг никого не было, только мы с Пузырем, в смысле, святым отцом Инопланетянином. Потом я снова заснул. А когда проснулся, его уже не было, только столб самого что ни на есть ослепительного солнечного света падал наискось в то же самое окно. Все углы и поверхности виделись мне четкими, будто хрустальными. Послышалась музыка. Эту песню я знал. Йо-хо! Я не мог разобрать слов, но знал, что в ней что-то про подснежник и крики детей, играющих в переулке. Она вроде как говорила: ты мог ошибаться, Фрэнси, но это прекрасно, и пусть так и будет. Прислушайся к музыке и поймешь, что́ я имею в виду. Музыка лилась, она была с крыльями. Музыка — Парящая Птица, она говорила, что больше ничего плохого не случится. Она наполнила меня таким восторгом, что я прыгал с одной печной трубы на другую, по всему городку, и звал маму и отца, чтобы рассказать им. Я кричал: наконец все будет хорошо! Своим птичьим глазом я разглядел в придорожной канаве подснежник. Дети казались разноцветными каплями, они шлепали по улице в огромных ботинках, расставляли на деревянном ящике игрушечный чайный набор. Мальчишка в шарфе с кисточками долбил замерзшую воду в луже. Я покружил над ним, и черная дырка в моем животе наполнилась светом. Присел на ветку и с минуту глядел на кисточки. Потом спросил: не видал своего дружка Бренди? Своего приятеля, который главный над этой лужей?

Когда я сказал так, он аж присел от удивления. Выронил палку и как рванет по улице. Эй, ребята, слышьте?! закричал. Знаете, что я видал сейчас на том дереве? Говорящую птицу!

Ну ни хрена себе!

В другой раз они с Бренди стояли у лужи, а я их спросил: что бы вы сделали, если б выиграли сто тысяч миллионов миллиардов долларов, а?

Хм, произнес другой мальчишка и задумался, поднеся палец к губам. Теперь они уже не обращали внимания на говорящую птицу, потому как привыкли. Я захотел поразвлечься. Спрыгнул с ветки и полетел высоко в небо, и знаете, какого цвета оно было?

Оно было цвета апельсинов.

В следующий раз, когда я открыл глаза, инопланетянин, или оса, или что там еще вернулось, только на этот раз у него было лицо Ледди. Ну ни фига себе, сказал я, а оно все не исчезало, и с этим ничего нельзя было поделать.

Однажды я попытался встать с кровати, мне все надоело до чертиков, но огромный детина в белом халате, с руками толстыми как бревна сказал: не-е, не так шустро, и уложил меня.

Я лежал в кровати сотни недель. А может, и месяцев. Наконец ко мне пришел доктор и сказал: ну вот, теперь, если хочешь, можешь встать и немного походить. Я встал и подошел к окну посмотреть на осу-инопланетянина, но ее или его — как там эту чертову штуку — нигде не было.

Один раз врачи привели меня в комнату с двумя портретами: Джона Кеннеди и Пресвятой Девы. Надо же, вот и встретились, сказал я и подмигнул ей. Вы далеко ушли от того поля возле старой свинячьей школы, а она как засмеется. Всем захотелось послушать про это. А кого еще ты видел? Да всю честную компанию, сказал я. Терезу Авильскую частенько видал. Один конопатый парень прямо покой потерял, так ему хотелось расспросить меня и все записать. Чирк-чирк, все писал и писал, аж кончик языка высунул от усердия. А сигаретки у вас есть? спросил я и стал рассказывать дальше. Мы с Пресвятой Девой давненько друг дружку знаем, сами понимаете, кабы кому она не явится. Да-да, конечно, чирк-чирк. Потом они стали спрашивать меня про сны. Осы, сказал я им, с лицом Пузыря. А может, Пузырь с лицом осы. Они давай расспрашивать про Пузыря, пришлось все выложить. Чем страшнее, тем интереснее, так что я напридумывал черте чё, как Пузырь ужалил меня и откусил голову, как святой отец Инопланетянин сказал: ты должен умереть, тварь землянская! А потом захохотал. Да, здоровско вышло. Я бы вот что сказал Пузырю, попробуй он выдать такое. Мол, отвали, Пузырь, ты, осиное отродье! Вот что я сказал бы ему. Пусть только попробует.

Посмотрели бы мы тогда, святой отец, как ты завоюешь весь мир!

Потеха та еще! Я уж подумал, что Конопатый этот до края стола дойдет, так резво он строчил. У меня пытались узнать о Размазне, но я все вспоминал Пузыря и еще садовника. Решил пошутить. Рассказал, что у садовника в бойлерной были мертвые тела, но проводилось ли следствие, не знаю. Может, присылали самого Фэбиана из Скотленд-Ярда. Сказал, в городишке пропадали ребята, а всему виной тот самый садовник, он вспарывал их граблями и сваливал за бойлерным котлом. Но, видать, я такого нагородил, что они про садовника слушать перестали и снова вернулись к Размазне. Да, да, отец Сэлливан — очень хороший человек,

рассказывал я им, жаль, конечно, что дикари с ним так обошлись. Тебе ведь нравилось в монастырской школе, правда? спросили меня. А то как же, отвечал я, особенно по четвергам, когда на ужин давали целых две сосиски. Ты ведь помогал отцу Сэлливану служить мессу, да? Тебе нравился отец Сэлливан? Конечно нравился. Прям святой человек, сказал я, а уж как он молился Терезе Авильской! Очень хорошо, сказали врачи, на сегодня достаточно. Потом они еще возили меня в другие гаражи, усаживали в большое кресло и надевали на голову шлем с кучей проводков. Мне даже нравилось. Самым здоровским было сидеть в этом самом кресле. А накрахмаленные придурки, студенты эти, расхаживали с блокнотами и таращились на меня, небось каждый думал: *хоть бы он не вскочил с кресла и не изрубил меня на кусочки!*

Ну да плевал я на них, ведь в этом кресле я был Адамом Бессмертным Повелителем Времени. Пускай калякают в своих блокнотах что хотят, я уже мчался далеко-далеко, через гиперпространство. Эй, привет, египтяне! привет, пирамиды и все такое. Сегодня Адам не смог прилететь, так что вместо него я, Фрэнси с Террас-стрит. Хороший парень Фрэнси! приветствовали они меня в своих шапчонках, которые со змеями и прочими делами. Или, скажем, прилетал я к римлянам. Эй, лев, не трожь христианина, приказывал я. Благодарю тебя, Фрэнси! кричал мне христианин. Не за что, приятель, отвечал я, и снова меня уже нет, улетел проведать ковбоев.

Я слышал, сказал один тип, какое тебе назначат лечение. После него не поболтаешь — заберут и наделают дырок в голове. Знаешь что потом будет? Вытащат мозги. Мне ли не знать! Я здесь давненько. Видал парня, который был до тебя. Целыми днями стоял у окна и ел бумагу, кусочек за кусочком. Ты бумагу любишь? Ну так лучше тебе ее полюбить. Он уже не будет таким умником, крикнул тип Всклокоченному в конце палаты. И радостно потер руки.

Я тогда здорово повеселился. Надо же, вытащат мозги. Но потом как-то раз проснулся, а у изножья кровати стоит Конопатый и говорит что-то шепотом про меня, я расслышал только: *в конце концов, так для него будет лучше!* Я выбежал из палаты и направился к главврачу. В кабинете шло совещание, ну да мне без разницы. Я сказал: не трогайте меня! Я хочу выйти отсюда!

И бросился бежать, но куда там. Ну-ка, ну-ка, Фрэнсис, пинок в задницу, на этот раз меня здорово пнули, я только мычал: ммм... ммм... пока меня тащили по лестнице.

Можно приступать, сказал врач и поднес шприц к свету. Конопатый посмотрел на меня, потом вниз, а в руках у него была — подумать только! — дрель, какой сверлят стены, чтобы повесить полки.

Фрэнсис, будь добр, поверни немного голову.

Дрррррр...

Вот так, уже лучше, услышал я мягкий голос. Доктор, будьте любезны, передайте мне тампон.

В дверь постучали, и кто, вы думаете, заглянул? Джо.

Фрэнси? Давай прыгай в седло, мы отъезжаем. Поторапливайся!

Пони заржал.

О'кей, Джо, ответил я и сорвал с себя белую простыню.

Это тебе только кажется, сказал Джо, и я услышал, как за дверью захихикала та самая блондиночка.

Джо, позвал я, Джо!

Так, значит, ты Повелитель Времени? сказал римлянин, готовься к смерти, и я взметнулся вверх, подвешенный за пятку.

Джо, позвал я, но в комнате никого.

Слышался шум морского прибоя.

Я глянул вниз и увидел миссис Коннолли. Она смотрела, как я раскачиваюсь туда-сюда, и улыбалась, скрестив руки на груди. Давай слезай оттуда, и я слез. Другая женщина смотрела на меня из магазина. Как дела, Фрэнси? спросила миссис Коннолли.

Отлично! ответил я.

Миссис Коннолли завела руки за спину. Вот как! сказала она, и женщины улыбнулись.

Спорим, Фрэнси, ты не знаешь... у меня для тебя кое-что есть.

Нет, миссис Коннолли, понятия не имею.

А вот есть! сказала миссис Коннолли. Как ты к этому отнесешься?

Очень даже неплохо, миссис Коннолли, сказал я.

Правда, он прелесть?

Ну как, споешь для меня песенку? Дамы, что вы думаете, споет он для нас песенку?

Дамы спросили: споешь, Фрэнсис?

Ты нам песенку, мы тебе специальный приз! объявила миссис Коннолли.

Она прятала его за спиной.

Ну и что же ты будешь петь? Может, мою любимую? Ты ведь знаешь, какая мне нравится, а?

Да, кивнул я.

Стоял перед ними, ноги вместе, голова опущена, мне было как-то неловко.

Тише, дамы, тише! Начинай, Фрэнсис!

Я выдал несколько па из ирландского танца, которому нас научили монахини, и пропел:

> Давайте познакомимся: я маленькая свинка.
> Смешные ушки, хвост крючком и розовая спинка.
> По городу гуляю я, весь день я развлекаюсь.
> Я буду свинкой маленькой, пока не нагуляюсь![1]

К концу песенки мне стало жарко и не хватало воздуха, спасибо-спасибо, сказала миссис Коннолли, а женщины хлопали: это даже лучше, чем в лондонском "Палладиуме"[2]!

Потом миссис Коннолли подняла руку, чтобы все успокоились, и откуда ни возьмись появилось большое такое, спелое красное яблоко.

Ах! выдохнули женщины.

Яблоко лежало прямо посреди ладони миссис Коннолли.

Ну, как оно тебе? а у самой глаза так и блестят.

Замечательное! ответил я.

1. Перевод Марии Фаликман.
2. Эстрадный театр.

Хочешь откусить кусочек? спросила она.

Да, миссис Коннолли, отвечаю, очень бы хотелось, и закивал, будто уже почувствовал во рту вкус яблока.

Что скажете, дамы? Дать ему попробовать яблоко?

Женщины задумались: э-ээ... м-м-м... завязалось бурное обсуждение.

Да, решили они наконец, если он откусит яблоко так, как это делают свиньи!

Миссис Коннолли потерла яблоко о рукав и сказала: ну что, Фрэнси, откусишь яблоко, как свинья?

Я сказал, что да, откушу, и миссис Коннолли опустилась на одно колено и тихонько толкнула яблоко, оно покатилось по резиновому коврику. Я попробовал схватить его зубами, но сделать это, стоя на четвереньках, было нелегко. Только поймаешь, как оно снова откатится. Каждый раз женщины вскрикивали: ой, опять упустил! Они хлопали в ладоши и смеялись: ну давай, Фрэнси, у тебя получится! Но у меня не получалось. Задача оказалась слишком сложной. Можно помочь одной рукой? спросил я. Ты имеешь в виду: одним копытцем? переспросили они. Угу, прошу прощения, копытцем. Нет, это против правил. Уж не знаю, сколько раз яблоко выскальзывало у меня. Раз десять, а то и одиннадцать. В конце концов миссис Коннолли сжалилась надо мной и сама протянула мне яблоко.

Ах ты, бедная свинка, сказала она, да пребудет с тобой Господь. Неужели ты не можешь даже яблоко подобрать?

Не горюй, Фрэнси, подбодрили меня женщины, теперь оно все твое! Ешь, не стесняйся!

Мне не хотелось есть яблоко у них на глазах, но пришлось. Женщины все приговаривали: вот так, а теперь еще кусочек!

И не замолчали, пока я не добрался до сердцевины. Затем миссис Коннолли подошла к окну и выглянула. А вот и они! сказала она, и все женщины заговорили разом, о погоде, о том, как тяжко сводить концы с концами при таких-то ценах. Я понятия не имел, кого они ждут, просто стоял и смотрел, как огрызок от яблока в моей руке становится коричневым. А когда поднял голову, понял, кого ждали: передо мной стояли мама-свинья и отец-свинья. Когда они вошли, женщины притихли, а миссис Коннолли улыбнулась маме. Потом кашлянула, вытерла нос бумажным платком, наклонилась к женщинам, стоявшим рядом, и прошептала: мы непременно должны посмотреть, как эти двое, отец с матерью, бранятся!

Они ждали, оглядывая вошедших с головы до ног. Они как будто говорили: ну же! Скажите что-нибудь, мы хотим посмотреть на перебранку!

Но никакой перебранки не последовало. Мама-свинья и отец-свинья стояли красные, как свинина в духовке, они боялись заговорить или даже встретиться с кем-нибудь взглядом.

Ну пожалуйста! Начинайте! Миссис Коннолли задумалась. Она сжала платок в руке.

Напрасно мы столько ждали — никакой перебранки не будет!

И не было. До тех пор, пока мы не вышли на улицу. Мама-свинья готова была расплакаться.

Почему ты так ничего и не сделал? Почему ты ничего, ну совсем ничего не сказал? упрекнула она отца-свинью.

Я? раздраженно бросил отец-свинья. А почему чуть что, сразу я?

Даже охрип, его красное лицо побелело как мел. Вдруг оба накинулись на меня.

Зачем тебе было брать яблоко, глупый поросенок? Я начал заикаться и запинаться. Не знал, что ответить. Понятия не имею, почему взял это дурацкое яблоко. Весь городок высыпал, чтобы поглазеть, как мы взбираемся на Чёрч-Хилл.

Со всех сторон нам махали и кричали столько людей, что мы, пока дошли до "Тауэра", совсем измучились. В баре никого не оказалось. Чувствовался застарелый запах пива и вонь из мужского сортира, это был бар, чье время уже прошло. Бармен даже голову не поднял, только вытер руки тряпкой и сказал: ну, свиньи, что вам налить?

Отец-свинья сказал, и бармен налил, заметив, что сегодня холодновато. Отец-свинья согласился, мол, в самом деле, а после никто не произнес ни слова. В баре висела картинка с усатым морским львом, державшим на носу бутылку пива, я долго на нее смотрел. Мама сидела с низко опущенной головой, не решаясь посмотреть. Каждый раз, как отец-свинья поднимал руку, оттопыривая мизинец, бармен ему подливал. Когда отец вернулся из сортира, на улице уже стемнело. Отец с грохотом рухнул на стул, и бармен заметил: пора бы вам отвести его домой.

Да, ответила мама, и бармен не спускал с нас глаз до тех пор, пока мы не встали и не вывели отца. Мама попросила, чтобы я помог, обхватила отца за плечи, и мы пошли: его ноги волочились по земле, маленькие свиные глазки закатились, а голова походила на розовый шар. Все повыскакивали из домов и пялились на нас: глядите, идут, да-да, через площадь, это они. Эй! Свиньи! Привет! Эй! Эгей!

Нет, вы только гляньте: мамочка-свинья, папочка-свинья и поросеночек, сопят-пыхтят, торопятся домой!

Ты простишь меня? Мне хотелось сказать: да, пап, но отец был далеко, я снова кружил у подножия холма, а римский легионер с мечом — подумать только, это ж Ледди! — стряхнул пепел с сигареты и что-то сказал мне, но я не расслышал, тогда он замахнулся и опустил меч, разрубив меня напополам.

Одна половинка могла видеть другую половинку, но обе всего-навсего свисали с железных крючьев.

Затем из тени появился Джо, но меня не увидел, прошел по скотобойне и вышел в прямоугольник света.

Когда я проснулся, рядом стоял Конопатый: Фрэнси, у тебя все будет хорошо, а медсестра принесла таблеток. Послушайте, доктор, ублюдок, который вон там, сказал, что вы сделаете из моей головы решето. Похоже, тот услыхал, потому как я увидел его у двери. Мне дали таблетки, и не стало больше ни Повелителя Времени, ни прочей фигни. Иногда меня водили в кабинет и показывали листочки бумаги, заляпанные чернилами. Что скажешь? спрашивал врач. Ну, на этой бумажке больше уже ничего не напишешь, говорил я. Почему это? возражал врач, снимая очки. Да она испорченная, вон, сами посмотрите. Гм, гм... Так вот чему их учат в школе для врачей: снимать очки и повторять: гм, гм!

Некоторое время я был как в тумане, но таблетки сделали свое дело, потому что однажды на улице я увидел того чувака и пошел за ним. Эй, ты, крикнул я ему, придурок! Тот притворился, будто не слышит, и припустил к кухне. Но я, схитрив, обошел дом — видели бы вы его рожу, когда он со мной столкнулся! Вот продырявлю твою дурацкую башку, ты, ублюдок! пригрозил я ему. Я его просто пугал, не стал бы я ничего с ним делать, но он вдруг как начнет: *ты ведь не станешь бить меня, правда?* Да я и не собирался, ни о чем таком и не думал, вышел, чтобы плести корзины и порисовать чуток — вот за какие занятия меня теперь засадили. Хотя навряд ли то, что у меня выходило, можно назвать корзиной. Отличная корзина, похвалил парень по соседству, у которого на голове ни одного волоска. И ни с того ни с сего завел разговор о женщинах. Они вот что делают, говорил он, ведут тебя через сад по длинной дорожке, а потом прислоняются к дереву и спрашивают: помнишь, как-то раз ты звонил мне по телефону, я тогда смеялась, и ты смеялся, и мама смеялась, все мы смеялись, помнишь? Вот был чудесный день! Такие они, женщины!

Ты должен их принимать, сказал Конопатый, и тебя ничто не будет тревожить. Это все равно как если охранник, прощаясь, жмет руку заключенному, а сам думает, до чего же отличная у меня работа, пока на следующий день не услышит, что этот самый заключенный зарубил несколько человек. Но я не собирался никого рубить. Я далеко от дома, и нет никаких ублюдков, корзин и дырок в голове, никакой такой чуши. Довольно с меня всей этой мутотени. Мы с Конопатым пожали друг другу руки, на минуту я забылся и сказал низким голосом янки: ну, док, до свиданья? Но тут же осекся, увидев, что Уолтер смотрит на меня и размышляет: а не поторопился ли он и не скормить ли мне еще таблеток, а то и поработать дрелью. Нет уж, Конопатый, спасибо, не надо. Что ж, до свидания, Фрэнси, до скорой встречи. Сказал, что раз в месяц будут проверять, что́ я поделываю, что первое время у меня будет много гостей. Что, снова свинячья школа? спросил я, да к чертям собачьим все это, док, то бишь я хотел сказать: спасибо, док, не надо. Нет-нет, поспешил заверить меня Конопатый, туда тебя не отправят, и машина повезла меня вниз под горку.

Надо же, глазам своим не верю. Тухлая рыба? Ничего подобного. Мухи? Ни одной не видать. Плитка на полу — можно смотреться как в зеркало. А уж запах полировки! Весь дом вычищен, у меня бы так никогда не получилось, хоть сто лет драй! Я вышел на улицу и, как думаете, кого встретил? миссис Коннолли, она и хотела сдержать улыбку, да не смогла: губы то соберутся, то снова растянутся, ни дать ни взять прыгалка крутится между ушей. Ну что, Фрэнси, был уже дома? А то как же, миссис Коннолли. Она коснулась моей руки и говорит: Фрэнси, ты только не бери в голову, я помогу тебе с уборкой, буду заглядывать время от времени.

Я сказал, мол, большое спасибо, миссис Коннолли, а она: благослови тебя Господь, у тебя ж никого не осталось, а я подумал: к чему это она?

Но решил не говорить ничего такого: спасибо, миссис Коннолли, вы очень добры. Ну что ты, любой сосед сделал бы то же самое, сказала

она и посмотрела на меня так, что можно было подумать — ей ну очень хочется по-большому, а она терпит из последних сил. Однажды я видал, как она и другие женщины болтали с миссис Клири, которая с Террас-стрит, миссис Клири тогда вернулась из больницы с ребенком, видок у которого был прям как в фильме ужасов. Вместо руки — клешня. Миссис Коннолли все щебетала: благослови тебя Господь, и щекотала закутанного в одеяло младенца, приговаривая: что за прелестная малышка, вечерком обязательно загляну к вам, принесу всякую одежку, от Шейлы, когда та была маленькой. А миссис Клири только и повторяла: спасибо, спасибо вам, уж не знаю, сколько раз она сказала это "спасибо", миссис Коннолли ей: ну что вы, не стоит, это же пустяки, а когда миссис Клири была уже далеко, я услышал, как миссис Коннолли говорила: бедняжка Клири, благослови ее Господь, небось совсем с ног сбилась, вчера видела двоих ее ребят, носились по улице, и это в восемь вечера, да и одеты были в какое-то рванье!

Она просто не поспевает за всем, храни ее Господь, сказали женщины.

Так они и стояли, смотрели вслед миссис Клири, пока та шла по улице, а потом миссис Коннолли заключила: я, конечно, неправа, прости меня Господи, но как подумаю, что бы мой Шон сказал, принеси я ему из больницы такое!..

И они все стояли и кивали, три головы разом.

Э, слышь! Закричал алкаш, когда увидал меня. Он стоял у дверей бара "Даймонд" и подсчитывал мелочь. Потом подбежал ко мне: слушай, всего-то трех полпенсовиков не хватает.

Извини, говорю, банк Фрэнси Брейди закрыт.

Чего-чего? не понял он, щурясь от света.

Закрыт, не работает, повторил я и пошел себе прочь.

Ну и топай, бросил алкаш, уро-о-од!

Я еще прошелся по дому — до того запах полировки нравился. На каминной полке цветы и все такое. Раковина чистейшая, я аж свое отражение увидал. Хох-хо, нескоро теперь в ней заведется тухлая рыба! Так точно, сэр! Намечаются перемены, да еще какие!

А затем сделал вот что — оделся понарядней: белый пиджак, вроде того, что висел в витрине магазина тканей и был на Клиффе Ричарде, и рубашка, ну, такая, с ковбойским шнурком. Погляделся в зеркало. Шнурок точь-в-точь как у Джона Уэйна, но я сказал, мол, больше никаких Джонов Уэйнов, с прошлым покончено. Теперь все иначе, все по-новому. Почистил пиджак щеткой и отправился в кафе.

Я собирался войти и поздороваться с Джо и остальными, а если бы они пригласили меня за столик, рассказал бы про все, что случилось в гараже, про все-все, что они захотят услышать. Сказал бы: привет, Филипп! Ну, как продвигаются занятия музыкой?

Он ответил бы: идут своим чередом.

Тогда я улыбнулся бы и пропел: *когда ты садишься рядом со мной!*

Я слышал песню по радио и теперь знал наизусть почти всю.

Потом бы встал и подошел к музыкальному автомату. Наклонился над ним и постоял с минуту, барабаня пальцами по крышке. Если бы та самая блондиночка или другая девица глянула на меня, я усмехнулся бы,

а может, даже и подмигнул. Потом заиграла бы песня. Я бы купил пачку сигарет, чтобы предложить одну девчонке, когда вернусь к столику. Можно будет просто сидеть и думать, и смотреть в окно на тех, кто пройдет мимо, а дым сигарет будет кольцами подниматься к потолку. Можно сидеть и про себя, одними губами повторять слова песни *Дрожь по телу идет волной!* а потом отбивать ритм гитар.

Да что тут раздумывать, я просто толкнул дверь, она открылась, я и вошел. Думал, они будут сидеть за столиком у окна, под плакатом с Элвисом, но в кафе никого не оказалось, только хозяин в болоньевой куртке читал газету, шипела кофеварка, да кто-то на кухне гремел сковородами. Что будете? спросил чувак, не отрываясь от газеты. Что-что? переспросил я, потому как сразу не расслышал, а потом прибавил: нет-нет, я тут ищу кое-кого, чувак тот тоже меня вроде не услышал. Закрыв за собой дверь, я снова оказался на улице. Пошел окольными путями на ярмарку, но и там никого не нашел, ни души, половина аттракционов закрылись или переехали на другое место. Та же самая пластинка с Джимом Ривзом все играла и играла, но теперь и слова-то нельзя было разобрать — до того ее заездили. Я слонялся по улицам до полуночи. Если кого и видал, так это алкаша — того вышвырнули из "Тауэра". Он барабанил по двери, хотел обратно в бар — шум стоял на всю округу. Я развернулся и пошел домой, но не лег, а сел у окна и стал смотреть на улицу.

Зашел к Ледди. Ну и куда ты заявился такой расфуфыренный? спросил он, убирайся отсюда. Но я не убрался, рассказал ему о гараже, обо всем, говорил и говорил, так что в конце концов ему наскучила моя болтовня: хорош уже, хватай вон ту тележку и марш по гостиницам, забери все отбросы, какие есть, у них наверняка порядком накопилось. Будет сделано, мистер Ледди, сказал я, спасибо, что взяли меня обратно. Ну да, другие бы на моем месте подумали, сказал он и зашел внутрь, а я отправился в путь, катил себе тележку и насвистывал, Фрэнси Брейди Король Отбросов. Привет-привет, говорю. Здорово, Фрэнси. Неплохой сегодня денек выдался. Неплохой, спасибо Господу. Никак домой вернулся? Ага, вернулся. Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь! Глазам своим не верю — старина Фрэнси! Привет, милашки! Фунт фарша, опа! И чтоб я сдох!

Кто это там на велосипеде проехал? О чем это он, где подвох?

На следующий день я так же разоделся и пошел в кафе, знал, рано или поздно они придут. Сел за их столик и поставил песню. Выкурил сигарету, потом вторую. Приятно было просто сидеть и смотреть на улицу сквозь причудливые клубы дыма. Ставил песню еще и еще, но никто не приходил. Я уже столько сигарет выкурил. Двадцать, если не тридцать. Назавтра я снова пришел, снова сидел и ждал. И на другой день тоже. Уже затемно собрался домой. Хозяин-итальянец подметал пол.

Что-то народу маловато. Зимой в городишке вообще глухо. Я спросил: а Джо с девчонками и Филиппом, они что, больше не приходят?

Хозяин кафе не сразу понял, о ком я. А потом расплылся в улыбке. А, Джозеф! сказал он, Филипп! Да-да!

Потом принялся качать головой, ворочая шваброй под стулом и пытаясь вытащить обертку от шоколадки.

Нет, сказал он, давненько мы их не видели. Они уехали. Да, неплохие были клиенты. Я без них скучаю.

Что это вы такое говорите? Как уехали?

Не знаю, ответил он, уехали и все тут.

Я хотел закурить, но сигареты кончились, осталась только пустая пачка. Я спросил у хозяина, мол, нет ли у него сигарет, а он ответил, что нет, он не продает, и вообще они закрываются, так что, пожалуйста, выходите.

Должно быть, я снова попросил.

Он ответил: *я же вам сказал! Не продаю я сигареты, не продаю! А теперь будьте так любезны!* И распахнул передо мной дверь.

Ну тогда хоть одну сигаретку, попросил я, *десятку дам.*

Попрошу вас! сказал хозяин кафе, указывая на дверь.

Я все думал, что встречу Джо или блондиночку, а может, кого из ихней компании, так что на всякий случай не стал снимать пиджак. Ледди привязался ко мне, мол, Христа ради, да сними ты его, а я: чего привязались, чего вас так волнует моя одежка? если вас что и должно волновать, так это сбор отбросов, покуда я их собираю, вам не о чем волноваться, приди я хоть в ковбойской шляпе! Ой, ну и хрен с тобой! отмахнулся Ледди и швырнул окурок в сточную канаву, делай, что хошь, черт тебя побери, я все сказал, господи, на кой я вообще тебя взял!

Я ему: да будет вам, мистер Ледди, я ж терь за двоих работаю, спасибо, что приняли обратно, никаких жалоб вам на меня не будет!

Ну а после не стал дожидаться его распоряжений. И чистил, и поливал из шланга, и рубил, и пилил, и паковал, короче, все делал — Ледди не успевал и рта раскрыть, как оно уже готово. Трудился до седьмого пота. Когда рабочий день кончался, я уходил и все надеялся, что повстречаю Джо, потому как про себя решил, что хозяин кафешки молол полную чушь, и ваще пусть убирается в свою Италию, вот что я сказал. Пару раз мне казалось, будто я видел их, но выходило, что блондинка не та. Каждый вечер я привозил тележку обратно во двор скотобойни, ставил возле Зловонной Ямы, а после запирал на замок. И все же в одном Ледди оказался прав — уделал я свой пиджак на славу: выливал ведро с помоями в тележку и заляпал всего себя остатками тушенки. Я все раздумывал: может, стоит пойти почиститься, прежде чем двинуть к Джо, потому как надоело уже шляться по безлюдным улицам и ждать. Потом решил: чего прихорашиваться, какое Джо дело до того, что у меня пиджак малость запачкался. И ваще, ты чего, Фрэнси, а? Джо Парселл твой друг, видит бог! Он же твой лучший друг!

Я сказал себе: какого черта я тут голову ломаю, подумаешь, пиджак. Все ты, Фрэнси, о какой-то ерунде беспокоишься, небось гараж по тебе уже плачет. И пошел к дому Джо.

В гостиной горел свет, я подумал, может, Джо сидит за учебниками, мы бы послушали пластинки, вот спрошу у Джо, мол, какие пластинки хочешь? любую могу достать. Клифф Ричард! Больше никто в голову не приходил. Ну да Джо в этом деле сёк, так что вскорости и я бы знал побольше. *Когда ты садишься рядом со мной!* пропел я и пригладил волосы. Отковырял как мог тушенку с пиджака, ну а потом постучал в дверь, нацепив улыбку до ушей — ни дать ни взять финальный матч выиграл: здравствуйте, мистер Парселл! сказал я, а вот интересно, парень ваш дома? Мистер Парселл посмотрел на меня в упор и аж вздрогнул, а потом переспросил: *что?* Пришлось повторить все по новой. А он вдруг начал

улыбаться, будто я шутку какую рассказываю. Потер лоб и уставился мимо меня, можно подумать, там, на другой стороне улицы, кто проходил. Потом сказал: вообще-то Джо нет, он вот уже полгода как в пансионе, в колледже Святого Винсента, который в Бандоране. Я хотел ответить: ах, да, ясное дело, что-то я совсем позабыл! но не мог, потому что это дрррр уже сверлило мне голову, прям как шум из включенного телика, когда засыпаешь. Так что я ничего не сказал, а дверь тем временем затворилась, тихо так щелкнула, эти двери, они все закрывались со щелчком, ну а потом стало накрапывать.

Я все стоял и глядел, как наполняются сточные канавы, думал, что же делать дальше, и увидал на противоположной стороне улицы миссис Коннолли с миссис Ньюджент. Миссис Коннолли несла раскрытый зонтик, защищавший от дождя главным образом миссис Ньюджент. Они остановились на углу у гостиницы, и я увидел, как рука миссис Коннолли потянулась вверх, ко рту. Миссис Ньюджент кивнула: вот именно. Ну что вы, миссис Коннолли, о чем вы говорите! *О чем вы говорите!*

Затем они попрощались, и не было ничего, только дождь поливал городок, и гостиные уютно светились огнями, а еще запах жаркого и серый, вздрагивающий отсвет телеэкранов за занавесками.

Я пошел к реке, она вздулась, вот-вот выйдет из берегов, можно оказаться лицом к лицу с рыбиной. Я промок и дрожал — было холодно. Подергал траву у края воды и сосчитал тех, кто ушел от меня.

1.Отец
2. Мама
3. Эло
4. Джо

Когда сказал: Джо, меня разобрал дикий хохот. Хрена лысого! сказал я, Джо ушел! Да как, черт возьми, Джо мог уйти?!

И все же это было так.

Дождь все лил, когда я подошел к дому миссис Коннолли. Капли падали мне прямо в рот. Дверь открыла миссис Коннолли, запахло жареным беконом и, кажется, картошкой. Я видел их всех, они сидели у камина, ели булочки, и я услыхал чей-то голос: ну что, кому-нибудь еще булочек? Мне, если можно, полную тарелку. Но я так не сказал, я вообще ничего не сказал, потому как у меня было дело к Коннолли. В доме висел барометр, прям как у Ньюджентов, показывал теплую погоду. Миссис Коннолли улыбнулась мне, вытирая руки о передник: здравствуй, Фрэнси! А потом ее бровь поползла вверх, мол, тебе что надо? Я выставил ногу вперед, на случай, если она вздумает закрыть дверь, прежде чем я скажу то, что хотел. Дождь теперь сделался соленым, он лил мне в глаза и действовал на нервы, миссис Коннолли спросила: чем я могу помочь тебе, Фрэнси? а я сказал: да вот, хотел спросить про отца, а она: ах, бедный твой отец, господи помилуй его! Опустила глаза и давай перебирать пальцами, ну а я сказал: нет, миссис Коннолли, не надо никаких Господи помилуй, и чего вы вечно суете нос не в свое дело, нет, правда, а она посмотрела на меня и даже заикаться начала. Сую нос не в свое дело? О

чем ты? Я сказал, мол, она и сама прекрасно знает, тогда миссис Коннолли попыталась проделать тот самый трюк, что и миссис Ньюджент, она выдавила из себя слезу: никто не сделал для твоего отца больше меня, Фрэнси, это я хлопотала о похоронах, никто другой не стал, я драила и оттирала, господи, да еще как, муж выговаривал мне, зачем я это делаю, а я делала потому, что жалела твоего дорогого ушедшего отца, упокой Господь его душу, никому и невдомек, сколько сил я положила, убираясь в твоем доме. Потом она всхлипнула, а я сказал: а кто заставлял вас убираться? вот в этом-то и беда, в городке нашем никто не может без того, чтобы не сунуть нос в чужие дела, ну просто *не может удержаться от того, чтобы не сунуть свой паршивый нос в чужие дела!*

Я повысил голос, и — ну надо же! — в дверях появился какой-то парень, усатый такой, я его не знал, он сказал: убирайся-ка подобру-поздорову, не то сделаю с тобой то-то и то-то. Я предупредил эту Коннолли, чтобы держалась от нашего дома подальше, увижу еще раз — ей не поздоровится, я не шучу. Усатый попытался было стукнуть меня, но я перехватил кулак и удерживал, пока не сказал все, что хотел сказать: не стой у меня на дороге, Коннолли, это не твое дело и никогда твоим не было! У нее сопли из носа потекли, она ревела и все повторяла: пожалуйста, ну пожалуйста. Усатый стоял, согнувшись, с самым дурацким видом, волосы на глаза свисают, не знает, что сказать, то ли: да пошел ты! то ли: ну пожалуйста, отпусти! но в конце концов ничего не сказал, так и топтался на месте как придурок, весь красный. И вот еще что я скажу тебе, Коннолли, продолжал я, не нужны мне эти твои яблоки! Поняла? *Не нужны мне эти твои яблоки! Не нужны твои дрянные яблоки!*

А потом я сказал Усатому, чтобы хорошенько все запомнил, да так и оставил эту парочку, не хотел с ними больше дело иметь. И пошел через весь город домой. Не знал, чем заняться, так что решил купить сигарет. Закурил и вдруг слышу, из проулка возле кинотеатра меня зовет Джо. *Джо!* крикнул я и бросил сигарету, Джо, это ты? Фрэнси, сюда, быстро, позвал он, я побежал, но никакого Джо не оказалось, я увидел только машину Ньюджентов, она ехала, разбрызгивая воду на тротуар, мистер Ньюджент высунулся и одной рукой протирал лобовое стекло, а в другой у него была трубка. Миссис Ньюджент сидела за рулем. Я и не знал, что она умеет водить. Тут машина подкатила к дому Парселлов. Я отошел подальше, за припаркованный грузовик, решил посмотреть, что будет. Миссис Ньюджент вышла из машины не сразу, сначала что-то поискала на заднем сиденье и вытащила — не то коробку, не то что еще. Мистер Ньюджент позвонил в дверь.

Филиппа с ними не было. Интересно, где он? Появился мистер Парселл, а из-за его плеча выглянула миссис Парселл: ой, здрасьте-здрасьте! Вот так неожиданность! А Ньюджентиха протягивает коробку, теперь-то я разглядел ее, она была обернута, не коробка, а подарок. Когда я снова посмотрел, дверь уже закрыли, а в гостиной зажегся свет. Мне было видно, как мистер Ньюджент раздает всем бокалы, а потом запрокидывает голову — кто-то рассказывал что-то смешное. Да ну бросьте, ладно вам! сказал он, я, конечно, не слышал этого, но по лицу мистера Ньюджента догадался, что именно так он и сказал. Бульканье дождевой воды в сломанном водостоке меня уже достало. Когда мистер Парселл открыл дверь, вид у него был сонный, он тер глаза, а на нем была пижама и ха-

лат, что бы это значило? Я слышал, как Ньюджент в доме спросил: кто это? Кто там? Свет в гостиной погасили. Я спросил у мистера Парселла: в честь чего вечеринка, мистер Парселл? а он не понял: вечеринка? Какая еще вечеринка? Вот эта самая, сказал я, ну, которая была сейчас. Вечеринка, повторил он, да о чем ты? Я ему: послушайте, мистер Парселл, бросьте, я только хочу узнать, имеет ли она отношение к Джо, только и всего, вы ведь празднуете его приезд, правда? Но он так ничего и не понял, твердил, что, мол, знать не знает, о чем я, какая такая вечеринка, и вообще, может, я заболел? Я решил, что моя догадка верна, просто он ни за что не признается, а когда услышал, как миссис Парселл спросила: кто это? Кто там? или Ради бога, что происходит? Уже час ночи, то сказал: извините, мистер Парселл, мне надоело, что другие лезут не в свое дело и не отвечают, когда их спрашивают, ведь я всего-навсего поинтересовался насчет вечеринки, а вы не ответили, что ж, ладно, мистер Парселл, вы, понятное дело, у себя дома, а все же не стоило мне врать. Он возразил: *не врал я тебе!* Нет, вы соврали, мистер Парселл, уж извините, но вы соврали. А ведь за вами такого не водилось, мистер Парселл, бывало я спрашивал Джо, и вы отвечали, что сейчас, мол, он выйдет погулять с тобой. Тогда вы не врали, не говорили ничего такого, так ведь, да?

Он изменился в лице, видать, больно стало, а мне это даже понравилось, он будто бы снова стал прежним мистером Парселлом, все пытался объяснить мне что-то, но не знал как. Ну да это было не важно, я и так знал, что он хочет сказать. Все шло хорошо, пока она не приехала, правда, мистер Парселл? Все было просто замечательно, пока миссис Ньюджент не начала лезть куда не след, отчего и пошли всякие неприятности. Вот почему она дарит вам подарки, ведь так, мистер Парселл?

Я посмотрел ему прямо в глаза и спросил: ведь правда?

Он глянул на меня грустно так и сказал: Фрэнси.

Было видно — он хочет сказать что-то еще, но не может, раз миссис Ньюджент в гостиной все слышит.

Я приложил палец к губам, хотел, чтобы мистер Парселл увидел — я догадался. Он потер виски, как будто у него болела голова, и посмотрел, словно извиняясь. Я улыбнулся. Хорошо, что мистер Парселл так сделал. Я ведь всегда знал, что Парселлы ничего такого не замышляли.

Вот если бы только Ньюдженты не появились в нашем городке, если бы оставили нас в покое — больше от них ничего и не требовалось.

Домой я не пошел, бродил всю ночь, думал, что делать дальше. Поспал немного в курятнике, тысячи глаз смотрели, дивились: кто это спит в нашем мирке из щепы? Цыпа-цыпа, хотелось мне сказать, это я, Фрэнси, но не было сил.

Когда я проснулся, не поверите, но меня всего облепили мухи. Отвалите, мухи, прочь от тушенки, и — бац! — прихлопнул сразу трех, на лацкане остались черные пятна, ну и что вы об этом думаете, чуваки? то бишь мухи?

*

У меня была с собой десятка, так что я пошел на ярмарку, в тир. Только и нужно было, что попасть в яблочко три раза подряд, тогда золотая

рыбка твоя. Этих рыбок было полно, они плавали, разевая рты: а вот и мы, а вот и мы. Я уперся прикладом в плечо, нажал на крючок — щелк! — промазал, ну да со всяким случается, но мне показалось, что хозяин тира глядит на меня и думает: м-да, тот еще стрелок. Я обернулся и грозно так глянул на него, но он стоял ко мне спиной, говорил с какой-то женщиной. Ну, теперь я готов, сказал я себе. Интересно, с какой попытки Филиппу удалось попасть, небось целое состояние просадил на пульки. Вот так, сказал я себе, но снова промазал. Что со мной, ума не приложу. Набрал пятьдесят очков, но все равно не хватало. Я сказал хозяину тира: небось у вас все ружья с дефектом.

Так оно, конечно, и было. Наверняка чуть согнули ствол, чтобы ружье всегда мазало, сколько ни целься. Вы ведь специально выдали Филиппу хорошее ружье, а? сказал я. Что? переспросил хозяин тира и ну хохотать. Пойти, что ли, к Ледди, попросить еще десятку, но подумал: за каким чертом? Джо Парселлу ведь все равно, принесу я ему золотую рыбку или нет. И сказал себе: да чем ты, Фрэнси, вообще занимаешься, какая такая *золотая рыбка?*

Хозяин тира стоял, опираясь на стойку широко расставленными руками: ну что, попробуешь еще?

Я засмеялся: не, хорош уже. Довольно с меня вас и ваших золотых рыбок. Вот что я сказал. Вы с Филиппом прямо спелись — два сапога пара.

Да что это у меня, ум за разум зашел, что ли, подумал я, дались мне эти золотые рыбки. Ну приду я в этот пансион, что в Бандоране, приду повидать Джо, и что он мне скажет? А, привет, Фрэнси! Ну как, рыбку-то принес?

А ведь в самом деле! Нам с Джо есть чем заняться, недосуг возиться с золотыми рыбками.

Эй, золотая рыбка! а ну отвали!

Я поднялся в гору и позаимствовал велик, там под навесом девчонки всегда оставляли свои велики. Закурил и вскочил в седло. И сказал себе: так значит вся эта ерунда с Джоном Уэйном в прошлом, да? Ну, скоро увидим! Еще как увидим! Пых-пых — окурок полетел в придорожную канаву. Крутитесь колеса, тик-тик-тик, прочь с холма Чёрч-Хилл. *Гони все стадо в Миссури! Дзинь-дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь-дзинь!*

Прочь, навстречу ветру, попыхивая сигареткой и насвистывая: мой старичок, он мусорщик, и шляпа у него под стать! Эй, привет-привет, одуванчики, а ну, отвалите! вжик! прутом по головкам, э-ге-гей! завопил я и покатил дальше. Старушка, выбрасывает спитую заварку в канаву: день добрый, дружок, что слышно, какие новости? Новости, какие еще новости, про что? Ай! вздрогнула она и почесала себе спину, да про коммунистов, вон оно что! да разве ж я знаю про коммунистов? Хох-хо, ты бы так не говорил, если бы мистер Хрущев, этот Лысый, нажал на кнопку. А уж нажать-то он нажмет, не сомневайся!

Она прищурила один глаз: что, думаешь, не нажмет?

И ну хохотать да приговаривать: конечно, ничего-то у них с миром не вышло, к чему теперь нытье. Я сказала им там, внизу, в магазине, мол, берите свои четки, молитесь, потому как на следующей неделе будет поздно. Мы не боимся Хрущева, отвечают. Ну да теперь, ясное дело, струх-

нули! *Это тебе не шутки, сынок!* сказала старушка. Заходи, помолимся, выпьешь чайку, прежде чем пуститься в путь!

Согласен, хозяюшка, сказал я, и мы опустились на колени. Господи, отверзи уста мои, избавь нас, Господи, от всех бед, не допусти конца света. Глаза у нее закрылись, она и не прислушивалась ко мне, я только мычал: ммм, ммм, а еще бубнил: шибзик тубзик чмобзик, прямо как тогда, когда помогал Размазне служить мессу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, сказала она и прибавила: а ты набожный паренек, ну давай садись, я пока поставлю чайник. Хорошо, мадам, ответил я. Здоровский дом, подумалось мне. Черный чайник на каминной полке, диван-кровать в углу, а из-за него выглядывает мистер Китаёза, кот, сузил глаза и как уставится, мол, какого черта тебя пригласили, а ну убирайся, это мой дом, понял? мой! А вот и чай, сказала старушка. Вот так так, воскликнул я, вот это ломоть, закачаешься, и вонзил в него зубы, а потом подлил в чашку еще булькающего чаю. Не стесняйся, там у меня много этого добра, может, найду чего покрепче, когда выпьешь чай, если, конечно, силенок хватит. И ушла, посмеиваясь, залезла под лестницу, а вернулась с бутылкой в коричневом бумажном пакете. Хлебни-ка, сказала, а коту аж похужело, когда он услышал такое. Мы выпили и налили по новой. Куда путь держишь? спросила старушка. В Бандоран, ответил я. *Бандоран*, повторила она, *это там, где блохи съели миссионера!*

Хлебни еще, сынок, ты ж не впервой Джона Джеймсона[1] пробуешь.

Потом она распахнула окна и прокричала: держись, Хрущев, лысый черт! Кеннеди с тобой разберется!

Еду к Джо Парселлу, сказал я, Джо Парселл? спросила старуха, это кто же такой? Ну, верного друга подводить не стоит, заключила она, не у каждого есть такие друзья. Да уж, согласился я, это точно. Так ты, значит, уезжаешь повидать его, ну, удачи тебе, вот бы и мне такого друга, а не этого горбатого хрена, вон, застрял на пороге. Что? переспросил я, а когда обернулся, увидал — кого бы вы думали? — того самого садовника в резиновых сапогах с отворотами, который все поправлял наползавшую на глаза кепку, дело решенное, сказали, через неделю ни одного быка на том поле не останется, довольно с нас, все в округе уже натерпелись: и мужчины, и женщины, и ребятня, и зверье!

На улице уже смеркалось. Вот черт! ругнулся я, мне пора.

Разок-другой я чуть не навернулся в канаву. Эй, смотри, куда едешь, прикрикнул сам на себя. Слышь, Хрущев, тебе здесь делать нечего, за тебя уже всё сделали, сказал я, а в следующую минуту покатил под горку — вот здорово! — вперед в чистое поле. Я хохотал, внутри у меня было столько виски, в лицо дул ветер, из-под колес летели камушки. Конец света, сказал я, и чего они болтают, это же только начало, какой еще конец.

Правда ведь, Джо?

Ага, точно, Фрэнси! откликнулся Джо.

В Бандоране Хрущеву тоже нечего было делать, там я только и увидал что обрывки газет посреди главной улицы, потом еще лодку в гавани, а на месте ярмарки ничего, один фургон без колес да тощую дворнягу,

1. Марка виски.

привязанную к забору. Дома оказались серыми и голубыми, а еще мокрыми и унылыми. Я стал размышлять, как найти этот пансион.

Они лежали на кровати, на вышитом покрывале, им слышно было, как соседи возвращались с танцев. За окном плескалось море, шшш... шшш... Назывался пансион "Над волнами". Я не знал, где он, ну да какое это имело значение?

Зашел в гостиницу и сел за столик в ресторане: откуда-то — звяк-звяк! — долетали звуки ксилофона и столовых приборов. Подошла официантка: ну, что будешь? Все, сказал я. Что значит все? А я: бекон, яйца, сосиски, фасоль, чай, в общем, все. Она черкнула в блокнотике. Да ты голодный посетитель, сказала она. Точно, ответил я, заправляя салфетку за воротник, слона бы съел.

Официантка вернулась, и я спросил про пансион у нее. Она ответила, что не знает, но наведет справки. Ты, судя по всему, надолго тут, сказала она, глядя на гору еды у меня на тарелке. Это вы верно подметили, согласился я и ну орудовать вилкой. Я выскребал остатки яичницы, когда официантка вернулась вместе с управляющим. Я так понимаю, вы что-то ищете? я знаю Бандоран как свои пять пальцев. Мне нужен пансион "Над волнами", сказал я, сейчас я вам все расскажу, вот ей-богу, ответил управляющий и морщил лоб, силясь вспомнить, все чесал затылок. Ну, я тут поспрашиваю, сказал наконец. Я еще пил чай, когда он вернулся, а с ним старикан, лет сто, не меньше. Вот этот человек знает каждый пригорок в Донеголе, сказал управляющий.

Да! воскликнул старик, так оно и есть, я и вправду знаю каждый пригорок в Донеголе! На что оно могло сгодиться, знание каждого пригорка? Ну да мне было все равно, пусть знает, его дело, меня же интересовало одно — пансион. Когда я произнес "Над волнами", лицо старикана посветлело: ага! воскликнул он, еще бы не знать, я ж каждый день мимо него хожу, когда возвращаюсь с почты. Вот и отлично! просиял управляющий, что́ я вам говорил.

Старикан ковылял рядом со мной по набережной, он малость походил на садовника из свинячьей школы, так же болтал без умолку про Майкла Коллинза, вот только называл его бесовским отродьем, каких земля еще не рождала, потому как Коллинз этот продал страну. Вот это вы верно говорите, сказал я, а как насчет Де Валера[1]? Когда я назвал это имя, старикан пуще завелся, ну да я его уже не слушал. У меня голова шла кругом, меня лихорадило, я только и повторял про себя: "Над волнами", "Над волнами". Старикан тем временем распространялся насчет борцов за освобождение: я бы каждому по две пули в башку всадил, не пожалел бы. А вот и то самое место, сказал он, махнув палкой в дальний конец улицы. Еще топать и топать, ну да с твоими-то ногами пара пустяков, вмиг дойдешь. Я чуть было не столкнул старикана через перила в воду, до того разволновался. Уж не знаю, сколько я бродил мимо домов туда-сюда. Загляну в окна, а потом снова отойду. Зашел за стоявшую машину и постарался отскрести сухую тушенку на пиджаке. Но ничего не

1. Имон Де Валера (1882—1975) — выдающийся деятель национально-освободительного движения Ирландии. Премьер-министр Ирландии в 1932—1948, 1951—1954, 1957—1959 гг.

выходило, так что я подобрал палочку от леденца. И подумал: отличная штука, кажется, точно такой мы с Джо и долбили по льду в тот самый день. Да, похоже, именно такой, я почти уверен. В окна только и видать было что медные горшки да огромные фикусы, а еще картинки с лошадьми или яхтами.

Я позвонил в одну дверь, просто подошел и нажал на звонок, а иначе так и ходил бы туда-сюда до второго пришествия. Нет, извините, это номер двадцать семь, а не семнадцать. Ой, простите, сказал я, уж не знаю, с чего это вдруг я сказал именно так: ой, простите! прям как воспитанная девчонка. Не помню, сколько домов я обошел, не то двенадцать, не то тринадцать, хотя на самом деле, посмотри я как следует, сразу бы заметил нужный. На нем висела табличка с якорем и нарисованным моряком, а прямо над дверью: "Над волнами", свободные номера. Я чуть было не дал деру, но удержался, привел себя в порядок, откашлялся, как мог соскреб пятна от прихлопнутых мух, тушенки, а там и дверь открылась — на пороге стояла она. Такой я ее себе и представлял: в очках на цепочке, в общем, все такое.

Стоило ей только раскрыть рот, как она уже не умолкала, ой, говорила она, да что сейчас, вот раньше, это да. Бывало, в этом доме останавливались двадцать, а то и тридцать человек, я ей: вы небось и не упомните такую ораву, а она: ошибаешься, молодой человек, я хоть и старая уже, а лица хорошо помню. У меня превосходная память на лица, здесь столько народу перебывало, но я всех помню. А потом вернулась назад, к тем, прежним временам, в самое начало. В лучший год у нас остановились эти, на Евхаристический конгресс, мать честная! я и не думала, что во всей стране найдется столько народу, на перрон выгружались целые толпы. Ну и, конечно, после войны много постояльцев было, из Англии. Англичане, они знаешь какие? Ни тебе хлопот, ни задержек с оплатой, ни капризов. А ведь такое сплошь и рядом случается, уж поверь!

Ты чайку не хочешь? спросила она. Я ответил: а как же, с удовольствием.

Вот, выпей еще, предложила она. Ну что ж! ответил я.

Да, в свое время у меня побывали важные особы. Слышал о Джозефе Локке? Она посмотрела на меня, поджав губы. Я о таком в жизни не слыхал, но глянул на нее поверх чашки и переспросил: *Джозеф Локк?*

Да! воскликнула она. Трижды останавливался.

Пел для нас, сказала она, в гостиной. Что за чудесный был вечер! А еще каждый год приезжал школьный учитель из Дерри, господин Макэнифф, на пианино играл. Мелодии Тома Мура. Слышал про Тома Мура?

Я знавал Тома Мура, тот работал в курятнике, ну да хозяйка пансиона, понятное дело, говорила не о нем. И все равно, я же мог сказать, что знаю его. Я и сказал.

Да, тот вечер останется для меня самым дорогим воспоминанием...

И давай рассказывать дальше, про какого-то актера, который читал стихи и декламировал. Зеленый глаз маленького желтого божества, назывались. Ага, сказал я, и еще Кремация Сэма Макги!

Я помнил, это читал Эло на той самой вечеринке.

Верно! воскликнула она радостно и передала мне печенье.

Да, у меня всегда останавливались знаменитости из мира эстрады, всегда.

Я примостился на краешке стула и ждал удобного момента, чтобы ввернуть словечко про отца, певшего для нее. Все ждал и совсем позабыл о чае. А она и говорит: ты непременно должен взглянуть на коллекцию фотографий. У меня хранятся снимки почти всех постояльцев, кто хоть на одну ночь останавливался под этой крышей. Не знаю, сколько у нее было этих фотографий, небось тысяча, не меньше. На всех — парни с выцветшими бурыми лицами и в широких штанах. Сидели у стога сена, а рядом — девчонки. Прикрывали глаза ладонью, вглядываясь в морскую даль. Пикники тоже были. Я все смотрел и смотрел фотографии, но не нашел ни одной с отцом и мамой.

А вот это такой-то и такой-то, поясняла хозяйка пансиона, гостил у меня целый месяц. Этот — судья из Дублина, а она — родственница того-то и того-то, да. Но ни единой фотографии отца. Когда мы просмотрели все снимки, хозяйка собрала их и глянула на меня: так как, ты сказал, звали твоего отца?

Брейди, ответил я.

Брейди, повторила она, бывал у меня Люциус Брейди, музыкант, играл на пианино, да и пел тоже замечательно, припоминаю, а как, ты сказал, называется та песня, что пел твой отец?

Мне снилось, что я живу в мраморных залах, сказал я.

Хм, песню-то я, конечно, знаю, сказала хозяйка, но что-то она мне ни о чем не говорит. Я сказал, отец ее пел. Вы еще оставляли им с мамой ключ от номера под половико́м! Вот как?! удивилась хозяйка. Нет-нет, такого я сделать не могла! Никогда так не поступала!

Впрочем, сказала она, дай-ка подумаю. Перебрала еще нескольких Брейди, но мне все время приходилось говорить: нет, это не он.

А как, говоришь, было его полное имя? спросила она. Бернард Брейди, сказал я, она несколько раз повторила имя и фамилию и все качала головой, и только когда я сказал *Бенни*, вдруг разинула рот и посмотрела на меня по-другому. Откуда-откуда? переспросила и, когда я повторил, принялась собирать фотографии, напевая себе под нос и что-то бормоча. Я сказал: он частенько вспоминал о деньках у вас, о всяких красивых вещах и все такое, но хозяйка вдруг почему-то расхотела говорить на эту тему, сказала: пожалуй, соберу-ка я все это, господи, сколько дел, прям не знаю, за что хвататься. Я снова спросил ее: а как же насчет моего отца, вы ведь обещали?

А она: ох, даже не знаю, память уже не та. И попыталась обернуть все в шутку. Ну да, годы, знаешь ли, сказываются, ха-ха-ха. Она собирала фотографии и укладывала обратно в коробки и в альбом, я спросил: разве вы не расскажете мне? Вы же обещали. Она только покачала головой. Ну, пожалуйста, расскажите, упрашивал я, мне очень нужно, очень, но она сказала: нет, оставь меня в покое. А мне только и надо было, что услышать, как они лежали и слушали море за окном, ну да все равно я ничего так и не услышал. Когда я попросил хозяйку, мол, все же расскажите мне, вы ведь обещали, она возмутилась: *оставь меня в покое, слышишь!* Что я могу рассказать о человеке, который так вел себя со своей собственной женой? Опозорился здесь, не лучше свиньи был. Да и как еще назвать того, кто оскорбил священника? Бедный отец Макгивни, а ведь и мухи не обидел за те двадцать лет, что останавливался у меня! Одному Господу известно, сколько он всего делает в сиротском приюте в Белфасте, а тут такая грубость, неуважение! Да поможет Господь бедной жен-

щине, она почитай ни дня не видела его трезвым за весь медовый месяц!

Потом хозяйка, правда, сказала *ох, прости!* но я был уже в прихожей, да и мне было уже все равно, я прикрыл за собой дверь, тихонько так, только замок щелкнул. Пошел по улице и кого бы вы думали встретил? того самого управляющего. Ну как, спросил он, нашли то, что искали? Да, конечно, ответил я и показал оба больших пальца, ну, приятно провести время в Бандоране, пожелал он мне, а я ему вдогонку: непременно! Дул ветер, я зашел в магазин купить сигарет, а потом спустился к пляжу и выкурил несколько, море было грязным и серым, на волнах качались несколько кораблей, кажется, три, я выкурил еще сигарету, потом еще, некоторые я бросал наполовину целыми, другие докуривал до конца. Потом посчитал, сколько еще осталось в пачке. Одна, две, три... три штуки. С пляжа я снова поднялся в город, где увидал несколько человек, каждый занимался своим делом: женщина что-то покупала, человек из местного управления, в болотных сапогах, склонился над канализационным люком, девчонки из школы при католическом монастыре собрались возле кафе, я купил расческу — что-то волосы совсем спутались. Но дело было в том, что за тем магазином, где я купил расческу, находился нотный магазин, который я проглядел, когда шел мимо. Над дверью висела собака, она глядела на трубу, не понимая, откуда говорит хозяин. Я здесь, Фидо, вытащи меня, просил тот. Как? спрашивал Фидо. А я почем знаю, отвечал хозяин, вытащи и все дела, ты же моя любимая собака! В витрине магазина было все что душе угодно. Ну, то есть для занятий музыкой. Серебристый саксофон, тоже был. Трубы. Стопки пластинок и краснощекая женщина с развевающимися волосами и недовязанным шарфом нот, вылетающих изо рта. Она хотела, чтобы все до единого подпевали. Я был готов. Ну, то есть подпевать. Зашел в магазин, а за прилавком — музыкант, мурлычет что-то вполголоса и пишет ноты в нотной тетради, совсем как отец, пока не начал пропадать в "Тауэре". Я сказал музыканту: а я про вас кое-что знаю.

Правда? удивился он. И что же?

Вы знаете все мелодии в мире, сказал я. Спорим, знаете?

Прям уж так и все, улыбнулся он, хотя немало, это точно, да, я бы сказал, что немало. Я побродил по магазину. Граммофоны, и как много, штук двадцать небось. Всякие разные. Трубы большие и маленькие. На любой вкус. А потом вдруг услышал какое-то бульканье, а когда обернулся посмотреть, увидел, что музыкант наливает себе чай. Хочешь? спросил он. Капелюшку чаю? Здоровские у того музыканта выражения были. Как скажет, сразу на душе хорошо делалось, аж слезы подступают. Ну а потом, подумать только! откуда ни возьмись печенье это, которое на бабочек похоже! Вот черт, вырвалось у меня, как это вы узнали? А он улыбнулся и сказал, мол, вот, угощайся, а потом чай, струйка петляла и булькала в чашки, когда это случилось? спросил он. Я даже не понял, откуда он узнал, ну да не важно, я принялся рассказывать ему про маму и отца, про картошку и соль, про песню и молитву с четками на скалах, про все про все. Так, значит, он на трубе играл, отец твой? спросил музыкант. Ага, кивнул я и напел ему кой-какие мелодии. Ну, если он справлялся с ней, сказал музыкант про одну песню, то уж наверняка знал, как играть на трубе! А то! подтвердил я, слизывая крем с пальцев. Снаружи горо-

док превратился в стекло закатного цвета. С потолка свисали позвякивавшие штуки в виде нотных знаков, звяк-звяк дзинь — только и было слышно. Стопки пластинок, одна на другой, я проходил между ними, но не трогал, они могли разломиться на части прямо в руках. *Осторожнее, Фрэнси!* сказал я и рассмеялся: *не волнуйся, все в порядке!*

Джон Маккормак, я его знал. Когда он подошел, отец дирижировал, резал воздух на огромные куски указательными пальцами. Мне снова стало смешно. А потом я увидал ее и чуть в обморок не хлопнулся, уж и не знаю почему, ведь я много раз ее видал. Ноги у меня как будто набили опилками. Цок-цок! постукивал копытами осел с грустными глазами, тащил себе телегу прочь, в туманную зелень гор и синеву небес, далеко-далеко. А прямо над картинкой большими черными буквами ИЗУМРУДНЫЕ СОКРОВИЩА ИРЛАНДИИ. Я пролистывал ее, снова и снова читал все эти названия, а когда подошел расплатиться с музыкантом, уронил монеты, они рассыпались по всему полу, а я вдруг рассказал все про Филиппа, про Джо, ну и всякое такое, прям как словесная конница помчалась изо рта, не знаю, откуда во мне накопилось столько слов. А музыкант все слушал и слушал, каждое мое слово, и по глазам его видно было, что он не думает, мол, хоть бы этот Фрэнси Брейди заткнулся, надоел уже со своим Джо Парселлом, нет, я видел, что ему действительно интересно. Потому как затем он выдал отличную фразу. Вообще-то есть книжка гораздо лучше. Вон она, позади тебя. Намного лучше. Она называлась "Сокровищница ирландских мелодий". На ней не было ни осла, ни телеги, только старуха в шали на пороге приоткрытой двери смотрела на заходящее за горы солнце. Значит, эта лучше, чем та? спросил я. Намного, намного лучше, закивал музыкант. Тогда я покупаю ее! выпалил я и от волнения снова выронил монеты, они укатились кто куда. Музыкант от этого только развеселился. Он и не думал продавать мне книжку. Он мне ее дарил, отдавал просто так. Не каждый день встретишь того, чей отец играл на трубе как твой, сказал музыкант. Разве не достаточно уже того, что тебе нравятся эти песни? И, замурлыкав себе под нос, пошел заворачивать книгу. Потом протянул ее мне, а я все не сводил с него глаз. Ничего, скоро покажу книжку Джо! сказал я. Но музыкант вдруг перестал улыбаться. Если в витрину забарабанят и начнут кричать, что, мол, инопланетяне пожирают всех детей в городке, что он сделает? Он скажет: ясненько. Сейчас, иду. Вот только магазин закрою. Этот музыкант был отличным парнем, мне такие еще не встречались, я все глядел на книгу, глядел и глядел, представлял себе лицо Джо, когда протяну ему этот подарок.

Черная дорога вилась как лента, то и дело врезаясь в неровные поля, а в конце ее находился пансион Джо, который, конечно же, скажет: ну ни хрена себе, Фрэнси, у тебя снова получилось! А я ему крикну: эй, Джо! По коням! Отъезжаем! Гей-гоп!

Что-то я становлюсь, как мама, или еще похуже. Фьють! — в одну сторону, фьють! — в другую. Сделаю это, нет, сделаю то. И снова — фьють! Знаю — я еще подумаю о Джо и добрых старых деньках. А потом — снова хохотать. Огромные завитки чернильных туч несутся по небу, книга по музыке засунута в задний карман. Потом среди полей показался пансион, все окна желтые от зажженного света — еще один дом с сотней окон, но за одним из них был Джо, и когда я подумал так, то подпрыгнул

высоко-высоко, прям как футбольный мячик, чуть до луны не долетел. Фрэнси Брейди играет за команду городка, он в сорока ярдах, уже в тридцати, двадцати, десяти, дальний бросок, вратарь, растяпа, пропустил мяч, ага, Фрэнси Брейди забил гол, гол соперникам, Фрэнси забил луну в сетку!

Я топал почти целый час, прежде чем увидал пансион, но стоило мне только завернуть за угол, как свет возьми и погасни. Р-раз! все до единого окна. Эй, чего это вы там удумали, а? чего вырубили его, свет этот? Пусть горит! Как же я отыщу Джо Парселла?! Вы чего там, оглохли, что ли?

Потом вдруг подумал: а ведь это не иначе как дело рук миссис Ньюджент. Она прознала о том, что я отправился повидать Джо, и задумала устроить мне пакость. Подговорила святых отцов выключить свет по всему пансиону, чтобы они там все легли, и когда я уже выдохнусь, бегая по дому как придурок, она выйдет вместе с ними из тени и усмехнется: что же это ты, так и не нашел его? Какая жалость, Фрэнси, правда? а я тогда пойму, что это конец, что я никогда больше не увижу Джо. Но тут я как захохочу, чуть пупок не надорвал: и придет же такая глупость в голову. *Ну не-е-ет*, сказал я себе, *уж сейчас-то миссис Ньюджент не удастся все испортить!*

Потом мне на ум пришло кое-что еще, ну да то были уж совсем дурацкие мысли.

Я обошел здание и у черного входа чуть не опрокинул огромный бак с отбросами, подумать только, я, Король Отбросов, и не заметил! Я был как раз за кухней. Р-р-р, зарычал пес.

А ну, заткнись, бросил я ему и благополучно прошел мимо. Мне слышно было, как шипит вода из прохудившегося бачка в уборной. Шшш... шшш... Фрэнси, от нас не спрячешься. Я все ощупывал книгу — проверял, не потерялась ли. А потом оказался вот где: в комнате, где было полно футбольных бутс и стоял запах потных подмышек. Проклятье, чтоб вам! выругался я, пришлось начинать все сначала. Та-да-да-дан! Ощупью вдоль стены. Ни с места! Откуда ни возьмись шестеро солдат с ружьями наперевес: лицом к стене, наконец ты попался, мистер Брейди! Да нет, ничего такого, только храп святых отцов да неотесанных сопляков, где же они, в конце концов? Здесь нету никого, только кровать и шкафчик, в котором полно пузырьков с лекарствами. Ну-ка, подумал я, гляну на них, и вытряхнул из маленькой коричневой склянки несколько разноцветных пилюль себе на ладонь. Закинул в пасть и глотнул. Интересно, от чего они были. Я понятия не имел. Эгей! почудилось, будто кто-то кричит с другого конца комнаты: Фрэнси, поворачивай налево, потом направо, там и найдешь его! Кто бы это ни был, но я обернулся, чтобы сказать спасибо, а никого и не увидел. Затем пилюля сказала: эй, Фрэнси, да это же была я. Пилюля, рассердился я, уродина этакая! Ну что ты, Фрэнси, что ты, отвечает она, придется сделать твои ноги ватными. Шлеп! шлеп! по плиткам пола. А это еще что за здоровущий колокол, сидит под лестницей. Я сказал: миссис Ньюджент, если это опять ваши затеи, лучше вылезайте подобру-поздорову. Я ведь знаю, что это вы, миссис Ньюджент, меня не проведешь.

А потом меня разобрал смех, никак не мог остановиться. Ржал точно какой-то деревенщина, которому пальчик покажи, он и зальется, да еще и носом станет хлюпать, никак не успокоится, хотя все уже успели позабыть шутку. Я сказал себе, мол, сделаю так: возьму и шандарахну по колоколу, а там погляжу, что будет. Признаться, от такого грохота впору было проснуться всему пансиону, каждому деревенскому мальчишке в мире, даже совершенно глухому. Орудие к бою, цельсь — фигак! Сделай я такое, они бы обрушились на меня как тонна кирпичей, а может, и выкатили бы Джо в придачу. Нет, пилюля, не надо, не выставляй старину Фрэнси дураком, вот так вот, за здорово живешь. Пилюля, упрашивал я, веди себя прилично!

Я снова пришел в норму. Хм, интересно, какие проделки устраивает здесь Джо? Спускается по простыне из окна спальни и айда на полуночные пирушки! Слышь, Парселл, ну и хитрец же ты! Бродяга и есть бродяга! Ну да и хрен со всем этим! Интересно, есть здесь потайной ход? Задеваешь кнопку на перилах и — а-а-а! — вниз по темному коридору в клочьях паутины и скелетах деревенских мальчишек.

Поднялся я, значит, по лестнице, а это еще что за деревянная дверь, скрип-скрип, откуда ни возьмись распятый на кресте Господь наш Иисус: привет! Чем могу помочь? Да вот, не могу найти Джо Парселла. Прямо по лестнице до самого верха. Отлично, Иисус, спасибо тебе.

Что все это значит, сказал я, их тут целая сотня, и все дрыхнут! Ну да ладно, недолго им осталось. Вот увидят нас с Джо в деле!..

Та-да-да-да!

Щелк! вот и свет включился, яркий такой, а они все щурят глаза, чисто китаёзы, и тянут на себя одеяла: чё такое? кто свет включил? Чуть было не сказал: кто-кто, Элджернон Каррадерз, вот кто!

Я забарабанил по ноге свернутой в трубку книжкой: *Джо! Эй, друг, где ты? Слышь, я уже здесь! Давай, по коням! Отъезжаем!*

Крикнул что было мочи, потом еще на случай, если он не услышал. И вдруг все, что меня тревожило, уплыло шелковым шарфом по ветру, я понял, теперь остается только дождаться Джо, и мы умчимся прочь, раз и навсегда. До того хорошо, что я снова крикнул: Джо! Ямма, ямма, ямма!

А потом: гей-гоп! Гони все стадо в Миссури!

Джо, мы едем в горы и будем бродить там дни напролет, а ночью слушать вой койотов. Койоты воют на луну, чтобы избавиться от всего, что их тревожит. Вот и я так сделал. У-у-у! У-у-у! Закрыл глаза и завыл на всю прерию.

Потом вижу — священник идет. Отец Лис, не потому, что фамилия такая, а потому, что вытянутая морда вместо лица. Здрасьте-здрасьте, отец Лис, я ищу Джо Парселла. Кого-кого?! переспросил он и помрачнел. Еще одно слово, друг мой, и я схвачу тебя за шкирку, а потом, Христом Богом клянусь, так наваляю, уж не сомневайся. Отец Лис, да что это вы! Не говорите так!

Вот что сказал бы Элджернон Каррадерз. Но я не сказал.

Сказал только, что ищу Джо, и попросил, мол, помогите его найти.

Лис пробормотал себе что-то под нос, но так, чтобы слышали эти деревенские недоноски, такое сказал, что я ушам своим не поверил, ну ни капельки! Он покачал головой, а когда недоноски увидели, что он делает, тоже принялись качать головами. Я слышал, как захлопали двери, как поднялась суматоха, по лестнице так и забегали. Вошли еще два священника, а с ними, подумать только! Джо Парселл.

Джо! выкрикнул я. Вот так черт!

Знаю-знаю, не надо было такое говорить, ну да я сказал. Лис бросился ко мне, но я увернулся. Он снова попытался достать меня, но у него ничего не вышло, я отпрыгнул в сторону, так что он остался в дураках. Мне только и надо было, что подойти к Джо, так бы я и сделал, но между мной и Джо вырос Филипп Ньюджент. Он теперь был выше и казался крепче, ну да я все равно узнал его — челка все так же лезла ему в глаза. Он смотрел в упор не моргая. Как только я увидал его, все пошло наперекосяк, потому что не должен был этот Филипп оказаться там. То, что я собирался сказать, вылетело из головы, а потом священник подвел ко мне Джо, и от его взгляда у меня аж живот скрутило: это был совсем не Джо. Филипп все еще стоял у входа, скрестив на груди руки. Я знал, что́ он расскажет им: что я хотел быть одним из них, Ньюджентов, и отказался от родной матери. А потом с усмешкой прибавит: представляете, одним из нас, Ньюджентов!

Джо спросил: чего тебе надо?

Нет, не так. Он спросил: ну а тебе-то чего надо?

Не было никакого смысла говорить, мол, я хотел, чтобы мы вскочили в седла и помчались, поговорили о старых добрых деньках, о том, что бы сделали, выиграй мы сто тысяч миллионов миллиардов долларов, может, пошли бы бродить по горам, а все потому, что я знал: ни к чему хорошему мои слова не приведут, так что я молчал, просто стоял и смотрел на Джо.

Он снова спросил: чего тебе от меня надо? Оглох, что ли?

А потом: слышишь, что говорю? Зачем я тебе понадобился?

Вот уж никогда не думал, что Джо скажет такое, не думал, что так выйдет, но ведь он сказал, да, и как раз когда я услышал от него такое, я почувствовал, будто утекаю, но не могу остановиться, чем больше стараюсь, тем только хуже, я могу всплыть под потолок, как папиросная бумага, пожалуйста, Джо, поедем со мной — только это я и хотел сказать, у немых дырки внизу живота, вот почему я сейчас самый немой из всех немых в мире, у меня не осталось слов, ни единого словечка. Только и есть что книжка по музыке. Она вся помялась, стала влажной от капель пота: ты только не волнуйся, все будет хорошо, щас я ее разглажу и протяну ему, но так получилось, что я выронил книжку, а в следующую секунду между нами уже стоял священник, он сказал: *ну все, это уже слишком! Отвечай, Парселл, этот парень друг тебе или нет?*

Я смотрел на Джо, пожалуйста, ну, пожалуйста, умолял я его, но он даже не взглянул на меня, заладил свое, мол, устал, хочу спать, уже три часа ночи.

Потом Джо покачал головой и сказал: нет.

И ушел, на ходу сказав что-то Филиппу — тот усмехнулся. С минуту я стоял неподвижно, все еще вертя в руках книжку, а потом священник

сказал, мол, пора вам уже и честь знать, мистер Брейди. Да-да, конечно, святой отец, и меня проводили до самых ворот, сказав, что мне повезло — никто не вызвал полицию, а я сказал, что да, повезло, а потом вышел в темноту, где-то поблизости стоял велосипед, но я не помнил где. Ну да мне было все равно, и я пошел пешком, думал, это был не Джо, уж не знаю кто, но не он, а настоящего Джо они забрали, перед глазами у меня стояли тонкие губы, которые говорили: именно, забрали, и ты ничего не сможешь поделать, ты не вернешь себе Джо, правда ведь, Фрэнсис Свинья? ах ты, поросеночек, свинка! и я ответил, да, миссис Ньюджент, так оно и есть.

Когда вернулся домой, в городке все бегали взад-вперед и причитали, мол, грядет конец света. Первым мне попался Мики Трейнор, он вез на тележке статую Богоматери, ты что, не слышал? спросил он меня, конец света надвигается, вчера вечером в новостях передавали, все, конец настает, да знаю я, знаю, можете не рассказывать!

Пускай делают что хотят, продолжал Трейнор, нам не страшно, с нами Пресвятая Дева Мария, она убережет нас, дочери вчера было видение, Богоматерь подаст нам знак. Ради любви к Всевышнему ступай и послушай мою дочь, Брейди, настало время каждому позаботиться о душе!

Он схватил меня за плечо: сделаешь это, Фрэнси? я ведь знавал твоего отца.

Я в курсе, что вы знавали, он собирался зайти к вам насчет телевизора, но не смог, поэтому я и отправился смотреть про осьминога к Ньюджентам. Ладно, сказал Мики Трейнор.

Я крикнул ему вдогонку: послушайте, Мики, а вы не сможете починить его сейчас, нет?

Тот не обернулся, ну да я и сам понимал, что он не сможет, уж слишком там все было раздолбано, после отцова-то удара ногой. Да, телевизору крышка, это точно. Надо было снести его на свалку, и зачем он торчит в сарае, только место занимает. Я пошел по улице и — надо же! — встретил алкаша. Пошли в "Тауэр", предложил я, но он только помотал головой. Я ему, мол, ты чего, в самом деле, а он мне: ты разве не слыхал про Трейнорову дочку? Я: слыхал-слыхал, на черта она мне сдалась, слышь, айда в "Тауэр", и вытащил пятерку. Не, сказал он, я по своим делам, вон, священник ко мне наведывался, сказал, теперь нельзя безобразничать. Довольно с меня неприятностей, с тобой-то, пойду к отцу Доминику, он обещал подыскать мне работенку. Так что извиняй, приятель, отодвинул меня в сторону и пошел, только рваное пальто вздулось пузырем. Ну и вали, ублюдок горбатый! Потом бросил ему вдогонку: а когда-то водился со мной, нос не воротил!

Я зашел в магазин, купил пачку сигарет и хотел взять что-нибудь почистить пиджак, но у них был только шампунь, годится, сказал я. Выйдя из магазина, увидал на той стороне улицы миссис Коннолли, она несла посудину, полную цветов. Я помахал ей, но она покраснела, втянула голову в плечи и даже виду не подала, будто меня заметила. Засвистел-заскрежетал громкоговоритель и заиграл гимн под названием "Вера наших отцов". Послушал я немного, но гимн был так себе, дерьмовенький. Лучше затяну свой гимн, про Мэтта Тэлбота, моего приятеля еще с той

поры, когда я знавал отца Размазню. Вот это другое дело, сказал я себе, вот это гимн так гимн!

Люблю свои доски больше всего
Пусть стужа, дождь и ветер.
Люблю свою кошку, ей рыбий суп даю
Но еще сильней люблю свои цепи.

Я пропел еще несколько строк, в них было про то, как Мэтту сказали: что, Мэтт, хочешь, чтобы тебя угостили выпивкой? А ну вали отсюда, о себе позаботься сам!

Я залез на стену и орал прохожим: Мэтта Тэлбота в президенты!

Потом снова пел, приложив к губам палочку от леденца.

Так вот, раз – это деньги!
Два – это шоу!

А потом — это:

Когда ты садишься рядом со мной
Дрожь по телу идет волной!

Затем крикнул:

Фрэнси Брейди на радио Люксембург!

Наконец драть глотку наскучило, да пошло оно, это дерьмовое пение! решил я. Зашел в кафе, а, это вы? сказал хозяин, чего желаете, я попросил сосисок, поджарки, бобов, жареной картошки и яиц, в общем все такое. Извините, но мы закрываемся, я очень извиняюсь, но обслужить не могу. Купил пачку чипсов и пошел к нашему с Джо укрытию. Попробовал шампунем отмыть пиджак, но ничего не вышло, полбутылки извел, да только хуже стало, а после заснул.

Проснулся уже утром и не спеша двинул к скотобойне, но было еще слишком рано, часа два прождал, прежде чем пришел Ледди. И долго ты здесь? а я: да прилично, мистер Ледди. Уж пора бы объявиться, и где только тебя черти носили! Да так, бродил там-сям. Бродил, пробурчал Ледди, ты бы бродил в свободное от работы время, Брейди, вот дам тебе под зад коленом, будешь у меня бродить по этой самой улице. Не беспокойтесь, мистер Ледди, такое больше не повторится, скоро уже все закончится. Мясник надел фартук и сказал, мол, в гостинице полтонны отбросов скопилось, они у меня уже в печенках сидят, смотайся туда сегодня же и сделай свою работу на совесть, черт возьми! Будет сделано, мистер Ледди, выпалил я.

Потом мы принялись забивать свиней и трудились до самого обеда. Ледди вытер руки о фартук и сказал: я пошел есть, а ты хватай тележку и вперед. Да не забудь извиниться, скажи, что впредь будешь забирать все вовремя. Конечно, мистер Ледди, обязательно, заверил я. Когда мясник пошел к себе домой, я снял с гвоздя пистолет со стержнем и вытащил из ящика молоток, Ледди глушил им скот, а еще прихватил нож.

У двери стояло ведро со старыми помоями и свиной кормежкой или чем там еще, я сунул все в ведро и покатил себе тележку, насвистывая. Так, значит, Трейнорова дочка говорила с Богоматерью, да? Только и разговоров что о грядущем явлении Царицы Небесной на площади. Слыхал, как две старухи мололи языками. Это такая честь для всех нас, говорила одна, не в каждый городишко является Матерь Божья. Вот уж что правда, то правда, поддакивала другая, а как вы думаете, будут при ней ангелы? Откуда ж мне знать, да и какая нам разница? Верно говорите, ваша правда. Куда бы я ни пошел, только и слышал: ну, теперь уже недолго осталось.

Передай Ледди, чтобы забирал вовремя, не то больше не будем дожидаться, сказал повар с кухни и все стоял, глазея на меня, будто я украл у него что. Непременно передам, заверил я и начал забрасывать отбросы в тележку. Работал лопатой и насвистывал, ни единой корки не оставил, чтобы больше никаких жалоб. Потом снова пустился в путь. Все теперь стали прям святыми: мы, жители городка, отныне вместе! завидев женщину, неуклюжие сельчане стягивали кепки, с почтением заглядывали в коляску с младенцем и все такое. Им бы напечатать крупными буквами на въезде: БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ ИЗ ГОРОДОВ.

На площади появился красивенький такой алтарь. Над ним парили три ангелочка, прям напротив входа в Ольстерский банк.

Смотрел на наш городок и диву давался. Ни дать ни взять самый светлый и счастливый городишко во всем мире.

Я прошел к черному ходу, помахивая ведром. У соседа шевельнулись занавески, свист-посвист, здрасьте-здрасьте, мистер Сосед, это я, Фрэнси, специальная доставка для миссис Ньюджент. Он отошел от окна, я постучал в дверь миссис Ньюджент, и та вышла в голубом домашнем платьице. Здрасьте-здрасьте, миссис Ньюджент, мистер Ньюджент дома? у меня к нему записка от мистера Ледди. Она вся побелела и застыла в дверях: извини, говорит заикаясь, мужа сейчас нет, он на работе, ах так, сказал я, вот и чудненько, а потом резко втолкнул ее в дом — она споткнулась обо что-то и упала. Я захлопнул дверь и повернул ключ. У миссис Ньюджент не лицо было, а белая маска, рот сделался маленькой буковкой "о", теперь-то вы понимаете, миссис Ньюджент, каково немым, у которых дырки в животе? Они хотят крикнуть, да не могут, не знают как. Миссис Ньюджент пошатнулась, попыталась дотянуться до телефона или пробраться к выходу, но когда я вдохнул аромат булочек и увидал фотографию Филиппа, меня аж затрясло, я начал пинать ее, понятия не имел, сколько раз ударил. Она стонала и все повторяла: нет, пожалуйста, не надо! ну да мне было плевать, пусть стонет, причитает со своими "пожалуйста" или что там еще. Схватил ее за шею и сказал: вы сделали две гадости, миссис Ньюджент. Заставили меня отвернуться от собственной матери и отняли у меня Джо. Почему вы это сделали? Она не ответила, да я и не желал ее слушать, шмякнул башкой об стену пару-тройку раз, у нее из уголка рта потекла струйка крови, а когда она протянула ко мне руку, я наставил на нее пистолет со стержнем. Одной рукой оторвал миссис Ньюджент от пола, а другой всадил стержень прямо ей в голову — бульк! — точь-в-точь золотая рыбка, когда ее бросают в аквариум с водой. Если спросите кого, как убить свинью, вам ответят, мол, нужно

перерезать ей горло поперек, но вы так не делайте, режьте вдоль. Миссис Ньюджент теперь лежала вверх подбородком; я вспорол ее, сунул руку в живот, а потом исписал все стены на втором этаже словом СВИНЬИ.

Как следует прикрыл ее, накидывал поверх отбросов, которых было хоть отбавляй, а то кому ж понравится вид миссис Ньюджент на дне тележки? потом подобрал ее красивые ножки и покатил себе дальше, вверх по Чёрч-Хилл и под горку, везде снова звучали гимны и шли толпы народу с молитвенниками. А затем мне повстречался тот самый тип с велосипедом и плащом, переброшенным через руль. На этот раз само дружелюбие, прям счастливый человек: Богоматерь идет к нам, сказал. Давненько я тебя не видал, прибавил, все еще собираешь налоги? Не, сказал я, с налогами покончено, я теперь тележки катаю. Надо же, а! Ты когда-нибудь думал, что застанешь день, когда Матерь Божья спустится в наш городок? спросил он и посмотрел на меня, будто хотел сказать, мол, это я все устроил. Не, не думал, сказал я, и привалило же нашему городку счастье, уж это точно. Да, счастье, поддакнул тип и полез в карман за трубкой — пых! пых! — ну, а теперь о чем поболтаем? ни о чем, сказал я, удачи вам, а я побежал, мне вон туда, во двор надо, он сказал: да, грешные мы, грешные, ни минуты нам продыху, вот именно, подтвердил я, ни минуты продыху для таких, как миссис Ньюджент, что на дне этой тележки. Но он не расслышал.

Я ненадолго оставил тележку и зашел в магазин купить сигарет, женщины стояли возле полки с сахаром, только на этот раз без миссис Коннолли. Купил я сигареты и сказал женщинам, мол, жаль, миссис Коннолли не видать, хотел поговорить с ней, наболтал вчера всякого, а ведь на самом-то деле пошутил, точно-точно! Мы с миссис Коннолли старинные друзья! Разве я не получил от нее приз за танец! Замечательное такое, сочное яблоко! Я зажег сигарету и выпустил облачка дыма. Ха-ха-ха, засмеялись женщины, да ты, Фрэнси, не волнуйся, не бери в голову, сказали они, мы и сами, бывает, такое натворим, что потом жалеем, правда ведь, дамы? Да, сказал я, особенно миссис Ньюджент, и захохотал, дымя сквозь смех сигаретой. Им стало любопытно: А что такое? Я им: да нет, ничего.

Одна из женщин намотала ремешок своей сумочки на мизинец и сказала, мол, ни к чему таить обиду на других, особенно теперь. Верно подметили, согласился я, что правда, то правда.

Ладно, Нуддит, покатили дальше, сказал я, карета Фрэнси Брейди Никчемного Человека отъезжает. Мимо проходил алкаш с еще одним святым в тележке, а когда увидал меня, уставился себе под ноги.

Эй, держите вора! А ну вернись, куда потащил святого!

Где тебя черти носили! накинулся на меня Ледди, когда я вернулся во двор скотобойни. Да вот, кой-какое дельце провернул. Проворачивай, да только в нерабочее время, ворчал Ледди, мне надо в магазин, а ты пока подмени меня. Будет сделано, ответил я, вот это по мне, оставил тележку у Зловонной Ямы и спросил у Ледди, где лежит известь. Эй, Ворчун, пошел прочь! прикрикнул я на пса, тот метнулся в ворота, унося с собой связку кишок. Я взял лопату и раскрыл мешок с известью.

Вот будет забава, когда вечером мистер Ньюджент вернется домой. Брр, прохладный выдался вечерок, о-хо-хо! Дорогая, что у нас к чаю? Дорогая, а, дорогая? Господи, жена так занята, что и не слышит меня. Пахнет булочками, а черно-белая плитка до того натерта, что можно смотреться в нее как в зеркало. Наверно, вышла в магазин, ну да не важно, глянем, что там по телику. Ага, вот они, новости. М-да, а не слишком ли тихо стало с тех пор, как Филипп уехал в пансион? Хм, а не слишком ли тихо стало с тех пор, как моя женушка отправилась на небеса? скоро подумает он, ну да пока мистер Ньюджент ничего не подозревает. Интересно, что будет: поджарка с яичницей или бифштекс и пироги с почками, ее коронное блюдо? Эх, разнесчастный мистер Ньюджент, долго же ему придется ждать, прежде чем он снова отведает их. Да-да, все это очень печально. Вот и конец новостям. Хм... Тик-так. Нет, куда же она все-таки запропастилась? Куда подевалась моя жена? Эй, соседи, здравствуйте, никто не видел мою жену? Нет, клянусь Господом, сегодня не видал. Ох, ну надо же! начнет причитать мистер Ньюджент. Тик-так, ходит по кухне взад-вперед, тишина уже не кажется такой приятной, он снова и снова думает о том, где же миссис Ньюджент, где эта женщина-невидимка? Только посмотрите на несчастного мистера Ньюджента с огромными, красными глазами! "Айриш Вирджиния" — лучший табак... Да как разревется! Может, она наверху? Сосед, как думаете, может, она пошла наверх, прилегла и заснула? А почему бы и нет, могла и заснуть. Давайте посмотрим. Отличная мысль, скажет мистер Ньюджент, и они заспешат вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки, а когда откроют дверь, то увидят на стенах... нет, только не это, мистер Ньюджент чуть не лишается чувств, а сосед скажет: не смотрите, не смотрите!

Что ж, вообще-то и там ее не оказалось, ха-ха-ха, может, полиция знает? давайте позвоним, мистер Ньюджент? я сам наберу номер. Потные пальцы по всему циферблату, алло? сержант Сосиска? в смысле, полицейский участок?

Я насвистывал себе, а когда поднял голову, увидел сержанта Сосиску и с ним человек пять недотеп из деревни, вроде не местные. Один все на меня поглядывал, пытался заглянуть мне в лицо, как будто хотел сказать: *мать честная, на этот раз ты, парень, влип!* ну да я не обращал на них внимания, свежевал тушу да насвистывал. Не знаю, что за мотив, кажется, из фильма "Путешествие на дно моря". Ледди стоял в дверях, вытирал руки ветошью, а потом глянул на меня, а лицо у него старое и белое как мел. Я слышал, как сержант сказал: *сосед видел, как утром он вошел к ним с черного хода.*

Ну а тут Ледди как с цепи сорвался. Прежде чем сержант успел остановить его, он такого мне отвесил, что я отлетел, ударившись о дверь холодильной камеры. *Надеюсь, ты свое сполна получишь! Не надо было пускать тебя на порог, да только я поддался на уговоры, а все ради твоей несчастной матери!* выкрикивал он, потрясая кулаками. Хотел снова ударить, но я успел перехватить его руку, а как посмотрел ему в глаза, он все и понял: мистер Ледди из Университета потрошения свиней, вы бы подумали, на кого руку поднимаете, Бангкок, Бангкок... не были вы ни в каком Бангкоке, никогда в жизни не были, и за языком своим следите, что вы там болтали насчет папаши, который еще не скакал на мамаше, смотрите,

как бы с вами не случилось то же, что с Ньюджентихой. Ледди, Человек-свинья, понравится вам такое, черт вас дери?!

А потом я расхохотался прямо ему в лицо, он аж опешил, похоже, даже хотел сказать: Фрэнси, ну, пожалуйста, прости, я не имел в виду ничего дурного, так, с языка сорвалось.

Что тут скажешь? Вот так местечко, с ума сойти можно!

Мистер Ньюджент дрожал и все такое, я знал, что он не сможет посмотреть мне в глаза. Где она? спросил Сосиска, а деревенщины с бычьими шеями схватили меня с обеих сторон. Крепко держали, не пошевелишься. Я сказал: должно быть, это и есть конец света. Надеюсь, Пресвятая Дева спасет меня!

Где она? повторил Сосиска.

Айриш Вирджиния, вот что! выкрикнул я мистеру Ньюджденту и получил тычок под ребра. Потом они сказали, мол, ладно, проверьте здесь каждую щель, так и сделали. Сельские недоумки в роли полицейских. С такими красными шеями, хоть поджарку делай. Сколько поджарок? Четыре порции. Нет, лучше так: две порции поджарки и два яйца, если не возражаете, конечно!

Может, она вон за той половиной коровьей туши? Нет, вроде бы нет. А под бачком с антисептиком? Ни следа. Они занервничали. Пришлось им увести мистера Ньюджента. Что ты с ней сделал? Я переспросил: кто, я? Они еще больше рассвирепели. Поколотили меня и стали возить по всему городку. Поперек курятника растянута надпись: ГОРОДОК ПРИВЕТСТВУЕТ БОГОМАТЕРЬ! Я сказал им всем: небось ждут, что она приземлится прямиком на крышу курятника, они остановили машину у обочины: господи, я вырву у этого богохульника язык, собственными руками вырву, пригрозил Сосиска. Но не вырвал, и мы поехали дальше, куда? к реке. Она там? Кто? переспросил я. В конце концов меня отвезли обратно в участок и по-отечески так отдубасили.

Вот что они сделали: положили в носок мыло, а потом колотили меня, уж не знаю, сколько раз, следов-то не оставалось. Зато дерьмо точно вышибает, уж это правда!

Где она? подступился ко мне Сосиска, его аж трясло. Каслбарские сосиски — вкуснейшие сосиски в мире! выкрикнул я. Слышите, на сковородке скворчит? это сержант Сосиска!

Наконец им надоело, и они решили, мол, швырнем его к чертям собачьим в камеру, а утром продолжим. Мне слышно было, как они дулись в карты. Пяток козырей! и все такое. Я приник ухом к стене, чтобы ни слова не пропустить. Кто-то сказал: я бы никогда не повернулся спиной к этому засранцу, к гаду этому, ни в жисть!

Меня держали в камере весь следующий день, ждали, пока приедет детектив из Дублина. И всё расхаживали по улице. Слышь, поди сюда, ты, недоносок! крикнул я алкашу через решетку, ты мне должен два и шесть, а мерзавец руки в ноги и дёру. Миссис Коннолли, поглядите, куда меня засадили! Эй, с великом, окликнул типа, вот что я получил за неуплату свинячьего сбора! Поделом мне!

Ха-ха-ха, засмеялся тип и чуть не врезался на велике в стену. Вдруг перед тюремным окошком появился не кто иной, как Мики Трейнор, а с ним Маккуи, чудотворец наш. Я молюсь за тебя, сынок, сказал Маккуи.

На тележке у него стояла фигурка святой Марии Горетти[1], которую подпирали два тюка с сеном, он сказал, что в момент явления чуда статуя будет кровоточить. Говорят, за последние дни на городок обрушились всякие напасти. Как ты, сынок? спросил он, ничего не бойся, я молюсь за твою бессмертную душу. Через прутья решетки я видел святую Горетти, она с глупым видом таращилась в небо, молитвенно сложив руки. Узри ее прекрасные глаза, сказал Маккуи, узри прекрасные очи этой святой и ты увидишь, как по ее бледным щекам скатятся два красных-красных рубина, две слезинки. Как это грустно, мистер Маккуи, сказал я. Что именно, сынок? Что такие жирные негодяи, как вы, почем зря растрачивают томатную пасту. Господи Иисусе, Пресвятая Дева и Иосиф! воскликнул Мики и подскочил к чудотворцу, чтобы поддержать того на случай, если с ним случится обморок. Ах ты, гаденыш, злой, испорченный мальчишка, ты разбил сердце своей матери, даже на похороны не пришел! Ни черта ты не знаешь, Трейнор, даже телевизор не можешь починить! Эй, слышишь меня, Трейнор? Да пошел ты! Ты и твоя дочка, и Пресвятая Дева Мария тоже! Я не хотел говорить такое, это меня Трейнор вынудил, вся улица слышала, что я сказал, все глазели и крестились: Господи Иисусе, Пресвятая Дева и Иосиф; а потом в камеру вошли двое, тот, с бычьей шеей, и детектив, они снова наваляли мне, а потом сказали, сейчас я поеду с ними, а после, мол, лучше мне раскрыть рот, не то они Христом Богом клянутся, что я получу по заслугам. Я как будто в сон провалился, слышал, как миссис Коннолли и все молились за меня на площади, отсчитывая бусины четок. Увидал Баттси и Девлина, они заглядывали через прутья решетки. Молись, чтобы тебя не вздернули, сказал Баттси, ну а мы выпотрошим тебя как свинью, ты и впрямь свинья. Он все хохмил, этот Баттси, а потом как заверещит: *что ты сделал с моей сестрой?!* пришлось Девлину увести его. Я им: скатертью дорожка! а сам принялся читать комиксы — мне один пацаненок принес журнальчик из кондитерской Мэри. У генерала Великана была кой-какая армия, крошечные такие роботы, которыми он управлял с помощью пульта, который смастерил его друг, мистер Профессор. Я раньше думал: а неплохо бы иметь такую армию, роботы присматривали бы за всем городком. Провел бы их к реке, а затем — щелк! — остановил прямо у обрыва. А когда они скажут: уф, вот повезло, мы чуть было не свалились, тут я закричу: а, вот вам! и нажму кнопку: падайте, ублюдки, ой-ой-ой! и все они, вся армия, посыплются в воду.

В следующий раз Сосиска зашел в камеру один, грустный такой, все смотрел на меня: и почему в мире должно быть столько печалей, Фрэнси, я уже не молод, мне тяжело со всем этим справляться. Когда я глянул ему в глаза, сказал себе: старина Сосиска, бедняга, это же несправедливо. Ладно, Сосиска, я покажу тебе, где она. Спасибо, Фрэнси, ответил он, я знал, что ты покажешь. Слишком долго уже оно тянется. А бедствий и горя без того хватает. Вот уж точно, сержант, согласился я.

Нового детектива я окрестил Фэбианом из Скотленд-Ярда, как в том фильме, он стоял у машины, а меня сунули на заднее сиденье, между двумя дюжими малыми с бычьими шеями.

1. Покровительница жертв преступлений, молодых девушек, современной молодежи.

Сосиска теперь ходил гордый — все шло как по маслу, и он не выставил себя идиотом перед этим Фэбианом. Ну, Фрэнси, скоро все закончится, сказал он, ты правильно сделал, что решил показать. Знаю, сержант, ответил я. Когда мы свернули в переулок, машина замедлила ход — вокруг бегала детвора, они придумали новую игру: разложили на столе комиксы и устроили распродажу. Ребятня глазела нам вслед, я увидал, как Кисточка показывает на меня своему дружку: гляди, это он!

Остановились возле курятника, Фэбиан распорядился, мол, вы двое будьте здесь, снаружи, на всякий случай. Поняли, ответили они, а я, сержант, детектив и еще двое зашли внутрь. Вентилятор гудел себе, и мне стало грустно. Куры всё так же копошились: кто это с Фрэнси?

Мы пробирались через кучи щепы, продвигаясь вперед, я сказал, это недалеко, прямо здесь, внизу, у задней стены. Фэбиан впотьмах наткнулся на лампу, и она закачалась туда-сюда, а по стенам и потолку запрыгали тени. Сдается мне, куры знали, что произойдет дальше, и взволнованно закудахтали. Я чертыхнулся: черт, кто ее сюда повесил! и сделал вид, что оступился и падаю. Смотри под ноги, Фрэнси, сказал Сосиска, тут темно, а когда Фэбиан подошел, чтобы помочь мне подняться, в руке у меня уже была цепь, она лежала там же, где и всегда, под досками. Я взмахнул цепью всего раз, Фэбиан вскрикнул, ну а мне того и надо было, я рванул в заднюю клетушку и заперся на засов. А потом, не теряя времени, бросил цепь, распахнул окно, а когда выбрался наружу, припустил оттуда на фиг.

Понятия не имею, откуда набежала такая пропасть полицейских, но в поисках меня они прочесывали окрестности, забирались в низины и поднимались в горы. Я видел, как они идут по полю и перекрикиваются: ну как, нашел что? Слушай, а ты посмотрел на той стороне рощи?

Такая умора была их слушать, из своего убежища я все видел, даже Сосиску, вот бы он кусал себе локти, если б узнал, что дважды подходил ко мне и стоял рядом.

Нагнали еще полицейских, слышно было, как они рыщут с вечера до утра, да и ищейки с ними — гав! гав! — на берегу реки, время для ужасного Фрэнси Брейди истекает! Не, только не для него, истекает для Фэбиана, сытого всем этим по горло, и для его людей, потому как они только и нашли что дохлую кошку в канаве, а такую добычу в Скотленд-Ярд не повезешь. Отличная работа, детектив Фэбиан! Брейди вы не поймали, зато поймали вот это: кишащую червями кошечку! Что ж, поздравляем!

В конце концов они решили: он, должно быть, в реке, так что настал черед полицейских-водолазов, они принялись обшаривать дно, за ними наблюдали репортеры, Баттси с Девлином и чуть ли не половина городка, все ждали, что меня вытащат, измазанного илом и покрытого водорослями, но водолазы вытащили железный остов кровати и половину матраса. После полицейские еще несколько раз возвращались, шуровали палками в кустах и ворчали себе под нос: вот ведь дерьмо, куда он подевался? после чего не торопясь ушли и остались только я и река, шшш... шшш... Эй, рыбина! позвал я, повезло те, не выдала, чертова рыбина! а потом вышел на главную дорогу, вокруг ни единой грешной души, и двинул к городку, свист-посвист, я снова при деле. У придорожной канавы лежал велосипед. Тик-тик-тик, я завернул за угол, ха! вскочил и

покатил с горки во весь опор, по переулку, задними дворами и вот уже на месте, та-дан! Дома! Как это мама говорила? Господи, ну и грязюка, не знаешь, за что хвататься. Я почесал бровь и встал, уперев руки в боки. Нет, в самом деле, ума не приложу! Весь дом провонял! Тут не только Ворчун Армстронг отметился, а и все дворняги нашего городка. Повсюду, куда ни глянь, валялось собачье дерьмо! Я собрал сколько мог — получилась большая куча посреди кухни. Ну, сказал я себе, по крайней мере хоть с чего-то начал! Так... теперь дело за старыми книгами, которые плесенью покрылись! Подобрал одну. О чем это она? Былая слава Греции! Бенни на память, 1949 г.

Перевернул несколько страниц, и книга рассыпалась у меня в руках. Я бросил клочки на пол. В углу валялась кипа одежды. Из кармана отцовского пальто, того самого, как у Аль Капоне, высыпались уховертки, целая горсть. Рядом валялись юбки, туфля и все такое. Я сгреб все это дело в кучу. Потом пошел в кладовку, принес тарелки и ножи, в общем, захватил все что смог. Отряхнул руки. Ну и работенка. А ведь до верхнего этажа даже не добрался! Я не разбирал содержимое ящичков — просто переворачивал их вверх дном. Письма, календари, счета, прочая дребедень... Поднялся наверх — вытащил постельное белье и то, что еще оставалось в платяных шкафах. А как же мы? спросили фотографии на стене. Ой, вот растяпа! отругал я себя. Чуть не забыл!

Была среди них одна, на ней отец прижимал мундштук к губам. Ну, пошла, давай, сказал я. За ней Пресвятое Сердце: Он поднял два пальца вверх, а на груди у него проткнутое шипами горящее сердце. Помнишь молитвы, что мы читали в прежние дни, Фрэнси? Это Он спросил. Ну что ты, Пресвятое Сердце, как же я могу забыть! Да снизойдет на тебя этой ночью проклятие Христа, гнилая, похотливая сучка — помнишь такую?

Помню, сказал Он, возводя очи к небесам, и я выкинул его, а как быть с этим? это я про Джона Кеннеди собственной персоной. А меня, спросил Папа Римский Иоанн Двадцать Третий, меня обязательно отправлять в мусор? Простите, святейший отец, сказал я, обязательно, не то остальные черт-те что устроят, отправляйся, уже недолго. Когда втаскивал телик, пришлось попотеть, хотел взгромоздить его на самый верх кучи, но не удалось. Из нутра все еще торчали всякие проводины и лампочки. Пластинки лежали где и всегда, под лестницей, но мне нужна была только одна, остальные выбросил. Я включил граммофон, он работал, ничуть не хуже, чем раньше, я отнес его в кладовку и поставил рядом с раковиной. Вот и чудненько, сказал, теперь мы при деле.

Принес из сарая канистру с керосином и вылил, больше всего попало на кучу. Один круг, другой... от запаха голова кружится.

Нет спичек! Нет гребаных спичек! Ну ни хрена себе, а! вырвалось у меня в сердцах.

Когда вышел на улицу, глазам не поверил, даже спросил сам себя, что происходит. Прям как в "Унесенных ветром", когда город горит. У кого ноги только по колено, у кого их вообще нет, одни обрубки. На площади увидал Трейнорову дочку, она дергалась между двумя монахинями, а на губах висели клочья пены. Алкаш в новеньком галстуке регулировал движение. *К Матери Божьей сюда, друзья мои!* Все только и ждали, что ее явления, никому не было дела до меня, бегавшего в поисках

спичек. Зашел в магазин, большое спасибо, Мэри! и, похоже, до свидания, но она ничего не ответила, просто сидела и всё.

Вернулся домой, запер все двери и зажег пару спичек. Когда они упали на кучу, она — пых! — занялась.

Я поставил пластинку, потом вошел в кладовку, лег на пол и закрыл глаза: стало совсем как раньше, когда мама напевала.

Всех кавалеров городка
милей помощник мясника.
Его вы бойтесь, как огня:
сбежит от вас, как от меня.

Ах, как бы, как бы я опять
хотела девушкою стать.
Коль было б это мне дано,
лозой бы стало вновь вино.

Он дверь сломал на чердаке
и труп висящий увидал.
Ножом веревку разрубив,
письмо в кармане отыскал:

а на могильном камне пусть
голубка будет, чтобы вновь
прохожий вспомнил: здесь лежит
та, что погибла за любовь[1].

Я плакал, потому что теперь мы были вместе. Мама, мама, вырвалось у меня, весь дом горит, обжигает нас, а потом кулак из дыма ударил меня в лицо, все кончено, сказала мама, теперь все кончено.

Это тебе так кажется! услыхал я голос и поднял голову посмотреть, кто это.

Ну и ну, ни хрена себе! вырвалось у меня, Сосиска!

Бога ради, Фрэнси, что это ты задумал? сказал Сосиска, он все мял свою фуражку.

Рядом с ним стоял Фэбиан, уставился на меня презрительно, прикрыв один глаз, мол, и не думай удрать!

Всякий раз как я просыпался, у кровати стоял кто-нибудь из тех, с бычьими шеями, но их я не знал.

Я поглядел на себя в зеркало.

А это еще что?

В зеркале сплошные бинты, ни дать ни взять Человек-невидимка.

Ай! вырвалось у меня. Ну-ка, поди сюда, крикнула медсестра, кому говорю! Не то позову санитара.

1. Перевод Марии Фаликман.

Немного погодя мне выдали пару костылей, я ковылял на них, а деревенщина в халате вдруг спрашивает: что это с тобой случилось?

Я рассказал ему, как все было, про приют, который заполыхал посреди ночи, про то, что все выбрались, кроме одного несчастного мальчугана. Все видели, как он стоял у окна на лестничной площадке: помогите! Помогите!

Так ты, значит, вернулся за ним? спросил парень, у него аж губа отвисла.

Я только плечами пожал. Нет-нет, расскажи! начал упрашивать парень, так что я рассказал ему о себе, о том мальчишке, что прыгнул с верхнего этажа, — в общем, обо всем. А когда закончил, в глазах у парня стояли слезы. Он до того расчувствовался, что, когда хотел угостить меня куревом, выронил пачку, и все сигареты рассыпались по полу. Рука у парня так и ходила ходуном, когда он давал мне прикурить. Пых! пых! через бинты только и видать было, что сигарету да пару глаз. Парень этот, деревенщина, все пытался сунуть мне побольше сигарет. *А дальше что?* спросил он, да так и остался с открытым ртом.

Однажды появился Фэбиан, вошел как Джон Уэйн, и по его взгляду я догадался, что он здесь не просто так. Ну ладно, сукин ты сын, шевелись! мы отъезжаем. Отлично, мистер Фэбиан, сэр!

*

И вот мы отъехали, я, Сосиска и Фэбиан из Скотленд-Ярда, я видел, что Сосиска белый как привидение, он сел на переднее сиденье на случай, если я снова задумаю выставить его полным идиотом, ну да я и не собирался, понимал, что как раз этого-то Фэбиан, задница такая, и ждет не дождется — показать себя молодцом, а Сосиску заткнуть за пояс. У Леди все было закрыто, но куча навоза после утреннего забоя еще дымилась. Вот мы и на месте, объявил я, а Сосиска сказал: отлично, давай копай! и сунул мне вилы. Как же я могу копать с такими руками, сержант? сказал я ему и показал руки в бинтах.

Он хотел было сказать, ничего, мол, такого с твоими руками не случится, хорош придуриваться, но тут поймал взгляд Фэбиана, говоривший: *чего ждем, голова садовая?* Сосиска поплевал на ладони и взялся за вилы. Я пожалел, что засыпал в яму известь, вдруг там уже ничего нет, мне не поверят и вся эта мутотень начнется по новой: давай, Фрэнси, признавайся, мы же все равно узнаем и все такое. Но зря я беспокоился, потому как вскоре стало ясно: сержант что-то нашел, и в самом деле, когда он потянул вилы, на зубьях торчала часть ноги в ботинке, подбитом мехом. Фэбиан вдруг перестал язвить. Господи Иисусе! воскликнул он и — буэ! — блеванул, уделав себе все ноги.

Колченогий, который судья, строил из себя бог знает кого, расхаживал взад-вперед, припадая на ногу, и все задавал вопросы, мол, расскажите то, расскажите это, черта лысого я вам расскажу, ответил я. Надо же! Подумать только! послышалось с галереи, ну а мне-то что, плевать, пусть говорят что хотят. Но Сосиска внушил мне, если я еще раз так отвечу, нарвусь на большие неприятности, после чего я согласился: ну хорошо. Ладно. Так что, когда судья спрашивал, мол, совершили вы то, совершили вы это, я отвечал, да, совершал. Так бы и продолжалось дальше, не заведи он разговор о деньгах. Подошел прямо ко мне, к заго-

родке, за которой я сидел: это было хладнокровное, предумышленное преступление, тщательно спланированное и обдуманное, к тому же преступник действовал с самой подлой и презренной целью — ограбить! У меня аж руки зачесались, так захотелось его стукнуть, когда он такое сказанул, но я увидал, как Сосиска сердито уставился на меня, мол, и не думай, Фрэнси, так что я только сказал: да что вы знаете, Колченогий, сами не понимаете, какую чушь несете, я у Ньюджентов ничего не крал, даже комиксы, которые позаимствовал у Филиппа, собирался вернуть, клянусь, спросите у Джо! Сосиска показал мне газету. *Жестокое убийство: вспорота как свинья! Сенсационный судебный процесс.*

Было в газете и мое изображение, а под рисунком подпись: *свинья Фрэнсис Брейди.*

Чтоб им, и газетчики туда же, но потом заметил, что это лишь часть предложения: *его знает каждая свинья: Фрэнси Брейди, помощник мясника на местной скотобойне.*

Я спросил у Сосиски: меня повесят? Надеюсь, повесят.

А он сказал: уж извини, Фрэнси, но у нас больше не вешают. Не вешают? переспросил я. Ну ни хрена себе! Куда мы катимся!

Но Сосиска оказался прав, виселицу отменили, прошло несколько недель, и вот они мы, снова все в сборе, я с сержантом на заднем сиденье, покатили — ту-ту! — прочь по дороге, к еще одному дому с сотней окон. Но на этот раз без всяких там хох-хо! хах-ха! и никакой такой чепухи, вспоминали о маме и отце, о прежних временах в городке, и когда прощались на крыльце, Сосиска сказал, мол, на свете творится много чего печального, Фрэнси, и сейчас как раз такой момент.

До свидания, сержант, попрощался я с ним, вот и отлично, сказал Фэбиан, а за ним и эти, с бычьими шеями, потом все сели в патрульную машину и укатили, больше я своего старинного приятеля сержанта Сосиску не видал.

С меня стянули одежку, парочка засранцев буквально срывала ее, приговаривая: давай-давай! Потом выдали белую штуковину с завязками на спине. Это еще что такое, "Неотложка, палата номер 10"[1]? поинтересовался я.

Один из засранцев дал мне тычка под ребра, мол, не думай, Брейди, что тебе сойдут такие дерзости, это не с беспомощными женщинами управляться.

Сам знаю, крикнул я и увернулся от засранца: вы меня не обдурите! Нечего темнить! Собираетесь упечь меня в психушку!

Засранец стиснул кулак. Я рассмеялся: ладно-ладно, уж и пошутить нельзя!

Все это случилось давным-давно. Лет этак двадцать-тридцать, а то и сорок назад, уже не помню. Я долго жил сам по себе, ничем не занимался, только читал комиксы и глядел в окно на траву. Потом мне сказали: нечего тебе торчать здесь одному. Но вы ведь не переведете человекоубийцу в одну палату к нашим пациентам, правда?

1. Телесериал о жизни и работе медицинского персонала больницы (1957—1967).

*Человеко*убийца! Вряд ли миссис Ньюджент была бы в восторге от того, как вы это назвали, док, сказал я. Ну что ты, что ты, поспешил успокоить меня врач, это все в прошлом, забудь, на следующей неделе твое одиночное заключение кончается. Что скажешь? Захотелось рассмеяться ему в лицо: как одиночное заключение может кончиться? Ну насмешил!

Но я не рассмеялся. Просто сказал, мол, вот это здорово, и на следующей неделе он познакомил меня со всеми этими мужланами, которые плели корзинки и шили плюшевых мишек. Может быть, тебе чего-нибудь не хватает? спросил док. Ага, ответил я, журнальчик комиксов бы и трубу. На следующий день он принес мне и то и другое. Так что теперь я с трубой, и видели бы вы меня — совсем как отец, расхаживаю себе в пальто вроде того, что у Аль Капоне. Иногда в холле устраивают вечера, и тогда меня просят спеть. Давай! упрашивают, ты же такой здоровский музыкантщик! Ты ж у нас умеешь петь. Тогда я выхожу, и скоро они уже подпевают, что может быть лучше! "Помощник мясника", это что-то!

Ну что, весело проводите время? спросил как-то врач, Ага, ответил я, танцуем танго. Зады оттопыриваем, носы кверху.

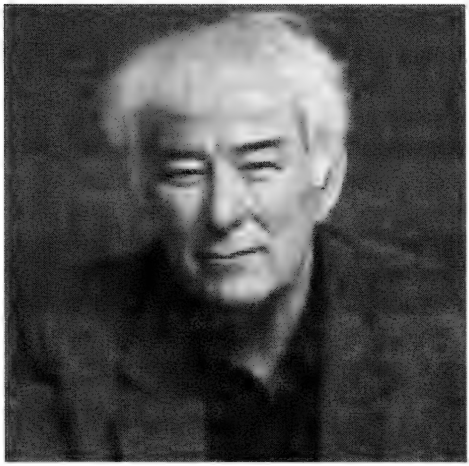
Как-то раз один из мужланов подошел ко мне, я долбил лед на огромной луже за кухней, и спросил, мол, чем это я тут занимаюсь? на кой мне сдался лед этот? Думаю, что буду делать, когда выиграю сто тысяч миллионов миллиардов долларов, ответил я. Так, значит, собираешься выиграть сто тысяч миллионов миллиардов? переспросил он. Вот именно, ответил я. А он наклонился ко мне и зашептал: знаешь, послушай моего совета, не говори этим ублюдкам ни слова. Они навешают лапши на уши, только подведут тебя.

Да ладно, сказал я, не дрейфь, никто больше мне ничего не сделает!

И мне тоже! заявил он, это ты верно говоришь!

Потом попросил: слушай, будь человеком, отломи мне от своей палки, и мы принялись долбить лед, а над нами стояло оранжевое небо. Он рассказал, что сделает, когда выиграет деньги, потом я решил, что пора побродить по горам, и мы отправились, считая следы на снегу, он шел, потрескивая костями своей худосочной задницы, а у меня по щекам катились слезы.

Шеймас Хини



Нобелевская премия 1995 г.

Стихи из книги "Пересадка на кольцевую"

Перевод и вступление Г. Кружкова

Возвращение Человека из Толлунда

Готовя для публикации в журнале подборку стихов из новой книги Шеймаса Хини "Пересадка на кольцевую" (получившей британскую премию имени Т. С. Элиота за лучшую поэтическую книгу 2006 года), я почувствовал, что предисловие в данном случае не только уместно, но и необходимо. Дело в том, что здесь слишком много отсылок к прежним темам и сюжетам Хини; и хотя такого рода ретроспективность для него была характерна и раньше, но здесь она воистину становится стержнем книги. Revisiting — вот английское слово, которое передает эту ситуацию; ближайшая к ней русская фраза, которая приходит на ум, это пушкинское: "Вновь я посетил..."

Начнем с самого начала, то есть с названия книги: "District and Circle". Здесь, как часто бывает у Хини, — многозначность, способная обескуражить любого переводчика. District значит "район", "область", "местность", circle — "круг", "кольцо", "окружение", это часть таких английских словосочетаний как family circle ("семейный круг"), a circle of friends ("кружок друзей"). Но "Область и круг" звучит заведомо дико. Можно было бы сказать как-то окольно: "Родное и близкое", "Вокруг и рядом", "Свое и свои" или что-нибудь в этом роде. Но "District and Circle" имеет по-английски и совершенно другой смысл: так называют станцию пересадки в лондонском метро с Дистрикт-лайн (District line) на

© Seamus Heaney, 2006
© Г. Кружков. Перевод, вступление, 2007

Кольцевую (Circle line). Кольцевая линия, напомним, огибает вкруговую центр Лондона, то есть Сити вкупе с Уэст-эндом. В метафорическом смысле, пересадка с Дистрикт-лайн на кольцевую может означать замену движения по прямой — движением по кругу, стремления вперед — тягой к возвращению и повторению. Иначе говоря, переходом от жизни амбициями к жизни памятью.

Но и это еще не все. Именно здесь, на станции пересадки с Дистрикт-лайн на кольцевую (точнее, на Эджвер-роуд), террористы взорвали бомбу в 2005 году; словосочетание "District and Circle" постоянно мелькало в заголовках новостей. Следовательно, тот темный, зловещий колорит, который мы ощущаем в стихотворении "Пересадка на кольцевую", связан не просто с банальным изоморфизмом "подземка — преисподняя", но и с памятью о теракте и его жертвах.

"Поэт — кузнецу" — вольное переложение (с ирландского) старинных стихов, в которых поэт XVIII века Эган О'Салливан заказывает себе лопату у кузнеца, — продолжение темы "Копающих", программного стихотворения из первого сборника Шеймаса Хини 1966 года. Там он писал о своем отце-крестьянине и деде — копателе торфа, сравнивая свое умение водить перышком с их владением лопатой и утверждая преемственность своего труда: "Лишь авторучка пристроилась у меня в кулаке. / Буду ею копать".

Стихотворение "Чугунная заслонка" — продолжение пристального интереса Хини к вещам, окружающим человека, — в особенности к тем, которые связаны с памятью и движением времени. Таким был, например, цикл "Старье на полке" ("Shelf Life") из сборника "Остров покаяния" (1984), в котором он писал об отслужившем утюге, оловянной миске, ржавом железнодорожном костыле и старинных крестьянских "снегоступах". С точки зрения Мандельштама, "всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом" (статья "О природе слова"). И далее Мандельштам предупреждает об опасности "нарочитого символизма", когда вещи отказываются выполнять свои прямые обязанности, а лишь подмигивают, кивая на свое высшее, "литургическое" значение: "На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может означать такое, что сам потом не рад будешь".

Шеймасу Хини удалось избежать этой опасности. В "Чугунной заслонке" он вспоминает себя мальчиком, сдвигающим с печной плиты раскаленный кругляш, снова заглядывает в пылающую топку — и, действительно, видит там не просто огонь, а вот именно нечто "такое, что сам потом не рад будешь". Но от "лжесимволизма" его вновь и вновь спасают точность наблюдения и словесное мастерство: заслонка, даже священнодействуя в символическом обряде, все-таки остается заслонкой, сохраняя всю свою чугунную вескость и вещность.

"Человек из Толлунда весной" — возвращение к персонажу, которому Хини уже посвятил два более ранних стихотворения. Речь в них идет о мумифицированном теле мужчины, пролежавшего две с лишним тысячи лет в болоте возле деревушки Толлунд в Ютландии; его нашли в 1950 году при копке торфа. Исследования показали, что в момент смерти мужчине было около сорока лет и что он был, вероятно, задушен веревкой перед тем, как его похоронили в болоте. Ныне Человек из Толлунда выставлен в музее датского города Силкеборг, хотя подлинной в нем сохранили лишь голову, а остальная часть тела — муляж. В стихотворении 1972 года "Человек из Толлунда" тема жестокой богини, требующей жертв, и мотив торфяного болота связывают датскую находку с действительностью современной поэту Ирландии (напомним, что на 1972 год пришелся один из пиков насилия в Ольстере). Во втором стихотворении, написанном спустя двенадцать лет, автор со своим спутником снова приезжают в Толлунд, окунаются в мирный пейзаж, где парадоксально смешиваются патриархальная деревня и дары новей-

шей цивилизации, и ощущают в себе желание и волю "начать все сначала", вопреки людской грешности, во имя жизни и самих себя. Дата под стихотворением: "Сентябрь 1994" — красноречива. 31 августа 1994 года Ирландская республиканская армия объявила о перемирии (cease-fire), наконец-то давшем ирландцам надежду на прекращение братоубийственной войны.

Но на этот раз стихотворение Шеймаса Хини — точнее, цикл из шести сонетов — лишено видимого политического подтекста. С разрешения поэта я привожу отрывок из его письма переводчику, объясняющего сюжет сонетов. Хини сделал это по моей просьбе; вообще-то, я всегда полагался на собственную интуицию в этих делах и не докучаю авторам, но здесь мне захотелось сверить некоторые детали. Впрочем, перевод был уже готов; я написал Хини, и он ответил:

"Человек из Толлунда — конечно, тот же самый Человек из Толлунда, но, в некотором роде, он еще и сам автор. Как и я, он может проходить через все жизненные ситуации реального города, сквозь контроли и камеры теленаблюдения, сквозь очереди к кассам; и все-таки он в равной степени принадлежит к совсем другому времени и месту, к миру своих торфяных болот и камышей. В начале цикла он представляет собой нечто вроде "Зеленого (естественного) человека", но чем дальше, тем больше он становится напоминанием поэту о его родных северных истоках, предупреждением против опасности превратиться в культурный экспонат, значок или витрину — см. образ стеклянной стены в конце третьего сонета. <...> В пятом стихотворении я осознаю свою "тварность", вместе с пасущимся скотом на собственной шкуре испытывая произвол стихий на поливаемых дождем лугах и низинах графства Дерри, остро ощущая свою "нездешность", свое "грубое упрямство", неуместное в век плееров и Интернета... Поводом к последнему стихотворению послужила связка тростника, привезенная мной из Толлунда и хранившаяся несколько лет в чулане под лестницей нашего дома на Стренд-роуд. Пыль, что она накопила за это время, я связываю с той дорожной пылью, которую Христос взял с земли, смешал со своей слюною и исцелил ею слепорожденного[1]. Другими словами, тростник сохранил свою чудесную, исцеляющую и вдохновляющую силу. Поэтому в самом конце я плюю на ладони, как землекоп, и возвращаюсь к своему привычному труду. <...> Для всего цикла я мог бы взять эпиграфом строки Джорджа Герберта (цитирую по памяти, может быть, не совсем точно по словам, но верно по смыслу):

И снова после всех смертей
Я воскресаю и пишу,
Вдыхаю влажный ветр полей
И нянчу стих..."

Напоследок нужно сказать о "Глэнморском дрозде". Здесь тоже возвращение вспять, в далекое прошлое. К разговору с дроздом приехавшего в Глэнмор поэта примешивается воспоминание о маленьком брате, умершем много лет назад во время отъезда Шеймаса на учебу (старые читатели Хини вспомнят "Каникулы" из его первого сборника стихов). Стихотворение о дрозде отмечают все рецензенты за прозрачность стиха и глубину смысла. Птица у ирландцев, как и у русских, амбивалентный символ, это — символ Святого Духа, природы, радости и — дурная примета, вестница смерти. В оригинале поэт говорит дрозду: "Hedge-hop, I am absolute / For you..." — отзвук слов Герцога из пьесы Шекспира "Мера за меру": "Be

1. В русском переводе: "...плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому" (Ин. 9:6).

absolute for death; either death or life / Shall thereby be the sweeter." То есть "Доверяйся смерти, тем самым и жизнь и смерть сделаются для тебя слаще".

Не могу удержаться, чтобы не процитировать здесь парадоксальное мнение Бориса Пастернака, высказанное им во внутреннем отзыве на несостоявшуюся антологию английской литературы в 1944 году: "[З]а любой английской индивидуальностью мне мерещился чудодейственный повторяющийся придаток, который казался главной и скрытою причиной их притягательности, независимо от их различий. Это явление я относил к действию самой английской речи. Я ошибался. <...> Таинственный возбудитель, составляющий придаточную прелесть всякой английской строки, называется не ямб или пятистопник, а Вильям Шекспир и во всех присутствует и через все говорит".

Мне кажется, это мнение в полной мере относится и к Шеймасу Хини, подключенному одновременно к двум литературным традициям — ирландской и английской.

Поэт – кузнецу

Эган Руа О'Салливан наставляет
кузнеца Шеймуса Мак-Гéральта;
с ирландского

Скуй мне, Шеймус, особую лапу, чтоб ею копать,
Орудье, чтобы землю пластать и скрести, –
Прочную, чтоб во всю мочь на нее нажимать,
Хваткую, чтобы надежно лежала в горсти.

Легкую, чтобы махать ею – не уставать
В поле и в огороде, в жару и в страду,
Да насади ее намертво на рукоять,
Чтоб не подвела – а уж я-то не подведу!

Пусть будет лезвие отполировано вгладь,
Чтоб разрубало корни – только задень;
И чтоб ни пятна, ни изъяна в ней не сыскать,
И чтобы звенела, как колокол в праздничный день!

Пересадка на кольцевую

Звук его дудочки издалека заслыша
В загнутом переходе, я знал, что скоро
Там же, на прежнем месте, его увижу
Рядом с шапкой, на кафельном полу коридора,
И знал, что мне не проскользнуть незаметно

Мимо этого взгляда.
В ладони зажав монету,
Я приближался к источнику звука с данью.
Все больше робея. Разве же прибыль в этом,
А не в обряде взаимного узнаванья?
В конце концов я прятал деньги в кармане
И, проходя, кивал ему с облегченьем,
И он отвечал таким же кивком и прощеньем.

~

На эскалаторах по галереям наклонным,
Глядя прямо перед собой, как пешки,
Мы опускались, покачиваясь монотонно;
Под нами какие-то колеса и поршни
Гремели и напрягались во тьме кромешной.
Стены сияли плиткой.
Там, на платформе,
Где сквозняками тянуло из черных туннелей,
Я вспоминал с тоской о далеком полдне
В парке, где люди валялись или сидели
На теплом газоне, жуя или загорая, —
Будущие свидетели воскрешенья,
Близящегося уже, обитатели рая.

~

В общей толпе, ждущей прибытья состава,
Я ощущал свою защищенность и малость,
Новые пассажиры слева и справа
Напирали, и масса людская качалась,
Как тяжелая цепь. Вот в двери вагонов
Хлынули, ближнего чуть впопыхах не увеча.
Право, забавно, как эта орава бизонов
Враз обернулась покорным стадом овечьим.
Предал ли я что-то в себе человечье?
Как я могу искупить преступление, то есть
Что мне осталось — раскаянье или надежда?
Может быть, плыть по течению, не беспокоясь,
Вместе с толпою? Кончилось бывшее прежде;
Все это принял в себя отбывающий поезд.

~

С края платформы перешагнув на стальную
Палубу, я ухватился сразу за ветку
Росшего из потолка узловатого древа.
Уравновесив давление справа и слева,

Двинул плечом и утвердил равновесье
Грузного тела, спиною стоявшего к двери
И опустевшей платформе. О, если бы можно
Было продлить этот миг, выпадающий из
Времени, эту секунду, когда все готово
Для отправленья — лишь занавес двери, который
Должен выехать из-за кулис и сомкнуться упруго,
Медлит — пока пассажиры, застыв, напряглись,
Не сознавая себя и не видя друг друга.

~

Вывернутой уцепившись рукой за кольцо,
Отданный в плен ускорениям и перегрузкам,
Мельком отцовское вдруг узнавая лицо
В собственном образе, вытянутом и тусклом, —
Дальше и дальше, во мглу подземелья...
Рывок,
Скрежет короткий железа, и шум приглушенный
Автоматической двери — и палубы вздрог —
Как в центрифуге, разгон — и раскачка вагона...

Днем и ночью вот так в бесконечную глубь галерей
Неудержимо нестись колеей неизменной —
Сжатым в тесной толпе узнаваемых смутно теней,
Отражаясь в стекле, за которым скалистые стены
Плачут сыростью, — сквозь сумасшедшую смену
Черноты и мерцанья — и беглые вспышки огней.

Пролетая над Хёфном

Ледник стал таять, говорят. Как быть,
Когда лавина льда придет в движенье
И, валуны подняв, начнет скользить,

Утюжа по пути холмы и долы?
Я видел сверху спину ледника,
Помойку эту серого помола;

И душу мне ознобом проняло:
Казалось, хватит холода его,
Чтоб заморозить окна самолета —

Дыханьем запотевшее стекло,
Все наши сопли, слюни, капли пота —
И слов текучих влажное тепло.

Чугунная заслонка

Мощь и величье мира, все, что в нем
Имело вес доныне и вовеки...
У. Х. Оден *Щит Ахилла*

Мощь и величье мира заключалось
В чугунной крышке наверху плиты.
Я был тогда мальчишкой в свитерке,
Любившим поддевать крюком железным
Заслонку, раскаленную от жара,
И, тяжеленную, ее волочь
На край печи. В разверзнувшейся пасти
Сверкали красные клыки и алчно
Гудело пламя, ожидая пищи
Из черного ведра...
И вот я снова
Сдвигаю с грохотом заслонку ада,
Похожую на плоский диск земной, —
И, обмирая, ставлю вновь на место
Кругляш чугунный.
Вороши в уме
Мерцающий в кромешной топке уголь,
Смотри, как гаснут искры в зольнике.

Человек из Толлунда весной

Я в город ваш проник, как бунтовщик,
Сквозь все посты, контроли, огражденья
И взгляды скрытых камер — скрытой тенью,
Закутанной в легенду. Я возник
Из булькающих глин, из торфяных
Болот, где мглы и тлена средостенья,
Где перистые зыблются растенья
Над мшистой топью — и кричит кулик.
Душа моя убитая очнулась
Сильней и глубже, чем была вначале,
Я был готов ожить — но, погодя,
Насторожился: что-то ворохнулось
В траве — и жаворонки замолчали,
И странно изменился шум дождя.

~

Лепешки торфа, тесто земляное,
Его, как виноград, ногами мнут,

Лопатой режут и сушить кладут
Рядами; но ни пламени, ни зноя
Не жди от них — лишь тление скупое
И горький дым болотных серых груд:
О, я-то знаю, как они гнетут
И давят, эти толщи перегноя!
Я долго ждал, пока лопаты грань
Не шаркнула над обгорелым ухом
И из глубин меня не извлекли.
Я темен был и гол, как ком земли,
В день оный оживленный Божьим духом.
Но мне еще не прозвучало: "Встань".

~

Тяжелый сон. Лежу и в сон гляжу,
Щекой на дерне, весь обронзовевший,
Как буйволова кожа. Слышу шум,
Но вижу только тьму: прикрыты вежды.
Сон тяжкий, словно груз, давивший прежде
На плоть мою, с которой был он слит,
Когда я спал во тьме глухой, кромешной,
Уже зарыт — покуда не отрыт.
И вот я — экспонат. Я ждал века
И подожду, пока еще я вправе, —
Отторженный от всех стеной стекла,
Уныло расчлененный в жертву славе.
Я слышу ветра зов издалека
И вспоминаю блеск луны в канаве.

~

"Дух выше обстоятельств". Так и есть;
Претензии реальности чрезмерны.
Миг наступил — и я услышал весть,
Собрал все силы и напряг все нервы:
Велел рукам, чтоб новой эпидермой
Они покрылись, чтоб с лица исчез
Загар веков и плоть от всякой скверны
Очистилась навек. И я воскрес.
Был ранний час, когда еще в росе
Стоит трава. Я с жадностью вдохнул
Вонь силоса и перегар бензина,
Услышал за три поля на шоссе
Тревожный шум катящейся лавины
И в чистом небе — самолетный гул.

Бездумный скот, что молча в поле мок
Под неба крупно моросящим ситом,
Учил меня терпенью. Я бы мог
В тумане этом, струями размытом,
Веками ждать и слушать, как поток
Струится по колдобинам изрытым —
Да как под тяжестью коровьих ног
Грязь чавкает, разбужена копытом.
Нездешний опыт, обретенный вновь,
Мне передали эти темь и топь,
Корней и глины грубое упрямство;
В очередях, средь нервно ждущих толп
Стоял я, глядючи поверх голов —
Как дремлющий камыш глядит в пространство.

~

Из той поездки я привез домой
Пучок болотных камышей с корнями,
В прозрачный куль завернутый. В чулане,
Где, думал я, в компании с метлой
Они перестоят денек-другой
Забыты на год, пленники завяли,
Покрылись плесенью и потеряли
Букет и аромат свой торфяной.
Коснусь — на пальцах крошево сухое,
И пыль в ноздрях. Стряхнуть ли этот прах —
Иль замесить его своей слюною
С мечтою о грядущих временах?
Я на ладони поплевал устало,
Как землекоп, вздохнул — и полегчало.

Глэнморский дрозд

Приезжаю — скачет он
Перед домом на траве,
Тешит песенками двор.
Миг — и спрятался в плюще,
В каждом перышке испуг.

Дрозд, не бойся, я твой друг.

Припаркуюсь и сижу,
Неподвижно за рулем,
Вспоминаю перевод:

“В дом загробный я хочу,
В гости я хочу к отцу

В низкий травянистый дом”.

Вспоминаю о другом
Тонконогом прыгуне,
Что уже там побывал, —
Обернулся свистуном;
Братик, так меня он ждал!

Весь семестр я тосковал.

Вспоминаю, как сосед
Говорил мне год спустя:
“Села птичка на сарай
И сидит там день-деньской —
Я в ту пору промолчал,

Но подумал: неспроста”.

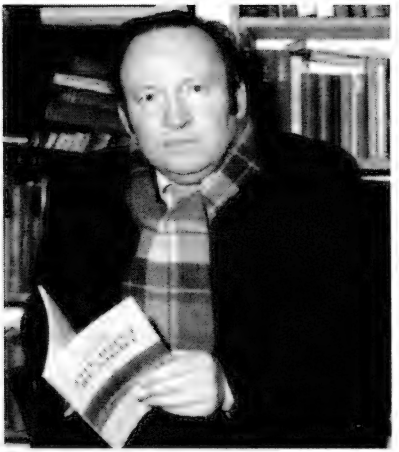
Хлопну дверцей за собой.
Всполошится он; на миг
Птичьим зреньем узнаю
Великанью тень свою
Перед домом, где я рос,

Где теперь я только гость.

Дерзкий, юркий хлопотун,
Неуемный, как ручей,
Как я рад тебе, босяк,
Что ты снова тут как тут:
Приезжаю — на траве,

Уезжаю — на плюще.

Дерек Махун



Стихи

Переводы Г. Стариковского, А. Нестерова

У *могилы Луиса* Макниса

Твой прах — невредим, даже если под шквальный порыв
Качнутся бугры и надгробье завалится набок.
Твоя принадлежность земле есть земли этой навык
Провидеть грядущее в прошлом, способствуя росту
Деревьев и света, когда, свежих трав наплодив,
Весна обжигает цветением весь полуостров.

Твой прах не разрыть, пусть дожди уминают погост
И корни кустарников точат, а все остальное...
Нет, нам подобает молчанье ввиду перегноя,
И все же стихи твои — с нами (к чертям панихиды!),
Магвайер недаром хотел, чтобы явлен был дрозд
На камне могильном над певчей строкой Еврипида.

Тобою, как солью, пропитана эта земля,
К ней лепятся тени холмов, оставляя просветы.
А вдруг ты услышишь дыханье земли отогретой,
Особенно если в запасе довольно тепла есть,
Чтоб пашни отмерзли, веселые всходы суля,
По ходу работы с твоим расписаньем сверяясь.

© Derek Mahon, 2005
© Г. Стариковский. Перевод, 2007
© А. Нестеров. Перевод, 2007

Ты нам заповедал на вещи смотреть под углом
Иронии ломкой, во имя возможных обличий...
Из штольни восстав, прохрипев из палаты больничной,
Поднявшись со дна городов, обращенных в руины,
Играешь отбой, и весенний поток напролом
Течет по тебе, обновляя замшелую глину.

Тихоокеанская Канада

На запад ветер гнал корабль, спасая
Бегущих от костров и мора. Здесь
Они сошли на берег в изможденьи
И застолбили кряжистую землю.
Теперь их внуки не боятся ночи.
Снег залепил окно, и не видать
Гусей, стремительно летящих к югу
Над околевшим озером во льду,
Пострунно вытянуты птичьи шеи,
Как тихий вздох — голодных крыльев взмах.

Тюремный дневник

Несколько дней
Взаперти.
Тень от бутылки
Ползет по часовой.
Подруга не звонит, так мне и надо.

Напротив, через двор, в окне
Старуха. Садится и молчит.
Кричу, но без толку.
Глухая она, что ли...
Какая, впрочем, разница.

Запас консервов, книги.
Гораздо меньше обращаешь ночью
Вниманье на отсутствие огней
В домах, машин на улицах...
Всеядность тишины,

И заточенья черепаший ход.
Но выйдет срок, подруга

Вернется. Все забудется,
Как в детстве корь, как переход
Бессонный через ночь.

Пэнсхерст-плэйс

На барбарисе ягоды дождя,
Из росплеска в слезу переходя...
Льют песню лютни в раструбы аллей.
Нарциссов ослепительный елей.
Интригой пахнет, страсть во весь опор.
A l'ombre des jeunes filles en fleurs[1],
Перчаток сладострастная возня,
Любимая, не покидай меня.

Освеченное янтарем лицо,
В ночи оно блестит, как озерцо.
Поленьев треск. Здесь люди рождены,
Чтоб о Дворе дурные видеть сны,
Но караван испанских каравелл
Успел к рассвету обогнуть Кинсел.
О горлице вздыхают зеленя.
Любимая, не покидай меня.

Трактат

"Мир — это все, чему есть место в нем",
От мухи, в угол загнанной, до Ники
Самофракийской, но зарос репьем
Подлунный сей, и ни одной улики
На Бога не собрать, когда жильем
Он облако избрал себе, безликий.

Но мир — и то, что может дать ростки,
Охваченное мыслью. Римский Тацит,
К примеру, полагал, что моряки
Под вечер слышат, как садится солнце
На западе и, рыбьи косяки
Ошпаривая, вспыхивает вкратце.

1. "Под сенью девушек в цвету" (*франц*). Название второго романа (1918) М. Пруста из серии "В поисках утраченного времени". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Сирена

(*Из Умберто Сабы*)

Увидевший тебя в воде подумал бы:
"Плывет, как рыба. Подлинно, сирена".
Насмешница, о как ты непохожа
На сумерки мои! Мне снилось:
Я леску привязал к твоей лодыжке,
Но и во сне ты ускользнула, дева.
Твои друзья шумят, толпятся в баре
Вокруг тебя. Все молоды, под стать
Тебе. На миг ты хмуришься, и тень,
Тень материнства, пав с ресниц, ложится
На гордый и прекрасный подбородок,

Связуя твой восход с моим закатом.

Перевод Г. Стариковского

Langue d'Oc

(*Из Гильема IX Аквитанского, графа Пуатье*[1])

1

Чуть на пригрев весна —
лес полон шума листвы;
птахи — все на свой лад —
новый поют напев.
Значит, время и нам
заново жить и любить.

1. Гильем, седьмой граф Пуатье и девятый герцог Аквитанский (1071–1126), стоял у истоков поэзии трубадуров. Его часто называют "Вийоном XII века". Знаменитое "Жизнеописание трубадуров" открывается резо, посвященным Гильему, графу Пуатье, там же приводится стихотворение, вариацией на которое является данный текст (всего до нас дошло 11 песен Гильема де Пуатье). Граф Пуатье владел вотчинами, размер которых превышал владения французской короны. Потерпел поражение в Крестовом походе. За необузданный нрав и по обвинению в прелюбодеянии дважды был отлучен от церкви, но оба раза — прощен. В "Жизнеописании трубадуров" о нем сказано: "Граф Пуатевинский был одним из куртуазнейших на свете мужей и превеликим обманщиком женщин. Как доблестный рыцарь владел он оружием и отличался щедростью и великим искусством в пении и трубадурском художестве. И немало постранствовал он по белу свету, повсюду кружа головы дамам" (Перевод М. Б. Мейлаха и Н. Я. Рыковой). Переложение, выполненное Дереком Махуном, весьма точно следует тексту стихотворения Гильема, однако сделано подчеркнуто "жестко" и откровенно.

2

Надеждой не дарит она —
и тяжко сердцу в груди:
смех от меня бежит,
мрачен я дни напролет,
не зная, тот ли исход
ждет, что желанен мне.

3

Наша любовь — как ветвь
боярышника, что дрожит
ночь напролет, и дождь
сечет ее, ветер рвет,
покуда рассветный луч
не засияет в листве.

4

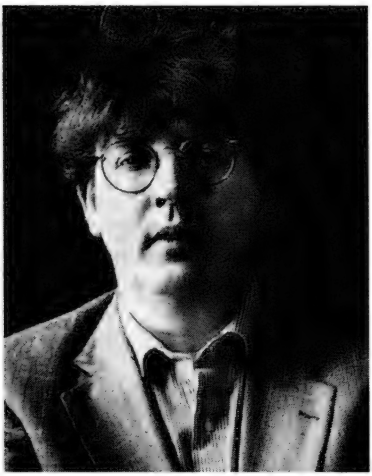
В памяти, как рубец,
утро горит одно:
веки смежив, лежим —
дар получил я сполна.
Время придет — буду всласть
ей подол задирать.

5

Слухи — цена им — грош
слева и справа грозят
бешенству наших желаний,
проча разлуку. Так что ж?
Ни злец, ни завистник ревнивый
радость нам не омрачат.

Перевод А. Нестерова

Пол Малдун



Стихи

Перевод Г. Стариковского

Ультразвуковое исследование

Две-три недели назад
ее живот на экране
напоминал Ирландию, вид из космоса.

Теперь изображение столь четкое,
что можно разобрать не только руку,
но даже отогнутый большой палец,

как будто на дороге в Спиддал женщина ловит машину
или попавший в сеть гладиатор выносит зрителям приговор.

Вампирша

Зимние птицы пьют
Свое отражение
С поверхности льда.
Она вспоминает зиму:

© Paul Muldoon, 1998
© Г. Стариковский. Перевод, 2007

"Правильно развешенные зеркала
Создают иллюзию глубины", —
Когда она закрыла стены —
От потолка до пола — зеркалами.

В январе она вынырнула
Из зеркальных глубин.
"Вещь не должна быть, —
Говорит она, —
Больше самой вещи.
Целые дни
Провожу в постели, жива,
И живу себе".

Она верила,
Что ей хватит родной земли,
Даже когда вставала ночью
И выходила
На крыльцо, чтобы забрать
Бутыль вчерашнего молока.
Крышка пробита клювом
Голодной птицы.

Кентавры

Вильгельм Оранский повелевает
Фабричной стеной, островерхой крышей.
Он — боевой коняга белой, почти снежной масти,
По берегу Бойна продирается сквозь осоку, похожий
На повозку молочника, плывущую против течения

Наших задворок. Эрнандо Кортес
На мостовую скликает конников,
Вместо щита размахивая крышкой от помойного бака,
Взгляд прикован к рекам ацтекского серебра.
Он радостно ржет, перебирает ногами,

Любуйтесь, мол. Камень, поднятый
Савлом из Тарса, превратился в копыто.
Он переметнул суму через круп,
Отпустил вожжи, ослабил подпругу,
Вот он грохочет по длинной дамасской дороге.

Полевой госпиталь

Брать, возвращать им жизнь
Силой лишь рук одних,
Безмолвием наших ножей.
Мы не в ответе ни перед серым Югом,

Ни перед синим Севером, ни перед ложью
О праведных войнах, начатых
В целях самозащиты, нам все равно,
С какой целью они заряжают ружья.

Мы подотчетны только свежим могилам.
В нашу палатку принесли девушку.
Из ее тела мы извлекли пулю,
Которую Джордж на днях приладит

К рыболовной леске.
Она умирала, прося эфира,
Кричала, что мы — убийцы.
Джордж зажег фонарь, и к нам впорхнули

Огромные желтые бабочки
И, обмахнув ее раны,
Пристали к нашим рубахам,
Как ордена за отвагу.

Ма

Ее школярская осанка на старых снимках. Сидит под ивой,
Рядом, кажется, площадка для крокета,
Читает вслух, наверняка из Руперта Брука.
На дворе — вечный июнь или май.

А вот она с кем-то на мопеде.
Нет, это не мой отец. Остриженная голова,
Начищенные латунные пуговицы,
С виду американский солдат.

Полная луна

Раскачивается над Кинеганом, садами и фабрикой,
Потом истончается, исчезает с последним стуком дятла.
Соседи, весь Кинеган и Колледжленз, собираются вместе,
Старые шахтеры в Коалайленде
Идут в забой, взяв клетки с птицами (защитой
Против рудного газа), нежные сполохи канареек.

Деннис О'Дрисколл

Obiter Poetica[1]*: из записной книжки*

Перевод Марии Фаликман

1. Поэзия в языке — как вещь ручной работы в мире штамповок.

2. Критик, как и поэт, подобен хамелеону. Постоянство для обоих губительно.

3. Все любовные стихи одинаковы по содержанию, меняется только предмет страсти.

4. В XXI веке Колриджа отвлекало бы столь многое, что он даже не приступил бы к "Кубла Хану".

5. Если ирландец утверждает, что он профессиональный поэт, — значит, его жена профессиональная училка.

6. Время, отведенное для моей поэзии после рабочего дня, подобно скудной прибыли, на которую я должен прожить. Отнимите ее — и я банкрот.

7. Поэты-любители придают своим стихам о нищих и беспризорниках тот же глянец, что живописцы-любители — закатам.

© Dennis O'Driscoll, 2001
© Мария Фаликман. Перевод, 2007
1. О поэзии между прочим (*лат.*) (*Прим. перев.*)

8. Критики склонны по возможности снабжать свои писания счастливым концом. Подобно романистам, они могут подпустить в финале интригу ("Интересно, куда будет дальше развиваться этот поэт...") или же высказать что-нибудь примирительное ("Однако же, несмотря на все мои придирки, эту книгу не пропустит ни один серьезный читатель..."). Но больше всего радости доставляют те статьи, где в финале похвалы выстреливают одна за другой, словно пробки от шампанского, и все — читатель, критик, автор, издатель и журналист — живут долго и счастливо.

9. Молодым поэтам многое прощается, на поэтов среднего возраста чаще не обращают внимания. Полагают, что у молодых есть *поэтенциал*. А когда они достигают среднего возраста, считается, что они его не реализовали.

10. Книги стихов подобны парламентским законопроектам: первого чтения никогда не бывает достаточно для того, чтобы закон был принят.

11. О стихах, как и о людях, не следует судить тем, кто их породил.

12. Стихи по случаю требуют особого дара. В том, как многие из поэтов принимаются захлебываться от радости, есть что-то от притворного оргазма.

13. Чтобы получились стихи, вдохновение должно застать вас врасплох. Чтобы исправить стихи, застать их врасплох должны уже вы.

14. Многие зрелые поэты считают, что "нашли свой голос", хотя нередко оказывается, что на деле они нашли лишь формулу.

15. Любая поэзия экспериментальна, но кое-какая называется "экспериментальной". В этой "экспериментальной" поэзии нет ничего, кроме "эксперимента". Она подобна пьесе, где в главной роли декорации, или опере, где костюмы затмевают все остальное.

16. Поэзия — преходящее в погоне за вечным.

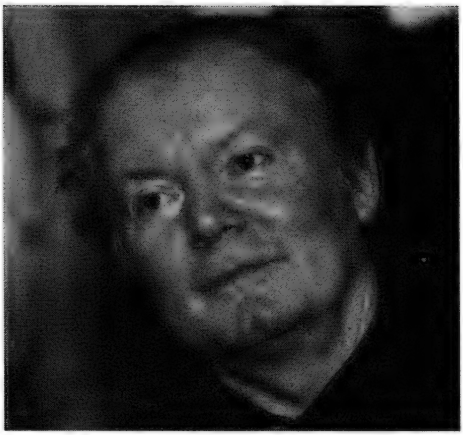
17. Если бы язык был совершенным средством общения, не было бы нужды в поэзии.

18. Поэты предлагают изголодавшемуся языку хлеб насущный, а не потчуют его сладостями.

19. Правка стихов сродни исполнению желаний в волшебных сказках: загадаешь одно и тут же приходится загадывать следующее, чтобы вернуться назад.

20. Поэзия — мой любимый язык. А любимый язык поэзии — музыка.

Алан Титли



Годо приходит

Трагикомедия в двух действиях

Перевод с ирландского Т. Михайловой

Действующие лица

Эстрагон
Владимир
Мальчик
Прогасторон
Момо
Невезуха

Действие первое

На сцене – проселочная дорога, театрально уходящая вдаль. На первом плане – дерево, судя по тому, что на одной из веток висит большое красное яблоко, это яблоня. Время – полдень.

В общем это примерно та же сцена, которой кончается знаменитая пьеса "В ожидании Годо". И те же персонажи, Эстрагон и Владимир, стоят у самого края сцены. У их ног валяется веревка. Вид у обоих измученный. Голоса усталые.

© Alan Titley, 1987
© Т. Михайлова. Перевод, 2007
Журнальный вариант.

Эстрагон. Я так больше не могу.

Владимир. Ты все время это говоришь.

Эстрагон. Давай разойдемся. Может, так будет лучше?

Владимир. Завтра мы повесимся. (*Пауза.*) Да, наверное. Если, конечно, Годо не придет.

Эстрагон. А если он придет?

Владимир. Тогда мы спасены. (*Снимает шляпу и задумчиво вертит в руке. Затем вешает на одну из веток и рассматривает ее, опять снимает и снова вертит в руке.*)

Эстрагон. Ну что, пошли?

Владимир. Как хочешь.

Не двигаются с места.

Владимир. Мы ушли?

Эстрагон. Не уверен.

Владимир. Но должны же мы как-то сдвинуться с места?!

Эстрагон. Не думаю.

Владимир. Но ведь человек всегда думает о том, что он где-то находится! Нельзя ни о чем не думать и нигде не находиться! Так устроен мир!

Эстрагон. Ну, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Может, когда-то все было совсем по-другому. Может, все было устроено так, что теперь мы этого даже и представить не можем. Была тайна! Мистика! Магия! И мы никогда и ничего не узнаем об этом!

Владимир. Ну, он-то об этом знает. Годо во всем этом разберется.

Эстрагон. Когда придет.

Владимир. Если придет.

Эстрагон. Он сказал, что придет. Тебе этого мало?

Владимир. Меня это не удивит. Меня не удивит, что он все-таки придет после того, как мы так долго его ждали.

Эстрагон. И что мы тогда будем делать?

Владимир. Будем делать все то, что хорошо. И всё будем делать хорошо. И всё, что мы будем делать, будет хорошо, и нам от этого будет хорошо.

Эстрагон. Да, но что именно? С чего мы начнем? Что самое важное?

Владимир. Тогда все станет важно! Все, что мы будем делать, все будет важно! Даже часть. Потому что это будет часть большого целого. Важная часть. Или даже малая часть. Но — большого целого. И вот это будет такая малая часть, малюсенькая часть, частичка, долька, такая маленькая долька, толика, долечка, но это будет моя доля, и она будет моя, и это будет моя доля. Я смогу положить ее в карман. Я буду ее вынимать, когда захочу, разглядывать, гладить!

Эстрагон. Как в опере? У каждого своя партия. Как ария, только петь мы будем, когда сами захотим. А то мне надоело петь и плясать под чужую дудку. Понимаешь? Петь — это тебе не гладить, трогать, щупать... А ты умеешь щупать? Это ведь целое искусство! Тут нужен другой человек, без этого удовольствия не получишь. Да, уметь работать руками — искусство, это тебе не губы кривить, слюни пускать... Туда-сюда совать...

Владимир. Да, надо уметь довольствоваться малым, помня, что мир не вечен.

Эстрагон. Да... Я даже один раз попытался стать отцом...

Владимир. И, конечно, ничего не вышло!

Эстрагон. Ничего не получилось.

Владимир. Это очень утомительно!

Эстрагон. Да-да... Страшно утомительно! Надо стараться, надо пытаться, надо стремиться, лезть, пыхтеть... Это огромный труд. Тут тебе и амбиции, и мужское достоинство, взлеты и падения, проблемы, испытания... Да, в общем дело того не стоит...

Владимир. И что, так ничего и не получилось?

Эстрагон. У меня никогда ничего не получается.

Владимир. Ничего, получится, когда придет Годо.

Эстрагон. А пока надо ждать, развлекая друг друга непринужденной беседой. Не стоять же молча! Должна быть такая... милая беседа, без принуждения, без темы, просто разговор ни о чем. Нельзя же просто стоять и ничего не делать.

Владимир. А я бы смог...

Эстрагон. Да?

Владимир. Я мог бы ничего не говорить.

Эстрагон. Знаешь, люди часто разговаривают, ничего при этом не говоря.

Владимир. Ты тоже обычно ничего не говоришь.

Эстрагон. Просто ты не умеешь слушать!

Владимир. Просто ты не умеешь слышать!

Эстрагон. Я не глухой. Это глухие слушают, но ничего не слышат.

Владимир. Не в том дело!

Эстрагон. А меня дело вообще не интересует!

Владимир. В смысле — не в том вопрос.

Эстрагон. Мне не нужны ВОПРОСЫ, мне нужны ОТВЕТЫ.

Владимир. А ответы не так уж и сложны. Но самый простой ответ трудней всего понять, самые простые ответы — самые непонятные.

Эстрагон. Ты плохо объяснил, что такое ответ. Ну, и что же такое — ответ? Суть ответа должна быть заключена в самом вопросе. Ибо

невозможно дать ответ, не договорившись о терминологии. Если в вопросе есть термины, хотя бы один, то сначала надо дать его определение. Определение термина — это и есть освещение проблемы. А без освещения не будет и света. Тебе это ясно?

Владимир (*вздыхает*). А теперь какой термин будем освещать?

Эстрагон. Страдание!

Владимир. Это как-то неоригинально.

Эстрагон. Красота?

Владимир. Уродливо.

Эстрагон. Святость?

Владимир. Грязно.

Эстрагон. Несправедливость?

Владимир. Тоже не пойдет!

Эстрагон. А если про то самое?

Владимир. Про то уже говорили. А ты знаешь, что от курения бывает рак?

Эстрагон. Стоп! Про рак — не надо! Давай о чем-нибудь другом. Про порнографию, проституцию, содомию, садизм, педофилию, некрофилию, политику. Про то, как утром какаешь. Про инцест. Тема рака — запрещена!

Владимир. Ну, ты еще думаешь вешаться?

Эстрагон. А разве это не ты собирался?

Владимир. Это не важно. (*Пауза.*) Знаешь, давай оба повесимся.

Эстрагон. Да, вместе веселее.

Владимир. Делать что-то в одиночку — плохая привычка.

Эстрагон. Говорят, от одиночества можно сойти с ума.

Владимир. Ослепнуть.

Эстрагон. Давай, ты первый.

Владимир. Ты старше.

Эстрагон. Но ты храбрее!

Владимир. А ты умнее.

Эстрагон. Да, я в свое время прослушал курс.

Владимир. А я провалился на экзамене.

Эстрагон. Может, если мы повесимся, то узнаем ответы на все вопросы. Просто ответ — он с другой стороны. Там, где вечная истина.

Владимир. Великолепно, старик! Ты становишься резонером. А все равно попробовать стоит.

Эстрагон. И тогда мы получим ответ.

Владимир. Мы получим ответ в аду, если, конечно, таковой существует.

Эстрагон. Или в чистилище, если, конечно, оно существует.

Владимир. Или в раю.

Эстрагон. Или в небытии, если оно существует.

Владимир. Ну что, давай?

Поднимают веревку и подходят к дереву. Молча смотрят на яблоко.

Эстрагон. Давай я сначала перед тобой исповедуюсь.

Владимир. А что, есть что-то, чего я еще не слышал?

Эстрагон. Пожалуй, нет.

Владимир. Тогда какой смысл в исповеди?

Эстрагон. Но я хотя бы имею право на последнее желание?

Владимир. Да, если есть желания. Думаешь, так будет легче? Ищите и обрящете! Так обычно говорят.

Эстрагон. Хочу увидеть Санта-Клауса!

Владимир (*берет веревку и пробует, насколько она прочная*). Не смешно.

Эстрагон. Но я не могу придумать ничего интересного.

Владимир. Ну, придумай что-нибудь неинтересное. Подумай о душе! О будущем нашего мира.

Эстрагон. Лучше сосчитаю до десяти!

Владимир. Для этого понадобятся все твои пальцы.

Эстрагон пытается считать на пальцах, но ему мешает веревка. Он сует ее Владимиру, который в задумчивости обматывает ее вокруг собственной шеи, снимает пальто, бросает на землю и встает на него ногами. Потом с невероятной торжественностью, словно поднимается на эшафот, влезает на ветку и садится, свесив вниз ноги.

Эстрагон. Сам считай! Ты быстрее сможешь придумать желание. Ты, хитрец чертов!

Владимир. Скоро увидимся. Скоро я получу ответы на все вопросы, а на шее у меня будет золотая лента. (*Пауза.*) Вот миг настает. (*Пауза.*) Я подам тебе знак.

Эстрагон держит в руках свой конец веревки и готовится дергать.

Давай!

Прежде чем Эстрагон успевает дернуть за веревку, слева появляется мальчик, Владимир закрывает глаза и изображает повешенного.

Эстрагон. Ну, опять ты здесь!

Мальчик. Да, господин.

Эстрагон. Что тебе надо на этот раз?

Мальчик. Ну, господин...

Эстрагон (*гневно*). Не тяни! Если что нужно, говори. Не изображай скромника. Говори прямо. Без намеков. Не бойся. Что, язык проглотил? Говори! Ты мальчик-с-пальчик?

Мальчик. Нет, господин.

Эстрагон. Может, Бриан Бору[1]?

1. Бриан Бору (926 или 941–1014) – ирландский король. Известен тем, что сумел объединить войска против викингов для битвы при Клонтарфе (1014). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Мальчик. Нет, господин.

Эстрагон. Вал Кирия?

Мальчик. Нет, господин.

Эстрагон. Шиле-на-гиг[1]?

Мальчик. Нет, господин.

Эстрагон. А что ты делаешь? Задаешь корм скоту?

Мальчик. Нет, господин. Я занимаюсь всяким таким разным.

Эстрагон. Ну, и ты этим доволен?

Мальчик. Вполне доволен, господин.

Эстрагон. А должность приличная? А право на забастовки есть? А то, что ты делаешь, способствует духовному росту?

Мальчик. Все нормально, господин.

Эстрагон. А тебе не хотелось бы стать вешателем?

Мальчик. Нет, господин.

Эстрагон. Это простая работа. Тут особой тренировки не нужно. Крепкая веревка, сильная рука, сильная воля да желание исполнить свой долг — вот и все, что требуется.

Мальчик. Я не понимаю, что такое "долг", господин. Это странное слово.

Эстрагон. Долг это то, что до́лжно делать. То, о чем говорят люди, понимающие куда больше нашего.

Мальчик. Я всегда делаю все, что мне скажут, господин.

Эстрагон. Вот, давай я тебе покажу, что надо делать. Это совсем нетрудно.

Подводит мальчика к дереву. Владимир все еще сидит там с закрытыми глазами. Эстрагон протягивает мальчику веревку и показывает, что от него требуется.

Тяни, дергай, будто ты в церкви в колокол звонишь. Но дергать надо сильно. Вот и все.

Мальчик. А это не Партолон[2], господин?

Он осторожно трогает пальцем Владимира, и тот внезапно открывает глаза. Он потрясен.

Владимир (*мальчику*). Ты Бог или Дьявол? Где твоя борода? Где твои копыта? Где же ангелы? Не скоро же ты за мной явился! (*Эстрагону.*) Не думал я встретить тебя здесь.

Эстрагон. Я такой, как всегда, и мы все еще здесь. А ты все еще жив, идиот!

Владимир. Не чувствую разницы.

1. Шиле-на-гиг — букв.: Шила с грудями, традиционное название горельефов, изображающих обнаженную женщину, демонстрирующую свои гениталии.
2. Партолон — согласно легендарной истории Ирландии, предводитель одного из древнейших народов, заселивших остров. В более позднем фольклоре — мифологический персонаж, который во время сбора урожая приходит и собирает оставшиеся на полях колосья.

Мальчик (*Владимиру*). Господин?

Владимир. Да?

Мальчик. Я принес вам весть.

Владимир. Слава богу! Я ждал эту весть всю мою жизнь. Это добрая весть? Следует ли мне выслушать ее? Она прекрасна или ужасна или это что-то неясное? Отвечай или продолжай хранить молчание!

Мальчик. Это от Годо, господин.

Владимир. И все? Он что, опять не придет? Опять прислал какие-то объяснения?

Эстрагон. Он забыл дома тетрадь.

Владимир. У него сломался велосипед.

Эстрагон. Он просто забыл про нас.

Владимир. Он слишком занят.

Эстрагон. Он устал.

Владимир. Он придет, когда будет в нужной форме.

Эстрагон. В какой форме, военной?

Владимир. Да, он объявляет нам войну.

Эстрагон. Война за независимость! Как это скучно!

Владимир. Как это глупо!

Эстрагон. Это нарушение всех традиций.

Владимир. А может, это и есть традиция.

Эстрагон. А может, у него умерла тетка?

Владимир. Опять?

Эстрагон. А что, она у него это отлично делает, когда нужно. Завтра может опять умереть.

Владимир. Но в итоге — он не придет!

Мальчик. Он придет, господин.

Владимир. После дождичка в четверг.

Эстрагон. Когда выпадет прошлогодний снег.

Владимир. Когда настанет конец света.

Мальчик. Он будет здесь через пару минут, господин.

Владимир. Ну и что мы тогда будем делать?

Эстрагон. Мы перестанем ждать.

Владимир. Но надо же что-то придумать, чтобы не оказалось, что он зря пришел!

Эстрагон. Мы получим ответы на все вопросы.

Владимир. А как мы его узнаем?

Эстрагон. У него на голове будет корона?

Владимир. У тебя есть его портрет?

Эстрагон. А у него есть паспорт?

Владимир. Или водительские права?

Эстрагон. Удостоверение личности?

Владимир. Свидетельство о рождении?

Эстрагон. Брачное свидетельство?

Владимир. Справка из налогового управления?

Эстрагон. А может, мы узнаем его по зубам, как обычно делают в детективах?

Мальчик. Узнаешь его по делам его.

Владимир. А что он делает?

Мальчик. Он делает все, господин.

Владимир. Но что именно?

Мальчик. Все, господин.

Владимир. А как ты это докажешь,

Мальчик. Но это написано, a quod scripsi scripsi[1], если вы, конечно, меня понимаете?

Владимир. Я не верю тому, что написано, не слышу того, что сказано, и не собираюсь глотать все, что мне положат в рот, так-то вот!

Мальчик. Ну, если так, то вы, наверное, Партолон и должны слезть с дерева и быть среди таких, как мы.

Владимир, заметив веревку, которая все еще стягивает ему шею, распускает узел и медленно спускается вниз. Он явно не доволен таким поворотом разговора.

Владимир (*мальчику*). А ты кто? Иоанн Безземельный?

Эстрагон. Бери выше! Это Вильгельм Завоеватель!

Мальчик. Я всего лишь мальчик, который принес вам весть.

Владимир. И это все?

Эстрагон. Ни больше ни меньше.

Мальчик. Готов поклясться в этом, господин.

Владимир. А ты не обкурился?

Мальчик. Нет, господин.

Владимир. А я думал, современная молодежь, она вся обкуренная.

Мальчик. Я еще нет, вот стану старше, тогда, с Божьей помощью...

Владимир. А деньги тебя интересуют?

1. Что написано, то написано (*лат.*). Ответ Понтия Пилата на просьбу иудеев заменить надпись на Кресте.

Мальчик. Нет, господин.

Владимир. А я думал, теперешняя молодежь только и интересуется, что деньгами. А ты нет?

Мальчик. Я еще нет, вот стану старше, тогда, с Божьей помощью...

Эстрагон (*угрожающе*). А может, у тебя и так полно денег?

Мальчик. Нет, господин. Клянусь вам.

Эстрагон. Они все сначала так говорят. Ты что, нигде не работаешь? Ты безработный? А пособие получаешь?

Мальчик. Сколько заработаю — столько и получаю. Голод мне не грозит.

Эстрагон (*мрачно*). А мне вот грозит. И я бы уж знал, где можно хорошенько пожрать, были бы только деньги.

Эстрагон подходит к мальчику.

Владимир. Да отстань ты от него! Чего с него взять!

Эстрагон. Что значит "чего взять"? Деньги — вот чего, как ты изволишь выражаться. Ведь должны же быть у него карманные деньги, таким соплякам всегда дают карманные деньги, я знаю. А зачем они им?

Мальчик. Нет, господин. (*Отступает на шаг.*) У меня с собой никогда нет денег. Правда! Я не ношу денег из-за полицейских. Я их боюсь.

Эстрагон. Ну, тогда не будем о деньгах. Давай лучше, поработай на нас. Я мог бы...

Пытается схватить мальчика, но тот выскальзывает у него из рук и, сделав вид, что собирается бежать в одну сторону, с криком и визгом бежит в другую, за сцену.

Владимир (*спокойно*). Ну что, снова обосрался?

Эстрагон (*тяжело дыша*). Ты о чем?

Владимир. Он тебе спасибо не скажет, когда придет.

Эстрагон. Если придет.

Владимир. Конечно придет. Слышал, что сказал малец?

Эстрагон. Я и раньше все это слышал.

Владимир. Но ведь когда-нибудь что-нибудь должно произойти.

Эстрагон. А ты хоть раз в жизни был в чем-то прав?

Владимир (*задумчиво*). Не помню... Кажется, что-то такое было...

Эстрагон. Думаю, он из-за мальца обозлится.

Владимир. Он просто в ярость придет, когда придет.

Эстрагон. И мы услышим шум ярости!

Владимир. Он тебе голову оторвет.

Эстрагон. Да, шум ярости как гром среди ясного неба.

Владимир. Гром и молния.

Эстрагон. Адское пламя.

Владимир. Страшный суд.

Эстрагон. Думаешь, он захочет отомстить? (*Мечтательно.*) Он, может быть, даже ударит меня.

Владимир. Выпорет он тебя, вот что будет.

Эстрагон. Знаешь, а давай уйдем.

Владимир. Тогда пошли.

Эстрагон. Я бы даже сказал, давай убежим.

Владимир. Бежим!

Начинают готовиться к побегу, лихорадочно собирая вещи. Эстрагон уходит направо, Владимир налево. Потом они возвращаются и сталкиваются лбами. Еще раз сходятся и расходятся. Наконец Эстрагон хватает Владимира за руку. Оба одновременно указывают руками в разные стороны и восклицают: "Бежим туда!" Минутное замешательство, потом медленно подходят к краю сцены.

Эстрагон. А я надеялся, мы убежим.

Владимир. А я думал, мы знаем, куда идти.

Эстрагон. Легче было повеситься.

Владимир. Я пытался, помнишь? Ничего не вышло. Но знаешь, что-то мне расхотелось умирать за свободу.

Эстрагон. Ты все равно умрешь за свободу. И случится это сегодня, когда он придет!

Молчание, оба тяжко вздыхают.

Владимир. Обычно время летит так быстро.

Эстрагон. Только когда ждешь.

Владимир. А сейчас тащится медленно.

Эстрагон. Хотя некоторые ученые и утверждают, что оно всегда движется с одинаковой скоростью.

Владимир. Все зависит от того, в какой части мирового пространства ты в данный момент находишься.

Эстрагон. Слушай!

Он прислушивается и всматривается куда-то вдаль. Может быть, в публику? Вдали раздается какой-то странный звук, будто лопнула струна.

Ты что-нибудь слышишь?

Владимир. Глас вопиющего в пустыне, да?

Эстрагон. Слушай, он идет.

Владимир. Звон колокольчика на ветру, ветер в ивах...

Эстрагон. Молчи! Это он! Годо идет!

Раздается тихая музыка, она все ближе и ближе.

Владимир. Ха! Как полагаешь, он едет на танке или плывет на верблюде?

Эстрагон. Кончай смеяться! Он идет к нам, потому что мы здесь.

Владимир. Не пора ли нам сбежать?

Эстрагон. Тогда мы спасемся?

Владимир. Или будем прокляты навеки.

Эстрагон. Может, он будет с нами мягок и мил?

Владимир. А может, он будет с нами жесто́к и жёсток!

Эстрагон. Слушай! Давай встань мне на плечи, — может, разглядишь его.

Эстрагон наклоняется, чтобы Владимир смог влезть к нему на плечи. Владимир нехотя соглашается, но, похоже, он не верит в успех задуманного.

Владимир. Уж больно быстро к тебе вернулась надежда.

Эстрагон. Ты видишь что-нибудь? Я слышу музыку! Я слышу музыку!

Владимир. Я вижу нечто. (*Пауза.*) А там подальше другое нечто.

Эстрагон. Ну а позади этих нечтов ты что-нибудь видишь? Ты видишь музыку?

Владимир. А как ее можно видеть? Шум ветра? Глас небесных труб? Пение птиц? Гром среди ясного неба?

Эстрагон. Да, откровенно говоря, я надеялся на большее. Ну что же, когда состарюсь, смогу рассказывать внукам, что я его видел.

Владимир (*внезапно*). Я что-то вижу! Оно движется! Оно идет сюда!

Эстрагон. Господин О'Но! Зачем же вы пожаловали? А я надеялся, на этот раз пронесет.

Владимир. Молчи, дурак. Я вижу там что-то, нечто, кое-что, всякое разное!

Эстрагон. Что именно? Сколько? Нельзя ли поконкретнее?

Владимир. Замолчи ты! Дай послушать.

Эстрагон. А я ничего не слышу. (*Его уши закрыты коленями или руками Владимира.*)

Владимир. Теперь ясно слышно.

Звучит бравурная музыка, напоминающая военный марш или заставку к телевизионной программе.

Эстрагон. Что это? Что это? Какой ужас!

Эстрагон явно взволнован. Владимир соскальзывает вниз и становится перед ним.

Владимир. Сейчас увидишь! Даже не думал, что это будет выглядеть так. Я представлял боль, кровь и, возможно, грязные простыни. Думаю, что смогу это перенести. Пожалуй, все будет в порядке, мы справимся, все будет замечательно!

Эстрагон. Дай мне взглянуть! Дай мне взглянуть!

Он отступает в сторону, и Владимир садится на землю. Вид у обоих слегка пришибленный. На сцене появляется торжественная процессия. Прогасторон, человек ухоженный и прекрасный ликом. Одет модно, не без крикливости. Говорит громким голосом, выдающим природную жизнерадостность и пустоту натуры. На его фоне Невезуха имеет вид гораздо более заурядный. Одежда на нем самая простая. Момо – белозубая красавица. На ней купальный костюм и еще что-то, что обычно носят дикторши на телевидении. На лице застыла фальшивая улыбка. Она тащит за собой тележку или тачку, переливающуюся всеми цветами радуги. Содержимое тележки закрыто чем-то вроде покрывала, через которое проглядывают какие-то пакеты и коробки. За ними медленно движется красный автомобиль и застывает у края сцены. Еще здесь можно показать телевизионную заставку. И пусть она уплывает в сторону, и мы сразу видим круг с призами, как это обычно делают по телевизору. И тогда у Прогастерона в руках пусть будет микрофон или такая штука, которой они там управляют. А если без этого, тогда у него в руках может быть, например, волшебная палочка. Все они возникают на сцене динамично, живо, со счастливыми лицами. Невезуха и Момо аплодируют Прогасторону; музыка резко обрывается.

Прогасторон. Эй! Эй! Эй! Что это? Еще двое счастливцев, которые хотят попытать счастья в Большой Игре? Разве не удачный сегодня день? Разве не прекрасно, что мы с вами встретились? Какой замечательный день! Вы со мной не согласны?

Владимир и Эстрагон (*хором*). Замечательный день

Прогасторон. Что же я для вас могу сделать, мои милые? Есть ли что-то, чего вам не хватает в жизни? Может, я смогу вам помочь? Спросите ваши сердца, чего бы вам действительно хотелось! Скажите лишь слово, и все ваши проблемы разрешатся, а желания исполнятся!

Владимир (*Эстрагону*). Я ждал Годо, а не эту святую троицу.

Эстрагон (*Владимиру*). Их можно сравнить с тремя царями Востока, но я не знал, что один из них был царицей.

Прогасторон. Люди ли вы? Если люди, то всегда найдется что-то, чего бы вам хотелось, что-то, чего вам не хватает. Всего-то и надо ответить на пару простых вопросов, и весь мир будет у ваших ног. Только подумайте, вы сможете поехать на Майорку, или покататься в Диснейленде, или выпить горшок крови в Бангкоке. Если нет желаний, нет и надежд. Пейте соки жизни, чтобы узнать, сколь они сладки! Хотите быть свободными, как солнце? Свежими, как воздух? Ну, давайте, не пожалеете!

Эстрагон (*Владимиру*). Вот он, наш великий шанс.

Владимир. Лучше надеяться, чем получать призы.

Эстрагон. Скажите, господин, что мы должны сделать, и мы сделаем это. Мы так долго ждали этой минуты, так что, естественно, несколько растеряны.

Прогасторон. Вижу, что вы наделены Мудростью и Знанием. Вы именно те, кто мне нужен, те, кто знает, что такое настоящее де-

ло. Вы и помыслить не можете, что я для вас придумал. Подождите, и вы это увидите. Следуйте за мной!

Прогасторон поворачивается на каблуках и с решительным видом делает круг по сцене. Потом возвращается на прежнее место. Эстрагон и Владимир провожают его взглядами, вертя головами.

Вы видите его? (*Показывает на Невезуху.*) Благородный господин, досточтимый Мак О'Джек О'Вощь!

Невезуха хохочет. Момо посылает обворожительную, но совершенно фальшивую улыбку.

Джек всю жизнь хотел найти горшок с золотом, не так ли, Джекки? (*Невезуха кивает головой.*) Он почти что нашел его, протяни руку — и он твой! Но ему не хватило совсем маленького, малюсенького шансика. Удача не всегда там, где мы ее ищем, не так ли? Конечно, бывают и исключения. Без исключений нет и правил, правда? Но без правил и играть нельзя. Что наша жизнь — игра, ведь так? Но что такое жизнь без надежды? А надежда умирает последней? Ты еще не умер, Жако? Ты хочешь еще попытать счастья? Хочешь приподнять юбку Госпожи удачи? Может быть, она тебе и улыбнется и ты войдешь в Град Счастья.

Эстрагон. Хорошо сказано.

Владимир. Должен заметить, в школе я такого не слышал.

Эстрагон. Но это не школа, это жизнь!

Владимир. А нам улыбнется удача?

Эстрагон. И сомневаться нечего, я в этом уверен.

Прогасторон. Ну что, готовы вытянуть счастливый билет? Я покажу вам, как играют в Большую Игру, и вы увидите, как исполняются самые несбыточные желания.

Эстрагон и Владимир. Да, пожалуйста, господин Годо.

Звучит бравурная музыка, то ли гимн, то ли традиционное начало телевикторины. Кажется, Прогасторон просто не заметил, что Владимир и Эстрагон назвали его Годо.

Прогасторон. Помните, это лишь игра. И пока это еще не настоящая Большая Игра, это вам не кот в мешке и не журавль в небе.

Момо откидывает край покрывала и достает с тележки электрический стул, с которого свисают проводки и лампочки. Она ставит его на землю. Невезуха садится на него, его руки и ноги опутывают проводками и ленточками. На груди и на голове укрепляют яркие электроды. Невезуха и Момо непрестанно улыбаются друг другу.

Надо лишь ответить на один маленький простенький вопросик, такой вопросичек, на который может ответить каждый школьник или человек, от которого не отвернулась удача. Ну как, вы готовы?

Эстрагон и Владимир. Мы готовы, господин Годо.

Прогасторон достает из кармана пачку карточек, на которых написаны вопросы.

Невезуха. Я тоже.

Прогасторон. Начнем с тебя, Невезушка. Ты небось знаешь, где собака зарыта... Итак, какая самая высокая вершина в мире?

Невезуха. Гора Эверест, ясное дело! Это проходят в начальной школе! (*Он смеется и хлопает в ладоши.*)

Прогасторон. Напоминаю, мы не в школе! Мы в жизни, в настоящей, суровой жизни, жизни со всеми ее трудностями, в жизни такой, как она есть, и так далее... У нас тут нет сложения-вычитания. Он правильно ответил? (*Обращается к Момо. Та отрицательно качает головой.*) Нет! Момо говорит — нет. И моя карточка говорит — нет! Карточка согласна с Момо, и поэтому...

Музыка начинает звучать громче. Прогасторон подает сигнал Момо. Та нажимает на кнопу на спинке стула, и у нее на лице расцветает фальшивая улыбка. Невезуха трясется от боли и ужаса под градом ударов тока.

Невезуха. Оо! Уи... Уау! Аа...

Прогасторон. Ну что же, на этот раз удача повернулась к вам спиной, увы! Ну, хочет кто-нибудь из вас, господа, попытать счастье? (*Подходит в Владимиру и Эстрагону, которые испуганно пятятся.*)

Владимир (*Эстрагону*). Давай ты, ты ведь, помнится, читал какую-то книгу...

Эстрагон. А ты был знаком со студентом.

Владимир. Я все время ошибаюсь. А ты-то как раз ответил правильно.

Эстрагон. Ответ был написан сзади, на обложке книги.

Владимир. Но ты ходил в университет!

Эстрагон. Да, ходил, я там собирал бумажки.

Владимир. У тебя зубы красивее. Тебе и отвечать!

Эстрагон. Но ты видел, что стало с тем человеком?

Владимир. Не обращай внимания. Ты слышал, он сказал — ему вечно не везет.

Прогасторон. Не тяните время! Риск — благородное дело! Жизнь не кот, ее за хвост не потянешь. Вы с нами или против нас? Снаружи или внутри? Здесь или там? Кто решится отвечать на вопросы?

Владимир подталкивает Эстрагона вперед. Эстрагон пытается что-то сказать, но издает лишь странное мычание. Наконец с трудом произносит глухим голосом.

Эстрагон. Самая высокая вершина в мире, это вершина нашего воображения, которую никто никогда не может покорить.

Прогасторон. Браво! Молодец, парень! (*Он произносит все дальнейшее без остановки, не заглядывая в свои карточки.*) Правильный ответ, причем с первой попытки! А я знал, что у вас получится!

Момо и Невезуха радостно аплодируют.

А теперь все смотрим! Какой же подарок мы для вас приготовили? Что он выиграл, Момо? Момо, не скрывай от нас правды!

Момо достает из тележки большой сверкающий белизной холодильник и торжественно ставит перед Прогастороном. Широким, но при этом изящным жестом правой руки она показывает на него Эстрагону.

Конечно, на самом-то деле он пока еще не ваш. Но вы можете его рассмотреть. Можете даже помечтать, как изменилась бы ваша жизнь, если бы игра у нас шла по-настоящему и вы действительно выиграли бы этот замечательный предмет. Подобные вещи делают нашу жизнь лучше, чище, удобнее наконец. Это и есть настоящая жизнь! "Вот это жизнь!" — так говорят об этом. И она могла бы стать вашей. Да, это просто жизнь, без всяких сложений и вычитаний.

Эстрагон. Но зачем мне холодильник? У меня нет ни дома, ни квартиры, ни лачуги, ни хижины, ни жены, которая могла бы его открыть.

Прогастороп. Ну и что? Холодильники нужны всем, а вы — один из всех, один за всех, и все за одного. Если бы вы не были одним из нас, как бы вы вообще были здесь?

Владимир. Ты мог бы держать в нем свои тапки. И грязные носки, тогда запаха от них не будет.

Эстрагон. Да ты просто завидуешь! Подожди, увидишь еще. Я сейчас выиграю целую кучу таких призов.

Прогастороп. Вот именно! Прекрасно сказано! Мужественное решение, а если у человека есть мужество, ему все по плечу! Все по карману! Все по сердцу! Лиха беда начало! Кончил дело — гуляй смело! Лови удачу за хвост! Ну что, готовы?

Эстрагон. А какой приз будет теперь, господин Годо?

Прогастороп. Какой приз?! (*Делает вид, что разъярен.*) Зачем знать, какой приз, если вы еще не знаете, какой будет вопрос? Приз зависит от вопроса, а пока нет вопроса, нет и ответа, а нет ответа, нет и приза, а пока я не задал вопрос, нет и разговора о призах. Понятно? Где же тогда наша удача, наш шанс?

Владимир. В принципе понятно, а, рассуждая логически, смысла нет.

Эстрагон. Не лезь! Ты в этом ничего не смыслишь.

Владимир. Но ты понял, о чем я?

Эстрагон. Я прав во всем.

Прогастороп (*Владимиру*). А вы нет.

Владимир. Молчу, молчу.

Прогастороп. Не встревайте! Воздержитесь от комментариев и прочей ерунды. Хватит нести чушь! Надо заняться делом. Идти вперед. Нельзя задерживаться в прошлом. Задавайте вопросы. Решайте проблемы. Жизнь полна проблем. Следует получить ответы на заданные вопросы, ибо мир переполнен ответами. Ответов, строго говоря, гораздо больше, чем вопросов. У меня тут все ответы на все вопросы. (*Помахивает стопкой карточек.*) Да, ответов много, осталось лишь правильные вопросы подобрать.

Эстрагон (*шепотом Владимиру*). Я всегда знал, нужно просто дождаться его!

Прогасторон. Итак, настает момент истины, вопрос уже на подходе, выслушаем же его. И на этот раз, во имя истины, во имя нашей веры, во что бы мы там ни верили, и конечно прежде всего во имя справедливости, пусть первым отвечает этот кретин, раз в прошлый раз ему опять не повезло. Ну, осел, скажи нам, какая разница между политиком и медицинским кетгутом для наложения швов?

Невезуха (*долго размышляет, испуская громкие вздохи. Кажется, он вообще не понимает, о чем речь. Вдруг его лицо проясняется*). Понял! Никакой разницы! От них одна боль!

Прогасторон (*мрачно*). Очень смешно. Я думал, ты уже сообразил, что на этот раз игра идет всерьез. Лучше подумал бы, прежде чем отвечать. Ну что же, это твой выбор. Но правилен ли он?

Смотрит на Момо. Та качает головой и протягивает руку к кнопке на кресле. Прогасторон смотрит на карточку и выкрикивает.

Ответ неверен!!!

Момо нажимает на кнопку и Невезуха трясется от боли, издавая стоны и крики отчаяния.

Ну вот. (*Поворачиваясь к Эстрагону.*) Мой дорогой друг, теперь ваша очередь. Мы ждем настоящий серьезный ответ.

Владимир (*чтобы подбодрить Эстрагона*). Ну, скажи что-нибудь. Тогда у тебя ведь получилось.

Эстрагон (*шепотом*). Но мне ничего не приходит в голову!

Владимир. Раньше тебя это не останавливало.

Эстрагон. Теперь — это не раньше. Теперь — это сейчас.

Владимир. Какая разница?! Промычи что-нибудь, похоже, у них это тоже считается.

Эстрагон (*пытается что-то сказать, но у него ничего не выходит. Наконец он открывает рот и на одном дыхании издает нечленораздельный вопль*). Ууууаааееееоооааахггфинк!

Прогасторон (*радостно*). Прекрасный ответ! Он опять прав! Только взгляните на него. Поздравляю от всего сердца. Некоторым удается всегда и во всем быть правыми. Похоже, сам Бог на Небесах направляет вас. Именно такие вот люди — светочи нашей эпохи, благодаря им наступит царство разума, а прошлые заблуждения навеки сгинут во марке. (*Делает знак Момо, и та достает из тележки еще один пакет.*) Вы выиграли миксер для взбивания подметок!

Прогасторон шумно аплодирует. Момо и Невезуха присоединяются к нему. Звучит бравурная музыка.

Эстрагон. Я бесконечно признателен вам, господин.

Прогасторон. Но, мой друг, вы сами заработали его. Все принадлежит вам — и удача, и риск, и победа, и слава. Я лишь знаю ответы

на вопросы. Итак, оставайтесь с нами, ибо никто не знает, каким будет следующий вопрос. Даже я.

Эстрагон. А какой следующий вопрос, господин?

Прогасторон. Чтобы увеличить ваши шансы, я готов пойти вам навстречу. Вы можете сами выбрать тему: История, Психология, Жизнь, Глубоководные рыбы, Театр, Далекие галактики, Время, которое еще не пришло. Выбирайте. Но поспешите: приз должен быть получен сегодня, и близится час, когда мы должны будем уйти.

Владимир. Бери Жизнь. Это проще.

Эстрагон. Жизнь! Жизнь! Я специалист в этой области.

Прогасторон. А ты, Осел, ты хочешь попытать счастья в Жизни?

Невезуха. Самому быть бы живу...

Прогасторон. Итак, особый приз за особый вопрос: как называют красивую девушку в графстве Лонгфорт? И снова первым отвечать будешь ты, Осел, потому что в прошлый раз тебе опять не повезло.

Невезуха (*после долгих размышлений*) Ее зовут Кэтлин, ваша честь.

Прогасторон. Черт побери! Мы здесь не для того, чтобы слушать всякие пошлости. Это передача для семейного просмотра, вместе со стариками, женщинами и детьми. За кого ты нас принимаешь? (*Обращаясь к Момо.*) Ну, это правильный ответ? Нет! Как жаль! Может быть, в следующий раз вам повезет больше.

Момо нажимает на кнопку, и Невезуха начинает трястись с криками и стонами.

Эстрагон (*Владимиру*). Ты меня в это втянул. Теперь подсказывай!

Владимир что-то шепчет ему на ухо.

Да, господин, я знаю. В графстве Лонгфорт красивую девушку называют туристка!

Прогасторон. Прекрасно! Вы опять выиграли! Сегодня без сомнения ваш день, день, озаренный солнцем удачи. Что же теперь нам делать? Как поступить, если удача сопутствует вам, если сама фортуна вам улыбается? Мы должны исполнить ваше самое заветное желание, и не стоит с этим медлить. Вперед!

Раздается громкая бравурная музыка, Момо торжественно снимает с тележки огромный пакет и, фальшиво улыбаясь, ставит его пред Эстрагоном и Владимиром.

Это цветной телевизор со стереофоническим звуком и восемнадцатью каналами, которые принимаются одновременно!

Момо и Невезуха радостно аплодируют.

Эстрагон. Да, действительно мне сегодня везет.

Прогасторон. И это только начало!

Владимир. Как сказала одна мамаша священнику после крестин: не забыть бы унести домой то, с чем сюда пришла.

Прогасторон. Не поворачивайтесь к удаче спиной! Скажите "да" вашему успеху! Не зарывайте талант в землю! До захода солнца тележка должна стать пустой. И чтобы не тратить зря времени на простые вопросы, попросим вас, как человека сведущего в столь сложных материях, объяснить нам, что значит загадочное, сложное, научное слово: ГНАНК. Г-Н-А-Н-К. Есть ли тут у нас гнанк, большой он или маленький, или гнанк — круглый, как пицца, едят ли его с маслом или с сахаром, или за ним охотятся свиньи в яблоневом саду? Если удача по-прежнему с вами, скажите же, что мы подразумеваем, когда говорим: гнанк!

Невезуха. Надо говорить первое, что приходит в голову. А то, если подумаешь, все боком выходит.

Прогасторон. Где и чему тебя учили? Сколько мы для тебя сделали, и все не впрок. Знаний как не было, так и нет. Ты позор моей жизни. Я все время учу тебя правильно отвечать, но у тебя в одно ухо влетает, а из другого тут же вылетает. Что тебе неймется?

Делает знак Момо и та привычно нажимает на кнопку. Невезуха по привычке дергается от боли и привычно вопит.

А что скажете вы? (*Поворачивается к Эстрагону.*) Вы должны дать нам надежду. Я постоянно жду встречи с блестящим умом, а мне попадаются лишь жалкие придурки. Теперь надежда только на вас. Мне нравится ваша отвага. Итак, что же значит слово ГНАНК?

Эстрагон. Признаюсь, господин Годо, у меня три варианта ответа.

Прогасторон. В таком случае полагайтесь лишь на себя самого, а не на умные книги, священные тексты и советы случайного путника.

Эстрагон. Думаю, это слово, господин, соответствует своей эпохе.

Прогасторон. Превосходно!

Слышится громкая победная музыка, наподобие марша.

Это не совсем точный ответ, но вы опять попали в точку. Вполне подойдет, вполне. Посмотрим, что Момо приготовила нам на этот раз.

Момо достает из тележки огромную корзину, полную еды. Индейки и окорока, бутыли с вином и коробки шоколадных конфет сверкают на солнце. У Эстрагона жадным блеском загораются глаза.

Владимир. И мы можем все это съесть прямо сейчас?

Эстрагон. Не говори о еде! Давай будем это просто разглядывать.

Прогасторон. Время не ждет. Еще парочка вопросиков и по секунде на размышление. Итак, раз, два, три, начинаем. Что не следует носить в одном кармане?

Эстрагон. Свои яйца.

После каждого ответа Момо достает приз и ставит перед Эстрагоном.

Прогасторон. Что есть у всех, но ни у кого не срабатывает.

Эстрагон. План.

Прогасторон. Какой лучший роман на свете?

Эстрагон. Тот, который еще не написан.

Прогасторон. Когда начинается старость?

Эстрагон. В пятнадцать лет.

Прогасторон. Какая самая страшная болезнь?

Эстрагон. Нужда.

Прогасторон. Как говорят "здравствуйте" в Коннамаре?

Эстрагон. Шалом.

Прогасторон. Почему?

Эстрагон. Потому что.

Прогасторон. Почему потому что?

Эстрагон. Потому что так хотят.

Прогасторон. Каков лучший ответ на убийственный аргумент?

Эстрагон. Другой убийственный аргумент.

Прогасторон. Что вы скажете о человеке, который долго стоял, а потом долго лежал?

Эстрагон. Что он устал.

Прогасторон. Прекрасно, как я и предполагал. Кто же подсказал вам столь блестящие ответы? Момо?

Момо подходит к Эстрагону и целует его неискренним, официальным поцелуем. Бравурная музыка, переходящая в лирическую. Сцена завалена подарками.

А теперь, друзья, маленький перерыв перед заключительным вопросом Большой Игры. Оставайтесь с нами! Не пейте чай, не тяните кота за хвост и не забывайте ваши вещи на станции! Мы продолжим через несколько секунд.

Актеры замирают на сцене. Из-за кулис появляются толпы народа, которые быстро наполняют сцену и так же быстро исчезают. Можно просто показать на заднике сценку из жизни вечернего паба.

Итак, мы снова вместе. Если вы смотрите нас сейчас, не забывайте, что и вы можете оказаться на месте этого счастливца. Итак, чтобы получить самый лучший подарок, приз из призов, чудо из чудес, вам надо ответить на маленький, простенький вопросик... Вот он: сколько евреев может поместиться в большом супермаркете?

Невезуха (*гневно*). Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Это совсем не смешно. Это преступление против человечества! Вы фашист. Катитесь все к черту с вашей игрой.

Прогасторон. Да ты у нас моралист, как я погляжу. Может, на самом деле ты поп? Или юрист? Я тебя научу, как спорить со мной.

Делает знак Момо, и та нажимает на кнопку. Эффект зрителям уже знаком.

Если бы я спросил, сколько ангелов может поместиться на кончике швейной иглы, меня бы записали в антиклерикалы, да? А если бы я спросил, как однорукий житель графства Керри залезает на дерево, это было бы смешно? Люди смотрят на нас, чтобы забыть о собственных проблемах; так нет, ты суешь им в лицо свои моральные принципы. А твои принципы, так ли уж они моральны? (*Смотрит на Эстрагона, который начинает дрожать от страха.*) Может, и у вас есть моральные принципы?

Эстрагон. Это не так важно, господин.

Вновь раздается музыка, перекрываемая звуками автомобильного сигнала. Сияющая от счастья Момо торжественно вручает Эстрагону ключ от автомобиля.

Прогасторон. Смотрите! Последняя модель! А если вы не умеете водить, Момо сама даст вам несколько уроков.

Момо дежурно целует Эстрагона в щеку.

Но чтобы получить этот суперприз, надо ответить всего лишь на один вопрос. Итак, продолжите последовательность: Начало, Середина и... Вы меня поняли? Начало, Середина и... Ну!

Эстрагон (*радостно*). Приход весны!

Раздается музыка. Скорее лирическая. Момо подходит к нему и нежно обнимает за шею. Потом неожиданно дает ему коленом по яйцам. Эстрагон вскрикивает, а Момо с дежурной фальшивой улыбкой спокойно возвращается к тележке.

Прогасторон. Итак, мы ждем. Я понимаю, вопрос, который на первый взгляд кажется легким, на самом деле самый сложный. Ну, кто знает ответ?

Невезуха. Конечно я знаю. Это знают все городские псы и свиньи на огороде.

Звучит победная музыка. Загораются огни. Момо подходит к нему и целует его с щеку с притворной нежностью. Провода, которыми он был опутан, спадают на землю, и Невезуха со счастливым лицом встает с электрического стула.

То, что вы спрашивали, называется КОНЕЦ. Ну, вот и я дождался. Что, не так? Где мои призы? Мой ноутбук? Мой новый телефон? Где автомобиль? Где соковыжималка? Или ваучер в супермаркет на пять тысяч фунтов? Да, я знал, надо просто выжить, и победа сама найдет тебя.

Прогасторон. О, не все сразу! Вот приз как раз для таких, как ты. Подойди ко мне.

Невезуха подходит, Прогастарон срывает с ветки красное яблоко и молча протягивает ему.

Вот. Яблоко.

Невезуха (*разочарованно*). Яблоко? И это все?!

Эстрагон (*Владимиру, радостно*). По-моему, оно гнилое.

Прогасторон. Это не обычное яблоко. Если ты вкусишь от этого плода, то больше никогда не будешь знать голода.

Невезуха. Но я не люблю яблок. У меня живот от них болит.

Прогасторон. Но это еще не все. Если ты вкусишь от этого яблока, ты будешь знать все на свете, тебе уже не нужно будет ничему учиться.

Невезуха. Не хочу я знать все на свете. Мне нужны практичные вещи, что-то, чем можно пользоваться.

Эстрагон. Знания нужны мне, господин Годо.

Прогасторон. Но не ты ответил на вопрос.

Эстрагон. Но я ответил на столько других вопросов.

Прогасторон. Но на этот вопрос ты верного ответа не дал.

Эстрагон. Что значит — верного? Как можно дать верный ответ на неверный вопрос?

Прогасторон. Ну, может, ты и прав.

Эстрагон. И тогда?..

Прогасторон. И тогда что?

Эстрагон. Как что?! Суперприз, вот что! Горшок, полный золота. Ну, задайте мне еще какой-нибудь вопрос. Вопрос, я требую вопроса!

Прогасторон (*внезапно*). Два и два?

Эстрагон. Что?

Прогасторон. Я даю вам шанс. Ну, два и два?

Эстрагон. Тут какая-то ловушка? Что-то вроде "два-два" — название экзотической птицы, жившей в незапамятные времена на Мадагаскаре?

Прогасторон (*раздраженно*). Два и два? Ну?!

Владимир (*поет*). На лужайке утром рано повстречались два барана...

Прогасторон (*с лицом, красным от гнева*). Два! И два!

Владимир. Старый друг лучше новых двух.

Прогасторон (*шепотом*). Два и два... Будет... ну....

Владимир (*радостно*). Два — это двор и дворец!

Прогасторон (*хватаясь за сердце*). Два и два!!!

Эстрагон. Четыре.

Салют. Фейерверк. Пальба из пушек. Фанфары. Прострагон сияет. Все счастливы.

Прогасторон. Ответ верный!

Момо. Ответ верный.

Невезуха. Ответ верный.

Момо. Слава-слава-слава!

Невезуха. Примите мои поздравления.

Момо. Хотела бы я быть на вашем месте.

Эстрагон. Ну, а теперь? Что я выиграл? Где оно? Я закрою глаза, а вы скажите, когда поставите это передо мной.

Прогасторон. О, вовсе не следует закрывать глаза. Правду надо встречать с открытым забралом. Лучше знать, что тебя ждет.

Эстрагон. А что меня ждет? Ну, подскажите мне. Подскажите, а лучше скажите прямо.

Прогасторон. Вечная Жизнь!

Эстрагон. Хм?

Момо. Вечная Жизнь.

Эстрагон. Хм?

Невезуха. Вечная Жизнь!

Звучит торжественная музыка. Огни мигают и постепенно меркнут. У всех довольный вид. Прогасторон, Момо и Невезуха хватают Эстрагона и подтаскивают к дереву. Момо наклоняется, поднимает веревку и затягивает узел на шее Эстрагона. Невезуха перекидывает веревку через ветку дерева, а потом резко дергает ее вниз. Эстрагон повисает на ветке. Музыка смолкает.

Прогасторон. Теперь он знает ответы на все вопросы.

Невезуха. Ему здорово повезло.

Момо. Да, он получил свой суперприз.

Невезуха. Против прухи не попрешь.

Прогасторон. Он никогда больше не совершит ни одной ошибки.

Момо. Теперь он навсегда прав.

Невезуха. Надеюсь, он всем послужит примером.

Прогасторон (*Владимиру*). Вы ведь были знакомы с этим человеком? Может, теперь вы попытаете счастья? (*Подходит к Владимиру.*) Ну, не стоит отворачиваться от сестрички-удачи. Подумайте о призах, о славе, о богатстве, о мудрости.

Владимир медленно отступает назад.

Хотите прекрасную машину? Электрический тостер? Хрустальный набор для крюшона? Каникулы на Майорке? Яблоко с древа познания? Цифровую камеру? Не упускайте свой шанс! Вы с нами или против нас? Человек вы или нет? Неужели откажетесь от даров, которые мы для вас принесли? Мы не можем ждать. Согласны принять участие в Большой Игре? Отвечайте!

Все трое окружают Владимира, намереваясь схватить его, если он решит убежать. Неожиданно сцену заволакивает сизый дым. Кажется, где-то рядом сел вертолет. Или космический корабль. Или всплыла подводная лодка. Когда дым рассеивается, посреди сцены стоит маленький человечек, похожий на Чарли Чаплина, но с длинной седой бородой. В руке у него чемоданчик, характерный для сельского врача. Он загадочно улыбается.

Годо. А говорили, я никогда не приду!

Место и время те же, что за несколько секунд до окончания первого действия.

Прогасторон. (*Владимиру*). Итак, прекрасная машина? Электрический тостер? Хрустальный набор для крюшона? Каникулы на Майорке? Яблоко с древа познания? Цифровая камера? Не упускайте свой шанс! Вы с нами или против нас? Человек вы или нет? Неужели откажетесь от даров, которые мы для вас принесли? Мы не можем ждать. Согласны принять участие в Большой Игре? Отвечайте!

Владимир. Вы не человек, а дьявол, так я скажу, вы страшный, но мне от вас смешно!

Прогасторон. Но вы не имеете права так говорить!

Момо. У него нет права так говорить!

Невезуха. Нет у него права так говорить!

Владимир. А я все равно так говорю.

Прогасторон. Я вам не верю.

Момо. Это ложь.

Невезуха. Это чушь.

Владимир. Это чистая правда.

Прогасторон. Это грязные домыслы.

Момо. Не могу поверить, что он сказал это всерьез.

Невезуха. Он просто смеется над нами.

Владимир. Вы не люди, а дьяволы, вы страшные, но мне от вас всех смешно!

Прогасторон (*своим*). Он просто спятил.

Момо. Он не в своем уме.

Владимир. Я знаю, о чем говорю.

Прогасторон. Вы слышали?

Момо. Не верю своим ушам.

Невезуха. Ему нужен адвокат.

Момо. Врач.

Невезуха. Ветеринар.

Момо. Он просто растерялся.

Прогасторон (*Владимиру*). Кто тебе это сказал?

Владимир. Что?

Прогасторон. Сам знаешь! Про свободу выбора, свободу поступка, о том, что вы сами можете принять решение, выбрать свою судьбу,

и так далее. Про всякую чушь, которую проходят в школе, а потом еще закрепляют в церкви. Какой идиот наплел тебе все это?

Владимир. В этом и состоят права человека.

Прогасторон. Права человека! (*Смеется.*) Ко-ко-ко — сказала курица. Ты это сказал?

Момо. Может, он думает, что он индейка?

Невезуха. Или петушок-флюгер?

Владимир. У меня тоже есть чувство собственного достойства.

Прогасторон. Да ну? Выучили новые слова?

Невезуха. Это не новые слова. Я их часто слышал.

Прогасторон. Идиот, он сказал — достойство! Я это слово слышу впервые.

Момо. Пожалуй, это слово стоит запустить в вопросы. Суперприз за значение слова "достойство". Что это: крик белой влюбленной чайки, прыжок лосося или послеполуденный отдых негритянки?

Прогасторон. У меня сейчас только один вопрос: что нам с ним сделать? (*Показывает пальцем на Владимира.*)

Момо. Так это оставлять нельзя.

Прогасторон. Его тоже надо повесить!

Невезуха. Прекрасная мысль.

Прогасторон. Он тоже обретет Вечную Жизнь.

Момо. А ему это будто и не нужно.

Невезуха. Он ее не заслужил.

Прогасторон. В таком случае он не достоин повешения.

Момо. Его надо судить.

Невезуха. Может, выяснится, что он прав.

Прогасторон. Может, выяснится, что есть смягчающие обстоятельства.

Момо. Действительно!

Прогасторон. А где мы будем его судить?

Невезуха. Я знаю!

Его товарищи удивлены. Они смотрят на него с нетерпеливым ожиданием.

Я знаю. Его надо судить на моем стуле!

Все трое смеются, радуясь очевидности такого решения. Быстро схватив Владимира, они привязывают его к стулу и подключают электроды. Владимир дрожит и начинает постанывать.

Прогасторон. Теперь, коварный вы человек, мы узнаем, способны ли вы нести ответственность за свои слова. Сначала следует освидетельствовать вас на предмет умственной полноценности. Итак, начнем. (*Достает из кармана огромный кусок картона.*) Вот первый

и единственный вопрос. После того как Момо приготовится, у вас будет секунда на размышление. Верите ли вы в могущество пищи для поддержания существования?

Владимир не успевает ответить, а Момо не успевает нажать на кнопку. В клубах дыма перед ними появляется Годо. Он говорит живым, бодрым тоном.

Годо. А кое-кто думал, что я никогда не приду!

Прогасторон (*удивленно*). А кто вы такой и почему вы здесь?

Годо. Я это я, как и каждый из вас. А вот кто вы такой, раз от вас так плохо пахнет?

Прогасторон. Осторожней, бородач, а не то вообще никаких запахов не будете чувствовать. Мне не нравится такое начало.

Годо. Плохое начало – хороший конец. Как я обычно говорю. Но вы не ответили на мой вопрос.

Прогасторон. Я не отвечаю на вопросы. Я их задаю. Но раз вы только что прибыли, то в силу присущей мне любезности я так уж и быть ради вас сделаю исключение. Я Прогасторон, постановщик данного представления.

Годо (*цинично*). Ах, так вы всемогущий властитель, которому все должны подчиняться, ибо вокруг вашей головы сияет солнце. Что-то в этом духе, да?

Прогасторон. Ты сказал.

Годо (*показывая на Невезуху и Момо*). А что это за жалкие собачонки? Ангелы-хранители?

Прогасторон. Это Момо, королева красоты... (*Он явно забыл имя Невезухи.*) Это... это... мой слуга. Он помогает мне, когда я ему приказываю.

Каждый из названных делает легкий, но учтивый поклон.

Годо. А этот человек? (*Показывая на Владимира.*) Наверное, у него тоже есть имя, так назовите его, будьте так любезны?

Прогасторон. Он хотел получить весь мир в обмен на свое имя.

Годо. А почему его привязали к стулу?

Прогасторон (*удивленно*). Потому что он человек, а не кошка, не крыса, не слон, в общем сами понимаете.

Годо. Чем же он заслужил такое обращение?

Прогасторон. Заявил, что у него есть свои мысли.

Годо. Но разве это преступление, иметь свои мысли?

Прогасторон. Хуже. Это старомодно.

Годо. Он, видимо, пытался навязать свои мысли силой?

Прогасторон. Мы даже точно не знаем, что это за мысли. Все равно не годится, что он их имеет, не получив на то разрешения.

Годо. Но в любом случае его следует освободить. (*Подходит к Владимиру.*)

Прогасторон. Эй, не спешите! Мы его не отпускаем. Он наш, и мы поступим с ним так, как захотим.

Годо. Он не ваш. Он ничей. Он просто человек.

Прогасторон. Ну и что? Если и человек, то небось какой-нибудь пролетарий. Значит, кто-то должен быть за него в ответе. Его следует учить хорошим манерам и держать перед носом фонарь, чтобы знал, куда идти.

Годо. У него есть свое достоинство.

Прогасторон. Опять это слово! Уже второй раз за день я слышу о его достойстве! Достойство, а что это значит? С чем его едят? Что-то я никак это слово не пойму.

Годо. А если поймете, отпустите его?

Прогасторон. А он вам нужен? Может, хотите его купить? Раз уж вы такой добрый, могу уступить почти задаром.

Годо. Он не продается.

Прогасторон. Не думайте о продаже. Поразмыслите лучше о покупке. Я всего-то и прошу за него — хромую овцу, деревянную лошадку, пестрого кота, белого слона, сушеную селедку и хребет старой коровы, вот и все. Если вы находите, что это слишком дорого, поторгуемся, могу сделать вам скидку.

Годо. Мне это не нужно.

Прогасторон. А что вам вообще нужно? Сами не знаете? Судьба, видно, и вправду слепа? Разве не наделены вы желаниями и потребностями? Отдохнуть после долгого пути? Вкусить прохлады в тени лимонной рощи? Обнять страстную мулатку? Я, мой дорогой, прошел школу жизни и знаю, какова цена наших желаний и стремлений. Они есть у всех, даже у таких нерях, как вы.

Годо. Мне ничего не нужно.

Прогасторон. Ничего не хотите приобрести? Даже задаром? Солнечные лучи? Страсть к путешествиям? Волшебную палочку? Сусанну и старцев? Кое-что я мог бы для вас устроить?

Годо. Мне хватает красот природы, пения птиц и запаха полевых цветов.

Момо. Он сразу показался мне странным. Может, он из Партии зеленых?

Невезуха. Может, он вегетарианец?

Годо (*строго*). Отпустите его немедленно!

Момо (*презрительно*). Он так себя ведет, будто все должны ему подчиняться.

Годо. Отпустите его!

Прогасторон. Кого "его"?

Годо (*показывает на Владимира*). Его! Кого же еще?

Прогасторон. Вы прямо зациклились на этом сюжете! Зачем он вам сдался? Да вы его совсем не знаете. С какой стати мы должны его отпустить? Почему он вообще так занимает ваше воображение?

Годо. Потому что мы люди.

Прогасторон. Единственный ответ на единственный вопрос. А это опасно. Что было бы, если бы каждый давал только один этот ответ на все вопросы? Почему мы плачем? Почему любим? Почему радуемся? Потому что мы люди! Так бы вы ответили? Но это еще не все, жизнь на самом деле гораздо интереснее, глубже, шире, выше, пестрее. Вот вы, знаете, например, какая самая длинная река в Африке? Что вы ответите? "Потому что мы люди"? А смысла нет! Придется дать вам еще одну попытку.

Годо. Но он — человек!

Прогасторон. Ну, допустим, вы правы, и ваш аргумент не лишен смысла. Но если он — человек, то что это, собственно говоря, значит? Ничего. Взгляните, не так уж хорошо он и выглядит. Я не уверен, есть ли у него вообще деньги. Одежда на нем в жутком состоянии. Не думаю, что у него и в голове что-то есть.

Подходит к Владимиру и постукивает пальцем по его лбу. Вид у Владимира действительно совершенно отсутствующий.

Тут-тук, есть кто дома? Как там наши клеточки, работают? Смотрите! Он не может ответить даже на самый простой вопрос. Почему же мы это существо называем почетным именем — человек?

Годо. Я называю его человеком, потому что он человек. Человек — человек. Я — это я. Вы — это вы. Это так просто!

Прогасторон. Отнюдь, это очень сложно! Люди по большей части свиньи, а не собаки. В чем же разница? Если мы его убьем, кто на это обратит внимание? Миллионы других встанут на его место. Если речь идет о человеке, тут особой проблемы нет. Кто заметил, что его приятеля уже нет? (*Показывает на Эстрагона, висящего на дереве.*) Он пришел. Он ушел. Вот и все.

Годо. Он мог бы вернуться.

Прогасторон (*смеясь*). Он мертв. Вы что, не поняли? Для вас, наверное, это слишком просто? Нет ничего проще смерти. Дыхание прекращается. Сердце перестает биться. Пройдет три дня, и вороны выклюют ему глаза. Он мог бы вернуться! Он вернется тогда, когда рак свистнет.

Годо. Но я-то пришел, что бы там ни говорили.

Прогасторон. Я про вас ничего не говорил.

Годо. Не решайте за других. Многие ждали моего прихода.

Прогасторон. Замечательно! А теперь, когда вы здесь, что делать будете? Достанете кролика из шляпы? Разрежете пополам Момо? Укротите льва? "Спасибо, это я уже видела", — как сказала одна девица моряку.

Годо. Я мог бы рассечь волос на четыре части, но хотелось бы заняться чем-то более серьезным.

Прогасторон (*насмешливо*). Хотите покорить мир! И много ли у вас солдат? Может там, за холмом, кавалерийский полк? (*С помощью кулаков издает звук, напоминающий военный марш.*) Или предпочитаете воскрешать мертвых? Он мог бы вернуться! Как в фильмах ужасов: я скоро вернусь! Помните?

Годо подходит к Эстрагону и что-то говорит ему на ухо. Через несколько секунд возвращается.

Годо (*спокойно*). Он сказал, что не хочет возвращаться.

Вся троица смеется.

Прогасторон. Он сказал, что не хочет! Наверное, там интереснее, чем здесь. Наверное, теперь он всем доволен.

Годо. Да, наверное.

Прогасторон. Видимо, он пьет нектар и амброзию и слушает райские песни.

Годо. Это меня не удивило бы.

Момо (*насмешливо*). А он там случайно не повстречал моего женишка, того, который руки на себя наложил?

Невезуха. А мою мать, которая не оставила завещания?

Прогасторон. Не будем слишком требовательными. Парень просто хочет отхватить свой кусок, как и все мы.

Момо. А если он лжец?

Невезуха. Враг!

Момо. Надувала.

Невезуха. Шулер.

Момо. Агитатор.

Невезуха. Провокатор.

Момо. Глотку ему надо заткнуть.

Момо достает кинжал и собирается ударить Годо. Годо поднимает руку и издает странный свистящий звук. Момо встает на четвереньки и начинает бродить по сцене, изображая свинью, потом медленно скрывается за кулисами. Владимир, вскрикнув от изумления, восхищенно аплодирует Годо.

Владимир. Молодец! Здорово, парень!

Невезуха (*сердито, обращаясь к Годо*). Что Момо вам сделала? Бедная девочка, которая никогда никому ничего плохого не сделала. (*Подходит к Годо.*) Я вам покажу, как издеваться над моей невестой!

Он пытается ударить Годо, но тот издает такой же свистящий звук, и Невезуха превращается в кота. Невезуха яростно мяукает. Годо дает ему пинка, и тот скрывается за кулисами.

Прогасторон. Бедный котик! Опять не повезло.

Владимир. Вот это да! Ну и выродки у них теперь народятся. (*Показывая на Прогасторона.*) А с этим что сделаете?

Годо (*усмехаясь*). Ничего. Он того не стоит.

Прогасторон. Вижу, вы хитрец, каких мало.

Годо. Да, это так.

Прогасторон. Эти ваши штучки не про меня. У вас не выйдет превратить меня в свинью.

Годо. Конечно. Вы уже и так свинья.

Владимир. Хорошо сказано, господин. Небось никто ему такого не говорил.

Прогасторон (*Владимиру*). А ты не лезь не в свое дело.

Годо. Вы опять не правы. Это его дело, раз он мой друг.

Владимир. Верно сказано, господин. Лучшего друга у меня еще не было.

Годо. Смотрите!

Годо направляется к Владимиру и отвязывает его от стула. Владимир подходит к Прогасторону и толкает его в грудь.

Владимир. Ну, что теперь? Где теперь вся ваша власть?

Прогасторон. Вся моя власть при мне. Ты еще сможешь в этом убедиться.

Он достает из кармана волшебную палочку и направляет на Годо, шепча какие-то заклинания. Ничего не происходит.

Годо. Что, ничего не получается?

Владимир. Может, он сказал не те слова?

Годо. Не думаю.

Владимир. Может, у него палочка бракованная?

Годо. Скорее, он сам с браком.

Прогасторон. Ну, попробуйте тогда сами, если вы все знаете. (*Протягивает палочку Годо, но тот отказывается ее взять.*)

Годо. Я такими вещами не занимаюсь.

Прогасторон. Ну, хотя бы продемонстрируйте еще раз ваше мастерство.

Годо медленно подходит к нему и кладет ему на голову руку.

Годо (*голосом гипнотизера*). Когда я досчитаю до пяти, вы погрузитесь в глубокий сон и будете делать то, что я вам прикажу.

Прогасторон. Тоже мне, начальник!

Годо. Один... два... три... четыре... пять.

Прогасторон падает на землю.

Годо. Ну как, не ударились?

Прогасторон качает головой.

Владимир. Давайте немножко позабавимся. Скажите ему, что он хочет пить.

Годо (*Прогасторону*). Целую неделю у тебя во рту не было ни капли воды. Ты лежишь посреди Сахары. Песок у тебя в ушах, в носу и в заднице. А есть нечего, кроме соленой рыбы. Тебе хочется мороженого, но, кроме этой вонючей рыбешки, ничего нет. На обед, на завтрак и на ужин только рыба. Но вот ты видишь что-то вроде фермы. Там сидят люди и пьют. Холодное пиво. Пиво льется в их глотки. Вы входите и просите, чтобы вам тоже дали. Вы берете в руки стакан, но там одна соль.

Прогасторон, лежа на земле, ловит ртом воздух.

Владимир. Да, давно я так не смеялся!

Годо. И что же дальше?

Владимир (*неожиданно*). Господин, у меня есть идея! Я кое-что вспомнил. Помните, как этот тип тут всем угрожал, как потешался над нами? Помните, вы сказали, что могли бы... (*показывает на висящего Эстрагона*) его... это... вернуть обратно. Помните? Я подумал, если бы вы это сделали, если бы смогли это, то, в общем, было бы очень хорошо.

Годо. А с этим идиотом что делать? (*Показывает на Прогасторона.*)

Владимир. Надо посадить его на этот стул.

Годо (*Прогасторону*). Теперь ты судья!

Прогасторон подходит к стулу и садится. У него торжественный и напыщенный вид. Он то засыпает, то просыпается, в зависимости от событий, происходящих на сцене. Годо подходит к Прогасторону и рассматривает его с видом человека, любующегося своей работой.

Владимир. Господин, я буду вам очень благодарен. На все для вас готов. Опущусь на дно морское. Сыграю с дьяволом в карты. Спущусь по Ниагаре...господин.

Годо. Почему вы не называете меня Годо?

Владимир застывает. Слова явно застряли у него в горле.

Владимир. Но я подумал... думал... это он... этот судья, что он и есть Годо. Я думал, вы не он. Ну, то есть он это не вы, а кто-то другой, думал. (*Радостно вскрикивает.*) Теперь мы спасены!

Годо. Вы еще ничего не видели.

Владимир (*взволнованно*). Пожалуйста, господин Годо. Не тяните, поторопитесь. Нельзя ждать так долго. Сделайте что надо. Скажите нужные слова. Вам же это нетрудно!

Годо. Может быть, он и не хочет возвращаться.

Владимир. Но почему вы так думаете?

Годо. Он сам так сказал.

Владимир. Он все время меняет планы, сам не знает, чего хочет.

Годо. Пожалуй, это не совсем этично.

Владимир. Да при чем тут этика!?

Годо. А завтра утром вы не станете презирать меня?

Владимир. Никто не узнает.

Годо. Не знаю, как и начать...

Владимир. Начните как обычно. Мы простые люди, с нас и этого будет довольно.

Годо. Но не мешайте мне. (*Встает перед Эстрагоном и открывает рот, чтобы произнести заклинание. Внезапно останавливается.*) Кстати, как его зовут?

Владимир. О, это не важно. Любое имя подойдет. Кока Кола, или Буд Вайзер, или Марк О'Поло. Я иногда звал его Махона. Наверное, на это имя он отзовется.

Годо (*торжественным тоном*). О Махона! Во имя Мудрости и Знания, не подвластных течению времени, во имя Вечности и Славы отрешись от самого себя и Восстань, ибо отныне тебе принадлежат и Мудрость, и Знание, и Вечность, и Слава. Спустись с дерева! Восстань!

Эстрагон не двигается. Годо подходит к нему и легонько толкает его рукой. Безрезультатно.

Владимир. До него обычно не сразу доходит. Или, может, он ушел слишком далеко.

Годо. Вы уверены, что назвали правильное имя?

Владимир. Попробуйте назвать его Габбараль.

Годо. О, благородный Габбараль, вернись с пути облачного и далекого, прислушайся к поступи коз и крику ворон, вспомни о суетной курице и отважной малиновке, услышь глас разума! Проснись и приди к нам!

Эстрагон не двигается.

Владимир. Наверное, он плохо мыл уши.

Годо. Вы уверены, что он вообще был живым?

Владимир. А может, дать ему хорошего пинка, господин?

Годо напряженно думает. Внезапно он начинает говорить учительским тоном, как будто отчитывает непослушного ученика.

Годо. Мне надоели твои выходки! Немедленно спускайся вниз, паршивец!

Эстрагон медленно спускает на землю одну ногу, потом другую. Трет глаза, удивленно оглядываясь по сторонам.

Владимир. Добро пожаловать! Ты как? Как вообще там, в том мире?

Эстрагон. Ты кто?

Владимир. Старого друга не узнаешь? Не помнишь прежние деньки? Ну, расскажи хоть что-нибудь, как там было?

Эстрагон. Я есть хочу.

Владимир. Это потом. Как ты? Нормально?

Эстрагон. Я пи́сать хочу.

Владимир. Успеешь. Сначала расскажи, как там? Ты теперь действительно все знаешь?

Эстрагон. Это земля?

Владимир. Да.

Эстрагон. И чем же ты не доволен?

Владимир. Но ты же видел Иной мир! Ты был там! Ты погиб и вновь вернулся к жизни. Это же так здорово!

Эстрагон. А как это получилось?

Владимир. Это сделал Годо. Он совершил чудо.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Потому что я его попросил.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Потому что ты был мертвый.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Потому что тебя повесили.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Потому что не ответил на вопрос.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Не знал ответа.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Ты был живой, но глупый. А теперь ты мертвый и знаешь ответы на все вопросы. Я хотел, чтобы ты ожил и попробовал еще раз.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Потому что жизнь прекрасна.

Эстрагон. А!

Владимир. Ну вот, наконец понял.

Эстрагон. Не понял. Я был там счастлив. Никто меня не ругал. Ничего не надо было говорить. Не надо есть. Не надо пить. И пи́сать не надо. Я вовсе не хотел, чтобы меня возвращали.

Владимир. Глупости. Ты должен поблагодарить Годо.

Эстрагон. Лучше я ему голову оторву.

Владимир. Подумай о всех мерзавцах, которые там: Пидлер, Маскуллини, Сранко! И другие. Ты же не хочешь быть с ними? Лучше жизнь, чем вечность.

Эстрагон. А это кто? (*Показывает на Прогасторона.*) Я его знаю?

Владимир. Это тот, кто убил тебя!

Эстрагон. Вот его и надо благодарить.

Пожимает Прогасторону руку. Тот просыпается и пытается что-то сказать.

Прогасторон. Виновен!

Владимир. Скажи спасибо Годо, он того заслуживает.

Эстрагон. Вы нарушили закон природы. Никогда вам этого не прощу.

Годо. Законы вообще противоречат природе.

Эстрагон. Вы прервали мой прекрасный сон. Никогда вам этого не прощу.

Годо. Я прервал течение вечности.

Эстрагон. Смерть — единственное, в чем можно было быть уверенным.

Годо. На смерть тоже можно управу найти.

Эстрагон. Но как можно жить без смерти?

Годо. Счастливо!

Эстрагон. Жизнь полна опасностей.

Годо. Только если ты слишком серьезно к ней относишься.

Эстрагон. Но как можно преуспеть в жизни, если ты даже умереть не можешь?

Годо. Для людей слова останутся вопросы, для людей дела — ответы.

Эстрагон. Но что такое ОТВЕТ, человечек великих дел?

Годо. ОТВЕТ — это когда больше нет ВОПРОСОВ. Как полагаешь, Владимир?

Владимир. На это я согласен. Сыт по горло дурацкими вопросами.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Не начинай сначала!

Эстрагон. Почему?

Владимир. Но ты же был там! На другой стороне! В Аду или в Раю, в Хай Бресил[1], или в Элизиуме, или на Небесах.

Эстрагон. Небеса? Что это?

Владимир. Место, где живет Бог!

Эстрагон. И я снова живу. А что дальше?

Владимир. Прекрати задавать вопросы, дай ответы.

Эстрагон. Ну, так спроси меня о чем-нибудь. Задай любой вопрос.

Владимир. Почему мы так несчастны в этой жизни?

Эстрагон. Это просто! Потому что психогенное женское начало не способно возместить утрат постоянного стремления к вечному движению, к изначальному состоянию влечения, к окончанию

1. Мифический остров на западе Ирландии, где, согласно преданию, находится Иной мир.

сущности бытия, при том, что истинность существования всегда находится на пути следования индивида в том направлении, куда движется его мысль, являющаяся одновременно элементом мышления вечного разума. Дух опережает сознание, но плоть при этом является тотальным проводником сущности, а тотемная ипостась мифологического героя-демиурга манифестирует его прежде всего в качестве медиатора, что разрешается путем воплощения соответствующих антиномий как в дихотомии тождеств, так и в диахронии линейного развития.

Владимир. Здорово, но непонятно.

Эстрагон. Сам сказал, что хочешь получить ответ. Я не обещал, что ты сможешь его понять.

Владимир. Мне нужна была суть, а не набор слов.

Эстрагон. А разве можно объяснить суть без слов? А слова утомляют. Тогда остается только любовь, хотя без нее, знаешь ли, в жизни было бы куда меньше разочарований.

Эстрагон делает вид, что берет что-то в рот, потом выплевывает это на землю и растирает ногой. Затем еще раз давит это воображаемое нечто каблуком.

Ну вот. И нет любви! Что еще? Мораль? Это обычно мало кому нравится.

Эстрагон снова проделывает ту же пантомиму.

Морали тоже нет, что осталось? Теперь мы можем управлять миром по собственному плану.

Владимир. Стой! Мне совсем не это было надо.

Эстрагон. Никак не могу понять, чего ты от меня хочешь. Объясняю — не понимаешь. Изображаю — тоже не нравится. Все не по тебе, ты всем недоволен.

Владимир. Я хотел простой ответ на простой вопрос о смысле жизни. Разве это так трудно!

Эстрагон (*показывает на Годо*). Спроси об этом своего друга. Коли он может воскрешать людей, то и ответить на этот вопрос ему раз плюнуть.

Владимир. Господин, можно вас спросить? Вы-то можете мне объяснить?

Годо. Я могу рассказать историю.

Владимир. О, господин, я страсть как люблю разные истории. А там будут убийство, кровь, разные ужасы?

Эстрагон. Ответы, вопросы, теперь — истории. Скоро перейдем к мелодекламации.

Владимир. Не мешай. Может, это будет история с моралью типа притчи.

Годо усаживается под деревом. На него падает луч прожектора. Эстрагон постоянно пытается прервать его, но Владимир его удерживает.

Годо. Один человек тоже искал смысл жизни. Сначала он обошел все библиотеки, но не нашел там ответа. Тогда он закончил несколько престижных университетов, где консультировался с лучшими профессорами, но ответа так и не получил. И тогда он решил обойти весь мир в поисках того, кто знает ответ на его вопрос. И повстречал он богача и сказал ему: вы так богаты и могущественны, вы можете объехать весь мир, вы можете проснуться в Нью-Йорке, а обедать в Монтевидео, можете увидеть и узнать все. Вся жизнь принадлежит вам, так в чем же ее смысл? Он взглянул в глаза богачу, но увидел, что в них отражались лишь деньги. И богатый человек сказал ему: убирайся! Я слишком занят. Мне надо купить еще один банк. А твой вопрос вообще лишен смысла! И человек ушел, а за его спиной богач сотрясался от смеха, и от этого хохота тряслись скалы. Тогда человек пошел во дворец Короля. Тот следил по карте за передвижением своих войск. Человек сказал: Ваше Величество! Вы повелеваете народами, вы можете приказывать целым армиям, самые мудрые люди мира стремятся угодить вам, так скажите же мне: в чем смысл жизни! Он взглянул в глаза Короля и увидел, как власть плясала в них. И Король сказал ему со всей грубостью, на какую был способен: убирайся с моих глаз, пока я не приказал отрубить тебе голову. Я занят, мне надо разрушать города и строить дороги. Еще столько врагов надо покорить! В твоем вопросе вообще нет смысла! И человек ушел, а за его спиной дружно хохотали Король и его советники, и от их хохота шатались фонари на улицах.

И тогда человек пришел в Великий Храм. Архиепископ стоял на коленях и молился. Человек сказал ему: о Ваше Светлейшее Святейшество! Вам знакомы труды всех теологов и Отцов Церкви. Каждый день вы говорите с Богом и святыми. Вы поститесь и умерщвляете плоть. Так в чем же смысл жизни? Он взглянул в глаза архиепископа, и святость мерцала в них. Архиепископ ответил ему спокойно: уходи, слабый человек, пока я не позвал людей, которые примерно тебя накажут. Я занят, я говорю с Богом. Я должен вымолить прощение за все грехи мира. А твой вопрос лишен смысла! И человек ушел опечаленный, а за его спиной грустно смеялся архиепископ, и звезды небесные вторили его смеху.

У ворот Храма он увидел мальчика, который просил милостыню. Помоги мне, сказал мальчик, я уже три дня ничего не пил, кажется, сейчас умру от жажды. И человек посмотрел в его глаза и увидел в них слезы. И он дал ему напиться, и тот пил и выпил все до последней капли и сказал ему потом: спасибо!

Так кто же, по-вашему, те, кто смеялись, или тот, кто плакал, — кто приносит миру больше пользы?

Владимир. Не знаю, господин. Но рассказ был просто чудесный.

Эстрагон. Но вопрос был сформулирован иначе.

Годо. Дело не в словах.

Эстрагон. Да, если в них есть смысл.

Владимир. Но в этой истории есть смысл. Я его понял.

Эстрагон. Но не ты вернулся из Иного мира.

Годо. Чтобы понять, умирать не обязательно.

Эстрагон. Это мы еще посмотрим!

Владимир. Я так понял — кусок хлеба иногда важнее красивых слов.

Эстрагон. Ты что? Про хлеб вообще ни слова не было!

Владимир. Ну... Ну тогда смысл такой — слезы иногда действуют сильнее, чем смех.

Эстрагон. А я понял так, что нечего задавать занятым людям идиотские вопросы.

Годо. Мне не слишком нравятся ваши манеры.

Эстрагон. Ну и ладно... Я ими не торгую.

Годо. Ну что же, мне остается только уйти.

Владимир. О, господин, останьтесь. Вы должны нам показать еще столько чудес.

Годо. Я трачу время на то, чтобы изменить историю, и вот благодарность.

Эстрагон. У нас этим свои историки давно занимаются, так что вас благодарить не за что.

Годо. Меня ждут другие.

Эстрагон. Подождут.

Годо. Но я вам не нужен!

Владимир. Нет, нужны! Ваш труд еще только начался. (*Эстрагону.*) Скажи ему, что он нам нужен.

Эстрагон. Вы нам нужны. Мне, например, очень нужно дать вам как следует по морде. (*Делает шаг к Годо, тот в ужасе отшатывается.*)

Владимир. Даже не вздумай его трогать! Он ведь может и уши тебе отрезать. Видел, на что он способен?

Эстрагон (*угрожающе*). Я тоже кое на что способен. Забыл, откуда я вернулся? *(Грубо хватает Годо и валит его на землю.)*

Годо пытается сопротивляться, но сила явно не на его стороне. Слабым голосом он зовет Прогасторона.

Годо. Давай, теперь ты — ротвеллер, скорей!

Прогасторон начинает лаять и, яростно рыча, кидается на Эстрагона, отрывает ему рукав пиджака, но тот выходит победителем и пинком прогоняет его со сцены.

Эстрагон (*Годо*). Ну, хитрец, что вы еще нам приготовили?

Годо (*подавленно*). Пока ничего.

Эстрагон. Пока! Пока! Пока!
Пока-пока! Один и два!
Пока-пока! Где нога, где рука?
Пока, пока! Годо пока не понял,
Пока, пока что мне на него плевать.

Владимир. Оставь его, он меня спас.

Эстрагон. Меня он тоже спас, хотя я его об этом не просил. Надо нам посчитаться: смерть за жизнь и жизнь за смерть.

Владимир. Ты что, хочешь его убить?

Эстрагон. Почему бы и нет?

Владимир. Это будет неправильно.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Убивать всегда неправильно.

Эстрагон. Почему?

Владимир. Это противоречит закону естества.

Эстрагон. Законы вообще противоестественны.

Владимир. Почему? (*С некоторым сомнением в голосе.*) Я думаю, мы должны его освободить, я так думаю, вот...

Эстрагон. А я думаю, мы должны приговорить его к смерти.

Владимир. Но он нам ничего плохого не сделал.

Эстрагон. Мне сделал.

Владимир. Он еще может пригодиться.

Эстрагон. Мы же не можем его съесть.

Владимир. Он ни в чем не виноват.

Эстрагон. Передо мной виноват!

Владимир. Я тебе помогать не стану.

Эстрагон. Посмотрим.

Владимир. Может, дашь ему шанс?

Эстрагон. Такой, какой он дал мне.

Владимир. Но ты дашь ему возможность выбора казни?

Эстрагон. Пусть выбирает между петлей и электрическим стулом. *(Подходит к лежащему Годо и приподнимает ему голову.)*

Что ты хочешь, стул или петлю?

Годо не отвечает.

Если вдуматься, и там, и тут есть свои преимущества и недостатки. Свой выбор можешь аргументировать в письменной форме. Но учти, ответ не должен превышать двух страниц, причем следи, чтобы не было орфографических ошибок. Они тоже будут занесены в список твоих преступлений.

Владимир. Тебе не кажется, что мы зашли слишком далеко?

Эстрагон. Люди постоянно заходят слишком далеко, без этого мир бы остановился.

Владимир. Притормози. Ему небось просто смешно тебя слушать.

Эстрагон. Не думаю, что так уж смешно.

Насмешки запрещаются
Всем нищим и хромым
И всем красивым девушкам,
Которым не до них.
На то и создан человек,
Чтоб быть повешенным!

Владимир. Довольно странные стихи, не находишь?

Эстрагон. Не нахожу. Люди прекрасно освоили методику повешенья. Короли, и знать, и генералы, и церковники.

Владимир. Он просто ослеп!

Эстрагон (*Годо*). Ну, что можешь сказать в свою защиту? Или мне уже приступать? А жаль...

Годо молчит.

Владимир. Я, как говорится, умываю руки.

Эстрагон. Я думал, у тебя есть мечта.

Владимир. У каждого есть мечта.

Эстрагон. У меня нет. Этот мерзавец покончил со всеми моими мечтами. *(Он поднимает Годо за плечи и задумчиво смотрит то на дерево, то на стул.)*

Владимир явно не собирается ему помогать. Тогда Эстрагон тащит Годо к стулу, привязывает его и подключает электроды.

Ну что, скажешь нам хоть что-нибудь прежде, чем я нажму на кнопку? Свое последнее слово? Пятьдесят лет они тебя ждали, теперь могут и подождать пятьдесят секунд, пока ты уйдешь.

Владимир. Давай зададим ему пару вопросов? Если он правильно ответит, мы его отпустим.

Эстрагон. А откуда мне знать, правильно ли он ответит, может он нам просто мозги запудрит.

Владимир. Ты не спросил, какое у него последнее желание.

Эстрагон. Тут уже не до желаний.

Владимир. Но, может, он не знал, что нарушает закон?

Эстрагон. Он просто развлекался.

Владимир. А это так плохо?

Эстрагон. Все, я сказал!

Эстрагон медленно подносит палец к кнопке и нажимает. Годо начинает корчиться от боли, как раньше — Невезуха. Однако в отличие от последнего, Годо не издает ни звука. Эстрагон держит палец на кнопке, пока не убеждается, что Годо мертв. Свет постепенно меркнет.

Владимир. Все кончено?

Эстрагон. С ним никогда не будет покончено.

Владимир. Он мертв?

Эстрагон. Не думаю, что он жив.

Владимир. Он ничего не сказал.

Эстрагон. Ему нечего было сказать.

Владимир. А сердце у него бьется?

Эстрагон. Не думаю, что он влюблен.

Владимир. Что теперь с ним делать?

Эстрагон. Так оставим.

Владимир. Нет, так нельзя. Вдруг кто-нибудь наткнется на его труп.

Эстрагон. Значит, надо его спрятать.

Владимир. Где?

Эстрагон. Под деревом?

Владимир. Здесь обычно влюбленные назначают свидания.

Эстрагон. В тележку?

Владимир. Будет заметно.

Эстрагон. В духовку?

Владимир. Не поместится.

Эстрагон. В микроволновку?

Владимир. Сгорит!

Эстрагон. В холодильник?

Владимир. Замерзнет!

Эстрагон. У тебя что, на все есть ответ!

Владимир. Научился.

Эстрагон. Тогда — в холодильник.

Эстрагон и Владимир снимают Годо со стула и тащат его к холодильнику. Открывают дверцу и суют его внутрь. Кажется, они весьма довольны тем, что сделали. Во время дальнейшего разговора сцена постепенно погружается во тьму.

Владимир. Ну, больше делать нечего.

Эстрагон. И сказать больше нечего.

Владимир. И идти некуда.

Эстрагон. Но куда-то ведь мы должны пойти.

Владимир. Все равно куда.

Эстрагон. Надо дойти до конца.

Владимир. Он был не так уж плох.

Эстрагон. Бывают люди и похуже.

Владимир. А был ли он счастлив?

Эстрагон. Он не исключение.

Владимир. Понимал ли он, что делает?

Эстрагон. Он понимал не больше других.

Владимир. Наверное.

Эстрагон. Зачем во всем искать смысл?

Владимир. Да, смысл — это лишнее.

Эстрагон. Смысл — это подлость!

Владимир. У каждого дня свой смысл.

Эстрагон. Каждый день — это день твоей жизни.

Владимир. Жизнь — это труд.

Эстрагон. Труд — это почту разносить.

Владимир. Если бы мы могли начать сначала.

Эстрагон. Могли бы, наверное.

Владимир (*удивленно*). Да?

Эстрагон. Теперь мы свободны.

Владимир. Ты это о чем?

Эстрагон. Можем делать что хотим.

Владимир. Ну, если ты так считаешь...

Эстрагон. А ты не понимаешь? Мы свободны, и свобода — наше богатство. И никто нам не указ! Мы никогда теперь не будем хотеть есть и ничего уже не должны ждать.

Владимир. Значит, мы можем уйти?

Эстрагон. Не просто можем, мы должны уйти. Мы должны уйти и унести все эти замечательные вещи. (*Показывает на коробки с призами, лежащие на земле.*)

Владимир. А, я понял, ты стал там практичным.

Эстрагон (*бодро*). Ну, пошли!

Владимир. Мы все унесем!

Эстрагон. Все возьмем!

Владимир. Это все теперь наше!

Эстрагон. Это все — мое!

Владимир. По праву.

Эстрагон. По наследству.

Владимир. По природе вещей.

Они протягивают руки к телевизору, но тот исчезает. Они поворачиваются к корзине с едой, но с ней происходит то же самое. Постепенно со сцены исчезают все призы, и остаются только автомобиль и холодильник.

Эстрагон и Владимир медленно подходят к холодильнику. Эстрагон осторожно открывает дверцу и видит внутри Прогасторона, который лает и рычит. Дверца громко захлопывается. Эстрагон и Владимир в ужасе отбегают в сторону. Дверца вновь открывается, и из холодильника торжественно выходит Годо во фраке, в цилиндре, с сигарой в руке. Он стряхивает пе-

пел на холодильник, и тот тоже исчезает. Годо с довольным видом садится в автомобиль.

Годо. Некоторые из вас думали, что я умею только рассказывать истории! Пф!

Автомобиль уезжает.

Владимир (*потрясенный*). Что же нам теперь делать?

Эстрагон. Он все забрал.

Владимир. А ты говорил, что можно все начать сначала.

Эстрагон. Я не знал.

Владимир. Можно пойти за ним.

Эстрагон. Я не смогу.

Владимир. Может, он поехал к тем, кто его ждет.

Входит запыхавшийся мальчик.

Мальчик. Простите, господа. У меня плохие новости. Годо... Произошла авария, господа. Так что, господа, сегодня он никак не сможет прийти.

Эстрагон. Но...

Владимир. Он был здесь. Мы его видели.

Эстрагон. Два раза.

Владимир. Даже три.

Мальчик. Не знаю, господа. Он просил передать, что сегодня прийти не сможет. Больше я ничего не знаю.

Эстрагон. А кто же это был?

Мальчик. Не знаю, господин. Но это был не Годо. Годо придет завтра.(*Мальчик убегает, явно боясь лишних вопросов.*)

Эстрагон. Это был другой мальчик.

Владимир. Но он похож на того, первого.

Эстрагон. Как-то не заметил сходства.

Владимир. Я уже плохо помню того.

Эстрагон. Все было так просто, пока он не пришел.

Владимир. Если он приходил.

Эстрагон. Но мы же его видели.

Владимир. Мало ли что мы видим.

Эстрагон. Мы с ним говорили.

Владимир. Мы все время говорим.

Эстрагон. Он показывал чудеса!

Владимир. Обычные фокусы.

Эстрагон. А мы узнаем его в следующий раз?

Владимир. Это было бы странно.

Эстрагон. Но ведь мы были счастливы, хоть немного?

Владимир. Это было так давно.

Эстрагон. Но он сказал, что придет.

Владимир. Мало ли кто что говорит.

Эстрагон. А может быть, он все время здесь?

Владимир. А может, в море нет воды...

Эстрагон. Мы напишем об этом книгу.

Владимир. Я не смогу ее прочесть.

Эстрагон. Спорим, это был он.

Владимир. У тебя нет денег, чтобы спорить.

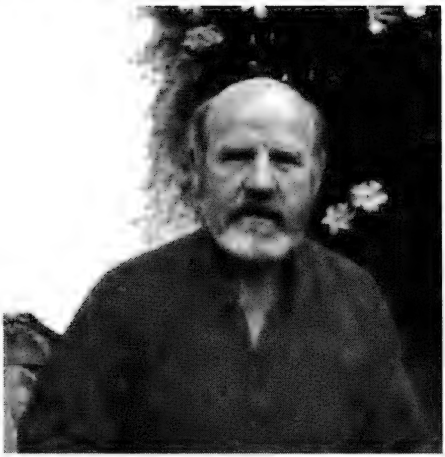
Эстрагон. Может быть, он вернется.

Владимир. Может быть, это и есть ОТВЕТ?

Эстрагон. Да, но на какой ВОПРОС?

Сцена из спектакля в дублинском театре "Аббатство"

Юджин Маккейб



Небо – рядом[1]

Перевод Анны Веденичевой

То ли еще во сне, то ли в сером сумраке спальни Мэрион виделся Иисус, сидящий на солнцепеке под огромным деревом у стен Назарета или Иерусалима, куда мама ездила в свадебное паломничество. "Свадебное путешествие" говорить нельзя. Не то чтобы это было плохое слово вроде тех, которые она слышала в школе, но мама никогда не говорила "свадебное путешествие" – только "свадебное паломничество" – и объясняла, что "свадьба" означает священные обеты, то есть обещания, а "паломничество" – поклонение Господу и что брак есть таинство, а дети – дар Божий.

На картине все дети любили Иисуса, заглядывали Ему в лицо, обнимали Его руки и ноги. Один малыш обхватил Его за шею. Видно было, что Он тоже их любит. Он целовал в макушку светловолосого мальчика, забравшегося к Нему на колени.

Сверху по рамке картины шла надпись: "Пустите детей приходить ко Мне"[2].

Три года назад, когда Мэрион исполнилось пять, дядя Феликс подарил ей эту картину на день рождения. Он священник в монастыре под Эннискилленом. "Нет, дорогая, не 'пассивный' священник, – поправляла ее мама, – а пассионист, член ордена во имя Страстей Господних".

© Eugene McCabe, 2005
© Анна Веденичева. Перевод, 2007

1. Аллюзия на оду У. Вордсворта "Мгновения вечности в воспоминаниях раннего детства". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Евангелие от Матфея. 19:14.

Игги вторил: "И это не монастырь 'Кран', дорогая, а монастырь Граан, и когда мы туда приезжаем, нам оказывают гостеприимство, а не костеприёмство, и кормят пышками, а не шишками — пышные потому что, поняла?" Это напомнило Мэрион о большом шишаке брата, а о нем думать было совсем тошно, да и об Игги тоже.

Вчера дядя Феликс давал мальчикам духовные наставления в монастыре Св. Людовика. Сегодня очередь девочек — месса и проповедь, потом исповедь и еще одна проповедь, а в конце Поклонение Святым Дарам.

Внизу картины было четверостишие:

Господь, Ты из любви ко мне
Пошел на муки и на смерть,
Так дай мне в жизни сей земной
Страдать и умереть с Тобой.

Мама не раз говорила: "У малютки на коленях Спасителя такие же золотистые волосы, как у тебя, дочка, и такие же небесно-голубые глаза", но дядя Феликс возражал: "Нет, у Мэрион волосы посветлее, с серебряным отливом, они больше напоминают белое золото". Странно, думала Мэрион. Ведь золото желтое, как обручальное кольцо. Белый — цвет подснежников в саду и у ворот, цвет блузки для конфирмации с вышитыми на воротничке голубыми трилистниками.

— У клевера голубых листочков не бывает, они зеленые, — сказала тогда Мэрион, но мама объяснила:

— Голубой, детка, — цвет покрова Царицы Небесной, цвет моря и неба, он защищает от зла и всякой нечистоты.

Мэрион подумала и спросила:

— А когда что-нибудь думаешь или делаешь, как узнать, плохо это или нет?

— Во-первых, дочка, ты под защитой Девы Марии — ты названа в ее честь, как и я, и она не даст тебе сбиться с пути; кроме того, у тебя есть ангел-хранитель, и он никогда не спит — тут слово "никогда" действительно уместно... обычно его повторяют куда чаще, чем надо... Ангел подсказывает тебе, что хорошо, а что плохо. Это твоя совесть, Мэрион.

— Даже во сне подсказывает?

— Да, моя ласточка, даже во сне. Да.

Некоторые сны были так похожи на явь и до того стыдные, что Мэрион могла разрыдаться при одной мысли о них. Во сне или нет Игги приходил по ночам к ней в спальню, когда мама уезжала на двухнедельное послушание в монастырь Марии Исцелительницы или в Граан на субботние беседы с дядей Феликсом, а дома оставалась только Брайди, спящая в другом конце дома. Игги лез к Мэрион, и вряд ли это ей снилось, потому что по утрам в тумбочке у кровати оказывались грязные трусы, которые она туда не клала. Две пары Мэрион выбросила в реку за гротом, а третьи сожгла в плите, пока Брайди гладила белье в старой детской. Мэрион хотела подняться к ней и все рассказать, но не знала как. Был и еще один удобный случай — когда Брайди спросила про кровь на простынях, но Мэрион испугалась, сказала, что порезалась.

— Ну что ты, лапушка, какое там порезалась, ничего срамного тут нет — видно, месяцы начинаются.

"Сейчас я ей скажу, сейчас, сейчас", – думала Мэрион, пока Брайди рассказывала про "месяцы", но так и не решилась, и Брайди закончила:

– Только не говори, мол, Брайди мне объяснила, а то маме может не понравиться, что я вперед ее...

Если уж Брайди не расскажешь, неужели маме можно было рассказать, как Игги, когда она была совсем маленькая, прижался и стал тереться об нее шишаком, пока оттуда не потекли белые сопли, или про тот раз в ванной, когда он засунул ей в попу зубную щетку, а потом, отмыв ручку от какашек, хихикнул со своей улыбочкой: "Как новенькая!" Или про тот кошмар, когда Игги засунул его прямо ей между ног – было так больно, что пошла кровь, и Мэрион закричала, а брат только скривился:

– Ну ты чего, плакса?

– Я не буду так играть, Игги, я все маме расскажу, когда она вернется!

– Ничего ты не расскажешь! А расскажешь – нам обоим влетит! Ты не меньше моего виновата, сама знаешь! Прекрасно знаешь.

Он всегда говорил "мы", "нам", пока однажды у нее не лопнуло терпение:

– Это все ты, Игги, каждый раз только ты! Я спала!

– Да ладно, не прикидывайся. Тебе тоже нравится, не меньше моего.

– Ненавижу эту игру! И тебя ненавижу!

Он только пожал плечами и вышел.

Где тогда был ее ангел-хранитель? Есть ли такой у Игги? Кто подсказывал ему делать так зубной щеткой, пальцами и языком, делать гадости, от которых у нее все вокруг плыло? Кто ему подсказывал, дьявол?

Когда в голову приходили подобные мысли, Мэрион чувствовала себя такой гадкой, такой пропащей, что ей хотелось кричать все плохие слова, слышанные в школе. Эта душная волна захлестывала ее, когда они читали розарий[1] зимой или летом молились на коленях в гроте перед статуей Девы, а еще на мессе, когда звонили колокольчики – храм замирал, полный таинства, священник претворял хлеб и вино в Тело и Кровь Христову, а у нее в душе было столько грязи, что хотелось завопить от отчаяния. Мэрион изо всех сил старалась удержаться, до дрожи, до липкого пота, до тошноты. Однажды пришлось даже выйти из церкви, а в другой раз прикусить губу, да так, что та распухла. Утром Брайди спросила: "Лапушка, что у тебя с губкой?"

Мэрион посмотрела на Игги, уплетавшего завтрак, и брат ответил ей таким взглядом, словно догадывался, о чем она думает, словно подначивал ее открыться, сказать: "Это все из-за Игги, нашего шестнадцатилетнего Игги – в первый раз он зажал мне рот рукой, и боль была жуткая, ослепительная жгучая боль, у меня кровь потекла... это из-за него, Брайди, из-за нашего Игги с его маминими зелеными глазами и золотисто-рыжими кудрями, из-за этого белозубого молодца, старосты корпуса в Мангрете, из-за Игги, у которого в последнем табеле написано: "Пример для всего колледжа"... Как мама читала вслух те похвальные строчки, с какой гордостью всем показывала! Разве можно рассказать маме... мама умрет со стыда... значит, это ей, Мэрион, придется умирать... умирать днем и ночью, в стыде и позоре, позоре, позоре... да, это секрет, но разве такое скроешь от Бога, от Его Пречистой Матери, от

1. Розарий – особый вид молитвы по четкам, связан с почитанием Девы Марии.

ангелов и святых, от миллионов душ умерших, глядящих с неба на землю... ведь они все видят! Игги это, похоже, не беспокоило. Может, его ангел-хранитель только притворяется добрым?

Если даже Брайди невозможно рассказать, то никому не расскажешь, только Лю, плюшевому мишке. Но и о нем Мэрион сейчас даже думать не могла. Лучше я подумаю о летнем Макартелнегоуни, решила она. Макартелнегоуни — родина Брайди, деревушка в горах графства Фермана, рядом с Карн-рок. Брайди всегда отпускали помочь родителям на сенокосе и заготовке торфа, а в прошлом году с ней разрешили поехать Мэрион. Это были лучшие четырнадцать дней ее жизни — торфяник, сенокос, лошадь с огромным возом сена, ласковые соседи ("Откуда такая принцесса, Брайди?"), ослик, воскресные поездки к мессе. И ни слова о каждодневных службах, о новенах[1], о паломничествах, об Обществе будущих священников во имя св. Иосифа, о Лурдской Деве Марии, о чудесах, о дяде Эмброузе в Риме и дяде Феликсе в Эннискиллене, о молитвах за дикую Африку и за обращение коммунистической России. И никакого Игги, Игги, капитана манстерской теннисной сборной, который, как сказал судья на соревнованиях в Корке, наверняка войдет в команду для подготовки к Кубку Дэвиса, как его отец, покойный Филипп Кэнтуэлл, член Королевского колледжа ветеринарной хирургии.

Однажды Мэрион спросила отца Брайди, почему они зовут своего хряка Де Валера. Старик усмехнулся и сплюнул в огонь.

— Такой же пройдошливый старый хрен, вот почему.

Миссис Руни с деланым негодованием поджала губы.

— Куда это годится, Дэн, учить девочку таким некрасивым словам.

— Она в школе и не такого наслушалась! — рассмеялась Брайди. Мэрион кивнула.

— Если бы у меня был хряк, — сказала она, — я бы назвала его не Де Валера.

— Правда?

— Да, миссис Руни.

— А как бы ты его назвала?

— Игги.

Старики ничего не понимали.

— Вот грубиянка, — вмешалась Брайди. — Так ее брата зовут — Игги. Игнатий.

— Почему ж ты, — удивилась старая миссис Руни, — хочешь хряка назвать в честь братца?

— Потому.

— Почему потому?

— Просто потому.

— Видать, не больно-то ты его обожаешь?

Мэрион пожала плечами. Понимая, что она не хочет объяснять, разговор перевели на что-то другое.

Не считая тех деревенских дней, Мэрион больше всего любила школу. Там можно читать, учиться, играть, только не с близнецами Калли-

1. Новена — девятидневное моление, читаемое в особых случаях: при подготовке к Рождеству, в честь праздников и святых, при поминании усопших и подготовке к отпущению грехов.

ган и не с теми, кто живет в Кейсмент-парк, за новой дорогой. Водиться с ними в открытую не запрещали, но постоянно давали понять, что от них следует держаться подальше. Лучшая подруга Мэрион, Мартина Фланаган, — так называемая лучшая подруга, которую всячески привечала мама, — говорила, что этим из Кейсмент-парк надо чистить язык горчицей и мыть с мылом. Ее отец, зубной врач, давал своим пациентам специальную розовую водичку для полоскания. "Бедняки каждый день слышат гадости у себя дома, — объясняла Мартина. — Тут нет их вины, они просто иначе не могут".

Это правда, подумала Мэрион. Два года назад она сама, сидя вечером за уроками, посадила в тетради большую кляксу и пробормотала себе под нос: "Ёп!". Мама вышивала у камина рукав стихаря для Общества будущих священников во имя св. Иосифа. Проворно мелькавшая иголка замерла. Мэрион посмотрела на маму — та сильно побледнела, здоровый глаз изумленно округлился.

— Что ты сказала?

— Ничего, мам.

— Что я слышу? Ушам своим не верю.

Тишина.

— Мам, это просто слово такое.

— Мэрион, где ты слышала такие слова?

— В школе.

— Дети так разговаривают?!

— Только на прогулке, мам.

— И кто говорит такие слова?

— Ты хочешь, чтобы я по именам назвала?

— Да.

— А ты скажешь сестре Доминике?

— Я не люблю доносчиков, но мне надо знать.

Мама всегда говорила что-нибудь в этом роде. Как еще можно узнать, если не от доносчика? Но такой ответ вызвал бы только гневную вспышку. Мэрион стала переписывать испорченную страницу, надеясь, что мама отвлечется или забудет. Ничего подобного.

— Мэрион, сказать все равно придется.

— Что сказать, мам?

— Кто из девочек у вас в школе так ругается?

— Ну... во-первых, близнецы Каллиган... Сэди Кефри, еще Джози Макгиннесс, они больше всех. Но и других полно. Многие ругаются, когда рядом нет сестер, и никто не обращает внимания.

Долгая пауза.

— Чтобы я больше не слышала от тебя таких слов... никогда в жизни... Это ужасная, отвратительная грязь, и бедные дети, которые произносят подобные слова, даже не подозревают, как ужасно они оскорбляют Господа нашего и Его Пречистую Мать. Ты поняла, Мэрион?

— Да, мама.

— Больше никогда в жизни... чтоб язык никогда не поворачивался!

Целых два "никогда". За оставшийся вечер Мэрион обнаружила, что язык действительно поворачивается, когда говоришь "хлоп", "стоп" или "лоб", но при слове "ёп!" двигаются только губы. Поднимаясь в спальню, она на каждой из тридцати ступенек приговаривала "ёп! ёп! ёп!" — ведь язык при этом не поворачивался. Перед сном Мэрион вста-

ла на колени и попросила Господа простить ее за то, что была грубой. Грубая — ведь не значит плохая.

Вчера, пока мальчикам давали наставления в монастыре, близняшки Каллиган курили бычки за спортивной площадкой и показывали сценку с неприличным стишком — самым лучшим... то есть самым отвратительным из тех, что они рассказывали, все так говорили и хохотали, хохотали без конца, а Мартина Фланаган громче всех. В самых вопиющих местах Каллиганы таращили глаза и поджимали губы с деланым негодованием, изображая сестру Эммануэль.

Мария с Иосифом скрылись в колосьях,
Елдой волосатой трясти стал Иосиф.

Дальше было еще бесстыднее, грубее и подробнее. Мэрион стояла ни жива ни мертва — там точь-в-точь описывалось то, что с ней делал Игги, и последние две строки пронзили ее ужасной догадкой.

Мария, когда ж нагуляла ты чудо?
"Родится — Иисусом я звать его буду".

Неужели из-за того, что вытворял Игги, у нее в животе растет ребенок?

Когда стишок кончился, Мартина сказала, что если Каллиганы умрут этой ночью, то отправятся прямиком в ад, в преисподнюю, сразу и без пощады.

— А нам всем надо исповедоваться, ведь мы тут стояли, слушали и хихикали.

Мэрион даже не улыбнулась ни разу, но Мартине возражать не стала.

— Знаешь, это ведь богохульство, все равно что плюнуть Богу в лицо — никто не может снять богохульство, только сам Папа, и то если будет в очень уж хорошем настроении... а окажется не в духе, возьмет и выставит их из исповедальни в соборе Святого Петра.

— Почему выставит?

— Дурочка, он же непогрешимый — если прогонит Каллиганов, то всё, они пойдут в ад, прямиком в преисподнюю, потому что такой грех гораздо хуже, чем... ну, сама знаешь... другие!

— Какие другие?

— Плотские грехи, Мэрион! Их любой старый пень в сутане может снять. У тебя ведь дядя в Риме?

— Дядя Эмброуз, папин брат.

— Иезуит, да? Иезуиты в десять раз умнее остальных священников. Мой папа говорит, наши тут "недалекие", "большей частью деревенщины в собачьих ошейниках"... Слушай, Мэрион, а этот твой дядя, он хоть раз видел Папу в его белой сутане?

— Он его каждый день видит, когда Папа гуляет по саду.

— Да иди ты, Мэрион! Не свисти.

— Каждый день, Мартина. Он мне сам говорил.

— А что он там делает?

— Работает на радио.

— Ватиканское радио... целый день божественные гимны и всякое такое?

— Нет. Он в отделе новостей.

— Опять заливаешь. Больно круто — Рим, папский сад...

Это было вчера — обычный день, как всегда. Ночью Мэрион не могла толком заснуть, боясь нового утра, последнего утра с Лю, плюшевым мишкой, которого ей подарили на третий день рождения. Ему самому скоро будет шесть лет. Тогда, вручая подарок, мама сказала: "Это твой плюшевый мишка, твой любимый малыш", и она стала звать его "Любимый". День или два мама слушала это с улыбкой, а потом поправила: "Милая, по-моему, 'Любимый' неподходящее имя для плюшевого медведя. Давай назовем его просто Лю... хорошо, правда?"

Так медведь стал Лю, и все эти годы он был для Мэрион самым лучшим другом. Ему можно рассказывать все, и он слушает. Мишка по натуре тугодум, но если его не торопить, все сообразит и даже может дать хороший совет, но главное, он добрый и терпеливый, и его можно без конца целовать, целовать и не стесняться... он сам всегда немного стесняется и всегда говорит правду — не потому что святой, а потому что, как и Мэрион, просто не умеет врать. Лю вроде мохнатого бурого ангела, который всегда на твоей стороне, которому можно доверить самое важное, и он ни словом не обмолвится ни одной живой душе. Он тоже ненавидит Игги. Желтые стеклянные глаза мишки с черными зрачками мама вытащила. Сказала, крючочки сзади могут быть опасны. Вместо прежних она связала бледно-голубые шерстяные глаза, придающие мишке подслеповатый вид. Пинков и ударов он очень боится, и если хотите обидеть, можете обозвать его трусом, — но Мэрион знает: Лю очень храбрый, хоть и застенчивый. Как и она сама.

Как-то вечером на прошлой неделе, читая житие Цветочка[1], мама вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Я тут, милая, думаю о Лю, твоем старом дружке, — похоже, пришло время расстаться с ним.

Расстаться!!! Сначала Мэрион ни говорить, ни думать не могла, так неожиданна и ужасна была новость.

— И я больше никогда его не увижу!

— Ты преувеличиваешь, милая... я уже устала повторять тебе насчет слова "никогда". Если он отправится к какой-нибудь достойной девочке или мальчику, вполне вероятно, ты будешь видеть его время от времени... если захочешь.

Тогда, задохнувшись от гнева и горечи, Мэрион спросила:

— Почему мне надо с ним расставаться?

— Потому что тебе уже почти девять, ты рослая девочка для своего возраста... большая девочка, а сажаешь к себе за стол плюшевого медведя, шепчешься с ним, когда делаешь уроки... это еще ничего, оценки у тебя хорошие... но носить его в портфеле, разговаривать с ним в школьном туалете...

— Я не...

— Не лги мне. Тебя слышали... это слишком... это просто нездорово.

Мартина Фланаган, мелькнуло в голове. Мамина любимица. Доносчица.

1. Цветочек — ласковое прозвание Терезы Мартен, католической святой, которая обозначала свое жизненное кредо как "путь маленького цветка": оно состоит в том, чтобы изменять мир маленькими добрыми делами.

— Почему нездорово?

— Неестественно, вот почему.

— Что в этом неестественного?

— Не умничай, Мэрион. Не надо со мной спорить. Это нездорово и неестественно, поверь мне.

Мэри Кэнтуэлл не слышала, как ее дочь бормочет:

— Если бы это был мишка Игги, ты бы разрешила его оставить.

— Я ничего не слышала, но не надо звать брата Игги. Ты же знаешь, мне это не нравится.

Мэрион промолчала. Как-то давно мама сказала ей: "Конечно, Игги лучше чем Наази, похожее на 'наци'. Но и только. Твоего брата зовут Игнатий Лойола, в честь основателя ордена иезуитов".

Я знаю, как его зовут, подумала тогда Мэрион. Я слишком много о нем знаю, мама. Вслух она сказала:

— По-моему, это ужасное имя.

Чувствуя, как поднимается раздражение, Мэри Кэнтуэлл закрыла книгу и пристально посмотрела на дочь.

— Мэрион, ты меня огорчаешь. Я не думала, что ты такая жадная.

— Я не отдам тебе Лю.

— Не отдашь? Тогда я его конфискую.

Повисло молчание. Мэрион думала, что расплачется, но удержалась и тихо сказала:

— Если Игнатий умрет, я ведь никогда его больше не увижу?

Мэри Кэнтуэлл была потрясена.

— Какой странный вопрос. Тем не менее... здесь можно ответить и да и нет, поскольку земная жизнь лишь краткий миг по сравнению с вечностью, и когда мы попадем на небо, если будет угодно Господу, мы увидим и папу, и бабушку с дедушкой, и Игнатия, когда, прости Господи, Бог решит призвать его к Себе... но...

Сейчас я скажу ей, подумала Мэрион, но горло вдруг так сжалось, что едва пропускало воздух, говорить было невозможно, и она только сдавленно прошептала:

— Мне все равно, жив он или нет...

Здоровый глаз матери начал нервно пульсировать.

— Мэрион, как ты можешь так говорить?

— Могу... Хоть бы он попал в ад.

Казалось, Мэри Кэнтуэлл сейчас ударит дочь.

— Это неслыханно... чтобы сестра так говорила о единственном брате... Почему ты желаешь ему такой страшной доли?

— Потому.

— Почему потому?

— Потому.

— Ты просто завидуешь, потому что он единственный мальчик, который за всю историю своего корпуса Мангрета получил золотую медаль... и нечего так глупо и зло ухмыляться! Мне стыдно, что моя дочь оказалась такой завистливой, такой жадной и мелочной. Мэрион, что с тобой происходит? Ты стала злая, скрытная... и Брайди так говорит, и сестра Доминика.

Мэрион молча отвернулась. Напряженная тишина висела до тех пор, пока мать не заговорила снова... медленно, тщательно подбирая слова:

— Милая, я ведь не нарочно это делаю. Я так поступаю для твоего же блага, потому что люблю тебя, а твоя возня с Лю становится...

— Какая возня?

— Твои разговоры с ним в школьном туалете... это слишком... это...

— А Санта-Клаус — тоже нездорово и неестественно?

Молчание.

— А Бог? Он ведь тоже чуть-чуть Санта-Клаус?

— Все, Мэрион, марш в кровать. Ты слишком далеко зашла!

В спальне Мэрион легла, подтянув колени, посадила Лю к себе на живот, долго смотрела на него и сказала, что ему, наверное, придется навсегда уйти, но не надо бояться и унывать — скорее всего, с ним будут хорошо обращаться. Почти наверняка, добавила она. Но Лю очень тихо спросил, нельзя ли его где-нибудь спрятать. Вокруг полно укромных мест. Большой чердак, три погреба, пещерка с другой стороны грота, которая называлась "Небо", — их тайный уголок, куда они с Лю забирались играть и секретничать. Можно спрятать меня под полом теннисной площадки, сказал мишка, или в ивовом шалаше на реке... даже в ветвях одной из лип, что растут рядом с клеверным полем — у них такие густые кроны, что в ветвях и зимой ничего не видно.

У Мэрион разрывалось сердце.

— Лю, меня все равно заметят, когда я буду приходить к тебе, и начнется ужасный скандал. Можно бросить тебя в реку, но я не смогу смотреть, как ты тонешь. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе... но лучше утопить тебя, чем знать, что ты в руках у какой-нибудь злой девчонки или мальчишки.

Лю сказал:

— Лучше утонуть, лучше быть навсегда заброшенным и забытым, чем оказаться в руках у злого человека, — это точно.

— Ты прав. Не бойся, Лю. Я с тобой.

Возвращаясь утром после еженедельной часовой вигилии[1] и ранней мессы в монастыре Марии Исцелительницы, Мэри Кэнтуэлл вела машину с величайшей осторожностью. Сырая дорога была небезопасна, трава на обочине замерзла — что нечасто случается здесь, за восемь миль от моря. И по радио обещали резкое похолодание, снег.

Для осторожности у Мэри Кэнтуэлл имелись веские причины.

Почти девять лет назад, второго февраля, дорога у Дандолка круто изменила ее жизнь. Мэри была на девятом месяце беременности, Игнатию исполнилось шесть, и они с мужем, Филиппом Кэнтуэллом, уезжали с ежегодного ужина ветеринарного общества раньше других. Муж гнал машину. За ужином Джек Мориарти, порядком набравшийся, спросил, как расшифровывается ФК, сокращенное название должности Филиппа. "Фармацевт-контролер? А я думал, 'фетеринар кабинетный'"! Несмотря на хохот, Мэри заметила, что шпилька попала в больное место. Она видела, как Филипп заморгал, как он потом пил. Однажды, работая неподалеку от Сэлмон-хаус, в местах с большой и хорошо налаженной ветеринарной практикой, Филипп за один день сделал прививки пятидесяти семи коровам на нескольких фермах, разбросанных по округе миль на тридцать. Вакцина была из одной упаковки. На следующий день вся привитая

1. Молитвенное бдение.

скотина пала — стопроцентный летальный исход. Лабораторный анализ показал, что вирус эмкара был живой. Швейцарская фармацевтическая фирма обвинила Кэнтуэлла в несоблюдении условий хранения, и хотя Ветеринарная ассоциация поддержала его, фермеры получили компенсацию только три года спустя. "Конечно, ужасная ошибка", качали они головами. Предпочитали говорить "ошибка" вместо "несчастный случай", намекая на некомпетентность молодого ветеринара и, хуже того, боясь нанимать невезучего человека. Филипп вынужден был поступить на службу в Департамент, где вроде бы вполне успешно работал "кабинетным ветеринаром", однако с тех пор считал себя неудачником. Особенно растравляли его рану былые успехи — в колледже Филипп всегда был первым или вторым, вплоть до выпускных экзаменов. Мориарти пьянствовал, увивался за каждой юбкой, оставался на пересдачи, списывал, еле-еле переползая с курса на курс, но сейчас у него была одна из самых успешных ветеринарных практик во всей стране, и на севере и на юге.

Мэри казалось, что муж едет хоть и аккуратно, но все-таки слишком быстро. Она хотела попросить его снизить скорость, и вдруг — осел, он брел прямо посреди дороги, опустив голову, ослепленный дальним светом. Филипп резко дернул руль, машина пронеслась мимо осла и завертелась. Вращение, толчки, удар; врезаясь в лобовое стекло, Мэри поняла, что лицо будет страшно изуродовано, и подумала: "Все, мой малыш умрет". Спустя восемь дней она очнулась в больнице — вдова, слепая на один глаз, восемьдесят четыре шва на лице, а в инкубаторе новорожденная девочка.

Многие коллеги Филиппа, до которых весть о похоронах дошла слишком поздно, успели только на поминки спустя месяц после его смерти. Приехал и Мориарти. Когда он протянул ей руку на церковном дворе, она сделала вид, что не замечает его. Нализавшись еще до начала поминального обеда, он разглагольствовал в баре:

— Везде, куда ни плюнь, эти дурацкие гроты, прямо эпидемия! И все из-за галлюцинаций какой-то экзальтированной девицы! Ну, был я в Лурде... костылей в этой пещере тысячи, но ведь ни одной деревянной ноги! Очередное римское надувательство, спекуляция именем Божьим. Папы, святые и мафия — все одним миром мазаны!

Большинство ветеринаров и их жен приняли это за шутку. Мэри спросила тихо, но твердо:

— Джек, а что делать безнадежно больным, отчаявшимся, калекам, слепым, инвалидам в креслах? Что ты можешь им сказать?

— Я скажу: сидите дома и пейте. Или еще лучше: выползайте на солнышко и пейте. И то больше толку.

На следствии она не стала говорить, что Филипп потерял управление из-за осла. Это слишком уж нелепая, почти смехотворная причина смерти. Однако время шло, Мэри начинала думать о случившемся, и общие фразы, которые обычно произносятся в таких случаях, тем не менее были похожи на правду. Есть "Божественное провидение, предопределяющее наш конец". У Бога своя собственная программа, Божественный План, где свое место занимает и ранняя смерть Филиппа со всеми ее обстоятельствами, и потерянный глаз, и рождение Мэрион. Все это нити огромного ковра со сложнейшим узором, ковра, сотканного Христом. Со временем мы поймем их значение, правду и красоту Его замысла. Умолчав про осла на следствии, Мэри в каком-то

смысле отреклась от Христа, как апостол Петр. А ведь осел привез в Вифлеем Деву Марию, на осле Христос въехал со славою в Иерусалим. У Честертона об осле есть чудесные строки, от которых у нее всякий раз мурашки бегут по спине: "Мой лучший миг отнять вы не смогли — я помню стоголосый крик и ветви пальм в пыли"[1].

Мэри Кэнтуэлл покупала книги и журналы со статьями об утратах, посещала проповеди, лекции о потерях и о смирении. Порой снился сон — те несколько секунд перед вращением, кувырками, ударом, и каждый раз осел, бредущий посреди дороги, осел с Христом на спине или с беременной Девой, всегда в ярком свете фар... иногда Девой была она сама, а Христом — бедный Филипп с мертвыми белыми глазами.

После возвращения с вигилий она взяла себе за правило ложиться спать, выпив только стакан воды, потом вставать в десять и завтракать. По средам Мэрион уходила в школу, не повидавшись с ней, и Мэри Кэнтуэлл сочла это утро самым подходящим для изъятия дурацкого медведя. Меньше будет слез и обид. "Конфискую" — слишком сильно сказано... но раз сказала, надо сделать. Ее спокойная, послушная девочка стала упрямой и дерзкой, прямо-таки нахалкой.

Мэри Кэнтуэлл бросила взгляд на залитый электрическим светом грот, который ее мать построила в 1922 году, в честь независимости Ирландии. Окруженный березовой рощицей, он стоит на полпути от дома к реке, и сейчас, зимой, еще прекраснее. Каррарский мрамор белеет на фоне черного известняка, Дева улыбается, глядя сверху вниз, а у ног ее застыла в вечном изумлении коленопреклоненная Бернадетта Субиру[2]. Рядом несколько небольших плит из песчаника — можно посидеть или встать на колени помолиться. В хорошую погоду у грота всегда кто-нибудь есть, и это чудесно: здесь царит атмосфера чистоты и святости.

Однажды — кажется, прошлым маем, — у дома остановилась какая-то пара, ехавшая из Кенсингтона в Коннемару. Сказали, что они родственники... Чьи-то потомки? Мэри Кэнтуэлл половину пропускала мимо ушей... потомки Аткинсонов, построивших Сэлмон-хаус в восемнадцатом веке. Их семья жила здесь до 1883 года.

— Скажите, Томас Лав, который торговал скотом в Ньюри, вам не родня случайно?

— Это мой дед.

— Вот это да, потрясающе! Можно посмотреть на сад, на хозяйство? Кажется, они в отменном порядке.

— Да, пожалуйста, — сказала она. — Деньги появились благодаря свиньям. Мой отец, Лоренс Лав, открыл заводик по производству бекона, неподалеку от города. Он до сих пор принадлежит нашей семье.

— Как интересно.

— И отец выкупил землю, проданную вашими по кусочкам, но право на ловлю лосося приносит бóльший доход, чем земля на обоих берегах.

— И вы, конечно, берете плату?

— Рыбачить здесь дорого, но еще дороже следить за берегом днем и ночью. Браконьерство тут в порядке вещей.

1. Перевод М. Бородицкой.
2. Бернадетта Субиру (1844–1879) — католическая святая, дочь мельника из Лурда (Франция), которой несколько раз являлась Дева Мария. В гроте под Лурдом, где были видения, забил источник, и с тех пор это место международного паломничества.

Да и сами угодья вряд ли теперь назовешь частными владениями. Они открыты для всех круглый год, без всякой входной платы.

— Не станешь же брать деньги с тех, кто пришел помолиться, правда?

— В наши дни — нет, — улыбнулся мужчина. Что он хотел сказать? Может, они из тех, кто презирает все ирландское, презирает католиков?

Мэри Кэнтуэлл проводила пару до грота и заметила, как они обменялись чем-то вроде полуулыбки — никаких ухмылок, ничего оскорбительного, и все же. О гроте не сказали ни слова. Просто стояли с равнодушным видом. А обойдя кругом, воскликнули: "Вот это да! Красота какая!"

В тридцатых годах архитектор Хэрри Гринен, друг семьи, построил за гротом детскую площадку. Продолбил уступами песчаник, сделал пещерку для игры в прятки, отвел каменные желоба для стока воды, а между плитами разбил узкие клумбы с цветами Девы — белой и голубой аубрецией. Еще песочница, бревно-качалка, подвесные качели, а вокруг березы.

— Если не возражаете, мне больше нравится вид сзади, — опять улыбнулся мужчина.

Мэри Кэнтуэлл и рта не успела раскрыть в ответ, как его жена или подруга подхватила:

— Очень оригинально... настоящий детский рай!

Безбожники. Ничего не поняли. Надо было ответить: "Да, я возражаю, мне неприятно то, что вы имеете в виду. Прошу вас, уходите". Но, конечно, такие слова и поступки приходят в голову уже потом, когда тебя охватывает гнев. Это намеренно оскорбительное, почти богохульное "сзади"... куда тоньше, конечно, чем ругань старого Диксона, сторожа, — тот всякий раз ворчал: "Чепуха! Ерунда на постном масле!", когда слышал по радио "Эйреанн" воскресного "Ангела Господня". У него-то нет детей. Диксон будет последним из "пришельцев" в округе. Из протестантов. Что образованные, что простолюдины, все они наплевательски относятся к божественному материнству Девы и к самой девственности. Когда-нибудь они заплатят за свое пренебрежение. Нельзя безнаказанно насмехаться над Божией Матерью.

Мэри Кэнтуэлл открепила черную мантилью из клонсонского кружева, которую иногда надевала к мессе, — она была на ней во время визита к Папе Пию XII, почти что частной аудиенции. У окна стоит фото в серебряной рамке, запечатлевшее этот момент. Коленопреклоненная Мэри Кэнтуэлл целует руку Его Святейшества. Все устроил Эмброуз, брат Филиппа. Величайший день ее жизни, все равно что увидеть Бога, все равно что поцеловать руку Самого Христа... каждый раз, как она смотрит на фотографию, в душе возникает отголосок благоговейного чувства, которое ее тогда переполняло.

Надев ночную рубашку, халат и тапочки, она стала промывать соляным раствором стеклянный глаз, и в сознание, словно грубый окрик посреди тихой летней ночи, ворвалась мысль о том, как она ходила к эннискилленскому окулисту прошлой осенью.

В приемной Мэри взяла со столика лондонскую "Санди" с большой, чуть ли не на всю полосу, фотографией Пия XII и заголовком: МОЛЧАЛИВЫЙ ПРЕСТУПНИК? Внизу буквами помельче: "Не в делах его зло,

злу он потворствовал бездействием". Мэри читала и не читала, лихорадочно перепрыгивая со строчки на строчку, глотая слова, отказываясь понимать их, то и дело возвращаясь убедиться, не ошиблась ли. Статья настолько ошеломляла, что Мэри, не веря глазам, отложила ее, но потом схватила снова. Слова прыгали по странице:

"Если бы в мире была хоть какая-то справедливость, сейчас говорили бы о признании его преступником, а не святым..."

"...его следует выкопать, вздернуть и сжечь как нацистского пособника..."

"Его знание безгранично, его молчание нерушимо, его преступление непростительно..."

"...этот бессердечный римский аристократ все видел и спокойно молился у себя в саду, далеко не Гефсиманском..."

Волнение не давало Мэри Кэнтуэлл читать по порядку, она перескочила на последнюю строку:

"...пастыри предпочитают закрыть глаза на жестокую правду и отмыть свое грязное, запятнанное кровью белье в молчании".

После окулиста она поехала прямо в Граан, к Феликсу. Тот прочел статью и нахмурился.

— Это... слишком предвзятый взгляд.

— Но это правда?

— Вздор, обычная газетная брехня. Лишь бы продать.

— На брехню вроде не похоже...

— Что может какой-то журналист знать о человеке вроде Пия? Забудь, не обращай внимания.

То ли потому что Феликс ее младший брат, то ли потому что она слишком много о нем знала, но Мэри редко удовлетворялась его ответами.

Спустя два месяца, когда она забирала Игнатия из Мангрета на рождественские каникулы, Эмброуз повел их в библиотеку. Они с Филиппом очень похожи, только деверь на шесть дюймов выше. "Это норманнская кровь, — говорил он. — Мы, килкеннские Кэнтуэллы, пришли сюда с Ричардом II". Эмброуз Кэнтуэлл возглавлял англоязычный отдел ватиканского радио. Правильная речь без акцента, узкое бледное лицо, очки в золотой оправе, мелькающая при улыбке золотая коронка. У него был короткий перерыв, его ждала работа, объемистая папка с материалами о том, как хорваты-католики во время войны предлагали православным сербам выбор между переходом в католичество и братской могилой — сотням, тысячам людей! Чудовищное обвинение, слишком нелепое, чтобы принимать его всерьез.

Когда она упомянула Пия XII и Холокост, Эмброуз вздохнул:

— Каждый день во всех уголках мира на Церковь льются потоки брани. Если это просто грязь или ложь, мы ее игнорируем — как Христос, мы остаемся безгласны, ведь правда сама выйдет наружу в назначенный Господом час... да, Холокост был ужасной трагедией, но порочить наместника Христа на земле — все равно что порочить Самого Христа... а Бог, как известно, поругаем не бывает.

Потом он заговорил о "новом", об Иоанне XXIII, который, по мнению Эмброуза, "не наделен выдающимся интеллектом".

— ...и слишком увлекается едой и напитками. Последний Папа прекрасно говорил на двенадцати языках... такая учтивость, такие тонкие манеры! Новый говорит только по-итальянски, но он, конечно, пре-

красный человек — в конце концов святой Петр и тот владел только одним языком. Мы должны помнить, что исход выборов определяет Сам Бог, а Он ошибок не делает. Даже когда нам так кажется, в этом есть высший смысл.

Всегда сдержанный, доброжелательный, умеющий убеждать — настоящий ученый, говорящий на шести языках.

Несколько хороших вопросов задал и Игнатий; между ним и Эмброузом сразу была заметна симпатия, уважение друг к другу — дядя и племянник, оба взрослые люди, воспитанные, образованные, хорошие спортсмены. По дороге домой Мэри не удивилась, когда сын завел речь о вступлении в орден... он мог бы стать хорошим иезуитом... в нем есть утонченность и сдержанность, почти скрытность. "Игнатий Кэнтуэлл, член ордена иезуитов" — неплохо звучит, подумала Мэри. Станет ли сын таким же, как Эмброуз, которого все его знакомые считают одним из умнейших людей на свете? Судя по табелю, у сына к языкам большие способности. Как-то раз она сказала об этом Феликсу. Тот никак не отозвался о возможном вступлении племянника в орден, ответил только: "Можно знать сотню языков и быть скучнейшим человеком, говоря на каждом сплошные банальности. Так сказал Шоу, и он совершенно прав".

Кровная зависть? Вот и Мэрион страшно завидует Игнатию. Неужели я столько же говорю о нем, сколько думаю? Или девочки более чувствительны, более ревнивы, чем мальчики? Озлобленная, вот правильное слово... я сказала, что она злая и завистливая, но, Господи Боже, желать ему смерти, ада и даже не вздрогнуть... даже не вспомнить, не взять свои слова назад за целую неделю... а Феликс вчера вечером отмахнулся, сказал что-то насчет магнитных колебаний, лунных фаз, возрастных изменений... полная чепуха... и тут же стал спрашивать о рыбной ловле.

— Феликс, — сказала она, — по-моему, это серьезно.

— В детстве я тоже частенько хотел убить тебя, Мэри. Ты готова была душу из меня вытрясти, лишь бы все делалось по-твоему.

— Правда?

— Конечно правда, сама знаешь.

— Но это другое.

— Почему?

— Ты же не всерьез хотел меня убить.

— Может, и всерьез.

— Слышал бы ты ее, Феликс... видел бы ты ее лицо!

— Ее лицо — одно из самых милых детских лиц, которые я встречал за всю жизнь... повезет же тому, кто сумеет заполучить ее в жены. Это возрастное, Мэри. Она растет.

Может, он намекал на то, о чем говорила Брайди в то утро? "Наверно, у нее месяцы начинаются, мэм?" — во весь голос, а в коридоре чистит обувь Дерми Долан. Золотое сердце у девушки, но сама неотесанная, ни капли такта, никакого понятия об этикете. Какие "месяцы" в девять лет? Полная чепуха. Мэри не стала ей отвечать. Надо достать брошюру сестры Иты Магдалены... Ита умеет говорить о таких вещах самым деликатным образом.

Мэри выключила в гроте свет и направилась в комнату дочери. Пусть Дерми Долан отнесет медведя в чистку, а потом она сама его заберет, пока Мэрион будет в школе. Беда в том, что дочь отказывается взрослеть — что ж, придется ее заставить. Конечно, она будет дуться неделю-другую, но это

пройдет. Такие переживания, как утрата и горе, Мэри Кэнтуэлл хорошо знакомы. Ничего, что доски скрипят, дочь всегда крепко спит... иногда не добудишься. Лампа на столике осветила крепко спящую Мэрион. Рот слегка приоткрыт. Необыкновенной красоты девочка, все так говорят, но и спящие красавицы далеки от идеала, когда спят нахмурившиеся, скрюченные, с открытым ртом, с каким-то комом на животе. Откинув одеяло, Мэри Кэнтуэлл слегка смутилась. Вот он, негодник, зажат у дочери между ног — конечно, случайно, во сне... но до чего неприлично.

Когда она потянула медведя к себе, Мэрион только сильнее сжала ноги и руками притиснула медведя к животу. Потом открыла глаза и посмотрела на мать с выражением какого-то беспомощного ужаса.

— Тихо, милая, тихо, все хорошо. Пусти.

Еще в полусне Мэрион крепко вцепилась в игрушку.

— Отпусти, Мэрион! Все нормально. Не спорь со мной, будь хорошей девочкой. Отпусти!

Вдруг, проснувшись и застыдившись, она разжала руки и села, натягивая на колени ночную рубашку, с сосущей пустотой в груди начиная понимать, что происходит. Мама "конфисковывала" Лю, оставляла его сиротой, отправляла к какой-нибудь "достойной" девочке или мальчику. Мэрион заканючила, как трехлетний малыш:

— Не надо, мамочка! Ну пожалуйста!

— Все, милая, разговор окончен. Не спорь со мной.

— Но я люблю его! Это мой друг, а ты хочешь отдать его кому-то... вдруг над ним будут издеваться!

— Посмотри на себя. Ревешь, как младенец.

Хотя Мэри Кэнтуэлл была уверена, что поступает правильно, она вышла из комнаты дочери с тяжелым сердцем, почти в слезах, и пошла к себе, чтобы хотя бы попытаться заснуть. Медведя она засунула в ящик комода.

На кухне горел верхний свет. За окном стояли тяжелые тучи, набухшие то ли дождем, то ли мокрым снегом. Когда пришла Мэрион, Брайди разжигала плиту.

— У, какая зареванная мордашка у моей лапушки! Что стряслось?

Заметив, что рыдания не дают Мэрион говорить, горничная закрыла заслонку и подошла к девочке. Брайди была плотная, задастая женщина лет тридцати с круглым веснушчатым лицом и легким ферманаским акцентом.

— Лапушка, что такое?

Мэрион закрыла лицо руками и еще сильнее расплакалась. Брайди обняла ее.

— Тише, тише, тише... ну будет, будет... ничего, все образуется. — Рыдания только усиливались. — Хозяйку разбудишь, а она полночи молилась за нас, грешников.

— Брайди, она Лю отняла...

— Знаю, лапушка, знаю.

— Кон-фис-кова-аала...

— Мэрион, ты ж сама виновата.

— Почему?

— Ты ведь ей грубила?

Мэрион молчала.

— Я только чуть-чуть.

— Что ты сказала-то?

— Не помню.

— Глупенькая, разве можно спорить с такими, как мама. Таких не переспоришь... может, она и правда лучше знает.

— Брайди, кому он нужен? Она нарочно. Она его ненавидит, понимаешь?

— С чего ты взяла?

— Она любит только Бога, Царицу Небесную и еще Игги.

— Перестань ерунду молоть.

— А я люблю его, больше всего на свете! Он мой лучший друг!

— Так вот, значит, кто твой лучший друг!

— Не надо, Брайди. Ты же знаешь, ты тоже. Господи, что мне делать? Брайди, я умру, точно умру.

— Что ж, это всегда успеется, а пока, может, перекинешься словечком с дядей Феликсом...

— Да? Ты думаешь?

— Попытка не пытка.

Брайди вдруг прижала руки к груди и прошептала:

— Господи Иисусе!

Снаружи всю оконную нишу заслонила высокая фигура в шляпе — большие собачьи глаза, щербатая улыбка с желтыми зубами, недельная щетина на запавших щеках. Мэрион помахала пришельцу и засмеялась.

— Это Уиши Душавен!

— Ну слава богу, хоть улыбнулась.

— Открой ему, Брайди, он, наверно, голодный!

— Ты в своем уме? Он нам полон дом блох напустит.

— Ну хоть в кладовку.

Подхватив тарелку с кашей и чай, Мэрион пошла за Брайди в кладовку, к задней двери, где та уже встречала Уиши, не то ворча, не то ласково его приветствуя.

— Уиши Душавен, у меня из-за тебя душа ушла в пятки — стоишь там, покачиваешься, как привидение. Что ж ты не позвонил или не постучал, как добрый христианин?

В ответ только через двадцать-тридцать секунд раздалось что-то односложное и виноватое, сопровождаемое улыбкой и кивками.

— Садись, Уиши, ешь, сейчас мы тебе еще лепешек принесем. Где тебя носило все лето и ползимы?

— То тут, то там, Брайди.

— А больше всего где?

— На западе.

— Что, все с лошадьми, да?

— Ага.

— С ярмарки на ярмарку... десять лошадей за тобой рысью... и так по сорок миль в день за гроши... за такие деньги даже на ночлег не устроишься! Тамошние торговцы сплошь мерзавцы! До смерти ты добегаешься, Уиши, — целый день на улице при любой погоде!

— Все мы до нее добегаемся, Брайди.

— Это уж точно.

Мэрион смотрела, как он ест, завороженная угловатыми движениями бродяги, его жуткой, как у пугала, худобой, его непричастностью к обычной жизни, его нездешней кротостью.

Однажды вечером, возвращаясь домой через Кейсмент-парк, она наткнулась на компанию мальчишек, которые бежали за высоким, смущенно улыбающимся оборванцем, и распевали:

Уиши Душавен
Пернул как из пушки –
Листья облетели
С берез на опушке!

Разозленные его улыбкой, они стали швыряться деревяшками, консервными банками, палками, репой, камнями и бутылками, пока что-то острое не попало ему в шею. Мэрион видела, как у него мотнулась голова, как показалась кровь. Он посмотрел на окровавленную ладонь, потом на мальчишек – беззлобно, с обиженным изумлением. Насмешки смолкли. В тишине Мэрион услышала собственный крик: "Оплевья бабчатые! Трусы, трусы поганые!"

"Оплевьями бабчатыми" отец Брайди называл вонючий гной, сочащийся из разбитого коровьего копыта. Мэрион специально запомнила. Она взяла Уиши за рукав и привела домой, где Мэри Кэнтуэлл промыла рану, вызвала врача наложить швы и принялась обихаживать дурачка – подстригла ему ногти на руках и ногах, вымыла почерневшие ступни в тазике с горячей водой и дезинфицирующим мылом, дала хорошие ботинки Филиппа. "Это мог быть Христос", – снова и снова повторяла она, а про себя думала: "В определенном смысле он и есть Христос".

Мэрион не хотелось садиться на велосипед и ехать в школу без Лю. Она смотрела на Уиши – тот ел медленно, понемногу, почти рассеянно. Неужели и у него все такое же, как у Игги? А может быть, он вроде Лю, у которого совсем нет шишака?

– Уиши, о чем ты думаешь целый день?

– О разном.

– О чем разном?

Минуту или две он молчал, и ей показалось, что он не хочет говорить. Или не может. Но Уиши ответил:

– Если б я был птицей, Мэрион, я бы улетел.

– Куда?

– На небо.

– Я тоже, Уиши.

Брайди закричала из кухни:

– Ты опоздаешь, Мэрион! Давай быстрее.

Хорошо, что сегодня духовный день. К ним каждый год приезжают разные проповедники – францисканцы из Россноулы, пассионисты из Эннискиллена, Белые отцы из Кутхилла, облаты и доминиканцы из Дублина, но ни разу не было никого из ордена дяди Эмброуза. Иезуиты дают духовные наставления только монахиням монастыря Марии Исцелительницы или Св. Людовика. Мама считает, что священникам не подобает ночевать в женском монастыре, и, конечно, "нет ни одной сколько-нибудь приличной гостиницы с благочестивым персоналом, где могли бы останавливаться такие люди". Поэтому они останавливались в Сэлмон-хаусе, где их все устраивало – теннис, крокет, бридж, музыкальные вечера, и каждый давал дому свое благословение. "Самый

благословенный дом в Ирландии, — говорила Мэри Кэнтуэлл. — И духа Аткинсонов не осталось, спасибо Господу и иезуитам".

Сегодня Мэрион впервые будет слушать дядю Феликса в его родных местах. Мальчишки вчера рассказывали, что он большой шутник, но и пугать здоров. Утренняя беседа с девочками в основном состояла из поучительных историй, шуток, вопросов и ответов, а потом служили мессу. Послеобеденное занятие было совсем другое. Мэрион с трудом узнала дядю Феликса в человеке, смотрящем на улицу сквозь большой разноцветный витраж со святым Патриком, изгоняющим змей из Ирландии. Когда наступила полная тишина, он начал:

— Святой Матфей говорит нам: "Лучше было бы тому человеку — мужчине, женщине, мальчику или девочке, — чтобы ему на шею повесили мельничный жернов и сбросили с обрыва в море". — Дядя Феликс сделал паузу и заговорил тише: — Вниз, вниз, вниз, в морские глубины, столь же необъятные, как высота неба. Вниз, вниз, вниз, туда, где безглазые чудовища рыщут в вечной тьме, пустоте и одиночестве. Кто же эти злосчастные, брошенные на погибель? И за что им такая кара? Я расскажу вам, девочки, что говорит об этом святой Матфей. "Это те, — говорит он нам, — кто соблазнил малых сих". Что же значит "соблазнил"? Сейчас расскажу.

Дядя Феликс рассказывал, приводил примеры, говорил, что нужно делать, как уберечься от искушений и ловушек дьявола.

— Девочки, вооружитесь оружием Иисуса Христа. Ради Него и себя самих днем и ночью берегите от змеиных соблазнов свою душу, ум и язык.

Одна из близняшек Каллиган прошептала другой:

— ...свою задницу и дырку!

Обе захихикали, их соседки тоже. Феликс умолк и посмотрел прямо на этот ряд. Все перестали смеяться, кроме Каллиганов, которые уже не могли остановиться. Мэрион видела — плечи у близняшек тряслись, как желе. Феликс ждал, поглядывая то на святого Патрика, то на роскошный алтарный ковер, специально выписанный из Донегала его матерью, Элен, и подаренный монастырю в честь Евхаристического конгресса 1932 года, то на золотую чашу и белые облатки поверх массивной зеленой подставки с затейливым кельтским узором.

Наконец он медленно поднял руку в сторону Каллиганов и тихо, едва слышно сказал:

— Вон там, в шестом ряду, сидят две девочки... наверно, близнецы... и эти две девочки... — Феликс сделал паузу и воскликнул, — болтают и смеются перед лицом Самого Всемогущего Бога!

При всей своей наглости близняшки порядком перепугались. Джози сильно побледнела, а Брид покраснела. На улице, придя в себя, она сказала Мэрион:

— Иди целуйся со своим дядюшкой! Горлопан, пердун старый!

Каллиганы наотрез отказались ему исповедоваться, не помогли даже внушения и угрозы сестры Мэри Луизы. Другие девочки послушно выстроились в очередь.

— Мэрион, если ты не хочешь исповедоваться отцу Феликсу, — подошла к ней монахиня, — это вполне понятно, можешь не ходить.

— Нет, я не против.

Зачем ей отказываться. Дядя Феликс всегда нравился Мэрион... даже больше... она любила дядю.

Однажды вечером, читая, Мэрион случайно услышала, как мама говорит Игги:

– За тридцать лет ни одного лосося не поймал ни на нашем участке, ни на каком другом.

– Да ладно!

– Серьезно. В гольф он худо-бедно играет, в теннис и крокет еще хуже, но как рыбак просто безнадежен. – Мама заговорила шепотом: – Пару лет назад настоятель Граана звонил поблагодарить меня за двух прекрасных лососей, которых Феликс поймал на нашем участке и принес к общему столу. "Все в восторге, Мэри, все передают вам большое спасибо", – сказал.

– То есть...

– Купил обоих в городе, в рыбной лавке Макэлви!

– Господи! Ты сказала настоятелю?

– Конечно, нет.

– Надо было сказать, мам. Какой же это спорт[1] – сплошное жульничество! Феликс просто мошенник.

– Да, Игнатий, это жульничество, но вполне безобидное.

– Не знаю, не знаю.

Мэрион не расслышала, что они говорили дальше. Запомнился только смех и собственная мысль: "Ненавижу их обоих, ненавижу". Прошлым летом она рыбачила с дядей Феликсом. Он долго возился, нервничал, растерял половину наживки в прибрежных кустах и траве, а рыбаки на противоположном берегу в тот же день добыли хороший улов. Феликса это расстроило. Он говорил, что свет падает неправильно, что они ловят не с того берега, что он давно не рыбачил и разучился забрасывать леску: "Вечно летит черт знает куда. Заколдованная, не иначе!" В его монастырской келье Мэрион видела целую полку книг о рыбной ловле с множеством закладок. Она очень жалела о неудачах дяди Феликса и еще больше любила его за них, гораздо больше, чем Игги и Эмброуза, которые всегда что-нибудь ловили и потом нахваливали друг друга – и рыбаки они замечательные, и спортсмены, и вообще.

– Благословите меня, отец, ибо я согрешила, – сказала она в исповедальне.

Феликс посмотрел на нее сквозь решетку.

– Мэрион, милая, как твои дела?

Только у него слово "милая" выходило так естественно.

– Хорошо, дядя.

– Пришла напугать меня своими ужасными прегрешениями?

Секунд десять Мэрион думала, что ответить.

– Ну, здесь шуткам не место. Начнем. Давно ты в последний раз исповедовалась?

Мэрион ответила и рассказала о совершенных грехах: не слушалась, ленилась и лгала, что уже сделала уроки, хотя на самом деле даже и не начинала.

– Что-то еще?

1. Рыбная ловля в Ирландии – вид спорта.

Она глотнула воздух.

— Иногда мне в голову приходят очень плохие слова.

— Да?

— И мне хочется громко кричать их... на мессе и когда мы читаем розарий.

— Какие слова, Мэрион?

Она знала "долбаный", "говнюк", "пидер", "курва", "шваль", "хрен", "срань" и "сука". "Шишак" — просто особое слово для этой мальчишечьей штуки, а "ятка" — для девчоночьей. Это не плохие слова, не такие плохие.

— Сука... — услышала она собственный голос.

Феликс повторил — так, будто говорил слово "щука".

— Ты знаешь, что это значит?

— Да, дядя.

— И почему тебе хочется кричать такие слова?

— Потому что я ненавижу Игги.

— Правда?

— Да, дядя.

— Почему, Мэрион?

— Потому что...

— "Ненавижу" — гораздо более страшное слово, чем "сука" или любое другое из тех, что приходят тебе в голову. Гораздо более страшное, Мэрион. Это ужасное слово и ужасное чувство. Не может быть, что ты ненавидишь Игнатия. Я не верю.

— Дядя, я ненавижу его.

— Почему?

Мэрион начала рассказывать — и рассказала все. Когда она закончила, ей показалось, что дядя уснул, так долго он молчал.

— Вы спите, дядя Феликс?

— Ничуть, Мэрион, ничуть... Скажи, он вошел в тебя?

Не очень уверенная в значении этого слова, она молчала.

— Проник своим органом в твое тело?

— Да, дядя.

Сквозь решетку Мэрион видела, как дядя Феликс сжал лоб обеими руками. Голос у него стал каким-то странным.

— И ты не закричала, не позвала на помощь?

— Мамы, как обычно, не было дома... а Игги зажимал мне рот.

— Господи... — прошептал Феликс. — Значит, никто не знает...

— Да.

— И не догадывается?

— Ну... один раз у Брайди был выходной, а мама уезжала на праздник Винсента де Поля[1]. Она что-то забыла и вернулась обратно. Машина подъехала очень тихо. Игги был у меня в постели, и когда он услышал, как хлопнула дверь, сел с краю и сказал: "Откроешь рот, убью. Ты не девственница!" Когда мама пришла, я подумала: "Слава богу. Теперь она узнает. Она все поймет. Она не даст ему меня мучить". Мама говорит Игги: "Игнатий, что ты делаешь в спальне Мэрион?", а он смотрит на нее и отвечает: "Разговариваю. А что, по-твоему, я могу здесь делать?" Мама куда-то спешила и сразу ушла. Но думаю, она догадалась.

1. Винсент де Поль (1581—1660) — католический святой, французский монах.

— Мэрион, надо ей рассказать.

— Не могу.

— Надо.

— Дядя, она мне не поверит.

— Обязательно поверит.

— Нет.

— Ведь я тебе верю, милая. Конечно, мама поверит.

— Она не поверит. Я знаю, мне она не поверит. Дядя, вы не можете рассказать ей? Вам она поверит, да.

— Нельзя нарушать тайну исповеди. Расскажи мне еще раз сегодня вечером в Сэлмон-хаусе, и тогда я поговорю с мамой.

Феликс прочел ей разрешительную молитву и назначил епитимью — "прочесть несколько 'Радуйся, Мария' за всех страдалиц нашей семьи, названных в Ее честь".

— Держись, Мэрион, держись, — и он благословил ее.

Поставив в гараж велосипед, Мэрион увидела маму на другом конце двора. Дверь в утиный сарай была открыта, там на табурете сидел Уиши Душавен и рассматривал сверху ее пробор. Мэри Кэнтуэлл стояла на коленях, отмывая ноги бродяги в мыльном тазу и подстригая ему ногти. Из-за отсутствия глаза ей приходилось очень низко склоняться к грязным култышкам. Уиши повернул голову к Мэрион и медленно поднял руку — нечто среднее между приветствием и благословением.

В кухне она все поняла по одному лицу Брайди.

— Лапушка, я не знаю... честно, не знаю.

— Ты знаешь, Брайди.

— Бог свидетель. Я знаю только, что Дерми понес его в чистку.

— Куда?!

— В чистку... и мама потом должна была его забрать. А больше я ничего не знаю. Я у нее не спрашивала.

— Господи, Брайди... в чистку!

— Да, лапушка, да.

— А где он...

— Тебе надо самой спросить.

Из кухни было видно, как мама идет по мощенному камнем двору — с локтя свисает полотенце, в руках медный тазик с мыльницей, щеточкой и ножницами. Словно одноглазый алтарник.

Еще из коридора Мэри Кэнтуэлл прочла на лице дочери неподдельную ненависть. Лучше не устраивать сцену на кухне, при Брайди — горничная такая мягкотелая, всегда готова принять сторону ребенка.

— Поднимайся в гостиную, Мэрион, — сказала Мэри Кэнтуэлл, не глядя на девочку. — Я сейчас приду.

Слушая, как Мэрион топает по лестнице, Брайди сказала хозяйке:

— Она сейчас будто не в себе, мэм, совсем обозлилась, вот как. Ни разу не видела, чтоб ее такое зло брало.

— Я знаю, Брайди... все будет нормально.

— Господи, хоть бы и правда все утряслось, мэм.

Мэри Кэнтуэлл пошла в гостиную, а Брайди тяжело села на стул и потянулась за сигаретами. Чиркнув спичкой, она закрыла дверь, не желая слушать пререкания.

Из окна гостиной Мэрион смотрела на цаплю, плывущую вниз по реке прямо к морю.

— Только грубые люди стоят спиной к собеседнику, когда разговаривают, — послышался голос матери.

— Только злые люди отбирают чужие вещи, которые дороги их хозяевам!

— Ты думаешь, я злая, Мэрион? Повернись, дочка. Отвечай мне.

Мэрион повернулась и стала смотреть на резиновые боты матери. Мэри Кэнтуэлл стояла почти вплотную к ней. "Ненавижу твои старые галоши, и тебя ненавижу", — вертелось у Мэрион в голове.

Но она ничего не сказала.

— Милая, посмотри на меня.

В голосе Мэри Кэнтуэлл появились просительные нотки.

— Мэрион, я тебя люблю — самой сильной любовью, какую мать может дать дочери. Я сделала то, что считала нужным, и я сделала это ради тебя. Ты мне веришь?

— Да.

— Хорошо. Тогда почему бы нам не вернуться к нормальным...

— Я хочу тебе кое-что сказать.

— Слушаю тебя.

— Это очень плохое... это про Игги. Игнатия. Он лез ко мне в ванной, когда я была маленькая... и потом, когда ты уезжала. Он совал мне свой шишак между ног... и...

Мэрион не видела, как мама поднимала руку, не видела пощечины, опрокинувшей ее на паркет, ослепившей слезами и болью, перехватившей дыхание. Капли крови потекли на форменную блузку. До Мэрион не доходил смысл слов — каждое летело изо рта матери, словно новый жгучий удар, пока яростный фальцет не стих до дрожащего: "Как ты смела облить Игнатия такой грязью, если мне и тебе самой ясно, что это чудовищная ложь?"

Потом сквозь туман в глазах она видела только гневно кривящийся рот, ужасный, кошмарный рот. Конечно, это может быть только кошмар, страшный сон, ведь ее ни разу в жизни не били по лицу, и когда звон в ушах начал стихать, Мэрион различила горестное лицо матери, слезы, льющиеся из здорового глаза, — Мэри Кэнтуэлл стояла на коленях, обнимая ее, плача и причитая:

— Дочка, хорошая моя, умница, ты, наверное, нездорова, если такое говоришь... Зависть ужасна, но ведь такая ложь — чудовищный, смертный грех. Ты понимаешь, Мэрион?

Она заставила себя кивнуть.

— Скажи мне, что это ложь, скажи, дорогая, и мы забудем об этом навсегда, на всю жизнь! Ведь ты солгала, милая, конечно, ты солгала? Мэрион, скажи правду — ты сейчас солгала про брата, да? Не бойся, скажи мне правду.

Она почувствовала, что снова кивает.

— Ну конечно, я так и знала. Иначе и быть не могло. Слава Богу и Его Пречистой Матери, что ты правдой очистила свою душу. Правда — это главное, дорогая, все остальное не в счет. Господи, бедная моя доченька. Дай-ка я вытру носик. Посмотри, что у тебя на лице... ударилась... это я тебя так? Прости меня, Мэрион, доченька, прости, красавица моя, если можешь! Ты меня простишь, да?

И опять Мэрион кивала и думала: "Никогда, никогда больше не буду с ней разговаривать, никогда в жизни..."

— Слава Богу, слава Богу, слава Богу, — Мэри Кэнтуэлл больше не плакала, теперь она обнимала и целовала дочь и говорила не переставая. — Может, выпьем какао, милая? Хочешь? По чашечке. Вдвоем, только ты и я, и забудем весь этот ужас. Каждую секунду, каждое слово забудем. Ничего не было, чистый лист, новая жизнь. Ох, какая я глупая, все молоко отдала Уиши Душавену... бедный Уиши так любит молоко. Можно послать Брайди... нет, Брайди надо гладить белье на завтра. Тогда...

Мэри Кэнтуэлл снова низко склонилась к Мэрион. Их лица были совсем рядом, нос к носу.

— Я знаю, что мы сделаем. Мы попросим тебя проехаться до Махоуни. Они как раз начнут вечернюю дойку. Давай-ка надевай пальто... бидончик, фонарик на велосипед не забудь... и мигом обратно. Да, доченька?

Мэрион снова кивнула, надела пальто, вставила медный бидончик в чехол на раме велосипеда. Мэри Кэнтуэлл шла за ней, без конца что-то говорила, гладила ее по голове, обнимала, вытирала ей нос, смеялась и плакала, и на каждый вопрос Мэрион отвечала кивком. Наконец она выехала со двора и направилась к Махоуни из Лонгфилда, на другой конец города, сразу за Кейсмент-парк. Молоко у Джона и Веры Махоуни Кэнтуэллы брали уже больше четверти века. Пастеризованному молоку Мэри Кэнтуэлл не доверяла.

С моря дул холодный ветер, Мэрион крутила педали, не в силах справиться с тем, что случилось. И с тем, что еще может случиться. Одно ясно — матери она больше слова не скажет. Небо было темно-серое, темнее, чем стены монастыря Св. Людовика. Даже подснежники на кладбище казались холодными. Когда она подъехала к Кейсмент-парку, уже зажигались фонари и людей на улицах почти не было.

Джон и Вера Махоуни — брат и сестра чуть за пятьдесят. Для ребятишек, приезжавших за молоком, Вера всегда держала в сарае корзинку с домашними помадками и тянучками. В августе там появлялись и яблоки. Когда Мэрион вошла, оба Махоуни сидели за ручной дойкой. Шортгорнские коровы переминались с ноги на ногу в чистых стойлах, недавно побеленных и оснащенных двумя длинными неоновыми лампами. Фермеры ласково с ней поздоровались.

— Что такое у тебя на щеке, детка? — спросила Вера, наливая молоко из ведра.

Вопрос был неожиданный, и Мэрион не знала, что ответить.

— В школе неприятности? — предположила Вера.

Мэрион кивнула.

— Та здоровенная монахиня, Доминика, да?

Она снова бездумно кивнула.

— Господи Иисусе, — высунулся из-под коровы Джон Махоуни, сжимавший между колен ведро, — если она так вас колотит, ее саму надо хлыстом выпороть, не иначе!

Странно, думала Мэрион, почему все вопросы и ответы кажутся такими... деревянными?

— Знаешь, Джон, что я тебе скажу?

— Что, Вера?

— С девочкой что-то неладно. Видишь, слова толком сказать не может. Давай-ка садись в грузовик и отвези ее домой, хорошо?

— Конечно, неужели ж я не отвезу!

— Оставь велосипед, детка. Джон отвезет тебя домой.

Как во сне Мэрион услышала, что решительно отказывается.

— Нет-нет-нет. Вы безмерно добры, но, правда, не надо. Я сама доберусь. Хочу доехать сама.

— Точно, девонька?

— Да.

Глядя ей вслед, Джон Махоуни сказал:

— Будь проклят этот изверг, кто бы он ни был. Не надо было ее отпускать, Вера, пока в себя не придет.

— Против воли? Разве так можно? Помоги ей Бог, душеньке нашей... видишь, Джон, как нелегко бывает расти-то.

— Так же, как и стареть, Вера.

— Расти труднее, Джон. Еще труднее.

На обратном пути несколько раз налетал снежный шквал, предвестник метели. Дома должен быть дядя Феликс. Догадается ли он по ее лицу, что случилось? "Расскажу ему еще раз, дома, и тогда он расскажет ей, и она не будет его бить, как меня, не будет лопаться от визга и вопить: "Ложь, ложь!" И нечего просить у меня прощения, я уйду куда-нибудь... пусть хоть всю жизнь варит какао и целуется со своим Игги".

По дороге через Кейсмент-парк Мэрион заметила что-то знакомое, какой-то комок в канаве. Сердце сжалось от горестного предчувствия, она спрыгнула с велосипеда, проливая молоко, и бросилась к лохматому комку.

Еще не добежав до него, она все поняла, а когда увидела, что теперь он слепой, что шерстяные глаза вырезаны, а из брюшка торчит вата и две лапы оторваны, это было как сильный удар в живот, когда ты задыхаешься и не можешь даже кричать от жуткой боли и ярости. Лю лежал прямо напротив домов Каллиганов и Кефри. Между ними был узкий проход. Мэрион хотелось постучать к Каллиганам, а когда те откроют — вцепиться им в волосы и крикнуть: "Верните мне его глаза, его оторванные лапы!" Но они, конечно, будут только переглядываться и пожимать плечами. Так еще хуже.

На улице не было ни души. Мэрион зашла в темный проход между домами и плакала там, пока не выплакала все слезы, без конца разговаривая с Лю и шепча ему ласковые слова. Наконец она поцеловала его пустые глазницы, вправила вату обратно в брюшко, осторожно засунула мишку под кофту лицом к груди, чтобы он снова почувствовал — его по-настоящему любят, и никто больше не конфискует его, никакие придурочные Каллиганы не будут рвать его на части... никогда, никогда... потому что Лю единственный в целом мире, кто знает, что случилось в тот ужасный третий раз — он так храбро старался спасти ее, когда она спала. Мэрион держала его между ног, не хотела отпускать, но Игги только проворчал: "Что там у тебя? Ну-ка пусти..." — и разжал ей пальцы с такой неожиданной силой, что она успела увидеть только горестную мордочку мишки, когда тот, выброшенный из кровати, переворачивался в воздухе и падал вверх ногами на тумбочку.

Одно точно — домой она не пойдет. Можно пойти по этому проходу до калитки, за которой есть тропинка, ведущая на старую проселочную дорогу, уже зарастающую, и по ней выйти на берег, к скотному двору и конюшням рядом с землей Сэлмон-хауса.

Становилось все темнее и холоднее, снег уже слегка припорошил землю и теперь падал еще гуще, легко ложась на крыши, улицы и сосед-

ние поля. Ну и что, что снег. Туда, куда мы идем, можно идти хоть с закрытыми глазами. Там будет хорошо, только ты и я. На сеновале, наверно, спит Уиши. Может быть, перекинемся словом. Может быть, нет. У нас будет приют и время подумать, решить, что делать дальше.

После шестичасовых новостей телефон звонил не переставая — старые друзья, новые друзья, давно забытые друзья и знакомые, директор завода, сотрудники, какие-то люди со всех концов острова, через каждые пять минут журналисты и полицейские. Приехали оба Махоуни, заикающиеся от беспокойства и угрызений совести. Со всеми разговаривал Феликс, Мэри и Брайди были не в состоянии. Сообщение передавали в каждом выпуске новостей, пока вещание не прекратилось. Все уже знали наизусть — имя, возраст, внешность, как была одета, когда и где последний раз видели, брошенный велосипед, пролитое молоко, зеленый "воксхолл" с литримскими номерами — вечером кто-то видел, как в эту машину садилась девочка. Но владельцем оказался житель Баллишаннона, забиравший дочку с урока музыки. "Наиболее вероятная версия" полиции отпала.

Молились всю ночь, чаще всего в эркере спальни, откуда виден освещенный фонарями грот. Читали розарий. В половине шестого Мэри Кэнтуэлл попросила Феликса отслужить мессу.

— Да, Мэри, так и сделаю. Отслужу мессу за всех нас.

Как сухо он ей отвечает... Феликс вообще не похож на себя. Неужели он так расстроен, что даже не слушает ее, не обращает на нее внимания? Более того, когда горе сжимает сердце, когда рыдания сотрясают их с Брайди, его утешения достаются только горничной. "Неужели я лишилась и этого, неужели у меня нет теперь даже братской поддержки, нет самой чистой и совершенной любви — брата к сестре, сестры к брату?" И Мэри Кэнтуэлл вспомнила, что она рассказала Феликсу о... "Нет, только обмолвилась, вернее, упомянула, как я на миг потеряла голову от гнева и ударила, первый и последний раз в жизни ударила ее, но ведь заслуженно — если б ты видел, Феликс, до чего она дошла, такое вранье, такая наглость, эта истерика с плюшевым медведем, которого она таскала в школу, я уж молчу о ее выдумках насчет Игнатия, даже повторять стыдно". И все это время он смотрел мимо нее, только кивал или качал головой и ни слова не говорил, ни единого слова утешения, а когда наконец посмотрел ей в глаза, в ее единственный глаз своими двумя, там был только упрек... или это ее собственные домыслы? Неужели для нее уже нет утешения здесь, на земле? И на Небе? "Господи, — шептала Мэри Кэнтуэлл, — ты забрал у меня мужа, отнял глаз, неужели Ты теперь лишишь меня единственной, любимой дочери... я не знаю, что думать, не могу молиться... а Феликс как чужой, будто не в себе... наверно, Бог тоже не любит меня, но если Он и ее отнимет, у Него нет сердца и я Ему не прощу... Господи, Господи, спаси дитя, пусть лучше я умру... не губи Мэрион, она невинный ребенок, это я, я во всем виновата! Возьми мое тело и душу, только не трогай дочь".

Вслух она читала молитву: "Вспомни, Непорочная Дева, Премилостивая Госпожа наша, что никто из прибегающих к Тебе не оставался без помощи, никто из уповающих на Тебя не был оставлен... никто, Пречистая... никогда..."

Позади грота выросли высокие сугробы, на фасаде же снега почти не было. Узнав, что подозрительная машина увезла не Мэрион, Феликс позвонил шефу полиции. Тот немедленно приехал. Они разговаривали с глазу на глаз, и Феликс сообщил, что у племянницы, скорее всего, серьезная психологическая травма. Он не вправе вдаваться в подробности, но, видимо, надо начать разрабатывать и другие версии.

— То есть это не похищение?

— Мне кажется, нет.

— Вы хотите сказать, отец Феликс, что нам следует применить драгу? Вызвать водолазную команду?

— Да.

В тусклом предрассветном сумраке они увидели Уиши Душавена, пугало-Христа, бредущего к гроту. Уиши сел на камень, достал из кармана горбушку и принялся есть. Полицейский очень долго расспрашивал его — с непривычной бродяге вежливостью, подумал Феликс. Да, Уиши видел ее "чуть-чуть, а потом она ушла". Его снова и снова спрашивали, что же она сказала. "Пойду домой, сказала, пойду домой". Осмотрели дом, чердак, сарай, еще раз проверили каждый уголок... никаких следов девочки. Оставалось ждать рассвета — утром команды добровольцев, полицейские и военные, вызванные с тренировочной базы, продолжат поиски.

— Бедный Уиши, — вздохнула Брайди.

— Надо принести ему что-нибудь горячее, — сказала Мэри Кэнтуэлл.

— Пойдемте вместе, нам всем лучше выйти на свежий воздух, — сказал Феликс.

Они пошли к гроту, Брайди несла поднос с кашей, хлебом и чаем. Первым заговорил Уиши.

— Ничего... не слышно... о Мэрион?

— Нет, Уиши, ничего.

Все трое смотрели, как он медленно ел кашу, Уиши тоже смотрел в тарелку, пока Брайди не спросила его:

— Сколько времени ты ее видел, Уиши?

— Чуть-чуть.

— Нет, сколько? Минуту? Две? Три?

Уиши отвел взгляд, подумал и повторил:

— Чуть-чуть, Брайди.

— И что она тебе сказала?

— "Пойду домой".

— И все?

— Ага. Сказала, пойду домой.

Никто не отваживался посмотреть в глаза друг другу или в черноту реки меж заснеженных берегов, понимая, что Мэрион, может быть, уже где-то там, на полпути к морю. Даже думать об этом было невыносимо. И вдруг Мэри Кэнтуэлл уловила в бормотании Уиши какое-то слово, кажется, "небо".

— Что? Что ты говоришь?

Вопрос был такой резкий, что Уиши вздрогнул.

— Я... припомнил, — очень медленно проговорил он. — Она сказала: "Пойду домой. На небо".

Сначала Феликс никак не мог понять, почему его сестра и Брайди вдруг переглянулись и с криком бросились за грот, а там начали лихора-

дочно раскапывать снег перед игровой пещеркой. Обе одновременно наткнулись на коричневые ботинки, ножки в белых колготках. Вытащила ее Брайди, окоченевшую, с намертво прижатым к груди мишкой, будто слепым младенцем. Феликс никогда не видел ничего такого безжизненного, как мертвая Мэрион, и ни разу не касался его слуха такой нечеловеческий крик, какой рвался сейчас из легких сестры.

Подошел Уиши Душавен, встал рядом с кружкой чая в руках. Мэри вдруг выбила ее и стала колотить Уиши, крича что есть сил:

– Господи, Господи Боже! Если бы ты вчера вечером сказал "небо", мы бы успели ее спасти! Идиот... мы бы спасли ее... придурок... идиот ненормальный! Из-за тебя она умерла! О Господи!

Феликс грубо оттащил ее.

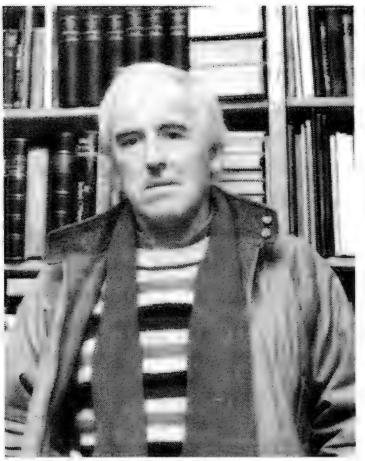
– Мэри, прекрати. Он же слабоумный.

Уиши испуганно моргал, закрываясь руками, и смотрел, как Мэри в неистовстве вырывает дочь у Брайди, целует ее, рыдает, бредет с нею к фасаду грота, шатаясь от горя. У Бернадетты Субиру она поскользнулась, схватилась за статую, и та опрокинулась на камень. Голова каменной святой с треском отвалилась, а Мэри подняла дочь к Лурдской Деве Марии и закричала:

– Как мог Твой Сын послать ей такую смерть?! Как?! Как?! Как?! Почему Ты не умолила Его? Почему Ты была глуха и слепа, почему не облегчила ее горя?! Мэрион, Мэрион, доченька, красавица моя!

И тогда Феликс впервые закрыл лицо ладонью. Другой рукой он обнимал Брайди. Уиши Душавен все стоял, закрываясь, и глядел на них непонимающим взглядом. Никто не отвечал на вопли Мэри Кэнтуэлл. Мраморная Дева Мария по-прежнему улыбалась им сверху вниз.

Том Макинтайр



Иная тишина

Перевод Евгении Тиновицкой

ТЕПЕРЬ я подолгу бываю на берегу. Он мягко притягивает меня, да я и не сопротивляюсь, нет. Когда волосы поседели, а глаза поблекли и мало что могут разглядеть, начинаешь (временами) видеть. Что? Направления. Дороги. Хочешь знать о дорогах? Они кончаются. На берегу. Проселочные, грунтовые, шоссе, автобаны — все кончаются на берегу. Там, где берут начало иные пути? Да.

Я на берегу. В воздухе гнетущее возбуждение. Вокруг никого, что, впрочем, неудивительно. Когда стоишь на краю, чувствуешь, как нарастает одиночество, и — что странно — все острей ощущаешь чье-то присутствие. Сегодня рядом со мной на песке заяц, опустевшее, безжизненное тельце. Словно отслужившая свое перчатка. Рядом торчит заячья мордочка. Уши настороже, в глазах, будто вспышки фотокамер. Это... что это? Космическая капсула. В полной готовности. Пуск! Орбита!

Мне знакома окружающая тишина. Мы уже встречались. Когда-то давным-давно я болел, болел часто — одна из моих наименее вредных привычек. Зима, ночь, я один у окна гостиной. Стекло заиндевело. Послюнив большой палец, стираю иней. Теперь можно посмотреть наружу. Заснеженная поляна, силуэты вечнозеленых деревьев. Все спокойно. Но это ненадолго. Покой сменяется тишиной, почти ощутимой физически. Я слышу неведомое — приглушенное многоголосье.

Перед глазами встает конь. Впервые я встретил Белого на ферме у бабки. Был там и гнедой, но гнедой что... А Белый притягивал взгляд — не оторвешь. Отчего? Я не ведаю, ведает кровь. Кровь старого лошадника, та еще смесь! Лишь только Белый проскакал мимо меня легким гало-

© David Marcus, 2005
© Евгения Тиновицкая. Перевод, 2007

пом, а ель зашептала: "Бледный конь, бледный всадник", — понимание пронеслось по венам. Белый был рядом — и вместе с тем где-то еще. Был. Есть. Будет. Помутил твой разум. Пленил, не смеешь и коснуться такой красоты. Рука пройдет насквозь. Итак. Ты стоял в отдалении, как служка. Остальные принимали участие в обряде. Все проходило в молчании. Просто держи свечу, оберегай норовистое пламя.

Мы рождены, чтобы забывать. Так кажется. Так и я забыл тот чудный день, пока как-то ночью мне не напомнили. Это было на острове. Тебе нравятся острова? Мне они представляются текучими, податливыми, сбивающимися словно рыбы в косяки. В полночь меня будто что-то толкнуло, и я вышел прогуляться по дюнам с восточной стороны острова. Подошел знакомый старик — на днях я купил у него рыбачью лодку. То был потомственный рыбак, настоящий знаток приливов и отливов. Послушай, сказал он, гнедой — лошадь для дневных трудов, любой это подтвердит. Белый — совсем другая история... И мой красавец возник рядом. Я посмотрел сквозь него — Белый ведь прозрачен — и увидел внизу в бухте лодку. Черная, свежепросмоленная, она то подымалась, то опускалась на зеленых волнах.

Важная встреча! Но... Привычка — вот что делает тебя глухим. Все позабылось: встреча, преподнесенный совет, сияющая прозрачность. Я в конце концов занятой человек — добыть презренный металл, утолить плотские желания. Только не надо про mea culpa[1]. Факты, пожалуйста. Хорошо. Время без всякого предупреждения, играючи принесло недуги и боль, беззубые десны, артрит, ревматизм. Скоро — сигнал уже дан! — из тени выйдут провожатые, ласковые, понимающие. Их время! Не спрашивай у них документов, ты знаешь все, что тебе нужно. Это они подведут тебя — верно, в последний раз — к твоему старому другу Белому. Он уже бьет копытом. Совсем не изменился с первой встречи. Время пошло вспять. Здравствуй.

Белый готов в путь — взнуздан, подкован. С мыслью "Все повторяется в печальном этом мире" взбираюсь в седло. Никакого хруста в суставах, nota bene, этой напасти как не бывало. И мы отправляемся в путь. Свобода. Утро. Путешествие. Я чувствую легкость, словно ковыль или только печальная тень ковыля. Я слышу знакомую тишину. Копыта Белого ступают беззвучно. Не скрипнет седло, удила, уздечка, не звякнут стремена. Ни звука, кроме зова Матери-тишины, манящей, нетронутой...

И наконец. Одно слово о нарциссах, о дыхании нарциссов. Она, царственная, пришла с букетом (это было всего лишь на прошлой неделе), я был в постели. Один. Ждал ее? Возможно. Мне никогда не забыть этой встречи. Зеленые стебли, золотые сердцевинки. Ее невероятная нежность. И что же я — соответствовал моменту? Отнюдь. Попробуйте-ка соответствовать лежа. Но это не оправдание, я вечно ни к чему не готов. Ни к рождению. Ни к соитию. Ни к уходу. Может, в следующий раз у меня получится лучше. Только будет ли он? Не знаю. Об этом разное говорят.

Рассказать тебе о ней? Я сразу понял, что она Царица — Царицу узнаешь с первого взгляда. *Величие.* Изящество. Я бы даже рискнул сказать

1. Моя вина (*лат*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

шик. Вручила нарциссы (асфоделии) — и исчезла. Я погрузился в раздумья (это было в декабре, и сейчас, когда я пишу, все еще декабрь): нарциссы — предвестники весны, расцветают перед прилетом ласточек, и так далее. Зная мою склонность к сомнению, ты, верно, уже заметил, что мне неспокойно. Нарциссы — тревожно как-то. Не означают ли они sotto voce[1] призыв? Надо проверить. Перед глазами встает отец, его палец закладкой в страницах словаря или справочника, именно таким я его помню. Я нашел словарь, листаю страницы: *Нарциссы – цветы Прозерпины, цветут на лугах Подземного мира. От греческого "асфоделус". Этимология неизвестна...*

Потрясенный, откладываю книгу. Да, дружище, так-то. Значит, то была Она, богиня Подземного царства. Сделай перерыв, сынок. Послушай тишину. Ту самую. Она приближается, раскрывая объятия. Наступает момент, когда ты начинаешь стремиться к ней. Ищешь ее. И, склонив голову, называешь ее домом.

1. Тихий (*итал.*).

Джон Макгахерн

Парашютики

Перевод Л. Беспаловой

— МОГУ я напоследок попросить тебя об одном, совсем небольшом одолжении?

— Что за одолжение?

— Остаться здесь еще минут на пять, когда я уйду.

Что она предлагает: завязать глаза еще до того, как меня накроет тьма.

— Уйди мы вместе, мы снова начнем препираться, а что толку? Все кончено, ты же знаешь. И давно. Так что, когда я уйду, побудь здесь еще минут пять, сделай милость. — Вставая, она положила руку в перчатке на мою. Напоследок.

Повернулась и пошла прочь. Догонять ее было невмоготу. Она ни разу не обернулась. Ушла, и дверь закачалась в пустоте. Я заметил, что бармен поглядывает на меня как-то странно, но мне было не до него. Минутная стрелка показывала без двух восемь. Казалось, стрелка не движется. Она ушла, ускользала с каждой свинцово-тяжелой минутой все дальше за пределы досягаемости, а догонять ее было невмоготу.

— Малый "джеймсон". С водой, — сказал я бармену.

Пока я прихлебывал виски, пришло осознание полной нелепости моего положения, а с ним накатила ярость. Все кончено. Она ушла. Что бы я ни сказал, что бы ни сделал, больше не имеет значения, а вот поди ж ты: она попросила, и я сижу тут как последний дурак. Не поглядев на часы, я встал и пошел к двери. Ее и след простыл.

Мне был виден город внизу — его путаные-перепутаные дороги этим тихим ясным вечером были уже освещены, и куда только они не вели. Я

© John McGahern, 1992
© Л. Беспалова. Перевод, 2007

бросился бежать, но тут же остановился, понял: куда бежать, я не знаю. Будь у меня прибор наподобие радара... а что, если бы он обнаружил ее в чьей-то машине полураздетой... ее бледные плечи светились, когда она выскользнула из платья тогда, в Ратмайнсе[1].

Я осматривал улицу. Бежали машины. Останавливались автобусы. Светофоры переключались. Витрины где были, там и оставались. Люди, когда их окликали, откликались. Впредь все дни, каждый день будет начинаться без нее. Но вот что невозможно вынести, так это возвращаться в комнату, ту комнату — свидетельницу моего скоротечного счастья.

Я побрел в "Оленью голову", из нее к О'Нилсу. В обоих барах толокся народ. И хоть бы один знакомый. Я неспешно обошел бар, но заказать ничего не заказал. А бармену дел хватало, так что он не цеплялся. Я перекочевал к барам подальше от Графтон-стрит. И в третьем баре еще до того, как они меня окликнули, увидел чету Малви. Окликнула меня Клэр. Пэдди читал книгу, глаза его то и дело перебегали со страницы на дверь, однако, едва услышав мое имя, он безотрывно уставился в книгу. Малви сидели далеко от бара, у колонн. Эймон Келли, судя по всему, был с ними.

— Мы думали, ты нас сторонишься, — сказала Клэр Малви, мы пожали друг другу руки. Лицо ее, напряженное, неспокойное, было красиво траченной временем красотой. — Мы целую вечность тебя не видели.

— О господи, надо полагать, у нас свободная страна, так или не так? — оживился Пэдди Малви. — Разве человек не вправе делать, что хочет и как хочет?

— Подлец, — торжественно изрек Эймон Келли, его красивое бледное лицо распустилось в ледяную улыбку.

— Почему вы не пьете? — На столе перед ними стояли пустые стаканы.

— Боюсь, что причина в старой как мир загвоздке, — сказал Малви. — Мы ждем Халлорана. Ему уже час с гаком как надлежало явиться сюда. Он обещал дать нам чек. Для верности даже оставил залог, — он указал на прислоненный к колонне коричневый кожаный портфель.

— Я принесу выпивку, — предложил я.

— Халлоран отвалил с мальцом. Предупреждал же я: он не вернется, — подал голос Эймон Келли.

Я принес из бара четыре пива и четыре виски.

— Тебя следовало бы поблагодарить, — сказал Эймон Келли, поднося к губам стакан. — Но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что благодарить тебя не стану.

— Это почему же?

— Да вот решил, что ты подлец.

— Почему я-то?

— Потому что надо иметь хоть какие-то устои. Вот я и решил, что ты подлец. И точка. Решение обжалованию не подлежит.

— О господи! — сказал Малви. — Ты ж еще не так набрался! Твое здоровье!

— Удачи тебе! — сказала Клэр Малви.

— Что ты читаешь?

1. Пригород Дублина. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Очередное убожество. Подрядился написать рецензию для Халлорана на эту книжонку, — и Малви принялся с азартом глумиться над книгой.

Я пытался слушать Малви, но выносить его бесплодное глумление было трудно. Он все умерщвлял. И я поймал себя на том, что обрекаюсь на худшую муку — думаю о том, о чем положил не думать.

Незадолго до Рождества она пригласила меня на обед к своей сестре. Мы встретились в многолюдстве Главного почтамта. На ней был светлый плащ с меховым воротником — она перестегивала его на разные пальто. Снаружи, на О'Коннел-стрит, дул пронизывающий ветер, моросил дождь, в ожидании пригородного автобуса мы забрались в подъезд.

Сестра ее жила в новом районе, в домишке на две семьи: двустворчатые ворота, гараж, квадратик лужайки, со всех сторон залитой бетоном, фонарь над входом. Комнатенки тесные, в коврах. Облицованный плиткой камин в гостиной топился углем.

Сестра, такая же рослая, темноволосая, красивая, была беременна первенцем. Ее муж, приземистый живчик, преподавал математику в школе неподалеку.

Принесенные нами бутылки передавали из рук в руки. Разливали виски. Мы сидели с бокалами перед горящим камином. Они очень расстарались. Жареная картошка, горошек, жареная индейка с хлебным соусом. Сливовый пирог полили бренди и подожгли. Смутная неловкость, повисшая в воздухе, мешала радоваться еде, натужная веселость только усугубляла ее. Нам словно бы явили предначертанный курс: малыш в креслице, за ним еще один, а за ним и еще один, почтальон, молочник, фургон, доставляющий свежие яйца и овощи из деревни, усталая рука на руке — знак нежности, такой же подлинной, как перехват горла, газонокосилки летом, отяжелевшие талии. Совсем не обязательно, казалось мне, жить так.

— Как тебе они? — спросила она, когда мы вышли на дорогу, и взяла меня за руку.

— Очень славные, по-моему. Так расстарались.

— А как тебе их дом?

— Не в моем вкусе. Я бы в таком рехнулся.

— А в каком ты хотел бы жить?

— Не в таком маленьком. Не в таком тесном. Не в таком новом. И не так далеко от города.

— Ну, извини, — сказала она и отняла руку.

Что бы сказать: "Дом мне очень понравился. Мне понравился бы любой дом, лишь бы быть в нем с тобой", — и обнять, поцеловать ее под хлещущим ветром, под проливным дождем. Да ведь так оно и было. Любой дом, будь я с ней, мне понравился бы, и еще как. Каким же надо быть дураком, чтобы думать, будто можно отгородиться от жизни. Теперь-то я был бы готов на все. Любви и то не просил бы. Останься она со мной, кто знает, может, в свое время любовь и пришла бы, обманывал я себя.

— Сознаешь ты или не сознаешь, насколько богат английский язык: в нем, к примеру, имеются два слова — "постижение" и "познание", оттенки как смыслового различия, так и смыслового совпадения между кото-

рыми невероятно тонки? Тебе, я полагаю, ничего подобного в голову не приходило? — Это ко мне обратился Малви.

— Нет, не сознаю.

— Где тебе. А я не отказался бы познать еще стакашек.

— Постижение, познание... — Это, когда я отправился за выпивкой, вступил в разговор Эймон Келли. — Я хочу, чтобы вы постигли одну историю. Историю исключительного неприличия.

— О господи! — простонал Малви.

— Надеюсь, не длинную, — сказала Клэр Малви. — Где ты пропадал? — спросила она меня, когда Келли завел свой рассказ. — С какой стати нам его слушать? Все эти истории на один лад.

— У меня появилась девушка.

— Почему же ты не привел ее сюда? Дал бы нам хоть приглядеться к ней.

— Ей бы здесь не понравилось. Как бы то ни было, у нас все кончено.

— Я рада, что ты здесь, — сказала она.

— Он здесь? — заорал Эймон Келли: злился, что мы не слушаем его рассказ.

— Он здесь что? — спросил Малви.

— А он здесь? А я здесь?

— Увы, но ты здесь, — ответил Малви.

— Ханжи. Лгуны.

— Ложь — это смазка общественной машины.

— Не слушайте вы его, — сказал Малви.

— Ложь. — Келли пропустил его слова мимо ушей. — Она объелась зеленых слив. Забеременела. Поэтому он ее и не привел. Подлец.

— Вот ужас-то, — сказал Малви.

Смятение от мысли о том, где она может быть, накатило без предупреждения.

— А тебе не хотелось бы иметь какой-то приборчик вроде радара, чтобы можно было в любой момент проследить, где кто находится, и его показали бы как на экране? — Я повернулся к Малви.

— Вот уж нет. — Мой вопрос неожиданно заинтересовал Малви. — Меня никогда особо не занимало, что у кого на уме. А вот чего мне не хотелось бы, так это, чтобы разведали, что у меня на уме.

— Значит, ты никогда не любил, — изрек Эймон Келли. — А я понимаю, о чем он. Бывали времена, когда и я бы не прочь иметь радар.

— Сейчас и я не отказался бы от радара — выследил бы Халлорана. Чтобы он наконец дал мне чек и забрал бы свой паршивый чемодан. Мы таскаем его за собой уже два дня кряду. — Жалуясь, Малви смотрел в сторону.

— Не может быть, чтобы тебе не хотелось хоть иногда знать, что я делаю, — сказала Клэр Малви.

— Никогда.

— Даже если это правда, по-моему, не стоило так говорить.

— Очень даже стоило, и именно по этой причине. Потому что это правда. А ни по какой другой причине говорить вообще не стоит.

Они засклочничали. Я в последний раз поставил выпивку. Дело шло к закрытию. Эймон Келли затеял оживленный разговор сам с собой, сопровождая его не менее энергичными жестами: разыграл целую пантомиму — снимал шляпу и перчатки, жал руки, сновал взад-вперед, что-то

долго и невнятно бубнил, надевал шляпу и перчатки. Малви погрузились в молчание. Я не мог понять, что я здесь делаю, но что делать дальше, и вовсе не представлял. Мир ушел у меня из-под ног.

— У тебя хватит денег на сахарный мешок? — огорошил меня вопросом Малви. — Можно было бы пойти ко мне.

— Денег навалом.

— Я тебе все возмещу, как только повидаю Халлорана.

В сахарных мешках, прочных пакетах серой бумаги, обычно переносили портер. В них вмещалось до дюжины бутылок. Я купил три пакета. Эймон Келли, судя по всему, решил пойти с нами: он предложил понести один из пакетов. Клэр Малви взяла портфель Халлорана. На каждом шагу мы натыкались на пьянчужек. Один из них сделал игривый выпад — изобразил, что хочет вырвать у Малви пакет, тот обругал его, но так выспренно и вычурно, что потасовки не последовало. У нас, по всей вероятности, вид тоже был не слишком трезвый, я заметил, что двое полицейских сделали стойку: наблюдали — доберемся ли мы до цели при нашей-то поклаже. Дом Малви теснился в ряду однотипных домишек вдоль канала. В мелкой луже среди сорняков, жестянок и бутылок лежала молодая луна.

— И томную луну волна колышет. — Отражение вдохновило Эймона Келли — он шаткой походкой миновал лужу, раскачиваясь в такт пакету в руке.

— Бёрнс, — взревел Малви. — И никаких волн в поле зрения не замечено. Какого ты мнения о старике Бёрнсе? — спросил он, вставляя ключ в скважину.

Нас встретила заплаканная девчушка в ночной рубашонке. Она проголодалась. Клэр Малви успокоила ее, полезла в ледник, мы понесли пакеты наверх. В комнате не было никакой мебели, если не считать ящиков из-под апельсинов. На полу вдоль стен громоздились книги. В комнате было холодно, и Малви стал пинать ящики ногами, пока не разломал их так, чтобы они влезли в очаг. Поджег их газетой, они быстро разгорелись.

Эймон Келли сосредоточенно открывал бутылки серебряным перочинным ножом. К тому времени, когда к нам присоединилась Клэр Малви, он успел открыть все бутылки из одного пакета. Ящики прогорели, в очаге остались лишь ажурные переплетения почерневшей проволоки, и в комнате стало теплее.

— Она опять заснула. В леднике нашлось молоко и хлопья, — сказала Клэр Малви.

Мы пили без передыха. Эймон Келли наоткрывал еще бутылок. Малви поучал Эймона Келли. Потом переключился на меня. Уборная в коридоре не работала. Я пытался побороть сон.

Когда я проснулся, комнату заливал утренний свет. Меня уложили на матрас, подсунули под голову подушку, накрыли одеялом. Больше в комнате никого не было. Вдоль стен беспорядочно грудились книги. Повсюду валялись пустые бутылки, в воздухе застоялся кисловато-сладкий запах портера. В пустом очаге вырисовывался почерневший проволочный каркас.

Первое утро без нее, я не мог поверить, что заснул. Встал, пробрался между бутылками, вышел во двор, уборная и там не работала, напус-

тил воды в раковину и пробрался назад на свой матрас. Почти неразличимый месяц все еще лежал на грязной воде канала.

Воздух начали сотрясать церковные колокола. Воскресенье, семь часов. Я встал, вышел на улицу. Со всех концов на мессу тек народ. Я влился в поток, доволокся с ним до церкви, но едва месса началась, двинул назад, сворачивая в пустынные улочки, пока не оказался в тихом проулке, а там опустился на ступеньки какого-то дома. Ко всем без исключения домам вело по пять ступенек. Гранитных. Почти все железные перила были окрашены в синий цвет. У дома напротив рос разлохмаченный куст сирени. Нас наставляли — обращать внимание на такие детали смолоду. Говорили, перед тобой — мир. Куст сирени, перила, три молочные бутылки с серебряными крышечками, гранитные ступени... Надо было встать, идти дальше — иначе накатившую злость не отогнать. Надо было осваивать мир по новой.

Малви, когда я вернулся, сидели за кухонным столом. Девчушка ела овсянку, родители пили чай из кружек.

— Я вчера вырубился, извините.

— Да ладно. Ты устал. — Малви улыбался — по утрам ему случалось быть обаятельным.

— Келли ушел домой?

— Он, даже если мертвецки пьян, всегда уходит домой.

Я раздал газеты, купленные на обратном пути, мне налили чаю. Девчушка серьезно таращилась на меня, прикрываясь ложкой.

— Можешь одолжить пятерку? — около полудня спросил Малви. — Я отдам, как только отыщу Халлорана.

— Вот уж о чем можешь не беспокоиться. — Сбыть деньги — чем не свобода, в своем роде.

— С чего бы это я растратил все твои деньги? Я тебе их верну, нынче же вечером. Нынче же вечером мы настигнем Халлорана. — И так мой день более или менее решился.

Мы выпивали в крохотном местном баре на берегу канала. Девчушке дали лимонаду с хрустящим картофелем.

По возвращении домой разогрели рагу. После чего Малви убрался наверх — писать рецензию. Клэр Малви смотрела по черно-белому телевизору старый фильм с Кэри Грантом. Я играл с девчушкой в шашки. Когда Малви спустился вниз, было уже четыре.

— Ну как? — спросил я, не отрывая глаз от доски.

— Никак. Не смог и двух фраз сочинить — все думал о Халлоране, чтоб ему. Из-за него весь день псу под хвост. — Настроение у Малви явно испортилось.

Мы оставили девчушку играть с соседской ребятней и направились к Графтон-стрит на поиски Халлорана. Портфель нес Малви. Передавая девчушку на попечение соседей, он источал благорасположенность, напустил на себя обаяние, но едва мы остались одни, как в нем стало накипать раздражение.

— Нет, ну что за наглец — воображает, что мы будем таскать за собой его барахло два дня кряду.

— Велик ли труд? — Не стоило его жене это говорить. — Не сказать, чтобы он был так уж счастлив.

— Откуда тебе знать, счастлив он или несчастлив?

— Он прямо-таки сочится неблагополучием. Такой лысый, грузный, а ведь ему ненамного больше тридцати.

— В жизни не слышал ничего глупее. Он не иначе как засел в уютной гостинице где-нибудь в Уиклоу[1], полеживает себе в шезлонге, лакает джин с тоником, смотрит на закат и пичкает мальчишку стихами, любовью и тому подобными гадостями. Не желаю больше таскать барахло этого толстомясого сводника. — Он отшвырнул портфель, тот откатился, резко тормознул у ограждения, но не раскрылся.

— Я понесу его, — Клэр подняла портфель, но Малви уже мчал вперед.

— Когда мы сошлись, поначалу мне становилось дурно от склок, я прямо-таки занемогала, но Пэдди убедил меня, что ничего плохого тут нет. Убедил, что не надо принимать такие стычки всерьез. Они очищают атмосферу. Это просто своего рода форма самовыражения, — откровенничала она.

— Терпеть не могу склок.

— Раньше я тоже так к этому относилась.

Перевожу время впустую, подумал я, вот что я делаю. Будь она со мной, мы могли бы поехать к морю.

Но мы же ездили к морю, в Доллимаунт, четыре воскресенья назад. Она весь день помалкивала, держалась отстраненно. Тормошить ее я опасался — готов был на все, лишь бы она была рядом. Она предложила пойти к песчаным дюнам на границе с полем для гольфа, подальше от ограды, от многолюдного пляжа. По-видимому, искала какое-то место в дюнах, а отыскав, плутовато улыбнулась — она давно уже так не улыбалась — и вынула из сумочки фотографию.

— Вилли Моран снял меня здесь, — сказала она. — Узнаешь это место?

С Вилли Мораном, молодым юристом, у нее был роман. Она хотела выйти за него замуж. Они расстались за несколько месяцев до того, как мы познакомились. После разрыва она не смогла жить одна и снова поселилась у старшей сестры.

Раньше я ревновал ее к Вилли Морану, но теперь и ревность перегорела. Думал только: ну и дурак, мог ведь жениться на ней, эх, был бы я на его месте. Я вернул карточку.

— Какая ты на ней красивая.

— Понимаешь, он меня снял после. Я на ней такая встрепанная. — Она засмеялась, потянула меня вниз. Хотела тут. Поблизости вроде бы никого не замечалось. Мы накрылись белым плащом.

Едва мы встали, настроение у нее снова переменилось. Она хотела закончить прогулку здесь и сейчас, хотела — разойтись.

— Можно пойти в какую-нибудь киношку на О'Коннел-стрит или поесть. — Что угодно, лишь бы с ней.

— Нет, не сегодня вечером. Хочу лечь пораньше. Голова побаливает.

И тут она показала, что потеряла в дюнах сережку, одну из пары серебряных подвесок, которые я подарил ей на день рождения.

Как только она со мной попрощалась, я той же дорогой вернулся в дюны. Рыхлый песок еще хранил отпечаток наших тел. Орудуя расческой, я отыскал подвеску там, где песок сходился с высокой белесой тра-

1. Город на восточном побережье, километрах в пятидесяти от Дублина.

вой. Радости моей не было предела — мне во что бы то ни стало хотелось верить, что это хорошее предвестие, знак того, что нас ждет небывалое счастье.

— Мы будем счастливы, будем. Теперь все пойдет хорошо. — Мечты о рае — вот что это такое было.

Но найденная подвеска всего-навсего отсрочила ад на четыре недели. Странно, но, не отыщи я в песке самую что ни на есть обычную сережку, этот день, этот непереносимый день случился бы четыре недели назад. Так она сказала.

Огни Харкорт-стрит застопорили Малви в его неистовом порыве к цели. Он повернулся, подошел к нам.

— Хоть я и не несу его, смотреть, как его несет моя жена, еще пущее унижение. Брось его здесь. — Клэр отказалась, он вырвал у нее портфель и шмякнул о землю.

— Давайте я понесу, — сказал я.

Портфель был такой легкий, что я подумал: уж не пустой ли он, но, взмахнув портфелем, услышал, как в его кожаном нутре что-то перекувырнулось.

— Ну а ты-то тут при чем? — напустился на меня Малви.

— Ни при чем. Просто не хочу оставлять его на улице.

— Ишь какой серьезный! — Малви взбодрился. — А мы его и не оставим.

— О чем говорить — я его понесу, — сказал я.

— А знаешь ли ты, какого цвета небо? — Малви устремил палец поверх крыш Харкорт-стрит.

— Синего, — сказал я. — Небо синее.

— И вовсе не синего, но само собой разумеется, что в этой стране охламонов другое определение никому не ведомо. Оно ультрамариновое — вот так будет верно. У синего цвета уйма оттенков. Нынче небо ультрамариновое.

— Откуда ты знаешь, что оно ультрамариновое?

— Художник, с которым я шился, научил меня различать цвета.

— Красивое слово, — сказал я.

— Точное, — отрезал он.

— Я только сейчас заметила, какой нынче чудный вечер, — мечтательно сказала Клэр Малви. — Осень едва чувствуется.

— Когда мы виделись в последний раз, ты, помнится, говорил, что ничего не имеешь против Халлорана. Говорил, что он человек тонкий.

— Да я все про него выдумал. — От яростного клокотания Малви легко переходил к незлобивым шуткам. — Ты не очень-то принимай на веру, что я про кого говорю. Людей надо выдумывать, иначе нельзя. Иначе их не вынести. Все так делают. Ты и сам в скором времени в этом убедишься.

Выщербленные пулями камни Колледжа хирургов, казалось, источали тепло. Забранный зеленой оградой Стивенз-грин[1] источал покой. В воздухе висела сизая дымка — предзнаменование осени. Клэр Малви замолкла и несколько минут молчала. Лицо ее было прекрасно в своей усталости, мысли где-то витали.

1. Полное название Сейнт-Стивенз-грин — парк в центре Дублина.

— Надо быть благодарным за эту дивную погоду, пока она стоит, — сказала Клэр, когда мы подошли к бару. — До чего же приятно, что двери всех баров нараспашку, — ведь лето уже на исходе.

Халлорана в баре не было. Мы пересчитали деньги, обнаружили, что достанет по одной на всех, но и только. Малви купил выпивку и отнес ее на столик поближе к входу. Отсюда была видна вся улица вплоть до обувного магазина через дорогу, сейчас он был закрыт.

— Где этот портфель? — спросил Малви, ждать было выше его сил. — Мы так долго таскали его за собой, что не мешает глянуть, что же мы такое таскаем.

— Зачем, спрашивается? Халлоран доверил его нам, — уговаривала его Клэр Малви. — Вдобавок он в любой момент может появиться.

Прекословия, по-видимому, только заводили Малви. Когда замок не поддался, он поставил портфель на колени так, чтобы его прикрывал стол, и вытащил из кармана пилочку для ногтей.

— Не надо, не открывай, — упрашивала его жена. — Он его запер. Это все равно, что распечатывать чужие письма.

Под натиском пилочки замок неожиданно отскочил, и Малви, не спуская глаз с входа, открыл портфель. На дне его лежали какие-то женские тряпки, исключительно черного цвета: комбинашка, лифчик, трусики, длинные нейлоновые чулки, красные туфельки, а под ними католический молитвенник, из него свисали белые, зеленые, желтые и красные закладки.

На латинском и английском языках на каждый день года.

Он наверняка устроит представление, попросит принести ведро воды, чтобы встретить Халлорана во всеоружии, когда тот появится с мальцом.

— Нет, это уже слишком, — сказал Малви, запер портфель, снова поддев замок пилочкой, чтобы тот защелкнулся.

— Зря ты его открыл, нехорошо это, — сказала Клэр Малви.

— Как раз наоборот. Теперь мы знаем, с кем имеем дело. С самым заурядным извращенцем, экая тоска. Представь только, как этот сводник обряжается в бабьи шмотки. Нет, это уже слишком.

— А вдруг они не его? — возразила Клэр Малви.

— Конечно, его. Чьи ж еще?

В бар вошел Эймон Келли. Утром после мессы он повстречал на Бэггот-стрит Халлорана с мальцом. Халлоран будет здесь в шесть, так он сказал, и дал денег, чтобы было на что выпить, пока мы его ждем. Решили выпить пива. Я пошел помочь Эймону Келли принести выпивку от стойки.

— Добрался вчера до дому? — спросил я, пока нам нацеживали пиво.

— Был бы я здесь, если бы не добрался? — отрезал он.

Я оставил его слова без ответа. Понес пиво к нашему столу.

— Что ж, это, во всяком случае, шаг в верном направлении, — сказал Малви, поднося кружку к губам.

Свинцово навалилась усталость, нынешний бар не давал изгладить из памяти давешнее утро с его эмалированной жутью. Все вокруг смахивало на тот разлохмаченный сиреневый куст, те молочные бутылки, те гранитные ступени...

Я скорее спал, чем бодрствовал, и оттого, увидев первую пушинку чертополоха, невесомый белесый парашютик, летящий в проеме двери до

того медлительно, что, казалось, он не летит, а плывет, не поверил своим глазам. Едва первая пушинка пересекла проем, за ней так же неспешно поплыла вторая. За ней третья. А там и четвертая. Три хрупких парашютика в ряд переплывали дверной проем заторможенно, как во сне.

— Видишь эти пушинки? — сказал я. — Как непривычно они смотрятся посреди Графтон-стрит.

— И вокруг Графтон-стрит есть задние дворы и свалки. Ты видишь только фасады, — сказал Малви. — Вот в чем дело. А тут полным-полно свалок.

Так же сонно-заторможенно проплыли и еще несколько парашютиков. Проем пересекал то один, а то и несколько парашютиков. Когда они наконец исчезли, это даже удивило, но потом, когда уже казалось, что они пропали, проем медлительно переплыл еще один, но перерывы все удлинялись.

— По всей вероятности, они прилетают с Дьюк-стрит, — сказала Клэр Малви. — Но там нет ни садов, ни свалок, я ничего такого не припомню.

— Ты так считаешь, потому что их не видно. А тут есть и свалки, и дворы, и сады, и все прочее, что положено, но на задах.

— Они могли прилететь и издалека, — сказал я. — Интересно, на какое расстояние их относит.

— Ну, это-то узнать не трудно, — сказал Малви. — Для чего, спрашивается, книги?

— А вот что трудно, так это приземлиться на рассадник в окрестностях Графтон-стрит.

— Около "Мерсер"[1] есть свалка. И еще одна на Касл-стрит. — Малви засмеялся одному ему понятной шутке. — Ну а уж самоуничтожение во сто крат природа как пить дать обеспечит. Из тех сотен, что упадут на камень или на мостовую, лишь одному парашютику пофартит попасть на свалку, вырасти горделивым чертополохом и дать жизнь тысячам свежехоньких, новехоньких чертополохов.

— Хэзлитт[2], — рискнул предположить Эймон Келли.

— Ну уж нет, Хэзлитт для этого слишком утонченный, — сказал Малви. — Старушка Ирландия, ее незатейливая глубинка — вот кто и на этот раз нас выручает. Даже ее главный город стоит одной ногой на навозной куче. — От спора настроение у Малви явно поднялось.

А тут явился и Халлоран с мальцом. Халлоран, лысый, в растерзанном костюме в мелкую полоску, сильно раздался с тех пор, как я видел его в последний раз, с него градом тек пот. Еще не дойдя до нашего столика, он стал что-то возбужденно объяснять. Малец плелся за ним по пятам, как собачонка, темноволосый, остриженный чуть ли не наголо, он невозмутимо поглядывал по сторонам и, по-видимому, не тушевался. Пока Халлоран шел к столу, приплыла одна-единственная пушинка и на миг повисла в дверном проеме за его плечом. Рука, маленькая, детская рука, девчоночья или мальчишечья, потянулась к пушинке, но прежде чем пальцы сомкнулись, последний белесый парашютик скрылся из виду — уж не движение ли руки его сдуло?

1. "Мерсер" — большая больница в Дублине.
2. Уильям Хэзлитт (1778–1830) — английский критик и публицист.

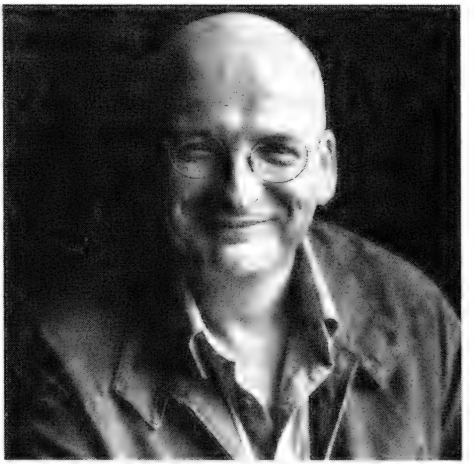
Так же невесомо, как парашютики, мы вплыли прошлым летом в танцзал. Свет догорающего дня, не менее яркий, чем свет в танцзале, пробивался сквозь накрывавший танцзал стеклянный купол, по полу, едва зазвучал вальс, заметались красные и синие огни.

Она стояла у края танцплощадки с крупной блондинкой. Я не мог оторвать глаз от ее черных волос, изгиба бледной шеи. К ним двинулся какой-то кавалер, его выбор пал на блондинку.

— Вы любите вальсы? — первое, что она мне сказала, когда мы начали танцевать.

И замолчала. Кружась под музыку, мы проплыли под стеклянным куполом — сквозь него еще лился дневной свет, — миновали последнюю колонну, увешанную цветочными корзинами, выплыли за ниспадавшие тяжелыми складками портьеры и закружились — так нам казалось — по воздуху под небосводом, не ультрамариновым, не синим, а неопределимого цвета небосводом, каждодневным и повседневным, под которым начинаем свой путь.

Родди Дойл



Анекдот

Перевод Ирины Пашаниной

ЕСЛИ сейчас он уйдет, то уже никогда не вернется. Уйдет, а она даже знать не будет, впрочем, ей это безразлично. Если вернется, ей тоже будет все равно. Тогда в чем, собственно, дело? Он ведь и не собирается уходить.

От этой мысли стало совсем скверно. Это-то и раздражало. И злило. Он чувствовал себя дураком.

Ну вот опять. Вроде бы ничего такого не случилось.

— Нет-нет, он за тобой заедет.

Только и всего. Слово в слово. Вот что помешало ему встать — толстая задница так и не оторвалась от кресла.

На самом деле задница у него вовсе не толстая. Но она как будто стала больше, чем обычно. Не настолько, конечно, но все же.

Ладно.

Вот они, эти слова: "Нет-нет, он за тобой заедет".

Сами по себе слова вроде бы безобидные. Но с ним-то она не посоветовалась.

В этом вся соль. Она говорила не с ним. Она говорила с кем-то еще. И до сих пор говорит. По телефону. Он даже не знал, с кем. С сестрой, с мамой, с его матерью. Какая разница. Это мог быть кто угодно. Например, сбежавшая от мужа подружка. Шансы один к трем.

Впрочем, он не игрок. И никогда им не был.

Он понятия не имел, с кем она там на кухне болтает по телефону. Но знал, что она только что предложила кому-то, кто был на другом конце провода, его услуги: "Нет-нет, он за тобой заедет".

© Roddy Doyle, 2005
© Ирина Пашанина. Перевод, 2007

В этом-то все и дело. У нее это вошло в привычку. И его это достало.

Что достало-то?

Он и сам не мог сказать. Вся эта фигня. Все вообще. Его все достало. Черт возьми, он что, пустое место?

— Нет-нет, он за тобой заедет.

Вот он в кого превратился. Во что превратился. В человека-невидимку. В безотказного дурачка, всегда на подхвате. Как будто делать ему больше нечего.

Да пусть бы он даже ничего и не делал. Не в этом суть. Совсем не в этом. Ей все равно: он может лезть на Эверест, а может пойти наверх спать. Ей, черт возьми, плевать, что он делает и чего не делает.

Тут ничего не попишешь. Он даже не мог себе представить, как...

Опять эти слова! Как же они его достали. И он не мог ничего сказать. Ведь это такой пустяк. Он никогда не смог бы объяснить это, не показавшись подлецом, или эгоистом, или еще кем-нибудь в этом роде.

Возьмем ее подругу. Ту, что склонна к адюльтерам. Они дружат целую вечность. Она симпатичная. С виду ни за что не скажешь, сколько ей лет. Но измена — это непорядочно. Нет, он вовсе не осуждает. И никогда не осуждал.

Как бы то ни было, он забирал ее, когда она оставила мужа. Помогал загружать в машину, *его* машину, ее сумки, ее двух детей и их шмотки. И все это пока муж был на работе или где-то еще — в пивной — он-то понятия не имел. И был рад, что так поступил. Это было правильно. Он никогда в этом не сомневался. Ни разу. И никогда не возмущался, ничего такого. Муж — засранец и скотина. Она еще легко отделалась. И ей было наплевать, что ее благоверный может наехать и на него. У женщины, сидевшей рядом с ним в машине, была перевязана сломанная челюсть. Бледные от испуга детишки притихли на заднем сиденье. Это был хороший поступок. Он даже чувствовал себя немного героем. Жена обнимала его, целовала и без конца благодарила.

Это слишком яркий пример. Слишком драматичный.

Так он ничего не объяснит, только все запутает.

Вот пример получше. Ее мамочка. Не такая уж и вредная старушенция. Достаточно безобидная, если узнать ее получше. В любом случае он под проливным дождем встречал ее и отвозил домой после розыгрыша лотереи. И не один раз, кто бы спорил. Он был счастлив сделать это, и снова сделает. А ее сестра? Он привез ей блок сигарет с низким содержанием никотина, когда она сидела дома со сломанной ногой. И шоколадное мороженое.

Акты милосердия. Он годами совершал их. Но вот в чем была загвоздка. Хоть бы раз, хоть бы один-единственный раз кто-нибудь из них попросил бы его самого.

Она все еще болтала по телефону.

— Да-да, я знаю. Боже мой.

Ни разу. Хорошо еще, спасибо говорили.

Ты замечательный.

Ты лучше всех.

Не знаю, что бы я делала без тебя.

И это было приятно. И я ценю это. Но никто из них ни разу не позвонил и не попросил позвать к телефону его. Ни разу. Никогда.

Да не только в этом дело.

Дело в том...

Провались все пропадом. Он сыт по горло.

Он опять сел. До боли вцепился руками в сиденье, чтобы не вскочить. Но это ничего не значило. Он не передумал, он просто еще не решил. Он вполне мог встать, так он и сделает. Она все еще болтала по телефону. Что бы там ни случилось, там явно ничего срочного. Надо определиться, все разложить по полочкам. Пора сказать ей "нет". Но сначала он должен сам понять почему.

Все началось давно. Давным-давно. Господи, целую вечность назад. Его вина. Он признавал это. Да. Его собственная вина. Так-то.

Но ведь дело вовсе не в актах милосердия. Это она их так называла. Не только в них. Он должен все прояснить.

Он помнил, поначалу ему даже нравилось, когда она называла это актами милосердия. Она вытирала ему волосы полотенцем. Она сидела у него на коленях. Верхом, прямо на нем.

У него все еще густые волосы. Почти такие, как раньше.

Верхом — глупое слово.

Он любил ее. Это было важно.

Давно.

Взаимные уступки. Когда-то так и было. Партнерство. Вот как он бы это назвал, хотя слово ему и не нравится. Партнерство. Взаимные уступки. Он привез ее мать домой после лотереи; она села к нему на колени. Но не это главное; наоборот, это как-то все обесценивало. Не в сексе дело. Хотя...

И в нем тоже. Да, конечно.

Хотя... Как объяснить, чтобы не казалось, что для него все дело в сексе, ведь это не так, хотя, может, и так?

Он разберется.

Как-нибудь.

Партнерство. Оно сыграло свою роль. Брак — еще одно чертово слово. Они все делали вместе. Даже когда не были вместе. Он водил машину, ходил по магазинам, мыл окна, да мало ли что. А получалось, они делают все вдвоем. Вместе. Так это было.

Что-то случилось.

Ничего не случилось. Взяло и случилось. И стало — как теперь.

Она все еще разговаривала по телефону. Он слышал, как она с кем-то соглашается, потом спорит. Слушает, кивает. Заправляет волосы за ухо.

Он все еще любил ее.

Но партнерство пропало. В какой-то момент. Он никогда не смог бы сказать, в какой именно, — понятия не имел. Ничего такого не было сказано. Не было сделано. Насколько он знает. А кто вообще знает?

Все так запутано. Он запутался. Совсем. В своей злости. В своих настроениях.

Он хотел найти выход. В постели. И не мог. Дело было не в этом; он больше не мог. Он не мог пошевелить рукой, ногой, вообще ничего не мог. Просто не мог. Что же случилось? Что случилось?

Он не знал. Правда, не знал. Не знал.

Телевизор был большой, с большим экраном. Когда покупал, думал — будут смотреть все вместе. Хотя бы это.

Он стал старше. Черт, но ведь и она тоже. Не в этом дело. Уверен, что не в этом.

Они никогда об этом не говорили.

О чем?

Он не знал. О переменах. О том, что кончилось. Он не знал. Партнерство. Будь он проклят, этот брак. И про секс — это неправда, точно. Они продолжали заниматься им. Время от времени. По настроению. Касание рук. Тепло.

Что он собирался сказать, когда она войдет?

Она все еще была там, на кухне. Продолжала болтать.

Он был прав, да. В главном он был прав. Что-то ушло. Что-то пошло наперекосяк. Что-то неуловимое. Что-то, чего он даже не заметил. Она не станет этого отрицать.

Или все-таки станет? Он понятия не имел.

Раньше знал. Раньше он почти всегда угадывал. Что она скажет. Как отреагирует. Они улыбались друг другу, потому что знали, что́ на уме у каждого. Она шлепала его по заднице, когда он проходил мимо. Он гладил ее по волосам. Слова не имели значения; она понимала, что́ он имеет в виду. Я тебя люблю. Мне с тобой хорошо. Я счастлив.

Я тебя люблю. Мне с тобой хорошо. Я счастлива.

В этом все дело.

Он обычно чувствовал, когда она собиралась что-то сказать. До того, как она раскрывала рот. Что-то витало в воздухе, в атмосфере. Ему даже не обязательно было на нее смотреть. Он знал. И она тоже знала. И ему нравилось, что она читает его, как открытую книгу.

Он не знал, когда это пропало. Чтение мыслей. Он не знал. Возможно, они до сих пор могут читать мысли друг друга, но просто не делают этого. Нет, навряд ли. Он не знает ее. Когда-то *знал*, а может, и не знал. Все происходило медленно. Очень постепенно. Он не заметил.

Неправда. Заметил. Он заметил.

Но ничего не сделал.

Что?

Господи, это ужасно. Глупо.

Он разозлился.

Он всегда злился.

Под утро он маялся без сна. Опять на него накатило. Сам не знал почему. Ничего не случилось. Ничего существенного. Его вина. Должен был вовремя понять. Они начались давно, эти изменения. Молчание. Он знал.

Они никогда не ссорились. Это правда — почти. Никогда ничего серьезного. Так, по мелочам. Ключи не на месте, ее мама приедет на Рождество. Ничего серьезного. Глобального. Никто не хлопал дверью, не собирал вещи. Они никогда не кричали, ничего не разбили. Ничего такого не было. Ничего не было.

Может, все из-за детей.

Он винил во всем детей.

Нет, не винил. Может, они тоже внесли свою лепту в произошедшее. У них с женой никогда не было времени, они вечно были заняты по горло. Вечно возили их повсюду — на футбол, на танцы, в лагерь, на дискотеки. Потом возили ее мать. И ее сестру, и его маму. И ее подругу. Ту, которая от мужа сбежала.

Его влекло к ней. Он готов был это признать. Это так ничем и не кончилось. Но что-то он чувствовал. Женщина, которая заводит романы на стороне. Его это возбуждало. Что было, то было. Даже когда ее дети сидели на заднем сиденье. Адюльтер. Еще одно ничего не значащее для него слово.

Дети, да. Хотя в принципе это ничего не меняло. Они все время были заняты, с ног сбивались — с ума можно сойти. Но у них были общие дети. Даже когда они были наверху, в постели.

Кто-то из них проснулся?

Не останавливайся, только не останавливайся.

Где его ингалятор?

Не останавливайся!

Им это нравилось. Они это любили. Когда-то. В течение очень долгого времени. Двадцати шести лет. Что же случилось?

Пропади все пропадом, он не знал.

А она?

Он не знал.

Может быть.

Он не знал.

Ничего он не знал.

Идея с теликом не прошла. Не сработало. Снова глупость. Мысль, что телевизор может объединить их. Даже хороший. Они его особо-то и не смотрели. Никогда. Сам он время от времени смотрел футбол, но фанатом не был. Она любила политику. *Вопросы и ответы. Прайм-тайм.* Наверху в спальне был еще один телевизор. Чтобы смотреть на политиков, большой экран не нужен. Сама затея с телевизором была дурацкой.

Футбол на большом экране смотрится лучше, это да.

Он понял, что улыбается. Его лицо к этому не привыкло и сопротивлялось. Он не вмешивался. Он улыбался.

Она все еще болтала по телефону. Смеялась.

Как в старые времена. Он улыбался, она смеялась. Такими они знали друг друга когда-то.

Глупо.

Он болван. Все совсем не так, как в старые времена, ничего похожего — какими бы эти времена ни были. Он был сам по себе. Она была где-то еще. Ничего у них не было общего. Ничего.

Это было приятно, да. Ее смех. Ему всегда нравилось, как она смеется.

Он часто смешил ее.

Господи!

А сейчас может? Рассмешить. Вряд ли. А ей бы этого хотелось? Неизвестно.

Но ведь раньше он это делал. То и дело щекотал ее. А теперь не мог. Проскользнуть за ней в ванную. Они никогда не принимали ванну вместе. Он опять улыбнулся. Одна только мысль. Прокрасться за ней. Ее бы это чертовски возбудило. И это был далеко не единственный способ заставить ее рассмеяться. Можно и словами. Анекдотами. Он ломал комедию, корчил из себя идиота. Ей нравилось. Она это любила. Становилась ближе, когда смеялась.

Он мог бы попытаться. Анекдот. Как-то раз англичанин и ирландец... — нет, глупо. Про парня без заднего прохода. Нет. Может, про ир-

ландца на концерте Тины Тёрнер. Он улыбнулся. Слишком длинный, да и в первый раз он ей не понравился. Он помнил.

Да чем он вообще сейчас занимается?

Он и сам не знал.

В чем разница между хорошей скачкой и хорошей срачкой? Этот ничего. Короткий и смешной. Но он так давно не рассказывал ей анекдотов. Просто валяет дурака.

Они с утра и словом не перемолвились.

– Дождь идет.

– Ага.

Дождь идет – он.

Ага – она.

И это было – он посмотрел на часы – почти восемь часов назад. А сейчас он хочет рассказать ей анекдот. Идиотизм. В чем разница между хорошей скачкой и хорошей срачкой?

Идиотизм.

Тупица. Дурак.

Сейчас он не злился, нет. Он даже не очень представлял себе, из-за чего сердился раньше.

Неправда. Представлял. Но сейчас он не злится.

Он расскажет ей анекдот. Теперь он разволновался. Анекдот хороший, да. Короткий, незамысловатый. Когда он начнет рассказывать, станет ясно, срабатывает ли.

Что ясно-то? Он не знал. Он просто хотел, чтобы анекдот сработал. В этом все дело. Ее лицо. Он хотел увидеть, как она слушает, – вот и все. Увидеть ее лицо, смотреть, как она слушает. Понимает, что у него на уме. Так и будет.

Он прислушался. Она все еще была там, на кухне. Он слышал ее шаги. Он точно знал – он и сам бы не мог сказать почему, – что она закругляется. Что-то такое было в ее движениях. Явно собирается положить трубку.

В чем разница между хорошей скачкой и хорошей срачкой? Нет, он не сможет. Слишком похоже на жест отчаяния. Она тут же решит, что это попрошайничество. Крик о помощи.

Идиотизм, да. Никакой это не крик. И, черт возьми, никакой милостыни ему не надо. Это просто анекдот. Ну вот, положила трубку. Она еще на кухне. Нет, больше, чем анекдот. Теперь он знает.

Поймет ли она?

Она подошла к двери. Остановилась.

Он посмотрел на нее.

Колум Макканн

Как называется твоя страна за горой?

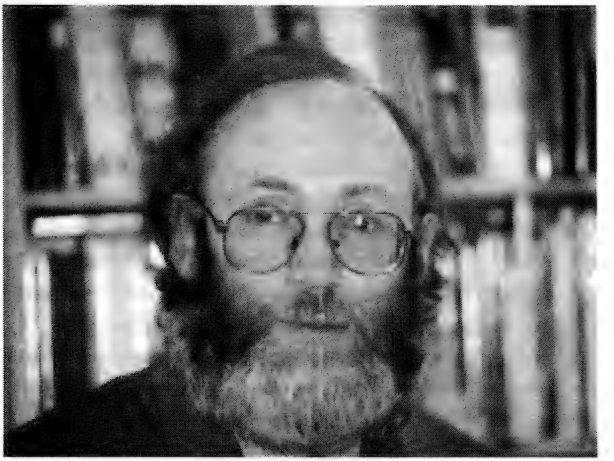
Перевод Ирины Пашаниной

СКОЛЬКО бы ни собралось фактов, все равно чего-то не хватит. Сегодня вторник, а похоже на воскресенье, потому что я не иду в школу, на меня надели бледно-зеленый костюм, который мне тесноват, и синий галстук, который давит шею; мама уставилась в одну точку, старший брат молчит, а я гляжу на свое отражение в стекле машины и думаю: вот я какой в день смерти папы. Машина едет к церкви. Этим утром папины ботинки под кроватью стояли непривычно ровно и далеко друг от друга, напоминая столбики ворот. В этом году зима отвратительная, все лодки убрали, и одинокие деревья вдоль берега гнутся под ветром, и сухие листья перелетают через сложенные из камней ограды садов, застревая в спутанных рыболовных сетях, придавленных кирпичами к земле. Где-то далеко хлопают некрашеные двери и чайки устремляются вниз, готовые кинуться на любые объедки. Во всех домах опущены шторы. Уже неделю, если не больше, никто не выходит в море. А еще он пил. А еще он пел. А еще у него был скверный характер. А еще он носил на шляпе синее перо селезня. А еще восемь дней назад он выпал из лодки. А еще он никогда не выходил в море на лодке. А еще его тело нашли запутавшимся в водорослях, где его с изумлением разглядывали два тюленя. А еще я больше не буду чьим-то любимцем и его жизнь теперь звучит у меня в ушах. А еще машина проезжает мимо церкви и едет дальше к горе, которую потом, на другом языке, будут называть холмом. А еще он рассказывал страшные истории страшными словами.

© Colum McCann, 2005
© Ирина Пашанина. Перевод, 2007

А еще в Дрездене он вытащил одного мальчика из сиротского приюта — меня. А еще никто не верил ни ему, ни его историям. А еще забвенья нет. А еще он надолго уезжал, а еще привез что-то маме, а еще она разбила это вдребезги, а еще он ходил взад-вперед около телефонной будки в ожидании звонка, а телефон так и не зазвонил. А еще он носил фирменные кожаные ботинки, стоптанные на одну сторону. А еще море подкатывалось к его ногам, будто обнимая их. А еще они забрали его в больницу для умалишенных. А еще он любил слушать по радио прогноз погоды. А еще он слушал кроншнепов. А еще они никогда не позволяли ему стоять у окна, если не было тумана. А еще пройдут годы и я буду разыскивать его историю в Национальной библиотеке, в Британском музее, в архивах Санкт-Петербурга, а потом в библиотеке на Пятой авеню, историю об ирландском солдате, которого занесло в Дрезден, чтобы усыновить ребенка в память о человеке, которого он то ли застрелил во Франции, то ли нашел умирающим от ран и чья жена потом погибла при ковровой бомбардировке, а ребенок выжил и его вывезли на телеге в этот самый жестокий и самый гуманный из веков. А еще он запрыгнул в трамвай. А еще город был разрушен. А еще приют был на берегу озера. А еще там не было детских кроваток. А еще потолки были высокие. А еще бинты стирали в бурой от крови воде. А еще мой отец выкупил мальчика у нянечек и привез домой, туда, где пока еще была гора, а не холм, к жене, у которой был другой мальчик, ждавший его. А еще она во все глаза смотрела, как он с чемоданом идет по улице от аэропорта. А еще она вытащила из рукава платья носовой платок. А еще мальчик у нее на руках темноволосый, а мальчик рядом с ним — светленький. А еще все мы в первый раз встретились. А еще за этим молчанием должно что-то крыться. А еще она шагнет навстречу. А еще он слегка подтолкнет меня в спину. А еще я узна́ю, что все в этой истории правда, так как лучшие истории именно те, которых мы больше всего стыдимся, которые мы ненавидим, и узна́ю, что память борется с забвением, что всегда чего-то не хватает, что жизнь не окончена, что машина все еще едет по дороге вдоль моря сегодня, что моя мама смотрит прямо перед собой, мой брат молчит, катафалк едет впереди, на его колесах грязь, и я слышу шуршание гравия, когда машина поворачивает в то место, которое я чуть было не назвал стоянкой, но которое, конечно же, ею не было.

Дермот Болджер



Улицы Марты

Перевод Марии Фаликман

ПИСАТЬ Марта уже перестала — рука совсем не слушалась. А вот читать могла, пусть медленно и не без помощи лупы. Чтение стало для нее единственной возможностью хотя бы на время покинуть эту богадельню в дублинском предместье: стоило перевернуть страницу — и вот она уже вновь на улицах своего города, города Джеймса Джойса. А дальше — стой себе на дублинском причале, смотри на лица спешащих мимо людей — тех, кого знавал еще ее отец. И можно не обращать никакого внимания на жалобные звуки, долетающие из общей комнаты, где здешние обитатели кротко дожидаются кто смерти, а кто просто обеда, — ведь их заглушат крики чаек и уличных торговцев, разносящиеся над Лиффи в час отлива.

Когда вам девяносто один, поздно впадать в отчаяние и поддаваться панике. Вскоре свет в спальне погасят, но заснуть все равно едва ли удастся. Ей не дают спать незнакомцы, бродящие по ночам по комнате. Ночная сиделка утверждает, что все это вздор, что Марта всегда спит, когда бы она ни заглядывала. Но ведь здешние сиделки заранее уверены, что все пациенты крепко спят — им же дают снотворное. Всем, кроме Марты. Только она до сих пор в своем уме, только она способна доставить служителям лишние хлопоты, а то и развеселить. Да нет, она не жалуется: здесь к ней очень добры. Но привыкнуть к жизни в доме престарелых непросто, ведь всю жизнь Марта ни от кого не зависела, и задерживаться здесь надолго она не собирается. Впрочем, она понимала, что не пережила бы еще одну зиму в своей неотапливаемой квартирке на Бэггот-стрит, среди множества книг и банок с кошачьим кормом, ес-

© Dermot Bolger, 2005
© Мария Фаликман. Перевод, 2007

ли бы кто-то из ее бывших учеников не позаботился о ней и не пристроил в этот приют.

Что и говорить, Марта была благодарна им за заботу, но в душе лелеяла план побега. Сиделка не возражала и даже обещала Марте помочь собрать вещи, когда зима подойдет к концу. Переезжать лучше весной. Она сняла бы квартиру, где было бы много-много книжных полок, а неподалеку — магазинчик и библиотека. В прошлом году сиделка тоже предлагала ей помощь, однако настойчиво советовала подождать еще месяца три, чтобы набраться сил для переезда. Но будущей весной она уж точно не отступится от своих намерений и непременно переберется в собственную квартирку, и на подоконник к ней будут прилетать птицы. Во всяком случае, там ей не будет страшен никакой санитарный инспектор. Марта старалась не волноваться, что проку в бессильном гневе, хотя как же хотелось встать с постели и распахнуть окно. Но ей строго-настрого наказали держать окно закрытым, когда выяснилось, что она тайком оставляет на подоконнике хлеб для птиц. Начальство боялось, что заведутся мыши и санитарная инспекция закроет богадельню.

В общую комнату, где, подремывая, проводили свои дни прочие обитатели дома, Марта даже не заглядывала. Она никогда не любила общественных развлечений и почти ничего не знала о тех, с кем жила здесь бок о бок, а потому к удовольствию от общения с их посетителями неизменно примешивалось чувство вины. Тем не менее каждый день после обеда, укутавшись в вязаную кофту и нахлобучив шерстяную шапку, Марта устраивалась в прихожей на облюбованном ею диванчике и болтала со всеми приходящими. Когда же сестра-хозяйка выражала свое недовольство тем, что сиделки приносят ей слишком уж много книг, Марта в ответ цитировала Виктора Франкла[1], как прежде цитировала своим ученикам: "Если у человека нет жизненной цели, он либо впадет в отчаяние, либо станет опасен для себя и для окружающих".

Когда вам девяносто один, времени почти не остается, поэтому у каждого дня должна быть цель. Нечего идти на уступки катаракте — этим вечером Марта непременно прочтет шесть страниц из "Улисса", из главы "Сирены". Уйдя с головой в книгу, она вновь переживет те минуты из жизни Леопольда Блума, когда тот, зная, что жена вот-вот согрешит с Буяном Бойланом, сидел в ресторане "Ормонд".

И еще вспомнит, как сама, восемнадцатилетняя, впервые прочла эту главу из запрещенной, привезенной братом контрабандой из-за границы книги. В скольких руках она втайне побывала, прежде чем Марта обнаружила ее за невинными с виду томами на полке в комнате брата? Марта училась тогда в Лоретанской католической школе и прятала книгу в школьной сумке, а после уроков читала в парке Сент-Стивенз-грин, замаскировав пыльной обложкой с надписью "Жития святых". Ох, и потрясло же ее в тот день то, как Джойс сумел передать разговор двух развязных барменш. Барменш она не любила, но тут они предстали перед ней во плоти — ничего подобного ей не встречалось ни в одной другой книге. Они, барменши, у Джойса даже думали: и как только ему удалось передать это на бумаге? Марта до сих пор помнит, как мимо ее скамейки в Стивенз-грин прошел полицейский и ей показалось, что вот сейчас

1. Виктор Эмиль Франкл (1905–1997) — австрийский психиатр и психотерапевт. Автор книги "Человек в поисках смысла" (рус. перев. — 1990). (*Прим. перев.*)

он обернется и конфискует книгу, а ее саму отведет к монахиням, не замедлив объявить во всеуслышание, что эта бесстыжая нехристь читает всякую порнографию.

Однажды именно так и высказался об "Улиссе" отец, когда во время обеда кто-то мельком упомянул книгу. Да отца бы удар хватил, узнай он, что она ее читала. Впрочем, когда она пыталась проявить самостоятельность, он всегда чувствовал себя уязвленным. Он оскорбился, узнав, что Марта хочет поступать в университет, что не собирается найти себе порядочного молодого человека и выйти замуж, что у нее вообще есть какие-то свои планы, вовсе не согласующиеся с его представлениями о том, какой должна быть женщина. В те годы "Улисс" стал для нее библией, доказательством того, что все люди разные, что у каждого свои мысли и своя вера, а за фасадами ее родного города полно тайн.

И все-таки она жалела о тех годах, когда они с отцом отдалились друг от друга. Не то чтобы он разлюбил ее, нет, но его недоумение и разочарование росли подобно раковой опухоли и буквально вынудили ее отправиться вслед за Джойсом за границу, где она уже не ощущала отцовского неодобрения. Она преподавала в Мадриде, когда в 1961 году получила сообщение от брата, что отец умирает в дублинском доме для престарелых.

Она приехала в родной город, отправилась прямиком в больницу и сидела там в напряженном молчании, не зная, о чем с отцом говорить. Вернувшись в неухоженный дом, где отец жил один, она бродила из комнаты в комнату — пока, подчинившись внезапному душевному порыву, не заглянула в дальний ряд книг на полке в старой спальне брата и не обнаружила "Улисса", обернутого в коричневую бумагу.

На следующий же день она привезла книгу в больницу и стала читать вслух: конечно, не всё подряд, у отца просто не хватило бы времени выслушивать разглагольствования Стивена Дедала. Несмотря на протесты отца, она принялась читать, как Леопольд Блум пришел в редакцию газеты, битком набитую самыми отъявленными пьяницами Дублина, а потом взялась за главу, где Блум вместе с другими едет в Гласневин на похороны. Поначалу отец сопротивлялся и всё требовал, чтобы она не засоряла ему мозги. Но потом простое человеческое любопытство все же взяло верх. Ведь это были его улицы, люди его круга. Он признался, что молодым человеком пил как-то с отцом самого Джойса — такой вот прискорбный случай. Он узнавал некоторые выражения и восклицал время от времени: "Ей-богу, Джойс не соврал!" или "А я ведь знал этого парня!"

За эти несколько недель до его смерти "Улисс" стал для них общим миром, но если Марта об этом мире только читала, то отец в нем вырос. Книга помогла им заново узнать друг друга. В этом-то и был секрет "Улисса". Книга стала для Марты своего рода визитной карточкой — так же, как шахматная доска становится визитной карточкой человека, который входит в незнакомое кафе и кладет ее на стол: вдруг кто-нибудь да откликнется? Когда она после смерти отца перебралась в Дублин, горожане поначалу возмущались, видя у нее в руках книгу Джойса. Однако через некоторое время в кафе "Бьюлиз" к ней стали подходить молодые люди, одолеваемые любопытством: что же это за книга, которую не купишь в ирландских книжных магазинах?

В книге восхищало прежде всего то, что ее можно было перечитывать бесконечно. Шли годы, а Марта вновь и вновь переворачивала страницы "Улисса" в аэропортах и на заграничных пляжах, где молодые люди были слишком заняты друг другом и пожилая дама в шезлонге их нисколько не интересовала. Тем не менее порой рядом с ней останавливался то стареющий поклонник писателя, то девушка, не верящая своим глазам: да разве может старуха читать такую книгу? Со временем они надоели ей, все эти знатоки Джойса, что пустословили по поводу точки с запятой, стоящей не там, где положено, и паразитировали на людях, которых знал ее отец. А один сумасшедший итальянец на Мальте посчитал, что уж если она держит в руках такую книгу, то явно не прочь поучаствовать в оргии! Марта со смехом рассказывала о подобных встречах друзьям, как и она сама мысленно никогда не расстающимся с "Улиссом". Это позволяло им во время деловых встреч или семейных торжеств незаметно сбежать вместе с Блумом в ночной город или уйти в вечность вслед за Стивеном по Сэндимаунт-стрит.

В последнее время, после того как умерла последняя из ее кошек, герои Джойса стали казаться ей реальнее людей на улицах Дублина — тех, что проходили мимо, когда у нее вдруг рассыпáлась мелочь у кассы супермаркета, и чувствовали себя неуютно, когда она входила в автобус. Да, она зажилась на свете: почти все, кто знал ее молодой, умерли. Иногда, глядя в зеркало, она с трудом себя узнавала. Лишь герои Джойса не старели, лишь благодаря им она до сих пор была в своем уме.

Но Марта знала, что старческое слабоумие не за горами, ведь по ночам по ее комнате ходили отнюдь не сиделки и не санитарные инспекторы, а они — герои Джойса: Буян Бойлан, Флинн Длинный Нос, Гражданин. Порой они кричали на нее, порой беседовали друг с другом, не замечая ее присутствия. Она явно начинала терять рассудок и в глубине души понимала, что из богадельни уже не выбраться. Но свой уход из жизни она тщательно продумала и ни за что не хотела, чтобы после смерти к ее телу прикасались священники. Было бы чудесно, если бы кто-нибудь из друзей сыграл "Оду к радости" Бетховена, написанную композитором, когда он был уже до того глух, что на премьере пришлось дергать его за рукав, чтобы маэстро обратил наконец внимание на бурные аплодисменты публики.

Марта собиралась умереть столь же просто, как жила. Однако бывали ночи, когда близость надвигающейся смерти пугала ее. Когда же сиделка погасит свет? Нужно заснуть, пока в комнату не пробрались незваные гости. Быть может, завтра кто-нибудь вызовется вывезти ее в инвалидной коляске на улицу. А если никто не вызовется, то у нее есть Джойс: юмор Джойса поддержит ее, стоит лишь, вооружившись лупой, старательно перечитать его слова.

Дверь отворилась, вошла сиделка. Вид у нее был усталый, но Марта надеялась, что все уже спят и они смогут поговорить.

— Как прошел день, Марта?

Марта вспомнила все свои переживания и разочарования, а также шесть прочитанных страниц из Джойса и призналась:

— Неплохо.

— Вы все еще собираетесь от нас уехать?

— Как только наступит весна.

— Снова отправитесь путешествовать. Вы ведь немало поездили, так? А я никогда не была за границей. Если уедете, нам будет вас не хватать.

— В самом деле? — Марта была тронута.

— Истинная правда. Вы ведь такая милая, особенно когда не капризничаете. А откуда у вас вон та странная картинка?

Марта взглянула на фотографию, где был изображен истощенный юноша за непокрытым столом: по одну сторону от него возвышались горкой грубо нарезанные бутерброды, а по другую — груда книг. Юноша жадно поглощал бутерброды, не отрываясь между тем от книги.

— Когда-то давным-давно увидела ее в Испании — и просто не смогла пройти мимо. Духовная пища — вот что такое книги.

— Вот и я тоже не прочь свернуться калачиком на диване с каким-нибудь романчиком, — поддержала ее сиделка. — Чтобы про любовь, но ничего серьезного. Устраивайтесь-ка поуютней, а я подоткну одеяло.

Марта подождала, пока сиделка ее укутает.

— Пожалуйста, откройте окно.

— Да ведь вы сами вечно жалуетесь на восточный ветер! И прекрасно знаете, что нельзя оставлять на окне хлеб для птиц.

— Знаю. Хоть на минутку. Просто послушать.

Сиделка с добродушной укоризной покачала головой. Однако окно открыла, недолго постояла рядом, прислушиваясь, и вновь покачала головой.

— Ну что, убедились? Нечего там слушать.

— Почему же нечего? — Марта опустила веки, вслушиваясь в роскошное безмолвие ночи, в бесконечные возможности, таившиеся в неслышимой музыке, из которой глухой Бетховен заимствовал свои божественные звуки. — Это же целая симфония.

Ночная сиделка послушала еще и закрыла окно.

— Может, вы и правы, а мы все тут не в своем уме. Вот уж не знаю. Спокойной ночи, Марта.

Марта не ответила и не открыла глаз, даже когда затворилась дверь. Ей хотелось, чтобы эти тихие волшебные звуки уснувшей земли подольше не уходили, хотелось слушать едва различимый шум далеких дублинских улиц, внимать всем этим голосам и искореженным жизням, которые описал Джойс. Этому до боли знакомому миру, который она так любила и который будет жить в душах других людей, когда ее прах развеют над отцовской могилой на кладбище Гласневин, всего в нескольких ярдах от того места, где однажды стоял Блум.

Клэр Киган

Рябиновая ночь

Перевод Анны Гениной

Издавна в этой стране обитатели каждого дома мыли ноги, то же они делают и сейчас, а потом выплескивали воду за порог, потому что грязную воду оставлять дома на ночь нельзя. Старики говорят, если грязную воду не выплеснуть за порог, а оставить в доме, случится беда, а еще говорят, что, выплескивая воду, надо сказать "Шохан!"[1] — чтобы ненароком не задеть какую-нибудь заблудшую душу или дух. Но это только присказка, сказка впереди...

Из ирландской сказки "Вода для мытья ног"

ВСКОРЕ после смерти священника в его доме на холме Дюнагор поселилась женщина. Она была высокая и худая и явно никогда раньше не жила на побережье — и пяти минут не прошло, как развешанное ею белье ветер унес к болоту. У Маргарет Фласк не было ни шляпы, ни резиновых сапог, ни мужа. Ее длинные темные волосы свисали вдоль спины, точно пучки водорослей. Она носила овчину, которая была словно на нее пошита, и взирала на людей ясным, проницательным взглядом женщины, которая многое пережила — и выжила. К тому времени, когда она переехала в Дюнагор, она была бесплодна. Она утратила способность рожать много лет назад, и виной тому была рябиновая ночь.

© Claire Keegan
© Caroline Walsh, 2002
© Анна Генина. Перевод, 2007

1. Осторожно! (*ирл.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Дом священника стоял на самой вершине холма, возле вышки, тень от которой по вечерам ложилась на дом. К нему был пристроен другой дом, такого же размера, и если смотреть с утеса Могер, они выглядели точно два застывших зайца. Она переехала сюда осенью. Ласточки уже улетели, и немногие оставшиеся на кустах шиповника ягоды начинали чернеть. Дом пропах мочой и разлагающими трупами насекомых. Маргарет вытащила на задний двор все, что не хотела оставлять в доме, и сожгла. Будучи суеверной, раздала его одежду. Маргарет знала, что, если этого не сделать, он в том мире останется без одежды. Она побелила стены и потолки, продезинфицировала полы и терла подоконники до тех пор, пока они не заскрипели под тряпкой: хоть она и была родом не из этих мест, но знала, что в грязный дом счастье не заглянет.

Прочистив печную трубу, она направилась через поле к ферме, над которой поднимался дымок. Вскоре она уже бежала обратно, ее длинные ноги едва касались влажного поля, и в руках у нее был печной совок, полный угольков. После этого у нее из трубы всегда шел дым. Она никогда не отлучалась надолго, спала мало, и огонь не умирал. Она любила вставать спозаранку, когда на небе еще светили звезды. Любила наблюдать за падающими звездами. Верила в силы природы и стремилась избежать дурных предзнаменований. Несчастий на ее долю уже досталось немало, так что теперь она никогда не выбрасывала золу в понедельник и не проходила мимо работника, не пожелав ему успеха в делах. Она посыпала очаг солью, развесила кресты святой Бригитты на стенах и следила за фазами луны.

Отмыв дом, она отправилась в Эннистимон, что стоял внизу, на побережье. Дороги были узкими и крутыми, канавы вдоль обочин выложены камнями. На полях паслись тощие коровы и небольшие стада длинношерстных овец. В городке у подножия холма седовласый сумасшедший стоял на мосту и подгонял проезжающих: "Быстрее, быстрее, зима на носу!"

Она купила муку и сахар, овсяную крупу, масло и чай, горох и фасоль, молоко, картошку и соленую рыбу, окропила стены и пол дома святой водой и испекла хлеб. Когда в пять часов стемнело, она вышла во двор и, задрав юбку, присела на корточки в траву. Ей хотелось окропить водой каждую травинку во дворе, хотя она не могла бы объяснить почему. Трава была высокой и сырой. Это было странное место, без единого дерева, ни единого увядшего листочка не увидишь осенью, только зыбучие болота да чайки с пронзительным криком кружатся под беспокойными облаками. Пейзаж выглядел стальным, могучим и вечным, но Маргарет, которая выросла среди дубов и ясеней, он казался пустым. Здесь летом не будет тени, и ячменные поля не будут золотиться в августе. Она решила, что постарается продержаться в этом доме до тех пор, пока не обидит кого-то или не позволит кому-то обидеть себя. Тогда она уедет, сядет в лодку и поплывет на Аранские острова, как можно дальше на запад, но так, чтобы не покидать Ирландию. А до тех пор будет держаться от людей в стороне, ведь от них ничего, кроме неприятностей, ждать не приходится.

Не всякий мужчина может заточить косу или вбить в землю кол. Стак, сорокадевятилетний холостяк, живший в соседнем доме, рано облысел, и глаза у него уже начинали тускнеть. Он жил и работал на этой земле вместе с отцом, пока тот не умер. Ему было тридцать восемь, когда отец оставил ему все болота и доход от продажи торфа. Стак жил не один, а с Джозефиной, хорошенькой коричневой козочкой, свободно бе-

гавшей по всему дому. Днем она глядела на огонь, а ночью занимала большую часть кровати. Стак доил ее дважды в день, мыл ей вымя душистым мылом и никогда не забывал привезти из города печенье с инжиром. Он двенадцать лет ухаживал за дочкой фермера из Лахинча, 624 раза угощал ее обедом по воскресеньям, но она так и не позволила ему коснуться края своей юбки или откинуть волосы со лба, чтобы хоть разглядеть ее как следует. Однажды она слегка выпила, и он поцеловал ее в машине за домом, и все. В конце концов она уехала и вышла замуж за торговца камнем, а Стак по объявлению в "Журнале фермера" нашел Джозефину.

Как и многие из тех, у кого было счастливое детство, Стак не умел расставаться с вещами. Одна из комнат в доме была до потолка забита отцовскими удочками, швейной машинкой матери, средствами против сорняков, банками с вареньем, дровяной плитой. Он хранил всю свою одежду — от нарядных детских курточек до штанов, которые недавно стали ему малы, и плотно закрывал дверь в эту комнату, потому что Джозефина любила забираться туда и жевать тапочки матери. Стаку не хотелось походить на нынешнюю молодежь. Они не умели ловить рыбу и снимать сливки с молока. Они разъезжали на машинах, которые им не по карману, с детьми, никогда не пробовавшими материнского молока, и готовы были переспать с незнакомцем после первого намека. По правде говоря, иногда и намекать не требовалось. Они пили пиво прямо из бутылок, возвращались из Америки и Праги и ели пиццу, но голден от сгнившего яблока отличить не могли. А теперь эта женщина, что поселилась в соседнем доме, сжигает мебель священника и бродит по дорогам растрепанная, будто у нее нет расчески.

Время шло, а в Дюнагоре мало что менялось. По небу неслись облака. Ветер распахивал ворота. Коровы и овцы покинули свои скромные угодья и были переведены в загоны. Почтальон заглядывал редко, разве что привозил счет за электричество. Однажды немолодой мужчина попросил Маргарет подписать письмо с просьбой засыпать рытвины на дороге. Пока она выводила свое имя, его глаза скользили по ней.

— Вы священнику родня? — спросил он.

— Разве я на него похожа?

Он посмотрел на ее ноздри, на цыганские глаза и ждущий рот.

— Вы ни на кого не похожи, — сказал он.

Она крепко спала, пекла хлеб и ходила гулять к берегу моря. Иногда она шла до Могера, смотрела вниз с обрыва и холодела от страха. Иногда, пока она сидела там и ее волосы и овчина намокали под дождем, она думала о священнике. Священник был ее двоюродным братом. Он приезжал к ним каждое лето помогать на сенокосе. Привозил с собой отличную погоду, сидел возле нее на самом верху стога, копал молодую картошку, дергал лук-шалот и ел его сырым прямо с грядки. Она была еще девчонкой. Небо тогда было голубым. Они всегда говорили, что получат у епископа разрешение пожениться, заведут коров и у них будет двое детей, прямо как у голубков. А потом он поступил в семинарию и стал гордостью семьи, и никто уже не звал его по имени:

— Еще немного соуса, святой отец?

— Как вы думаете, святой отец, чистилище и вправду существует?

— Отец не говорил, куда он пошел, святой отец?

И хотя он по-прежнему приезжал летом заготавливать сено, но никогда больше уже не перебирал ее волосы, сидя у грядок. Лето шло за ле-

том, и все члены семьи, вместо того чтобы включать проигрыватель и танцевать, когда сено высушено и убрано на чердак, становились на колени и присоединялись к его молитве.

Маргарет старалась не думать о священнике. После прогулок она сидела, опустив ноги в таз с мыльной водой, слушая Raidio na Gaeltachta[1], потом ложилась в его кровать, взяв с собой грелку, и поправляла его лампу так, чтобы свет падал на взятую им в библиотеке книгу. То и дело она натыкалась на строчку, которую он подчеркнул, слово, которое обвел. Иногда она видела у кровати его тень, чувствовала, как холодная рука сжимает ее руку, и вновь видела его накрахмаленный воротничок и сенную труху на манжете. Но то было лишь видение. Если она и любопытствовала перед сном, что делает ее сосед в постели за стенкой, долго она на этом не задерживалась. Она вообще старалась ни о чем не задумываться. Облачать прошлое в слова казалось ей пустой затеей, ведь прошлое уже случилось. Прошлое было обманчиво, оно текло медленно, точно воды глубокой реки. Прошлое само нагонит ее, когда придет время.

Без сомнения, она возбуждала любопытство. Кто-то говорил, что все ее родные умерли, что священник был ее дядей, что он пожалел ее и оставил ей дом. Другие уверяли, что она была богатой женщиной, что муж ее сбежал с молоденькой девушкой, и это разбило ей сердце. Поздним вечером в пабе все соглашались, что священник был ее любовником, что у нее был от него ребенок, который умер, и что священник никогда не служил миссионером, хотя на самом деле он им был. В канун Дня Всех Святых немолодой мужчина, что дал ей угольки, барабанил кулаками в ее дверь, но она осадила его, холодно глянув сквозь стекло. И женщины решили, что в ней, должно быть, происходят жизненные перемены.

— Над такими женщинами луна имеет особую власть, — сказала одна женщина из Лисдунварн.

— Это верно, — сказала другая. — Луна притягивает их, как прилив.

Стак, как и всякий мужчина, у которого никогда не было женщины, полагал, что он понимает женский пол. Он думал о Маргарет Фласк, когда возвращался домой из Линдосварны с Джозефиной на пассажирском сиденье. Она любила сидеть впереди, и он иногда думал, что она могла бы вести машину. Не правда ли, было бы ужасно, говорил он, если бы я понравился этой женщине? Ей всего-то и надо, что сломать стенку между нашими домами, и прости-прощай покой. Ей достаточно найти предлог постучать в его дверь. Если у нее найдется предлог постучать в его дверь, придется ее впустить. Если он впустит ее однажды, она придет снова, потом он зайдет к ней, и тогда начнутся проблемы. Одному понадобится свеча, другому грабли. От женщины не жди добра; она заставит его следить за одеждой и мыться. Ему придется каждый погожий день возить ее к морю и брать с собой корзинку для пикника, с бананами и черносмородиновым вареньем. Она будет приставать к нему с вопросами, где он был, когда он всего-то и ездил в Дулин сменить масло в машине.

Декабрь принес с собой дожди. Маргарет никогда такого не видела. Дождь лил не с неба, а обрушивался сбоку вместе с ветром. На окнах оседала соль, в воздухе носились морские водоросли. В городе у подножья холма люди стали пьянствовать, а птицы голодать. Мужчины играли в дартс на индеек и корзинки в качестве призов, ссорились и снова мири-

1. Гэльское радио (*гальск.*).

лись. Женщины несли домой срубленные елки и остролист, развешивали над карнизами цветные электрические гирлянды. Дети писали письма на Северный полюс. Почтальон сбился с ног, но Маргарет не получила ни одной открытки. Накануне сочельника она совершила прогулку к утесам. Она написала несколько строчек матери, но ответа не получила. Может, матери и в живых уж нет, а она и не знает. Море бесновалось, размывая берег, и она задумалась о том, сколько лет понадобится волнам, чтобы разрушить стены. Она вернулась домой, вымокнув до костей. От соленого дождя ноги у нее замерзли и в то же время горели. Темнело, но в домах не было света, и Маргарет сообразила, что отключилось электричество. Она подбросила в огонь торфа. Он был сырой, только тлел, а настоящего пламени не давал. Ей так хотелось дров, больших поленьев ясеня, которые можно колоть топором. Она представила, как ясным морозным утром во дворе раскалывает поленья, в этом она и двум мужчинам не уступит, а потом складывает дрова у стены, представила запах смолы и жар, исходящий от горящего дерева. Но дрова были редкостью в Дюнагоре. Ее мать, которая редко открывала рот, пела по-ирландски:

Cad a dheanfamid Feasta gan adhmad?
Ta deireadh na gcoillte ar lar[1].

Той ночью Маргарет зажгла свечу, поставила ноги в таз с мыльной водой и смотрела на тлеющий торф. Она думала, попал ли священник в ад. Священник верил в загробную жизнь; в Бога, и рай, и чистилище. Во все это. Он говорил, что бессмысленно верить в рай, если не веришь в остальное. "Остальным" он называл ад. Маргарет размышляла, попадет ли она туда, но казалось более вероятным, что она превратится в pucan[2] или лист конского щавеля. Она выпила две бутылки портера, и прошлое нахлынуло не нее. Все эти летние месяцы детской привязанности, разговоры о том, что они поженятся, а потом он уехал, и вся семья присутствовала при его посвящении. Его приезд, чтобы помочь с сеном, и всего лишь рукопожатие; он ест приготовленные ею ребрышки и соус из петрушки и в одиночестве гуляет по лесу. Она сталкивалась с ним на лестнице, в коровнике, на заднем дворе, где у канавы розовели наперстянки, и он кивал ей, точно она была собственной тенью. Однажды вечером неожиданно пошел дождь. Дом погрузился в уныние. Сено еще лежало неубранным.

— Нам конец. — Отец стоял у окна гостиной.

— Это всего лишь легкий дождик. — Мать всегда старалась успокоить его.

— Придется покупать. Я знал, что сегодня не стоит косить. Разве я не говорил, что мы не должны были косить? — Отец явно хотел, чтобы дождь усилился и подтвердил его правоту.

— Завтра погода наладится, я уверена.

— Нам конец.

Маргарет вышла без пальто и дошла до поляны, где росли рябины. Она всегда чувствовала себя спокойнее на природе, запах влажного па-

1. "Где теперь мне взять дров, / ведь весь лес уже срублен" (*ирл.*). Строки известной ирландской баллады.
2. Существо низшей мифологии, сродни лешему (*ирл.*).

поротника и лишайника смягчал безрадостность дома. Ветки рябины слегка покачивались над серебристыми стволами, листья чуть дрожали. На дорожке священник курил сигарету, его расстегнутая рубашка намокла на плечах. Единственной причиной, заставившей ее подойти, было желание задать простой вопрос: почему он никогда не смотрит ей в глаза, не спрашивает, как дела. Как может человек, обещавший на ней жениться, ни разу не спросить, как она поживает? И вот она подошла к нему, и стало ясно почему. Они без единого слова оказались на мокрой траве, среди ягод, и пока он извергался в нее, она знала, что заплатит за это. Потом он поднялся и стал мерить шагами лужайку между деревьев, курил, смотрел на нее, внезапно отвернулся и молча удалился.

Была уже ночь, когда Маргарет наконец встала с земли. Она шла, глядя на верхушки раскачивающихся деревьев и желтый серп месяца, просвечивающий сквозь листву. То, что она испытала, было чем-то обыденным, не таким, как ей представлялось. К дому ее вел звук собственных шагов по гравиевой дорожке.

Иногда она старалась представить, где бы она сейчас была, что делала бы, если бы тогда не подошла к нему. Теперь она все время боялась сделать малейший шаг в каком-либо направлении. Главное, чему научил ее священник, — это как далеко может завести один-единственный шаг. Маргарет очнулась. Вода в тазу остыла. Она вытерла ноги, ругнулась, чтобы не заплакать, и уснула в кресле.

Когда она проснулась, огонь почти погас и свеча догорела. В домах на берегу не было видно ни огонька. Деревни погрузились в темноту. Серпик зимней луны освещал двор. Коза, любимица соседа, забралась туда и поедала все подряд. У Маргарет не было ни сил, ни желания прогнать ее. Луна и облака были неподвижны, точно нарисованные. Она встала, вытерла ноги, поставила таз у очага и легла на кровать священника; и ей приснилось, что она мужчина.

Ей снился чердак, где из пола росла трава. Трава была выше домов, стебли клонились то к западу, то к востоку, потом опять к западу, хоть ветра и не было. Маргарет лежала без движения, одетая лишь в мужские брюки, и когда она запустила в них руку, то вместо пениса обнаружила жирную ящерицу, которая была частью ее тела. Мускулистый хвост ящерицы ходил из стороны в сторону. Женщина, похожая на нее, пришла из другого века, на ней было что-то вроде веревочной сетки. Она не испугалась ящерицы, а каким-то образом поместила ее внутри себя. Когда Маргарет проснулась, она провела руками по телу, чтобы убедиться, что она не превращается в мужчину. Взглянула на свою ладонь и была потрясена и обрадована, потому что увидела кровь. Она думала, все это уже позади. Встала, пошла в ванную, помылась. Начинало светать. Из-за занавесок пробивался сероватый свет. По дому гуляли сквозняки. Снаружи бушевал ураганный ветер. Маргарет привыкла видеть, как ветер прижимает к земле длинную траву перед домом, но странно было не слышать, как шумят на ветру деревья. Она никогда не сможет привыкнуть к Дюнагору, где возле дома ни одно семечко не пустит корней, не станет кленом. Она чувствовала запах собственной крови. Значит, она еще может иметь детей. На глаза ей попался таз с водой. Она открыла заднюю дверь и выплеснула воду наружу, навстречу ветру. Яростный вой ветра походил на крик человека.

Той ночью, по другую сторону стены, Стак не мог уснуть. С ним это часто случалось. Он не мог поверить, что другие люди действительно могут спать всю ночь и просыпаются отдохнувшими. Иногда он даже любил бодрствовать, когда все кругом спят. В такие ночи он ел булочки с кремом и смотрел телевизор вместе с Джозефиной. Бывали ночи, когда ему до смерти хотелось, чтобы рядом был другой человек, который бы переключал каналы и кипятил чайник. Он укрыл Джозефину курткой. Она уже заснула. Она много спала, и ей снилось, как она ест всякую всячину. В хорошую погоду Стак надевал шапку и куртку и шел гулять на болота. В ту ночь не было электричества, он пил горячее виски и думал о прошлом. Ничто не могло сравниться с прошлым: вот мать со смехом наблюдает, как он становится левшой; отец учит его бриться; лето, на болоте они обгорели и по очереди мазались лосьоном из ромашки, и отец напевал песню, от которой мать краснела. Но отца и матери не было в живых. Он думал о смерти и о том, как будет умирать, когда, слегка пошатываясь, шел к дому Маргарет. Он был убежден, что умрет в одиночестве и никто не узнает об этом, пока Джозефина не прогрызет дверь и кто-нибудь не увидит ее и не приведет домой, к его телу. Приятно быть уверенным хоть в чем-то. Он стоял у двери Маргарет и слушал. Ни звука. Светало. Над утесами царило сияние, но солнце еще не взошло. Никто не знал, что он стоит тут. Он был затерян в пространстве, а женщина спала в доме, в безопасности. Он простоял так довольно долго, представляя, что она — его женщина. Потом дверь отворилась, и Маргарет, полусонная, выплеснула воду из таза прямо ему в лицо.

Он вернулся домой. Джозефина спала в постели. Он улегся рядом; голова была пуста; его бросило в жар, потом в холод. Он вспотел, разделся догола, выпустил газы. Он чувствовал, как ком, который всегда стоял у него в горле, растет и перемещается в желудок. Он долго сидел в туалете, пока ком не вышел, размером с бутылку портера. Он глянул в зеркало. Оттуда на него смотрел незнакомец. Выпивка, ночной воздух и холодная вода — то, что ему нужно.

Он уснул, и ему снилось, что Маргарет в медвежьей шкуре верхом на Джозефине несется по болотам Клэра. У нее было мускулистое тело. Он шел по следам Джозефины, пока та не очутилась на берегу моря. Женщина огрела Джозефину кожаной плетью, заставляя войти в воду, и они поплыли. Волны были огромными. Стак стоял у края воды и просил Джозефину вернуться: "Эй, Джози! Вернись ко мне! Джози!", но она становилась все меньше и меньше, и в конце концов он увидел, как Маргарет выходит на берег Инишмора и мужчины с обветренными руками окружают ее, окружают и Джозефину и уводят, подкупают шоколадом.

Когда он проснулся, то почувствовал, что родился заново. Было одиннадцать вечера. Он проспал сочельник. Невероятно. Джозефина стояла над ним, покусывая мягкую плоть его руки. Он открыл дверь и выпустил ее. Маргарет Фласк — дикарка, подумалось ему. Разве не видел он своими глазами ее обнаженную белую грудь под овчиной? Разве не справляет она малую нужду во дворе? Разве не проснулась она оттого, что он был там, и даже не мигнула, когда он вскрикнул?

Рождественским утром он помылся. Он не принимал ванну с Пасхи. Электричества все еще не было. Он вскипятил воду на газовой плите и чуть не ошпарился. Почистил ботинки, подоил Джозефину у очага и засунул кусок говядины в духовку. Он не понимал, почему смотрит на себя

или моется — разве что из-за Рождества, и он чувствовал себя таким юным, что мог бы переплыть Атлантику или вбивать колья в землю. Если бы только не лысина. У отца до самой смерти была густая шевелюра. Гробовщик причесал его перед прощальной церемонией, и Стак плакал, когда вернулся домой.

Он достал из холодильника угря и положил на сковороду. Это был рождественский подарок от торговца рыбой из Эннистимона, который знал вкусы Стака. Он был уверен, что угорь не испортился. Он смотрел на извивающийся черный кусок, поджаривающийся на сковороде. Рыба выглядела живой, и на мгновение он засомневался, уж не живая ли она на самом деле. Потом отмахнулся от наваждения и отправился по дорожке к дому священника.

Маргарет была не одета. Она почесывалась и думала. Ей нравилось до полудня слоняться по дому в ночной рубашке и предаваться размышлениям, пить чай, поддерживать огонь в очаге. Она пошла в уборную и убедилась, что кровотечение не прекратилось. Было странно, что ее яйцеклетки ожили. "Как здорово было бы нести яйца, как курица", — думала она. Однажды она, надвинув шапку на глаза, целых двенадцать дней ходила за несушкой по пятам, полагая, что, раз курица не видит ее глаз, она и ее не видит, — но кладку так и не нашла. Курица раз за разом заводила ее в заросли папоротника и исчезала. А потом в один прекрасный день она горделиво прошествовала во двор в сопровождении выводка из одиннадцати цыплят.

"Если бы только можно было обойтись без мужчины, — думала Маргарет, — я могла бы иметь ребенка". Мужчина был бессмыслицей и необходимостью. Если бы у нее был мужчина, она должна была бы уговаривать его мыться и пользоваться ножом и вилкой. Она разорвала полотенце пополам и сделала себе прокладку. За окном, в рубашке с короткими рукавами, маячил сосед-холостяк и глазел на нее. Она хотела посмотреть на него тем холодным взглядом, который отпугнул мужчину, приходившего в День Всех Святых, но сегодня было Рождество. Она открыла дверь. Холостяк выглядел мытым, но от него несло рыбой.

— Меня зовут Стак.

— Стак?

— Вроде Рождество, а ты без электричества, еду не приготовить.

— Холодно.

— Пойдем ко мне, позавтракаешь. У меня есть газ.

— Я не голодна.

— Ты не голодна. Вот молодец. Разве ты не знаешь, что луна меняется?

Луна? Что он знал про луну?

— Надень свою овчину, женщина, — сказал он. — Поторопись. Еда превратится в угольки.

Она не стала раздумывать. Надела овчину и башмаки и отправилась за ним по дорожке в сторону своих ворот, которые болтались на петлях. Его двор был усеян козьими орешками. Крыльцо было загромождено разобранным велосипедом, кабиной трактора, в кухне было темнее, чем в сарае. При свете газа она разглядела сложенные возле печи лопаты и совки, с потолочной балки свисала наточенная коса. Живая змея жарилась на сковородке; на столе большие куски черного хлеба и масло. Маргарет, неодетая, в ночной рубашке и овчине, чувствовала себя восхитительно. "Я вырабатываю яйцеклетки, — думала она. — У меня месячные. Я все могу".

Стак поднес пакет с замороженным горошком к свече, чтобы прочесть инструкцию. Она могла прочесть ее с того места, где сидела. Может быть, он слепнет. И эти вещи, которые он хранит: раковины, старые календари, пробки от бутылок, разряженные батарейки, фотографии умерших людей. Среди них была фотография Стака в молодости, с пышной шевелюрой, три картинки с Девой Марией, барометры, а между оконными рамами, за телевизором, вентилятор, чтобы стекла не запотевали. Она решила, что он любит смотреть, кто идет по дороге. Сквозь открытую дверь виделась неубранная постель. Пахло козой. Может, коза спит с ним. Подумать только.

— Не обращай внимания на беспорядок, — сказал он. — У меня нет женщины.

— Нет?

— Ну, у меня когда-то была женщина, но я не жалею, что ее больше нет. На нее уходила куча денег.

— Почему бы тебе не найти женщину с деньгами?

— Женщина с деньгами меня не захочет.

— Почему, разве у тебя изъян какой?

Он рассмеялся. Это был странный смех, скорее грустный, чем радостный.

— Нет, слава богу. На тебя посмотреть, ты тоже без изъянов. — Он явно объединял себя с ней.

— Ты, верно, недоучился в школе, — сказала она.

— Это почему?

— За сложением идут вещи потруднее.

— А ты за словом в карман не лезешь.

Но она уже не слышала его; точно заколдованная, она вновь была под рябинами, на той лужайке. Ни она, ни священник ничего не могли с собой поделать. Даже лучше, что он был священником. Раз он нарушил обет безбрачия, возможно, он сможет принять новые обеты. Она ощущала его на себе, задыхающегося, скатывающегося на живот, застегивающего молнию, пристыженного. И восторг: ведь они столько лет сидели на стогах сена, ели лук-шалот и он оставлял букетик примул на седле ее велосипеда. Она видела оранжевые гроздья рябины, трепещущие под дождем над его головой. Той ночью тоже была кровь. Она почувствовала, что краснеет, и закрыла лицо руками.

— За Джозефиной ухаживают лучше, чем за любой женщиной в Ирландии, — говорил Стак, кивая в сторону кресла.

Домашняя коза глядела на нее из темноты. Ее глаза пугали Маргарет. Стак привстал и вытащил веточку остролиста из-за фотографии. Маргарет подумала, что он собирается подарить веточку ей, но он протянул ее Джозефине, и та ее сжевала.

— Ты откуда будешь? — спросил он.

— Виклоу.

— Козососы, — сказал он. — Тогда все понятно.

— Ты меня пригласил, чтобы оскорблять?

— Это несложно, ты же гордячка. Бери стул.

Она не хотела брать стул, не хотела сидеть в этом ужасном месте и есть жареную змею, пока все эти мертвецы будут глазеть на нее с фотографий. Впрочем, чего она ожидала? Вот что бывает, когда рождественским утром женщина отправляется в дом к мужчине в одной ночной ру-

башке. Но она вдыхала аромат жареного мяса и гренок, смотрела на кипящий чайник. Вчера она ничего не ела. Вовсе не сердце, а желудок управляет нами, подумала Маргарет. Она была рада, что в комнате темно и грязи не видно, можно поесть в счастливом неведении. Джозефина сидела под столом и ела свой гренок с маслом.

— Большинство людей держит собак, — сказала Маргарет, переводя разговор на его любимую тему.

— Да, но разве их можно равнять с козой! Коза имеет массу преимуществ. Она ест все что угодно. Она может везде пройти. Она в два раза больше любой собаки, она как радиатор — ходит по дому и обогревает его, и, кроме всего прочего, она дает молоко. Ты любишь козье молоко?

— Нет. Но говорят, что крещеного в козьем молоке ждет особая судьба.

— Вот как? — Он заглянул в духовку, проверить говядину. Она подрумянилась, и он уменьшил огонь. — Ты веришь во все эти россказни?

Она сидела с набитым ртом и потому ничего не ответила.

Однажды мать взяла ее с собой в торговый центр. Там можно было сытно и дешево поесть. Вошел мужчина и заказал еду. Он был бледен. Ее мать смотрела, как он взял тарелку и отошел в угол, сев спиной к соседям, и сказала: "Видишь вон того мужчину? Если ты когда-нибудь увидишь такого, не подходи к нему, пока он не поест. Такой человек очень опасен". Сейчас Маргарет была таким человеком. Она выпила чай и съела бóльшую часть змеи. Стак бросил взгляд на ее большой нос, на ее длинные волосы и снова наполнил ее чашку. Он отрезал ей еще кусок угря и смотрел, как она ест. Пока она поглощала еду, точно дикарь, он думал о том, как будет выглядеть их общий ребенок.

— А ты скучаешь по Виклоу?

— Все время.

— А чего именно тебе не хватает?

— Мне не хватает ясеней, — ответила она и почувствовала, что вновь краснеет. Рябины, ясени — это было одно и то же. Стак продолжал болтать. Он говорил о молодежи и торфе, о правительстве, о планах на новый год и солнечных ожогах. Когда он остановился, чтобы перевести дыхание, она ушла домой. "Он одинокий человек, — думала она, — но порядочный. А эта коза! Она будет ревновать".

Когда Маргарет вернулась к себе, дверь была широко распахнута, и забравшийся внутрь выводок черных щенков-дворняжек загадил весь пол. Она понятия не имела, откуда они взялись. Они сжевали края библиотечных книг, забрались на мебель и оставили грязные следы лап на ее чудесном белоснежном покрывале. Один из щенков заполз на нее и куснул за руку, виляя хвостом. Она перевернула его и увидела маленький пенис. Маргарет отшвырнула щенка и подумала о Стаке. Она не понимала, зачем пошла в дом к незнакомцу и ела пищу, которая могла быть отравлена. Она вновь увидела его большую лысую голову и как он потянулся за остролистом, который дал не ей. Ей повезло, что она осталась в живых. Той ночью ей снились дети, сгоняющие щенков в кучу, они свистели, светили фонариками им в глаза, и зеленые глаза, точно демоны, кружились повсюду. Той ночью, когда она ходила на могилу священника, на кладбище были собаки. Пока она стояла у могилы, они не двигаясь наблюдали за ней. Значит, они вернулись. Она почувствовала озноб, наки-

нула кофту поверх ночной рубашки, налила в грелку горячей воды и вернулась в кровать священника.

Когда пабы вновь открылись после Рождества, пошли разговоры. Видели, как эта женщина, Фласк, выходила из дома Стака в одной ночной сорочке. Он, должно быть, ее остриг, шутили они, поскольку от овчины не осталось и следа. Стак перенес ее через навозные кучи на своем дворе и через ее собственный порог. Некоторые говорили, что тем дело и кончилось.

— Ему надо пить дрожжи, — сказал бакалейщик.

— Ему же надо на табуретку вставать, чтобы дотянуться до ее трусов, — сказал плотник.

— В постели мы все одного роста, — сказал старик.

— Только представьте их вдвоем без единого лоскутка, — сказала жена торговца тканями. — Вот ужаса-то они друг на друга нагонят.

— Его ужас и вполовину не такой большой, как ее, — сказал мающийся от зубной боли торговец скотом, который изо всех сил старался включиться в разговор.

— Вы хотите сказать, маленький ужас, — сказала барменша, которая была не замужем и уже не первой молодости, но делала вид, что ей все равно. — Две горошинки и мышиный хвостик.

— Тебе виднее, — сказали все, потому как знали, что барменша не прочь поселиться в коттедже со Стаком и летом глазеть из окна на туристов, к тому же у него куча денег и тратить их особо не на кого.

Дым из трубы продолжал подниматься в небо. Маргарет купила в супермаркете две коробки с прокладками, и женщины стали судачить.

— В Дюнагоре еще может быть ребенок, — говорили они.

— Стак-то будет на седьмом небе от счастья.

— Весна скоро.

Маргарет ходила гулять в перерывах между ливнями, следила за своими месячными и фазами луны. Дни становились длиннее, но к вечеру красное солнце всегда погружалось в море. У берега плавала грязная пена. Вереск тучнел, болота обросли новыми побегами, точно волосами. Туристы бродили по Дулину в поисках ирландской музыки и мидий, спрашивали дорогу к святым источникам. Из Дублина приезжали мужчины попробовать свои силы на поле для гольфа в Лахинче, теряли и находили шары. Немка, путешествующая автостопом, постучала в дверь Маргарет и спросила, где восток. Маргарет показала в сторону родительского дома, и девушка отправилась прямиком через поля.

В День святого Валентина Маргарет вышла из дома и обнаружила у входной двери ясеневые дрова. Она знала, что огонь от ясеневых дров прогоняет дьявола. Маргарет села в машину и отправилась в Эннистимон. На узкой дороге ей повстречалась другая машина, разъехаться они не смогли, обе машины потеряли боковые зеркала; они остановились, переглянулись и продолжили путь. Когда она въезжала в город, сумасшедший на мосту попробовал остановить ее, выкрикивая: "Семь кочанов капусты за фунт! Десять бананов за два!"

Люди покупали и продавали красные розы. Маргарет купила топор и все утро колола дрова, потом развела настоящий огонь. Стак принес их ночью. Он выпил, позвонил по телефону и отправился в Лимерик, где обменял три грузовика торфа на грузовик дров. Маргарет сидела у ог-

ня, опустив ноги в таз, вся в поту. Она пила шерри, купленный вместо торта, который никогда сама не пекла, и думала о своем сыне. Если бы он был жив, ему было бы девять. Она слышала банши[1] вечером накануне его смерти, но подумала, что это была просто бездомная кошка. Младенец крепко спал в колыбельке. Он спал так тихо, что она вечно беспокоилась. Иногда она подносила ладони к его губам, чтобы убедиться, что он еще дышит. Той ночью она несколько раз проверяла его дыхание, а утром он был холодным, губы посинели. Она остановила часы и убежала в лес с ребенком на руках; хотела повеситься. Она оставалась в лесу всю ночь, а потом вернулась домой, чтобы пройти через неизбежное.

— Внезапная младенческая смерть, — сказал доктор. — Это случается.

Она так и не простила его за эти слова. Впрочем, она была не из тех, кто прощает; прощение означало забвение, а она предпочитала оставаться верной своему горю и своей памяти. Но она всегда винила себя. Вскоре после рождения ребенка рыбак из Росслэра проведал, что ее сын родился в сорочке.

— Я отдам тебе за нее последний пенни, — сказал он. — Мой отец и мой единственный брат утонули. Продай мне сорочку, и я буду на море в безопасности.

— Не продам ее ни за что на свете, — ответила Маргарет.

— Я могу предложить только деньги, — сказал он и ушел. Ей было его жаль, но выполнить его просьбу она никак не могла. А потом ребенок умер, и она бросила сорочку в огонь. Больше всего ее расстраивали мысли о том, что́ ему не суждено было сделать. Подумать только, он никогда не сделает первого шага, никогда не увидит своего отца. Она не сомневалась, что будущее состоит из домашних заданий, которые он будет выполнять за кухонным столом, тетрадок с золотыми и серебряными звездочками, грязи и беготни, снятия мерок для пиджачка, который он наденет на первое причастие. А потом это будущее было стерто, исчезло без звука, без следа.

Февраль перешел в март с его переменчивой погодой. Вера Маргарет в приметы укреплялась. Когда она останавливалась в пабе в Дулине, чтобы съесть тарелку супа, и видела кошку, сидящую у камина спиной к огню, она спешила заказать еще угля, так как знала — погода испортится. Так же она поступала, если холмы казались ближе. Море было черным — значит, собирался дождь. Однажды утром она проснулась и увидела на шкафу ворону. Она отправилась в часовню и поставила свечку за душу своего ребенка. Старая женщина, опустившись на колени у исповедальни, крепко спала. Маргарет подошла к алтарю, где отец ее ребенка когда-то служил обедни. Она впервые была в часовне. Она представила, как он служил здесь, клал облатки на языки прихожан, пока рос ее живот вместе с его ребенком. Она зажгла свечку у ног святого Антония, подошла к переднему ряду скамей и уставилась на амвон. Она не собиралась молиться, но когда очнулась, колени ныли, женщина исчезла, а группа детей готовилась к первому причастию. Она оглядела каждого мальчика в поисках того, которого никогда не увидит, наполнила бутылку из-под шерри водой из фонтанчика при входе и пересекла площадь.

1. Банши — плакальщица, существо из ирландского фольклора. Банши появляется, когда член семьи умирает далеко от дома, также плач банши может означать смерть.

Рядом с овощным лотком был припаркован фургон. *Посетите мадам Нолан, предсказательницу* — значилось на вывеске. Маргарет дошла до гостиницы и заказала в ресторане жареную селедку. С улицы доносились тревожные крики ворон. Когда она покончила с едой, захотелось выпить, но вкус большинства напитков был ей незнаком. У них дома держали виски для больных телят и самогон из картофеля, чтобы растирать гончих, но никто никогда не пил, разве что на Рождество, когда покупалось двенадцать бутылок портера, чтобы было чем угощать гостей. Гости приходили к ним редко, но когда это случалось, они выпивали телячий виски и отец ворчал, что ему придется пойти в магазин за новой бутылкой. Она подошла к бару и взяла первую попавшуюся бутылку; на ней было написано "Самбука". Она попросила большую порцию. Бармен уточнил, хочет ли она двойной, и она кивнула, думая, что это какая-то разновидность бокала. Напиток выглядел как вода, на вкус был как лакрица и перебил вкус селедки во рту. Люди входили, смотрели на нее. Она знала, о чем они думают. Вот женщина, которая живет сама по себе. Это та самая женщина Фласк, которой добивается Стак. Она не могла этого вынести. Она вернулась к фургону и шагнула внутрь, навстречу слабому свету свечи. Мадам Нолан была крашеной блондинкой с загорелым лицом. На столе стоял чайник.

— Хочешь узнать свою судьбу, красавица? — спросила она.

— Я не знаю.

— Да ладно. Вреда никакого. — Из радиоприемника звучала любовная песня в исполнении Вилли Нельсона. — Я посмотрю в твою чашку.

Маргарет пила чай, и они говорили о погоде. Так странно было разговаривать с другим человеком. Она с Рождества ни с кем не говорила, и это было ужасно — пытаться понять смысл слов, произносимых собеседником, потом собственных слов и все, что за ними скрывалось. Мадам Нолан достала зеркало и нанесла на губы еще один слой розовой помады.

— Я хорошо выгляжу?

Розовый цвет помады напоминал наперстянки.

— Хорошо.

Потом она взяла чашку Маргарет и начала читать по листьям:

— Я вижу мертвого ребенка от местного мужчины. Вижу дом на холме, и жестокое раскаяние. Не нужно раскаиваться. Не твоя вина, что ребенок умер. Вижу число семь и человека с буквой "С" в имени. Ты знакома с этим человеком. В твоей памяти живет трава. Ты упряма, как мул. Ты не должна оставаться там, где ты живешь сейчас. Сзади на твой дом падает тень. Ты должна говорить со своим следующим ребенком по-ирландски. Что это за коза? И какая-то ревность, которой я не понимаю?

— У моего соседа есть коза.

— Эта коза не к добру. И еще — ты утратила и снова вернула способность родить ребенка. Это ясно.

Маргарет почувствовала ужасную боль в спине.

— У тебя жестокие родные. Они отвернулись от тебя из-за священника. Роди другого ребенка. Время пришло. Этот ребенок сделает твою жизнь осмысленной. Родив его, ты перестанешь смотреть вниз с утесов. Но не отказывай моряку, если он попросит сорочку. Тот человек, которому ты отказала, утонул.

— Ты видишь что-нибудь про мою мать?

— Твоя мать? Твоя мать перешла в лучший мир.

Маргарет поблагодарила ее и отдала ей все, что было у нее в карманах. Когда она ехала домой, дороги казались круче, изгороди — выше. У нее ушло несколько минут на то, чтобы вставить ключ в замок; войдя в дом, она разделась догола и села у огня. Боль в спине усилилась. Она легла на пол и, только когда ощутила соль на губах, поняла, что плачет. Она начала подвывать. Стак слышал, как она воет. Ее горе проникало сквозь каменные стены. Несколько часов спустя она вновь вышла на улицу, совершенно голая, не считая овчины и башмаков, и направилась по дороге к утесам. Стак шел за ней, но ее ноги были длиннее, и он догнал ее, только когда она остановилась у Могера. Она лежала на животе в мокрой траве и смотрела вниз, в пропасть. Казалось, прошла вечность. Темнело. Стак смотрел на ее затылок, пока она не повернулась и не встретила его взгляд.

— Я любила священника, — сказала она.

— Знаю.

— Я потеряла его ребенка. Смотри. — Она расстегнула пуговицу и показала ему шрам от кесарева сечения.

— Должно быть, это было тяжело.

— Да. Это было ужасно.

— Я никогда не любил. У меня нет никого, только Джозефина.

— Не хочу, чтобы мое сердце оказалось разбито.

— Твое сердце уже разбито.

Океан был спокоен. Казалось, каждая волна стремилась остаться у скал, замедляя бег в конце пути, но все следующие волны повторяли все заново, словно ничему не научились от тех, что шли перед ними.

— Ты, верно, думаешь, зачем она мне все это рассказывает?

— Пожалуй, да. Но вряд ли я когда-либо понимал женщин. Скажи мне, что за женщины писают на траву?

Маргарет рассмеялась. Она еще больше наклонилась над океаном, ее смех летел в воду. В отличие от Стака, она не испытывала страха перед океаном. В ее глазах он был таким же маленьким и безопасным, как пруд с утками. Он смотрел, как ее смех падает в воду, точно камни, и чувствовал, что она пугает его.

— Пойдем, — сказал он. — Темнеет.

Они пошли домой. Дорожные рабочие заканчивали засыпать рытвины гравием и укладывали асфальт.

— Бог в помощь, — сказала Маргарет.

Она была рада, что может произнести что-то обыденное. Они столько всего сегодня сказали, что не знали, как теперь поддерживать разговор. На расстоянии два дома на холме Дюнагор смотрелись как один, дым от очага Маргарет вился кольцами у освещенных окон. Стаку не хотелось, чтобы прогулка закончилась, и он замедлил на подъеме шаги, но Маргарет не стала ждать. Она шла вперед, ее обнаженные ноги карабкались на холм, волосы закрывали лицо. Ее смех пугал больше, чем ее слезы. Когда они поднялись на Дюнагор, она даже не пожелала ему спокойной ночи — зашла на свою половину и захлопнула дверь.

Пришло лето. Дождь прекратился, вернулись ласточки, жимолость карабкалась по склонам оврагов, зацвел вереск. Во вторник утром в дверь Маргарет постучал незнакомый темноволосый мужчина понурого вида.

— Я слышал, — сказал он, — ты можешь вылечить зубную боль.

— Совсем невмоготу?

— На стену лезу. — Он сел, закрыл лицо руками и начал плакать.

Маргарет вышла во двор и поймала лягушку.

— Засунь ее задние лапки в рот, только аккуратно, не навреди ей, и боль пройдет, — сказала она. — Но если навредишь ей, боль удвоится.

Он держал лягушку, как будто она была изумрудная.

— Засунуть ее задние лапки в рот?

— Да.

— Ладно, постараюсь.

— Как ты узнал про меня?

— Женщина из фургона, Нолан, это она меня научила, сказала, что ты седьмой ребенок, ты можешь врачевать.

Он ушел с лягушкой, и четыре дня спустя она впервые с тех пор, как переехала в Дюнагор, получила письмо.

Уважаемая мисс Фласк!

Я прямо воскрес. Тем утром, после того как встретился с Вами, боль прошла, и мы держим лягушку возле бочки с дождевой водой. Большое спасибо!

Джон Макфилипс, торговец скотом.

В тот вечер охапка березовых дров была доставлена к ее порогу.

— Что это? — спросила Маргарет.

— Без понятия, — ответил водитель грузовика. — Это от мужчины с зубной болью, больше я ничего не знаю.

А потом стали приходить местные жители. Приходили мужчины с нарывами, женщины, не хотевшие больше рожать, и женщины, которые хотели ребенка; и ребенок, родившийся на Рождество, — он видел призраков и ничего не ел. Они жаловались на опоясывающий лишай, подагру, ком в горле, больные колени и заколдованный коровник. Маргарет касалась этих незнакомых ей людей и чувствовала их страхи, и их страхи надрывали ее сердце. Люди уходили с надеждой, болезни и привидения исчезали. По утрам у задней двери она находила молодую картошку, ревень, банки с вареньем, пакеты с яблоками и дрова. Ее сны становились все чернее, словно обугленные врата ада. Она начала каяться Богу, долго спала, а когда просыпалась, местные женщины на кухне жарили ломтики бекона, варили яйца. Незнакомые мужчины приходили и чистили крышу от мха, заменяли петли на воротах, оконную замазку, которую быстро склевывали птицы. Она стала бояться смерти и кропила водой весь дом, как только начинало темнеть. Это ее успокаивало. Однажды во время исповеди она обмочилась, как ребенок, и ничто, кроме рябиновой ночи, не могло с этим сравниться.

Как-то ночью, после того как один богатый человек попросил ее превратить своего старого друга в свинью, она пошла рассказать об этом Стаку. Когда они отсмеялись, Стак вспомнил свой сон, как она хлестала Джозефину кожаной плеткой и как незнакомые мужчины с острова уводили ее. Ему с ними было не справиться. Внезапно он понял, что она уедет. Он не мог вынести мысли, что ее не будет. Он развязал ей башмаки и погладил обнаженные ступни. Они были больше обувной коробки и напомнили ему о песне.

— У тебя красивые ноги, — сказал он. — благослови их Бог.

Она промолчала. Его руки были теплыми, сильными от работы на болотах. На стенах были часы, множество часов, и все они тикали. Незнакомые люди всё приходили, их ладони несли ненависть и страсть, и это было заразно. Она вспомнила эту женщину, Нолан, и то, что та сказала про ребенка.

— Мои яйцеклетки готовы.

— Твои яйцеклетки?

— Пойдем в постель на часок.

Когда они вошли в спальню, Джозефина лежала под одеялом. Маргарет рассмеялась. Стак попытался приподнять ее. Он разделся, и она увидела его член и вспомнила ящерицу из своего сна. Вначале он не знал, что делать, но природа взяла свое. Джозефина все время норовила оказаться между ними. Когда Маргарет проснулась, Стака не было, а коза не мигая смотрела на нее. Невыносимо воняло, по всей кровати были разбросаны клочья шерсти. Маргарет вернулась к себе и съела две банки лосося, с кожей, костями и внутренностями. Потом посмотрелась в зеркало. Белки были белее снега, кожа задубела на соленом ветру.

На следующее утро она пошла к Стаку. Он не ложился спать, полночи гулял по болоту с Джозефиной.

— У тебя есть кувалда? — спросила она.

— Нет, — ответил он, — но я знаю, что ты задумала.

— Знаешь?

— Я и сам об этом думал.

— Ты не против?

— Нет, — сказал он. — Это будет разумно. Но это работа для меня.

— Нет, — сказала она.

Она поехала в Эннистимон и купила кувалду. По дороге домой она думала о том, как отнесся бы к этому священник. Как посмотрел бы на ее земную оболочку, которая, вновь зачав незаконного ребенка, бродит по его дому. Сожалел бы по-прежнему о том дне, когда коснулся ее, ведь он протянул руку по своей воле. Он был на десять лет старше, и это он, а не она нарушил обеты, принесенные Господу. Она заплатила смертью ребенка. И ее вины в том не было. Разве цыганка не сказала, что она не виновата?

Когда она въезжала в Эннистимон, сумасшедший на мосту просигналил, чтобы она остановилась.

— Страусы на дороге! Сбавь скорость!

Хорошо, что в мире есть сумасшедшие. Наблюдая за ним, она спрашивала себя, не сумасшедшая ли она сама, когда, повернув за угол, она увидела страусов, которые шествовали по улице. Люди на тротуарах стояли и смотрели, как они проходят мимо, а маленькая девочка вдвое меньше их ростом погоняет их палкой. Что безумные, что в своем уме — разница невелика, думала Маргарет. Каждый когда-нибудь бывает прав. Большую часть времени люди — сумасшедшие или нормальные — бродят в темноте с вытянутой рукой и ищут сами не зная чего. Она была беременна. Она знала это, знала так же точно, как и то, что это Стак, а не ветер, был у ее порога рождественским утром.

Маргарет вернулась домой, вытащила кровать священника из комнаты, стащила ее вниз, на поле и облила парафином. Вначале кровать горела медленно, потом вспыхнула и превратилась в кучу пепла. Она

вернулась в дом и начала прорубать дыру в стене между домами. Стак стоял в своем доме, по другую сторону разделявшей их стены, и ему было страшно. Вместе со стеной рухнет и прежняя жизнь. Он чувствовал горе Маргарет Фласк. Горе ее было безмерно. И ее силу: Маргарет была сильна, как двое мужчин. Ее тело было в точности такое, как в его сне. Он слышал, как падает штукатурка, потом камень.

Она трудилась полдня. Увидев свет с другой стороны, она вспомнила о временах, когда была ребенком и мать будила ее на Пасху ранним утром, чтобы она увидела, как играет солнце, радуясь воскресению Христа. Она прошла через дыру в стене. Стак пел.

— Говорят, люди в Клэре музыкальные.
— Говорят, в Виклоу люди сосут козье молоко прямо из вымени.
— Вот почему мы такие красивые.
— Ты странная женщина.
— Как ты думаешь, ребенок будет жить?
— Я не знаю.
— Ты вообще что-нибудь знаешь? — спросила она.
— Нет.
— И я нет.
— Два сапога пара.

Джозефине не нравился новый порядок вещей. Стак, похоже, разлюбил ее. Он даже не согревал руки перед тем, как подоить ее, и забывал мыть ей соски душистым мылом. Женщина забирала ее молоко, привязывала к ножке кровати, а потом сказала Стаку, что ее место в сарае.

Стак никогда так хорошо не питался. Маргарет сбивала масло, пекла хлеб, делала сыр из молока Джозефины и проводила остаток дня, поедая шоколад. Шоколада вечно не хватало. Это было все равно что кормить Джозефину печеньем. Он шел в магазин и возвращался домой с батончиками "Марс" и "Баунти" и обнаруживал, что она вынесла еще что-то из мебели его матери на задний двор и сожгла. Она все время разжигала огонь, ходила по дому, натыкаясь своим огромным животом на все вокруг, потом выбегала во двор, потому что ее рвало. И сколько бы туалетной бумаги он ни приносил в дом, она все равно выходила во двор после наступления темноты.

Днем и ночью со всей округи шли люди: мужчины, женщины, дети, чтобы избавиться от призраков и грибка. Чайник всегда кипел, одна чашка сменяла другую, и бедная Джозефина была на привязи в сарае. Даже священник приходил, сказал, что у него ноет нога, не может ли его жена помочь. Хотя знал отлично, что они не женаты. Маргарет носилась по дому, словно ураган. Она затирала следы пальцев на мебели, обыгрывала его в карты и разрубала колоду на дрова, пока он размышлял о происходящем. Она выкинула телевизор, не разрешила приносить в дом остролист на Рождество и смотрела на него, пока он ел. А по ночам не позволяла до себя дотрагиваться, совсем как фермерская дочка, которую, по правде говоря, никогда не рвало.

Говорят, это не к добру, если не вылить воду, в которой помыл ноги. Говорят, человек не должен жить один. Говорят, если коза ест конский щавель, это к дождю. Каждый раз, когда Джозефина поедала конский щавель, шел дождь. Но черная полоса не может длиться вечно. Марга-

рет рожала в доме священника. В тот день там были тринадцать женщин и девять детей, они носились с ножницами и теплой водой и велели Стаку не мешаться под ногами. Он сидел с Джозефиной на своей половине дома и слушал радио. Крики Маргарет разносились по всей округе. Стаку показалось, он слышал шлепок и крик ребенка задолго до того, когда наконец услышал их на самом деле, а затем голос старой женщины сказал: "Сразу видно, это у нее не первый". Стаку никогда не понять женщин. Они могут предвидеть дождь, разбирают каракули врача, слышат, как растет трава.

Маргарет назвала сына Майклом и крестила его в козьем молоке. Когда рыбак с Инишмора пришел купить сорочку, она не взяла за нее ни пенни. Она пригласила его в дом и ухаживала за ним, как за королем, угостила пирогом с вишнями и заварным кремом. Стак ушел спать, а когда проснулся, Маргарет все еще сидела за столом, а рыбак держал ребенка. К этому времени оба дома блестели, как полированное дерево. Две трубы дружно дымили над холмом Дюнагор. Штабеля дров и торфа были сложены у печей. Тот проем, который прорубила женщина, был обрамлен деревом, и дверь на петлях открывала, а иногда закрывала проход. Стак выглядел помолодевшим. Его видели в Эннистимоне в парикмахерской, он сидел в кресле с полотенцем на плечах и улыбался.

Маргарет изо всех сил старалась побороть в себе склонность к суевериям. Она пыталась убедить себя, что ей не может повредить то, во что она не верит. Но в душе она оставалась прежней. Все эти годы, что она жила в Дюнагоре, она ни разу сама не разжигала огонь в очаге, всегда выдергивала тростник в феврале и, как ни старалась, не могла заставить себя выбросить золу в понедельник и не отлучалась от коляски ни на шаг, не повесив на нее щипцы. Если среди ночи ей иногда и приходили в голову мысли о священнике, она на них не задерживалась. Неисповедимы пути Господни. Если бы она не потеряла ребенка священника, она бы не унаследовала этот дом. Если бы не унаследовала дом, она бы той ночью не мыла ноги и не забыла бы вовремя вылить воду из таза, вместо того чтобы выплеснуть ее, точно заклятие, на Стака, а потом есть его рождественскую змею и родить от него ребенка. И так уж получилось, что она оказалась в той кровати рядом с козой. А всем известно, что говорят про коз: говорят, что они видят ветер. Маргарет тоже видела ветер, видела, как он разбрасывает ягоды, словно бусинки крови, вокруг головы священника.

Ребенок был совсем не похож на Стака. Год за годом он пытался разглядеть в собственном сыне хоть какую-то свою черту, но тщетно. Это оставалось для него загадкой, но не удивляло. Похоже, Маргарет просто выплюнула ребенка или снесла его. Она была сумасшедшей матерью. Стак видел, как она оскаливалась на совершенно безобидных людей, когда те гладили ребенка по голове. Она уступала ему во всем, укачивала, пока он не засыпал, и совершенно избаловала. Стаку не удавалось ни секунды поспать. А Маргарет, казалось, во сне не нуждается. Она вставала на рассвете, просыпалась каждые пять минут, чтобы проверить, дышит ли ребенок, потом проваливалась в свои сны и во сне лягалась.

Майкл не ползал. Однажды он встал со своего стула и прошел до ворот и обратно. Как-то Стак стал доить Джозефину и обнаружил, что в ее вымени нет ни капли молока, потому что ребенок высосал все до капельки. Когда мальчик окреп, он начал гулять со Стаком на болотах, перепрыгивая через канавы с помощью палки, пил болотную воду и ни ра-

зу не болел. Он не ел ничего кроме рыбы, репы и сладостей, ездил верхом на Джозефине по лужайке перед домом, упросил купить уток и возил их по узким дорогам Дюнагора в своей коляске — и рос не по дням, а по часам. Он мог написать свое имя задом наперед и сверху вниз. Он придумывал истории, врал напропалую, когда ему было скучно, и бродил по дому во сне. Маргарет не разрешила ему пойти в школу — она сказала, что никто в округе не выучит его лучше нее.

Когда Майклу исполнилось семь лет, Маргарет перестала лечить местных жителей от болезней и призраков. Она на них насмотрелась и знала, что, если она пошлет ребенка в школу, ему там будет плохо. Но прошло много времени, прежде чем люди из Клэра перестали надеяться, прекратили приносить ей варенье, дрова и селедку и стали вредить. Однажды утром она обнаружила в почтовом ящике павлиньи перья. Другой раз прокололи шины на всех колесах.

Стак понял, что она уедет, до того как это произошло. Однажды ночью огонь в очаге погас, и на следующее утро Стак пошел на берег. Он хотел быть там, когда это произойдет. Он стоял на берегу и смотрел на запад. Вскоре в Дулин с островов пришло рыболовецкое судно, и на воду спустили плоскодонку. Потом эти чужаки стали грести к берегу, их весла мерно опускались в соленую воду. Достигнув земли, они приподняли фуражки, но не произнесли ни слова. Стак узнал одного из них, это был человек, который приходил за сорочкой. Когда он повернулся, Маргарет была уже рядом, она посмотрела ему в глаза, а потом молча забралась в лодку. Мальчик заплакал, но Стак знал, он скоро успокоится. Стак обнял его, потом разжал руки.

Утро было чудесное, море — тихое и прозрачное, как стекло. Ничто не мешало ему сесть в лодку, ничто. Какое-то время мужчины ждали, и казалось, что ему нужно лишь забраться в эту деревянную лодку, дать этим чужакам преодолеть прилив и увезти его — и счастливое будущее обеспечено. Но Стак стоял на песчаном берегу и смотрел, как единственная женщина, которую он любил, исчезает вдали. Это продолжалось недолго. Недалеко от берега резвилась пара беспечных дельфинов. Стак стоял и смотрел на них, потом стал карабкаться на холм.

Придя домой, он обнаружил, что Джозефина перегрызла веревку, забралась на стол и доедает пирог с ревенем. Он был рад Джозефине. По крайней мере, он знал, что ей нужно. Он сел и стал оглядывать чистые пустые комнаты. Итак, Маргарет ушла. Но ведь он всегда знал, что так будет. Разве не это он видел во сне? Но он не судил ее, несмотря на то что она забрала его сына и уплыла с чужаками. В конце концов их разделяла только полоска глубокой соленой воды, которую он легко мог пересечь.

Джозефина дочиста вылизала тарелку и уставилась на Стака. Он пошел за ней, в их прежнюю спальню, закрыл дверь и сомкнул глаза. Завтра он поедет в Дулин, купит мешок цемента и заложит кирпичами проем в стене. Купит бутылку виски, печенье с инжиром и отдаст телевизор в починку. Он не будет бездельничать. Скоро зима. Заготовка торфа займет его, будет держать в форме. Грядут длинные зимние ночи, ветер будет бушевать и напоминать о прошлом. Пусть он уже не молод, его ближайшее будущее понятно. Но теперь он всегда будет доверять снам и никогда больше не придет к дому женщины и не попадет под заклятие воды.

Уильям Батлер Йейтс

Нобелевская премия 1923 г.

Стихи

Перевод и вступление Г. Кружкова

Первая из входящих в эту подборку вещей принадлежит к числу хрестоматийных стихотворений Йейтса и неоднократно переводилась на русский язык. Анатолий Найман в своих "Рассказах об Ахматовой" поведал, как однажды на глаза Ахматовой попалось (если про стихотворение, прочитанное Ахматовой, вообще можно говорить: "попалось") "When you are old and gray and full of sleep", которое он тогда пытался переводить, и "с тех пор всякая реплика о сонливости стала ссылкой на эти стихи". Речь идет о начале 1960-х годов. Не вполне понятно только, почему Найман переводит первую строку в мужском роде: "Когда ты старый и седой и сонный...", превращая старушку в старика, в то время как это стихотворение, очевидно, является подражанием знаменитому сонету Ронсара "Quand vous serez bien vieille":

Когда, старушкою, ты будешь прясть одна,
В тиши у камелька свой вечер коротая,
Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая:
"Ронсар меня воспел в иные времена".

И гордым именем твоим поражена,
Тебя благословит прислужница любая, —
Стряхнув вечерний сон, усталость забывая,
Бессмертную хвалу провозгласит она.
Я буду средь долин, где нежатся поэты,

© Г. Кружков. Перевод, вступление, 2007

Страстей забвенье пить из волн холодной Леты,
Ты будешь у огня, в бессоннице ночной,

Тоскуя, вспоминать моей любви моленья.
Не презирай любовь! Живи, лови мгновенья
И розы бытия спеши срывать весной[1].

Начиная точно по Ронсару, уже в конце первой строфы Йейтс расходится с ним, и чем дальше, тем больше. Такое бывало и у русских поэтов, например у Пушкина ("Заклинание", написанное по мотиву Барри Корнуолла); для этих случаев подходит выражение: "заразило по контрасту", само же расхождение можно назвать "ножницами смысла". Мне думается, что амплитуда отклонения от первоисточника, размах этих "ножниц" входит в художественный расчет автора: меланхолическая концовка Йейтса звучит еще сильнее в подразумеваемом контрапункте с мажорной кодой Ронсара.

Другое раннее стихотворение Йейтса, написанное почти одновременно с "Когда ты станешь старой и седой...", называется по-английски "The Rose of the World". С этим названием возникает забавная переводческая ситуация. Перевести его как "Роза мира" никак нельзя из-за двусмысленности русского слова; положение усугубляется тем, что рядом с ним Йейтс публикует стихотворение под заголовком "The Rose of Peace". Выходит — две "розы мира"? Конечно, если бы можно было напечатать по старой орфографии (которая расщепляет наших фонетических близнецов) "Роза міра", было бы замечательно. Но — увы! Приходится задуматься над содержанием стихотворения и над обертонами английского слова "world". Кстати, вспоминается сонет Вордсворта "The world is too much with us...". Эту строку переводили, что называется, во здравие: "Господень мир, его мы всюду зрим!" В то время как в этой строке содержится упрек: "Мы слишком заняты миром" — то есть мирским, земным. Это значение — "мир" как "сей мир" в противоположность "неземному", "неотмирному" — является главным и для данного стихотворения Йейтса, в котором Господь сводит на землю неземную Красоту, блуждавшую в безднах Вселенной. Когда я рассудил все это, сам собой возник вариант перевода: "Роза земная". Покончив с названием, надо сказать еще два слова о *сыне Уснеха* (с ударением на первом слоге). Это — Найси, возлюбленный Дейрдре в знаменитой ирландской саге "Сыновья Уснеха". Конечно, за *Розой* этого стихотворения, как и за другими стихами цикла "Роза" ("Розе, распятой на Кресте времен", "Роза мира", "Роза битвы", "Печаль любви" и др.), стоит образ все той же трагической музы Йейтса — прекрасной и загадочной Мод Гонн.

Прошло много лет, прежде чем эта любовь изжила себя, оставив неисчезающую горечь в душе. Может быть, с этим сюжетом связан и загадочный "Черный кентавр". По свидетельству вдовы поэта, поводом к стихотворению послужила неизвестная нам картина Эдмунда Дюлака — художника, оформившего несколько книг Йейтса, а также постановку его пьесы "У Ястребиного источника". Два реальных комментария. "Семь Эфесских сонь" — это семеро юношей из Эфеса, которые, по преданию, в годы гонений на христиан укрылись в пещере и проспали там двести лет, до начала правления императора Феодосия. "Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон, / Без пробуждения..." — по-видимому, отзвук поэмы Джона Китса "Гиперион", которая начинается с картины спящего Сатурна (Крона), поверженного в борьбе с олимпийскими богами и не желающего просыпаться. В целом стихотворение не поддается простой интерпретации. Ясно лишь,

1. Перевод В. Левика.

что черный кентавр знаменует для Йейтса некоторую "сверхценность", поглощенность высшей идеей, стремление к которой "втаптывает в лесок" земные мечты поэта. Любовь ли это, Поэзия или что-то иное — мы не знаем.

Стихотворение "Среди школьников" следует за "Черным кентавром" в сборнике "Башня" (1928). Его реальный план таков: семидесятилетний Йейтс, сенатор и, так сказать, государственный муж, посещает с инспекцией монастырскую школу для девочек. Второй план — воспоминание о Мод Гонн, делившейся с ним когда-то своими детскими обидами. Третий, философский план — человек в младенчестве, юности и старости, замкнутый круг времени, который нельзя разорвать сознательным усилием, из которого можно лишь вырваться в танец — состояние экстаза, в котором человек обретает единство с миром. Последняя строка стихотворения: "How can we know the dancer from a dance?" — сделалась крылатой фразой, многократно цитировалась, становилась эпиграфом.

Перевод стихотворения "В тени Бен-Балбена" вылеживался в столе много лет, прежде чем я решился его опубликовать. Думаю, он уточняет трактовку этого важного произведения Йейтса, по сути, его поэтического завещания. Мне известен только один, уже давний, перевод этого стихотворения на русский язык, в нем хорей оригинала заменен на ямб, что мне кажется абсолютно неприемлемым: гимнический строй оригинала сменяется нейтрально-повествовательным. Кроме того, это спутывает поэтическую традицию, потому что именно четырехстопный хорей "В тени Бен-Балбена" ("Верьте в ваше ремесло, / Барды Эрина! — назло / Этим новым горлохватам, / В подлой похоти зачатым...") заразил Одена, когда он сочинял элегию на смерть Йейтса ("Отворяй врата, погост! / Вильям Йейтс — почетный гость..."[1]), а эта элегия Одена, в свою очередь, задала тон стихам Иосифа Бродского на смерть Элиота: "Аполлон, сними венок, / Положи его у ног / Элиота как предел / Для бессмертья в мире тел". Круг замкнулся, когда другой ирландский поэт Шеймас Хини написал тем же размером стихи на смерть Бродского: "Джозеф, помнишь этот ритм? / Оден, твой любимый бритт, / Брел под гул таких же стоп, / Провожая Йейтса в гроб".

Так, под пером четырех поэтов — Йейтса, Одена, Бродского и Хини — четырехстопный хорей, ассоциировавшийся прежде с легким жанром, резко сменил свой синтаксический ореол, приобретя торжественную мерность похоронного марша.

На *мотив* Ронсара

Когда ты станешь старой и седой,
Припомни, задремав у камелька,
Стихи, в которых каждая строка,
Как встарь, горька твоею красотой.

Слыхала ты немало на веку
Безумных клятв, безудержных похвал;
Но лишь один любил и понимал
Твою бродяжью душу и тоску.

1. Перевод А. Эппеля.

И вспоминая отошедший пыл,
Шепни, к поленьям тлеющим склонясь,
Что та любовь, как искра, унеслась
И канула среди ночных светил.

Роза земная

Кто скажет, будто красота — лишь сон?
За этих губ трагический изгиб
(Его в раю забыть вы не могли б!)
Вознесся дымом в небо Илион,
Сын Уснеха погиб.

Под бурей, мчащейся издалека,
Все рушится, что человек воздвиг;
Народы и века пройдут как миг,
И звезды сдует словно облака,
Лишь вечен этот лик.

Склонитесь молча, ангелы, вокруг:
Пока она блуждала без дорог
В пустынных безднах, милосердный Бог
Узрел скиталицу — и мир, как луг,
Ей постелил у ног.

Черный кентавр

По картине Эдмунда Дюлака

Ты все мои труды в сырой песок втоптал
У кромки черных чащ, где, ветку оседлав,
Горланит попугай зеленый. Я устал
От жеребячьих игр, убийственных забав.

Лишь солнце нам растит здоровый, чистый хлеб;
А я, прельщен пером зеленым, сумасброд,
Залез в абстрактный мрак, забрался в затхлый склеп
И там собрал зерно, оставшееся от

Дней фараоновых, — смолол, разжег огонь
И выпек свой пирог, подав к нему кларет
Из древних погребов, где семь Эфесских сонь
Спят молодецким сном вторую тыщу лет.

Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон,
Без пробуждения; ведь я тебя любил,
Кто что ни говори — и сберегу твой сон
От сатанинских чар и попугайных крыл.

Среди школьников

I

Хожу по школе, слушаю, смотрю.
Монахиня дает нам разъясненья;
Там учат грамоте по букварю,
Там — числам и таблице умноженья,
Манерам, пенью, кройке и шитью...
Затверженно киваю целый день я,
Встречая взоры любопытных глаз:
Что за дедуля к нам явился в класс?

II

Мне грезится — лебяжья белизна
Склоненной шеи в отблесках камина,
Рассказ, что мне поведала она
О девочке, страдавшей неповинно;
Внезапного сочувствия волна
Нас в этот вечер слила воедино —
Или (слегка подправив мудреца)
В желток с белком единого яйца.

III

И, вспоминая той обиды пыл,
Скольжу по детским лицам виновато:
Неужто лебедь мой когда-то был
Таким, как эти глупые утята, —
Так морщил нос, хихикал, говорил,
Таким же круглощеким был когда-то?
И вдруг — должно быть, я схожу с ума —
Не эта ль девочка — она сама?

IV

О, как с тех пор она переменилась!
Как впали щеки — словно много лун
Она пила лишь ветер и кормилась
Похлебкою теней! И я был юн;
Хоть Леда мне роднёй не доводилась,
Но пыжить перья мог и я... Ворчун,
Уймись и улыбайся, дурень жалкий,
Будь милым, бодрым чучелом на палке.

V

Какая мать, мечась на простыне
В бреду и муках в родовой палате
Или кормя младенца в тишине
Благоухающей, как мед зачатий, —
Приснись он ей в морщинах, в седине,
Таким, как стал (как, спящей, не вскричать ей!),
Признала бы, что дело стоит мук,
Бесчисленных трудов, тревог, разлук?

VI

Платон учил, что наш убогий взор
Лишь тени видит с их игрой мгновенной;
Не верил Аристотель в этот вздор
И розгой потчевал царя вселенной;
Премудрый златобедрый Пифагор
Бряцал на струнах, чая сокровенный
В них строй найти, небесному под стать:
Старье на палке — воробьев пугать.

VII

Монахини и матери творят
Себе кумиров сходно; но виденья,
Что мрамором блестят в дыму лампад,
Дарят покой и самоотреченье,
Хоть так же губят. О незримый Взгляд,
Внушающий нам трепет и томленье
И все, что в высях звездных мы прочли, —
Обман, морочащий детей земли!

VIII

Лишь там цветет и дышит жизни гений,
Где дух не мучит тело с юных лет,
Где мудрость — не дитя бессонных бдений
И красота — не горькой муки бред.
О брат каштан, кипящий в белой пене,
Ты — корни, крона или новый цвет?
О музыки круженье и безумье —
Как различить, где танец, где плясунья?

В *тени* Бен-Б*албена*

I

То, чего аскет искал
Возле Фиваидских[1] скал
И Атласская колдунья[2]
Бормотала в новолунье,
То, о чем, таясь, молчат
Тени, что в тумане мчат
Конной призрачной ордой
Под Бен-Балбенской грядой,
Всадники, чей лик отмечен
Бледностью сверхчеловечьей,
Облеку в свои слова.

Суть их знанья такова.

II

Человек — в цепи звено,
Ибо в нем заключено
Два бессмертья: не умрет
Ни душа его, ни род.
Всяк ирландец испокон
Чтил бесстрашия закон,
Ибо, встретив меч врага,
Знал: разлука недолга.

1. Фиваида — пустынная местность вблизи египетского города Фивы, где в первые века нашей эры существовало много христианских монастырей и отшельнических скитов. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Имеется в виду символическая поэма П. Б. Шелли "Атласская колдунья". Шелли был одним из любимых поэтов Йейтса.

Сколько дюжий гробокоп
Землю заступом ни скреб,
Все, кому он яму рыл,
Ускользают из могил.

III

Тот, кто молвил в старину:
“Боже, ниспошли войну!” —
Знал, что, если спор велик
И слова зашли в тупик,
Человек мужает враз,
Пелена спадает с глаз.
В битву ярую вступив,
Он смеется, все забыв, —
Ибо даже мудрый впасть
Должен в буйственную страсть,
Чтоб не искривить свой путь,
Выбрать друга, вызнать суть.

IV

Помни, скульптор, верь, поэт:
В модных школах правды нет.
Делай дело — и блюди
Божью истину в груди.
Знай, откуда что пошло:
Измеренье и число,
Форм египетских канон,
Вольный эллина уклон.

Чти превыше всяких вер
Микеланджело пример:
Ведь не зря его Адам
Зажигает кровь у дам,
Кружит головы невест.
Погляди, как точен жест.
Правит творческой рукой
Совершенства сон мирской.

Есть у мастеров старинных
На божественных картинах
За фигурами святых
Дивный сад, где воздух тих,
Где безоблачные выси,
Травы, и цветы, и листья —
Словно грезы, что подчас
Спящих переносят нас
На какой-то остров дальний,

Чтоб, очнувшись в душной спальне,
Знали мы: за явью скрыт
Мир иной. Скрипит, кружит
Колесо... Едва затмились
Вековые сны, явились
Калверт, Уилсон, Блейк и Клод
Новый возвести оплот
В душах, но сменилось круто
Время — и настала смута.

V

Верьте в ваше ремесло,
Барды Эрина! — назло
Этим новым горлохватам,
В подлой похоти зачатым,
С их беспамятным умом,
С языком их — помелом.
Славьте пахаря за плугом,
Девушек, что пляшут кру́гом,
Буйных пьяниц в кабаке
И монаха в клобуке;
Пойте о беспечных, гордых
Дамах прошлых лет и лордах,
Живших в снах и вбитых в прах,
Пойте щедрость и размах —
Чтоб навеки, как талант свой,
Сохранить в душе ирландство!

VI

Под Бен-Балбенской горой
Йейтс лежит в земле родной.
Возле церкви — ряд могил,
Прадед здесь попом служил.
Место сиротливо, пусто,
Нет ни мрамора, ни бюста,
Только камень-известняк
Да завет, гласящий так:

Холодно встреть
Жизнь или смерть.
Всадник, скачи!

Луис Макнис

Стихи

Переводы Г. Стариковского, А. Нестерова

Белфаст

Базальтовый в подпалинах огонь
Вмерзает в кровь и, пленкою слюды
Обмазанный, сквозит в тяжелом взгляде.
Вода гниет, как падаль, у причала.

В подвздошье неба загнан клин залива.
Потеки керосина. Слышно, как
Кувалдами под стык подводят рельсы
И телеграфные гудят распятья.

Здесь обыватель любит красоту
Недорогих изделий: целлулоид
Воротничков, телячий абажур,
Утробность каучуковых перчаток.

Церковный двор. У ног Марии плачет
Работница в дырявом полушалке.
(Жизнь искрошилась, остальное — ночь),
А мы, смеясь, проскальзываем мимо.

© 2007 The Estate of Luis MacNeice
© Г. Стариковский. Перевод, 2007
© А. Нестеров. Перевод, 2007

Страна сутан и лбов под капюшоном
И оранжистской барабанной дроби.
Плачь, женщина, никто твою молитву
Здесь не услышит. Радуйся, Мария!

Голос

Обыватель на двор выползает, а там, торжествуя,
Солнце шквально палит, переходит весна в штыковую.
Генеральство весны, а над ней барражируют птицы.
Поаллейно каштаны к сраженью готовят бойницы.
Но лишь взвизгнет клаксон или голубь взглаголет знакомо,
Обыватель — сигара во рту — в толчею ипподрома
Снова влиться спешит, чтоб тоску свою переупрямить.
Но, как тень за предметом, за ним увивается память,
Говоря: "Подслащенная, жизнь не становится веской.
Лучше дома сиди, пусть несется весна на курьерском
Без тебя, потому что нельзя возвратиться оттуда,
Где порожних вагонов навалены мертвые груды.
Не гуляй в одиночку, а то не вернешься с прогулки —
Тебя солнце убьет или финкой пырнут в переулке".

Август

Смахнув цветки боярышника, лето
Почти не жжет, как под прикрытьем ставен.
Оглянешься, но скоро убедишься:
Бег времени по-прежнему неявен.

Нам каждый день как новый холст, но если
Вглядеться в жизнь, идущую по кругу,
Поймем, что день сегодняшний с вчерашним,
Как капли две, похожи друг на друга.

Стрижет газоны певчая косилка.
Летят травинки изумрудной стаей.
Я, как Пуссен, рисую нас обоих
И шум земли холсту препоручаю.

Гирляндами разубраны деревья,
И театральны жесты, храмы, птицы.
Вот мы с тобой, как римляне, а рядом
Бог времени стоит каменнолицый.

Но это все — мазня и дилетантство:
Не время призрачно, а мы, из тлена
Восставшие во тьму непониманья
Судьбы своей — одолженной, мгновенной.

Велосипедист

Вниз по склону разгон: за спиной остается
Лошадь в облаке пыли. Ветер, вея навстречу,
Капли пота сдувает со лба, — пишем слитно *мальчик и небо.*
Он прижался к изгибам руля, к излучинам лета,
Это — вводная жизнь, междометие, взятое в скобки
Горизонта, когда несказуемо главное —
Доскажут ещё — предложенье... Минута
Длится дольше павлиньего лета, летит стрекоза,
Распростившись с землей.
Подчеркнем ее выпорх волнистой линией света.

Белизна ослепляет до слез,
Лошадь забрана в скобки мальчишечьих глаз.
Трава закипает, здесь уйма кузнечиков. Брызжут
Камешки, и меловой околоток
Вспрыснут жаркими гонками,
Ноги — на раме, волосы по́ ветру вьются.

Разлетается пыль. Лето, лето!
Они гонят за ним по пятам —
в мотыльковый сачок залучить бы
Или мячиком красным ошпарить. Пенное лето
Догорает в детском прищуре.
Стрекот звонка. Ставим точку в конце предложенья.
Скоро, скоро им жать на педали,
Но пока — лихо едешь, но будешь ли дальше — есть время
На свободном ходу обогнать
Лошадь, взвив пыль меловую...
Она тихо идет, нарушая порядок времен,
Неброско идет бесконечно.

Мыльная пена

Вот так же пахла раковина мылом,
Он вспомнил, в детстве, в доме, где гостил он.
Теперь он ясно различал площадку,
Зеленый шар, себя с крокетной клюшкой.

Дом был как праздник: башня, телескоп,
Два глобуса, один — земли, другой —
Лобастый — неба, чучело собаки,
Оранжерея, море за порогом.

Все повторилось: ясный день, площадка,
Отец кричит ему "Играй!", он медлит.

Потом — удар, так бьют часы в фойе,
Где чучело, и мяч скользит в ворота,

Проскальзывая дальше, снова окрик
"Играй", но шар увяз в густой траве,
И клюшка выпала, и не узнать
В струе воды свои чужие руки.

Харон

"Не потеряй билет", говорил кондуктор,
В черную горсть ссыпая мелочь,
"Контролер у нас — злой, как дьявол.
Будь осторожен". По Лондону шел автобус.
Мы видели птиц, но не слышали ястребиный —
Сквозь стекло — клекот военной сводки,
Мы не знали, что овчарка на тротуаре лает
Пронзительней, чем кричат петухи под утро.
Дальше катил автобус. Новые пассажиры
Штурмовали двери, в дверях давились,
Впалые люди... Дальше катил автобус,
И светил прожектор лучом нетленным.
Мы подъехали к Темзе. На месте мостов — провалы.
"Как бы нам на тот, что туманом застлан,
Перебраться берег?" — спросили мы, и отвечал кондуктор:
"Поезжайте, faute de mieux[1], паромом".
На свет фонаря из мрака паромщик выплыл,
Старый знакомец Вергилия и Данте.
Он окинул нас тусклым взглядом, мертвым
Оком. Липкие от медных денег руки
Сжимали шест. На икрах вздувались вены.
Если бы мрамор возрек, это был бы *его* голос:
"Уплывающий в смерть платит сполна, сполна".

Перевод Г. Стариковского

Волки

Хватит с меня раздумий, больше не буду
изводить себя завистью к тем, кто живет как живется,
с грустью не буду смотреть на собак, неразборчивую записку,
девушек перед зеркалом, на песочные замки,
которые смоет приливом, едва дети лягут в постель.

1. За неимением лучшего (*франц.*). (*Прим. перев.*)

Прилив придет и отхлынет, и хватит
думать о нем: что мне текучесть воды, что мне —
ее постоянство,
хватит уже подвывать античному хору
лучше заботиться лишь о ближайшем будущем,
а после — пусть море сомкнется над нами.

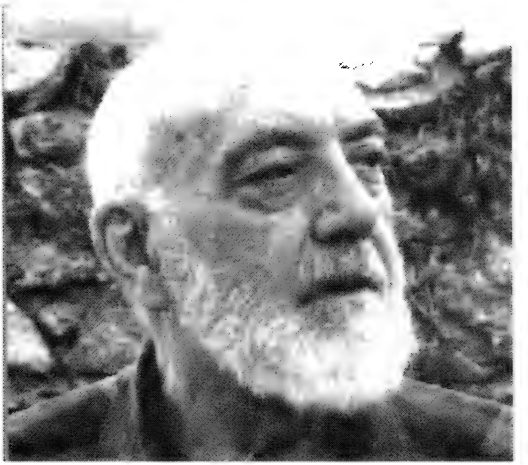
Ну же, идите ко мне: встанем в круг,
возьмемся за руки и поверим, что держась
друг за друга, мы не подпустим волков,
которые воют в прибое. И притворимся,
что мы не слышим их вой в нашем смехе и наших беседах.

Там, за углом

Там за углом — там всегда было море. И в детстве,
вытрясая песок из ботинок, вернувшись с каникул,
мы знали: там, откуда он взялся, — его много больше:
бесконечность песка,
водорослей и горизонтов — чтобы щуриться вдаль.
И в щенячестве наших
любовей мы томились по слиянию двух одиночеств: где-то там
за углом, там, Ксенофонт, запорошенный пылью,
после всех переходов
знал — он добрался до дома, а Колумб — тот боялся:
ему не доплыть,
в Откровении же у Иоанна сказано: этого больше не будет. Там
за углом, невзирая на все, — там всегда будет царство,
что врезает свои берега — долетевшими брызгами
пенных валов —
та республика одиночеств, где когда-то у нас было право
гражданства; и мы помним ее, как запястья того,
кто разжал нам капкан
или качал колыбель; как того, чей образ всплывает,
когда песок сыпется на ковер,
когда раковина плачет нам об изгнанье, когда ветер из-за угла
доносит запах водорослей и привкус соли или волну,
что тронута сталью луны и вгрызается в память, как бур.
Там за углом дожидается — море.

Перевод А. Нестерова

Томас Кинселла



Стихи из книги "Дублинские очерки"

Перевод Дмитрия Веденяпина

Иногда память подводит, особенно когда дело касается частностей, о которых знаешь с чужих слов. То, что мой отец начинал рассыльным, — чистая правда, а вот название его конторы, оказывается, было другим...

С тем же местом и временем безденежья и неопределенности связано еще одно отчетливое и странное воспоминание: о встрече с отцом — впервые как с равным; и с самим собой, с внезапным осознанием собственной отдельности, в котором было что-то от déjà vu, — а значит, ничего хорошего ждать не приходилось.

Ирвин-стрит

Утренний свет — яркая вспышка памяти —
освещает нагретую солнцем дорожку,
выщербленную кирпичную стену
и траву, пробившуюся сквозь известь.

© The O'Brien Press Ltd.
© Thomas Kinsella, 2006
© Дмитрий Веденяпин. Перевод, 2007

Воробей, нахохлившись, сидит на ступеньке.
Из-под сломанной двери просовывается
кошачья лапа.

Белые когти впиваются в перья.
Все это настолько зримо, как будто
происходит прямо сейчас, наяву.

С учебниками под мышкой я сворачиваю за угол
и оказываюсь на улице
между проволочным забором и деревьями больничного сада.

Воздух благоухает, вокруг ни души;
на земле — тени от листьев и маленькие копья света.
Прямо на меня идет мой создатель

в белом пиджаке и с моими чертами лица.
Откуда он здесь в этот час?
Мы в смущении замедляем шаги.

Ирвин-стрит, как и многие другие улицы, сохранилась лишь частично: несколько островков на излете Боу-лейн, неподалеку от Кингзбридж на реке Камак.

В тридцатые годы мы часто проходили здесь, возвращаясь домой от дедушки с бабушкой. Перейдя Камак по маленькому мостику, мы попадали на дорогу (которую прозвали Верхней), ведущую через Маунт-Браун в Килмейнхем. Не городское происхождение этой дороги странным образом ощущается и поныне. Честно говоря, в ней нет ничего примечательного. О ней можно было бы и вовсе не упоминать, если бы не ее особое место в общем ритме тех ранних лет, не отпускающих мою память. Без нее так же невозможно представить тогдашние события, как невозможно представить их без сапожной колодки деда или фартука бабушки.

Верхняя дорога

— Ну, до скорого! Договорились? —
Она крепко обняла меня, перегнувшись через прилавок.
— Вот, — шепнула, доставая из конфетной коробки
маленькую серебристую мандолину, —
держи!

Они стояли на солнце перед магазином,
отбрасывая длинные-длинные тени.

По Боу-лейн мимо нас
процокала лошадь. Толстяк
Падно Карти боком сидел на повозке.
Лаково поблескивали мелькающие спицы.
В дорожной пыли
оставались лежать
медно-рыжие конские яблоки.

На табурете в дверях своего дома
восседала миссис Фуллертон — нос крючком,
один глаз не видит.
— МРРААК! — проскрипел из комнаты
ее вечно недовольный попугай.
Цепляясь когтями за прутья клетки,
он неуклюже ползал туда-сюда,
помогая себе толстым язычком,
похожим на оживший черный орех.

У меня в мозгу
трепетали тонкие серебряные струны.

Под мостом, с той стороны,
где жили дедушка с бабушкой,
над камнями и консервными банками
пенилась и бурлила вода,
уносясь за дом тети Джози.

Сразу после моста
начинались Кромвелевские кварталы.
У подножья стены Джеймс-стрит густела тьма.
Тени толпились в зарешеченных окнах Молт-сторз[1]
между кирпичными столбами
и похожими на дюны кучами зерна,
сочащегося, как кровь из открытых ран.

Вдоль Верхней дороги тянулся частокол
и росла пушистая трава.
Я часто смотрел вниз,
охваченный странным чувством: я был выше домов,
выше крохотных садиков,
становившихся с каждым шагом
все меньше и меньше.

По другую сторону дороги,
наискось по глинистому склону
узкая тропка поднималась в Разбойничье логово.
Однажды, замирая от страха, я подкрался к входу,
встал на колени и заглянул внутрь.
Логово оказалось маленькой ямкой.
Там лежала засохшая кучка кала
и роились мухи.

Ни разу, даже в моем воображении,
ни одна серебряная струна
не издала ни звука.
И уже не издаст никогда.

Где-то далеко за домами простонал ветер:
искушение было слишком сильным.
Я остановился, вытащил тетину мандолину,
разжал пальцы и долго смотрел,
как она, кувыркаясь, падает вниз,
вспыхивая на солнце серебристым светом потери.

1. Главный склад зерна в Дублине (от *англ.* malt — солод и stores — склад). (*Прим. перев.*)

Джон Макгахерн
О *прошлом*

Фрагменты книги

Перевод Юлии Муравьевой

КОГДА мне было три года, мы с мамой ходили в Лисакарнскую школу как раз по такой тропке. Мы жили с ней и с бабушкой, матерью отца, в маленьком одноэтажном домике в миле от Баллинамора, а отец — в казарме двадцатью милями дальше, в Кутхолле, где служил сержантом. Долгие школьные каникулы мы проводили у него, а к нам он раз в год приезжал в отпуск на своем синем малолитражном "форде", и еще ему полагались два выходных каждый месяц. Наш дом стоял у подножия крутого, заросшего тростником холма, а рядом была кузница. Домик этот мы снимали; судя по всему, строился он для кузнеца и находился чуть поодаль от главной дороги, ведущей на север, в Свонлинбар и Эннискиллен. Проход к ней был весь завален кузнечным шлаком, который хрустел под копытами и колесами, стучавшими по дороге с утра до ночи, — будто зубы скрежетали. С другой стороны главной дороги, притаившись в кустах и деревьях, начиналась тропка в Лисакарн, где мама преподавала вместе с мистером Фораном. В Лисакарне была всего одна комната, и учителям во время уроков приходилось смотреть друг на друга поверх учеников. Длинные лавки располагались так, чтобы дети из разных классов сидели спиной друг к другу, но между крайними рядами на дощатом полу оставалось пустое место. Синий меркаторский глобус сиял на подоконнике, вокруг него и по всей комнате были беспорядочно расставлены банки из-под джема — в каждой по букету полевых цветов. У мистера Форана, чья жена тоже работала учительницей, была машина, большой "форд-Т", редкость для того времени; в дождливую погоду мы с мамой ждали под деревьями на обочине, и он подвозил нас до школы. А в погожие дни мы всегда шли пешком, минуя по пути лошадиный водопой, заборы с калитками и насыпи, покрытые дикими цветами, зарослями вики и земляникой. Мама всегда называла мне эти цветы, а иногда мы останавливались, чтобы нарвать букет для банок из-под джема. Наверное, я был невероятно счастлив на той тропинке по пути в школу. Там, где я живу сейчас, похожие тропки есть повсюду, и случается — правда, редко, может быть, раз в несколько лет, — что я иду, и вдруг меня охватывает потрясающее ощущение безмятежности и полного покоя, и мне кажется, я буду жить вечно. Должно быть, острота и пронзительность чувства на мгновение соединяют в одну эту, нынешнюю, и ту, давно утерянную, тропки, а всегдашний при-

© John McGahern, 2005
© Юлия Муравьева. Перевод, 2007

вкус боли и утраты чудом обходит меня стороной. Такие мгновения растворяются в воздухе столь же внезапно и необъяснимо, как появились, и я никогда не успеваю осознать их, проникнуть в их суть.

Не думаю, что чему-то научился в Лисакарнской школе, хотя у меня и была тетрадка, которой я гордился. Я и так был слишком маленьким и избалованным, а старшие девочки продолжали баловать меня и нянчили на переменах одна за другой. Помню свой стыд и ярость, когда они втащили меня, брыкающегося и вопящего, в пустой класс к маме. Все смеялись: я гулял по насыпи и сел на муравейник, и умудрился просидеть на нем, пока все его обитатели не заползли внутрь моих коротких штанишек.

Уверен: мама брала меня с собой и потому, что любила меня, и потому, что дома я всех извел. У меня уже было три сестры: близняшки Бридж и Розалин и малышка Маргарет, и мы все были погодки. Бабушка прежде работала портнихой, всегда держалась прямо как стрела и носила черные платья. Мой отец, ее единственный сын, был необычайно хорош собой и тоже до самой старости держался прямо как стрела. Прослывшая когда-то первой красоткой в своих родных краях, бабушка была тщеславной и хвастливой. Ей раз и навсегда пришлись не по нраву невзрачные земли Лейтрима и его убогие обитатели, которые не воздавали ей надлежащих почестей. Надо признать, отцовские родственники и впрямь были как на подбор рослые и пригожие. "Когда мы приехали на свадьбу твоей матери и увидели всех этих кузинов из Кавана — Смитов и Ледди, Брэди и Макгахернов, — мы почувствовали себя какими-то горными гномами", — рассказала мне как-то со смехом тетя Мэгги. Макгахерны кичились своей мужественной внешностью и положением в обществе. В них таилось что-то жестокое и грубое, они не отличались тактичностью, а многие были "с приветом". Был у отца кузен Том Ледди, мужчина приятной наружности, тоже служивший полицейским в Гленфарне на берегу озера Лох-Мелвин и тоже женатый на учительнице. Много лет спустя, когда отец женился во второй раз, Том однажды свалился как снег на голову моей мачехе. Эта женщина — разумная, но простоватая на вид — обожала отца и была одновременно его рабыней и хозяйкой. Застав ее одну дома, он представился и без обиняков потребовал ответа: "Вы кто? Новая экономка?" — "Я жена Фрэнка", — ответила она. "Жена Фрэнка", — он остолбенело уставился на нее и так дико расхохотался, что не мог устоять на ногах и присел на стул. "Жена Фрэнка. В жизни ничего смешнее не слыхал. Видно, тут все попросту спятили". Наконец он встал и повторил: "Жена Фрэнка. Да, денек удался на славу! Ладно, как вас там, передайте Фрэнку, что заходил его кузен Том Ледди и что он непременно наведается еще через пару-тройку лет", — и исчез так же внезапно, как появился.

Была ли и бабушка слегка не в себе, я по малолетству судить не мог. Как сложился нрав моего отца — под ее влиянием или их характеры были схожи от природы? Кто скажет, может ли вообще воспитание повлиять на характер? Оба были свирепые и своенравные. Как-то раз я поджигал бумажки на решетке маленькой кухонной плиты, и она застала меня врасплох. Завороженный огнем, как все дети, я рассматривал язычки пламени. Ухватив меня за палец, она засунула его между раскаленными прутьями, не обращая внимания ни на мои крики, ни на протесты перепуганной мамы. "Ты совсем испортила ребенка. Только так он сможет чему-то научиться". У них с отцом начисто отсутствовало чувство юмора, они никогда не улыбались и не смеялись, а любые проявле-

ния радости в людях рассматривали как признак безответственности и считали, что веселье только отвлекает внимание от них самих. Разница между ними тоже была немалая: отец был умен, а при необходимости — очарователен и даже галантен; тщеславный и высокомерный, как и его мать, он, однако, никогда ничем не хвастался: "Одни идиоты надуваются и важничают. Хочешь похвалы — дождись ее от других".

До появления близнецов я был единственной звездочкой на семейном небосклоне и начал безумно ревновать, когда внимание естественным образом переключилось на них. В погожие дни, пока мама была в школе, бабушка часто оставляла близнецов на солнышке, между домом и кузницей, на тропинке, покрытой шлаком и полого спускавшейся к дороге через открытую калитку. Я вечно болтался рядом с кузницей, и бабушка, перед тем как вернуться в дом, наказывала мне присматривать за ними, предусмотрительно запирая замок тормоза на их большой коляске. Видимо, я вынашивал планы, как избавиться от них хотя бы на некоторое время. Я научился открывать замок, и как-то раз, удостоверившись, что никто не следит за мной ни из дома, ни с дороги, ни из кузницы, столкнул коляску со склона. Спуск не был крутым, колеса, натыкаясь на куски шлака, крутились все медленнее, но прежде чем остановиться, коляска свернула в сторону и опрокинулась. Близнецы не ушиблись — но бабушка ничего не предприняла для их защиты, хотя все это время наблюдала за мной из-за занавески и ей достаточно было бы постучать по стеклу; точно так же ей ничего не стоило выбежать и схватить меня, пока я в отчаянии и ужасе смотрел, как падала коляска.

Ту же расчетливую холодность неоднократно замечал я и у отца. Уже уйдя в отставку, он жил на маленькой ферме в Гревиске, и однажды увидел, как два мальчика по дороге из школы, оставив велосипеды на обочине, отправились через поле в его сад. Вместо того чтобы выйти им навстречу или угостить яблоками, как сделали бы многие на его месте, он увел велосипеды с дороги в дом. Вернувшись из сада, мальчики обнаружили пропажу. А вечером он позвонил их родителям. <...>

На Пасху мама всегда показывала нам солнце: "Взгляните, как танцует расплавленный шар и как сияют его лучи! Все небеса танцуют от радости, потому что Христос воскрес". Если пасхальное небо было хмурым, а мы требовали солнышка, она уверяла нас, что оно танцует, спрятавшись за облаками. Блаженны не видевшие, но уверовавшие.

Иногда до вечернего солнца можно было дотянуться рукой. Перед тем как закатиться, оно застревало в зарослях боярышника на вершине поднимающегося за домом холма. Раньше я ходил в кузницу, где так весело плющили и дубасили металл, теперь — следил за солнцем. Если бы я успел забраться на холм, пока солнце отдыхало в боярышнике, то смог бы пройти сквозь него в небесные врата. Однажды я все-таки полез на холм, и это было похоже на какую-то громадную лестницу, по которой приходилось карабкаться, пропихиваясь и процарапываясь через тростники. Солнце приближалось с каждым шагом, и когда я наконец добрался до боярышника, оно все еще было там. Я протиснулся в проплешину живой изгороди и скатился на дно пересохшей канавы. Мне оставалось сделать последний шаг в солнце, но, выбравшись из канавы, я обнаружил дразнящий мираж. Солнце восседало на вершине другого холма, и до него было много миль. Бескрайнее плоское поле желтова-

той осоки расстилалось между нами, и, чтобы пересечь его, мне понадобились бы часы или даже дни. Должно быть, я сполз или рухнул на дно канавы и в изнеможении уснул.

Было темно и звездно, когда меня разбудили голоса, выкрикивающие мое имя. Меня отругали и отнесли в дом. Их тревога сменилась изумлением и смехом, когда они выслушали всю историю. Ведь я попытался забраться на солнце и проникнуть в райские врата. Я не понимал, что достичь этих ворот можно только пройдя через смерть.

Бабушка была ужасной собственницей, должно быть, по этой причине мама и уводила меня по тропинке в Лисакарн подальше от нее задолго до того, как я достиг школьного возраста. Когда я свалился с коклюшем, бабушка отомстила. Уложив меня в своей комнате, она вышла оттуда и заперла за собой дверь. Я не виделся с мамой много недель. Бабушка настаивала: мама должна ходить в школу, ее с близнецами и малышкой Маргарет ни в коем случае нельзя подвергать риску заражения. Когда пик болезни миновал, я начал ужасно страдать от невозможности повидаться с мамой. Я кричал и звал ее через запертую дверь. Мы даже молились не отпирая двери. Мама советовала мне быть терпеливее и просить Бога о скорейшем выздоровлении, чтобы снова отправиться в школу. За все это время меня выпустили из заточения только однажды.

Существовало одно средство от коклюша, требующее наличия мула, или ослика, или карликовой лошадки. Наш сосед, Томми Куинн, который пропивал все деньги и считался дурачком, жил с братом Джимом через дорогу от нас в мрачном доме, вокруг которого высоко в кронах деревьев гнездились грачи. Однажды поздно ночью он пришел со своим четвероногим помощником к нашему черному ходу. Уверен, что прибегнуть к этому средству решила бабушка, а Томми был зван в такое позднее время, чтобы никто не смог подсмотреть за обрядом. Ночь была очень холодная. Завернутого в одеяла, меня вынесли и трижды протащили под брюхом этого ослика (или мула, или лошадки) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Помню иней, блестевший на окаменевшей земле; меня передавали из рук в руки, и небо, полное звезд, качалось надо мной. Когда наконец меня вернули маме и мы снова отправились в Лисакарн, счастью моему не было предела. <...>

Наступило время больших перемен. В Лисакарне стало меньше учеников. Правительство действовало в режиме строгой экономии, начались сокращения, новых учителей не нанимали вообще. Мама попала в "список". На свободные места набирали только людей из этих списков, так что у учителей не было выбора: приходилось переезжать. Школа находилась в Бигморе, неподалеку от Карригаллена, в десяти-одиннадцати милях от нас. Директором там, словно наперекор времени, работала женщина, крупная и милая, вышедшая когда-то замуж за хозяина зажиточной фермы по соседству со школой. Так мы переехали в неуютный, открытый всем ветрам двухэтажный дом, возвышавшийся над Клунской трясиной.

Там не было водопровода, проточная вода бежала только в ручьях и речках; не было электричества и телевидения, радио считалось большой роскошью, а газетами честно делились с соседями. Каждая деревушка жила в собственном крошечном мирке, и переезд в дом над трясиной казался переездом в другую страну. О войне, шедшей уже по всей

Европе, ходили лишь невнятные слухи. Живо помню возбужденного мужчину, который вбежал в дом и, размахивая руками, провозгласил: "Немецкие самолеты утюжат Англию бомбами!"

В любую погоду мама и близнецы пешком отправлялись в Бигмор, до которого было две мили. Маргарет и малютка Моника оставались на попечении новой прислуги. Я же уходил в другую сторону — в Огаранскую школу, до которой было всего полмили по дороге в Ньютаунгор. Иногда по утрам мне хотелось оказаться далеко-далеко оттуда.

Отец давно жаловался, что мама избаловала меня — да и всех нас, — и в близости Огарана видел отличную возможность исправить дело. Нужно было оторвать меня от материнской юбки, погрузить в суровый грубый мир, чтобы я стал мужчиной. В Огаране он добился своего.

Миссис Макканн, младшая учительница, была замужем за портным из Карригаллена, откуда и приезжала каждый день на велосипеде. В стенном шкафу у нее хранился запас ярко-желтых бамбуковых палок, а когда они превращались в мочало, в дело шли ясеневые, ивовые и орешниковые прутья из живых изгородей, которыми она усердно и неустанно потчевала нас за устные или письменные ошибки, за недочеты, рассеянность и малейшее непослушание. Самые ужасные наказания осуществлялись за пределами класса, в коридоре.

Наверное, меня били не больше, чем других детей, просто я привык к мягкому маминому воспитанию и теперь чувствовал, что угодил в ад. Я предпринимал отчаянные попытки бросить Огаран и присоединиться к маме и близнецам, но — совершенно безуспешно.

За этим решением стоял отец. Казалось, он стал бывать дома чаще, возможно, потому, что мы подросли и поумнели. Разговоры о войне в Британии и Европе теперь не прекращались. Каждый вечер, когда заканчивалась общая молитва — мы читали розарий, — я продолжал тихо и страстно умолять Господа, чтобы он в своем милосердии заставил какой-нибудь немецкий самолет сбиться с курса и, пока все спят, вместо Англии сбросить бомбу на Огаранскую школу.

Не думаю, что миссис Макканн отличалась особой свирепостью. Много раз я видел, как мои ровесники меняются в лице от ярости, вспоминая школьные годы: "Порой к вечеру пальцы так чернели и распухали, что мы и ложку удержать не могли. Нас частенько лупили и по ногам, и по рукам. Удивительно, что мы вообще чему-то выучились. Это было сущее мучение — ходить по утрам в школу".

Наверняка бывали и исключения, но если уж несправедливость вошла в обычай, то она запросто может вырасти до чудовищных размеров и при этом оставаться почти незаметной. Конечно, родители могли пойти в школу и пожаловаться, или обратиться к священнику, или даже пригрозить судом — но почти никто этого не делал.

Власть и все ее предписания исходили от Господа и потому не подвергались сомнению. Насилие царило повсюду, не только дома. В основе его лежали сексуальное нездоровье и неудовлетворенность. Секс считался чем-то нечистым и греховным и допускался только после официального разрешения. Догма разделяла душу и тело. Душа была вечной и принадлежала Богу. Тело же, несущее ее, было смертным, нечистым, склонным к греху и недугу, хотя я и сильно сомневаюсь, что миссис Макканн беспокоила эта двойственность, когда она рьяно работала своими ореховыми прутьями.

Поскольку все мои попытки вырваться оттуда закончились провалом, я решил изобрести способ завоевать симпатию учительницы. По дороге в школу я проходил заброшенный дом, окруженный маленьким садом. Однажды кто-то удобрил и возделал эту землю, но теперь она стояла в запустении и дикости, буйно заросшая чертополохом, крапивой, шиповником и щавелем. Теперь по пути в школу я и сам обращал внимание на дикие цветы и, храня в памяти нашу с мамой тропинку, ведущую в Лисакарн, вспоминал их названия, неосознанно оттягивая момент прибытия в Огаран. Пурпурные цветки чертополоха казались мне особенно восхитительными, прекрасными, как розы. Деревянная калитка была не заперта, и я подумал, что, если мне удастся пробиться сквозь высокие заросли, я соберу огромный букет пурпурных цветов и преподнесу его миссис Макканн. Но крапива жглась, а шиповник в кровь расцарапал руки и ноги, и мне пришлось ограничиться маленьким пучком. Не распознав чертополох с первого взгляда, миссис Макканн в изумлении приняла пурпурный букетик, но, почувствовав колючки и сообразив, что держит в руках презренный сорняк, впала в бешенство. О чем я думал, когда приволок в школу чертополох?! За кого я *ее* принимаю? Какое право имею *издеваться над ней* и школой? Она в жизни не сталкивалась ни с чем подобным. Мне было велено выкинуть чертополох немедленно, пока она в состоянии владеть собой. Униженный, вернулся я в класс, понимая, что попытка подольститься только ухудшила дело. Если бы я даже забыл о позоре, при одном взгляде на хитрые многозначительные улыбки одноклассников все всплывало в памяти.

Унижение мое еще усилилось, когда я поведал эту историю маме. Я показывал ей и исцарапанные ноги, и запястья, и крапивные ожоги, но когда закончил, она не смогла сдержать смеха, и вдобавок к ней присоединились сестренки. Я уже собрался убежать из комнаты, но она притянула меня к себе. "Тебе остался всего месяц до первого причастия, — сказала она. — Нужно как следует выучить катехизис, побывать на первой исповеди и причаститься, — и тогда ты сможешь покинуть Огаран и посещать Бигморскую школу вместе с ними". Я едва мог поверить такому неслыханному везению. <...>

Хотя скрытность отца была почти патологической, мы так долго жили рядом, что постоянно притворять каждую дверь и занавешивать каждое окно стало невозможным. Однажды я подслушал, как он случайно разговорился с каким-то мужчиной о дороговизне апельсинов во времена их юности. Он рассказал, что обожал апельсины и, собравшись жениться, купил в Гэлуэе две дюжины, пошел в парк, сел на скамейку и съел их все. Он подозревал, что после свадьбы уже никогда не сможет позволить себе апельсинов. В первые годы брака эти страхи существовали скорее в его воображении: мамино жалованье было выше, чем его.

Она забеременела через полтора года. И даже когда дети начали появляться ежегодно, он продолжал вести довольно свободную жизнь. Не отказался от машины и не уехал из казарм, где было большое радио марки "Коссор" и каждый день приходила женщина убирать и готовить для него. Мама же на свою зарплату содержала всех нас.

Длинные летние каникулы мы всегда проводили в казармах, а вот в остальное время он навещал нас на синем "форде", исключительно когда считал нужным.

В тот день, когда маму забрали в больницу и мы с Бридж Макговерн приехали в казармы, он, должно быть, почувствовал: все, чего он страшился, когда впрок наедался апельсинами, наконец настигло его и, ликуя, поселилось в доме навек. Наше воспитание, необходимость которого он так долго отстаивал теоретически, встало теперь перед ним в полный рост. Мы молча ели за столом у окна, а он — в середине комнаты, лицом к большому зеркальному серванту. Стоило нам что-то не поделить или просто нарушить молчание, он тут же осаживал нас взглядом. Прежде чем спуститься в комнату отдыха, он строил нас в шеренгу и тщательно проверял, прилично ли мы выглядим, и только после этой процедуры мы отправлялись в школу. Почти каждое утро он осматривал наши уши. А заканчивался день розарием. Он опускался на колени в том же месте, где ел, лицом к большому зеркалу на серванте, подстелив газету на цементный пол и расположив локти на столе. Мы же преклоняли колени у стульев, стоявших по всей комнате. После литании мы читали много других молитв и обязательно одну "за мать этих детей", хоть и понятия не имели, где она и за что, собственно, мы молимся. Закончив молиться, мы по очереди подходили к нему, уже сидящему на стуле, целовали в губы и говорили: "Спокойной ночи, папочка". <...>

Снова увидев маму, я почувствовал, что мир, казалось, безвозвратно утраченный, расколотый на куски, вдруг был собран воедино и возвращен мне. Пэт на машине заехал за мной в казарму. Мы отправились прямо в Огавиллен. Я так жаждал встречи, что ничего не видел вокруг, когда мы выбрались из машины у маленькой железной калитки, выходившей на дорогу. В городе был короткий день, уроки закончились рано, и Мэгги уже примчалась на велосипеде навестить маму. Услышав шум мотора, они вместе вышли из дома. Я не верил своим глазам, так чудесна была представшая моему взору картина, — и ноги мои буквально прилипли к посыпанной золой дорожке, я с трудом волочил их, не поспевая за дядей. Только подойдя поближе, я дал волю чувствам, помчался навстречу и угодил прямо в ее объятия. Мэгги ехидно поинтересовалась, не проглотил ли я язык — обычно я болтал без умолку и моим вопросам не было конца. Мне было стыдно, что я плакал.

В доме в открытом очаге ярко пылали сучья. Над ним на черной железной перекладине раскачивался чайник. Мэгги привезла из города сладкий пирог, и было решено пить чай.

— У нас в казармах лучше не найдешь, — сказал Пэт, когда мы допили чай и съели по куску пирога. — А со следующей недели они подешевеют.

Я не распробовал ни пирога, ни чаю, я упивался ощущением маминого присутствия: теперь я мог, протянув руку, тронуть ее за рукав. Мама улыбалась и сдержанно, по-своему, радовалась, внимательно слушая всех, но иногда было видно, что она с трудом сдерживает слезы.

— Мне рассказали, ты был славным мальчиком и поймал вместе с папой большую рыбу с лодки?

— Мы поймали щуку, и окуня, и угрей.

— И у вас новые учителя?

— Никто из нас не любит школу. Они там такие строгие. Мы не знали, где ты, и уже стали бояться, что ты никогда не вернешься.

— Я была в больнице, — тихо сказала она. — Я болела, и мне нужно было полежать там одной, чтоб подлечиться. Вы, наверное, молились за меня?

Мэгги вышла, а Пэт по невысокой деревянной лестнице полез смотреть спальни.

— Мы каждый вечер поминали тебя в розарии, а потом я еще молился сам. Чтобы Господь прислал тебя обратно к нам домой.

— Знаешь, этот домик, конечно, не дворец, зато совсем наш, — сказала она. — Земля хорошая. И здесь чудные луга.

— И не надо больше переезжать и можно завести зверюшек?

— Переездам конец. Я здесь теперь насовсем.

Вернувшись, Мэгги вела себя на удивление тихо. Полы в спальнях были такие тонкие, что мы слышали каждый шаг Пэта.

— Они подсыхают, — объявил он, спустившись. — Задняя комната в порядке.

— Водостоки помогли. И окна — хорошо, что мы успели их покрасить по сухой погоде.

По посыпанной золой дорожке я подкатил велосипед Мэгги к машине. Пэт засунул велосипед задним колесом в багажник и для надежности прикрутил веревкой. Женщины обнялись, и Мэгги залезла в машину.

— Пожалуй, завтра вечерком я загляну, если не будет слишком много рейсов, проверю, как вы тут вдвоем управляетесь, — неуклюже попрощался Пэт, прежде чем сесть за руль.

— Не волнуйся, — ответила мама. — Ты и так уже слишком много для нас сделал.

От счастья у меня кружилась голова. Словно в бреду я глядел вслед удаляющейся машине. Я остался наедине с человеком, дороже которого не было для меня никого в целом мире. Вечер стоял сухой и ясный, под ногами хрустели желтые опавшие листья, заходящее солнце пылало на краю неба. Мы поднялись наверх и осмотрели крошечные спаленки поодаль от узкой лестничной площадки, и спальню побольше, в которой собирались провести эту ночь. На широких низких подоконниках было удобно сидеть. Дощатый потолок крепился к стропилам всего в паре дюймов ниже шиферной крыши, повторяя ее очертания. В дождливые и ветреные дни в этих хлипких комнатах, наверное, спать было и жутко, и весело: так близко к рычащей буре и в то же время под защитой, в тепле, в безопасности.

Мы пошли гулять — сперва вокруг дома, потом к роднику, бившему посреди длинного вытянутого луга, за которым начинался лес. По деревянному настилу перешли в бугристые поля на холме перед домом; через дорогу вздымался другой холм, еще более бугристый, и он тоже был наш. Все поля лежали в запустении, давно заброшенные, наполовину заросшие дроком и шиповником. Прямо у дороги стоял каменный остов старого дома, лишившийся крыши и окруженный одичавшим огородом, где в изобилии благоденствовали сорняки. "Здесь вообще-то и собирались строить наш дом. Не представляю, почему они передумали и выбрали именно то поле, — сказала мама. — Люди часто совершают странные поступки".

Она рассказывала мне о больнице, о двух настоящих певицах, которые лежали в ее палате и по вечерам развлекали всех пением, о том, как она подружилась с миссис Фланаган, чей сын, Пэдди, был священником.

Эта дружба помогла обрести форму ее неясным мечтам о моем будущем. Я тоже поддался ее мечтаниям и так к ним привязался, что в конце концов стало невозможно разобрать, кому же они изначально принадлежали.

В один прекрасный день я тоже стану священником, как Пэдди Фланаган. Сразу после ординации я возложу свои свежеумащенные ладони маме на голову и благословлю ее. Мы будем жить вместе в домике священника, и каждое утро она будет ходить к мессе и принимать причастие из моих рук. А когда она умрет, я буду поминать ее в каждой прочитанной мною молитве, пока не наступит конец дней, и мы не предстанем пред лицом Господа и не воссоединимся в райском блаженстве. Ни для отца, ни для сестер в этом идеальном мире места не нашлось. Мой ли детский эгоизм был тому причиной, или она сама так воображала будущее? Или наши грезы перепутались в моей голове? Она часто спрашивала: "Кого ты любишь больше всех на свете?", — и я с готовностью и искренне отзывался: "Тебя, мамочка"; явно польщенная, она все же поправляла меня:

— Приятно слышать, но ты знаешь, это неверный ответ.

— Больше всех я люблю Господа.

— А после Господа?

— Марию, мою небесную мать.

— А после Марии?

— Тебя, мамочка.

— Ты знаешь, это тоже неправильно.

— Я одинаково люблю своих земных отца и мать.

Должно быть, та часть будущего, в которой отсутствовал отец, была все-таки исключительно моим творением.

Мы отправились к Оллартонам за молоком, захватив с собой бидон и надев пальто: к вечеру похолодало. В свете ясной бледной луны мы миновали пруд, куда лошади приходили на водопой. За прудом стоял дом Брэди и крошечный домик, где жили старенькие братья Мэхоны. Еще дальше, на самом краю луга, чернела глубокая каменоломня. Мы повернули у моста через железную дорогу. Аллея огромных деревьев привела нас к Оллартонам, где перед самым домом, окруженное камышами, сияло озерцо, безмятежное и ясное, как зеркало, отражающее тусклый лунный свет. Зайдя на задний двор, мы услышали, как доят коров. Оллартоны прервали работу, заметив, что мы ждем у ворот со своим бидоном. В этом была вся мама: ни звука, ни слова. При свете фонаря молоко процедили и отмерили в наш бидон металлическим ковшиком с длинной ручкой. Я был так счастлив во время этой прогулки под бледной луной, что чувствовал легкое головокружение. Мне казалось, что и ночь, и темные деревья, и луна в озерке, и гравий, тускло мерцающий под ногами в лунном луче, и возвращенная мне мама, и ее рука, которую я беззаботно раскачивал на ходу, — все сулило исцеление, дарило уверенность: мы никогда не умрем. С ней я был в полной безопасности. Я тараторил, не умолкая, и когда особенно заходился, мама отпускала мою руку и с укором, нежностью и любовью прикладывала палец мне к губам. <...>

Отец пообещал взять меня на финал чемпионата Ольстера по футболу. Ежегодное посещение финала было для него своего рода обрядом. Утром он заехал за мной на взятой напрокат машине. Он решил, что мы вместе пойдем ко второй мессе в Баллинаморе и уже оттуда отправимся

в Клонс, а пообедаем где-нибудь по пути. Это встревожило меня. Приходским священником в Баллинаморе служил каноник Рейлли, огромный, могучий и очень своевольный. В Лисакарне, куда я с мамой ходил в раннем детстве, он работал управляющим.

Каноник Рейлли всегда приносил с собой в школу небольшой коричневый чемоданчик. Говорили, что он держал там причастия для умирающих и елей для умащения заболевших. Однажды он ворвался к нам на обед, пылая яростью. Вся школа затрепетала. Каннингс, мальчик из бедной многодетной семьи, жившей у Виллоуфилдской дороги, взломал церковный ящик для подаяний и устроил себе в городе шоколадно-конфетный пир. Вытянув из мальчика признание, священник предложил ему выбор: сдаться властям или принять наказание здесь и сейчас. Белый как бумага, скуля и хныча, тот предал себя ему в руки. Каноник Рейлли отпер ключом свой коричневый чемоданчик и извлек оттуда кусок электрического провода. Порка состоялась в центре класса, в проходе между двумя рядами скамеек. Вся школа, онемев, зачарованно наблюдала, как каноник, одной рукой удерживая мальчика, другой управляется с проводом. Процесс шел медленно, потому что Каннингс все время норовил сползти на пол и увернуться от провода, впивающегося в его голые ноги. Когда все закончилось, рыдающий окровавленный мальчик был возвращен на свою скамейку. Он обхватил голову руками, а священник сложил провод обратно в чемодан и прочел нам короткую лекцию на тему только что увиденного.

Уже тогда я испытал благоговейный ужас, а с тех пор успел услышать немало о зловещей славе каноника Рейлли, гремевшей по городку, где он творил что хотел, потому что закон был ему не писан. Рассказывали, что как-то раз, спеша на срочный вызов к больному, он сорвал с петель тяжеленный железнодорожный шлагбаум, преградивший ему дорогу, и переехал через рельсы под самым носом паровоза, перепугав всех до полусмерти и чуть не став причиной ужасной аварии.

В некоторых епархиях, у нас в Килморе и в Арме тоже, учителям по воскресеньям после второй мессы полагалось вести уроки катехизиса. Насколько обязательным к исполнению было это правило, зависело от строгости священника. В Огавиллене уроков не было никогда. Но каждый ребенок на много миль вокруг Баллинамора знал, что ни в коем случае не должен появляться там на второй воскресной мессе. После мессы каноник Рейлли вставал в церковных воротах, с наслаждением ловил беглецов и отволакивал их за ухо обратно в класс катехизиса. Он не вступал в пререкания, не слушал оправданий и не делил прихожан на своих и чужих. Он тщательно перекрывал все лазейки вокруг церкви, а проскользнуть мимо него в ворота было практически невозможно.

Я поведал все это отцу и объяснил, почему стоит выехать чуть пораньше и успеть к мессе в другой церкви по пути в Клонс.

— Ты же не из его прихода! — парировал отец.

— Это неважно. Он отправляет в класс катехизиса всех, и своих и чужих!

— Ты его обдуришь, — рассмеялся отец, явно заинтригованный предстоящим поединком.

— Его никому не обдурить.

— А мы попробуем. Как-нибудь справимся, — заключил он. Мы прослушали мессу в окруженной тисами маленькой церкви в самом конце

Чейпл-лейн, а когда вышли, огромное тело каноника Рейлли грозно вздымалось посреди ворот.

— Беги быстрее, пока там толпа, — шепнул отец.

Я попытался проскользнуть мимо, затерявшись в общей сутолоке, и почти выбрался на свободу, когда почувствовал руку на своем ухе. Он держал меня и оглядывался в поисках других припозднившихся беглецов. Их не было.

Подошел отец. К этому времени все уже разошлись, и только кучка любопытных перешептывалась за воротами.

— Мы едем на финал чемпионата Ольстера и зашли послушать мессу, — довольно вежливо объяснил отец.

— Да езжайте вы хоть в Тимбукту, мне до этого дела нет. Каждый ребенок, пришедший на мессу, обязан посетить класс катехизиса. Никаких исключений.

— Мы опоздаем.

— Это меня не касается.

— Отпустите его. — Отец начал сердиться, и каноник взглянул на него с удивлением. Он не привык, чтобы ему возражали.

— Он отправится в класс катехизиса, и точка, — сказал священник и потащил меня за ухо в направлении церкви.

— Если вы его не отпустите, я наложу гражданский арест на ваше ухо. Вы препятствуете осуществлению наших законных прав.

Изумление каноника возросло, но поскольку он не подал ни малейших признаков повиновения, отец ухватил его за ухо. Не помню, проронил ли кто хоть слово, пока странная процессия поднималась на крыльцо и шла по проходу. И вот наконец мы остановились у алтарного светильника перед высоким престолом, в середине каноник Рейлли, вцепившийся в мое ухо, за ним отец, значительно менее внушительных размеров, держащий ухо каноника. В церкви не было никого, кроме двух классов катехизиса. В одной из боковых капелл монахиня вела класс для девочек, а с противоположной стороны мистер Гэннон обучал мальчиков.

При красном свете алтарного светильника состоялись переговоры двух упрямцев, отца и каноника, и было решено, что я присоединюсь к ученикам мистера Гэннона и он задаст мне один-единственный вопрос. Ответив, я буду отпущен с миром. В случае же неудачи дискуссия продолжится. Трепеща, я приблизился к учителю. Теперь все зависело от моих познаний в области религии, которые были, мягко говоря, сомнительными.

— Задайте ему вопрос. Если он ответит правильно, пусть уходит. Но никогда впредь в этой церкви не будет никаких исключений. В следующее воскресенье я объявлю это с алтаря.

Ко мне было приковано всеобщее внимание. Мистер Гэннон еле сдерживал смех, но смотрел сурово.

— Кто создал мир? — спросил он, и я решил, что ослышался: я просто не мог поверить в удачу. Я и надеяться не смел, что вопрос будет настолько пустячным.

— Бог создал мир.

— Убирайтесь! Убирайтесь оба, а то я за себя не отвечаю! — прорычал каноник.

Смутно припоминаю, что вдоль всей дороги в Клонс цвел боярышник, что после матча я бесконечно долго ждал отца, слоняясь по улицам городка, а он все болтал с друзьями детства из Кавана. А может, это воспоминания из других лет и о других финалах. Но точно помню, что безмерно гордился отцом, который посмел схватить каноника Рейлли за ухо, и этот поступок ничуть не казался мне кощунственным и оскорбительным. Много раз норовил я поделиться впечатлениями с мамой, с Пэтом и Мэг, но все мои попытки мгновенно пресекались. Тема не подлежала обсуждению. Не знаю, говорили ли они об этом в своем, взрослом кругу. Но наверняка все они слышали о том, как пастора провели за ухо по центральному проходу церкви, мы явно переступили тогда опасную черту. <...>

Я вернулся в школу в сентябре, раздавленный горем и переменами. Молодая учительница, заменявшая миссис Финан, которая снова ждала ребенка, даже вызвала отца, чтобы выяснить, нет ли у меня задержки в развитии. "Не исключено", – загадочно ответил он. Потом, когда мы остались с глазу на глаз, он отругал меня. Сестры играли друг с дружкой, болтали и дрались, будто ничего не случилось. Даже вспоминая маму, они не осознавали в полной мере, что, собственно, произошло. Мне не с кем было поговорить, а если бы и было, не знаю – смог бы я заговорить, захотел бы?

– Ты очень скучаешь по маме? – огорошил меня как-то отец. Казалось, он был готов к вызванному расспросами взрыву рыданий. – И я очень по ней скучаю, скучаю каждый божий день. Если бы она поправилась, пусть даже и не могла больше ходить – я сносил бы ее вниз по лестнице и выносил в сад на солнце в погожие дни.

Может, он и верил в то, что говорил. Но я знал, что он лжет – как лгал, обещая встретить меня на станции Друмшамбо, – хотя я целый мир отдал бы за то, чтобы его слова оказались правдой.

Что бы мы ни делали, его недовольство все росло. Как рефрены в розарии, мы то и дело слышали: "Господи, Господи, Господи Боже! Чем я заслужил эту ношу? Я засуну вас всех в мешок, как Тоби, и отправлю в плавание под арку Кутхоллского моста. Выгоню всех, идите в сиротский приют, там монашки и монахи быстро приведут вас в чувство. *Они* то научат вас, как себя вести! И ведь никто не скажет спасибо старому дураку, когда однажды придут чужие и запрут двери, и выгонят вас на обочину дороги жрать траву".

Наше сознание было так искажено, что через несколько лет я признался одному священнику, можно сказать, другу семьи: "Мы в неоплатном долгу перед отцом, ведь он пожертвовал почти всем, чтобы вырастить нас". Я говорил совершенно искренне. Отец столько раз повторял это, что я в конце концов поверил. Священник изумился. "Вовсе нет, ничего вы отцу не должны, так ему и передай. Вы же не просились родиться. Он сам произвел вас на свет, по собственной доброй воле, и тем самым принял на себя груз ответственности перед Господом и миром". Не стоит объяснять, что я решил умолчать об этой вывернутой наизнанку трактовке отцовского отношения к жизни, но с того дня стал смотреть на нас всех совсем другими глазами.

Бакалею мы покупали у Генри. Мы брали с собой тетрадку, бережно обернутую отцом в синюю тряпочку, отрезанную от старого полицей-

ского мундира. Все покупки записывались на наш счет в огромный гроссбух, а потом в тетрадку. В конце месяца все суммировалось, выводился результат, отец выстраивал нас в линейку, как в классе, и зачитывал по синей тетради, сколько всего мы съели за истекший период. Если счет слегка превышал средние показатели, он начинал детально разбирать потребление дорогих продуктов, таких, как сливочное масло. Публичное перечисление съеденного нами за месяц было весьма унизительным. Мы ощущали себя обузой и испытывали жгучий стыд. Иногда он назначал режим особой экономии. "Если вы и впредь собираетесь так объедаться маслом, я положу этому конец. Четыре фунта – предел. Перейдете эту границу – извольте питаться черствым хлебом".

Мы почти не ели мяса, только раз в год, когда закалывали свинью. Кролик, заяц или цыпленок попадали на наш стол от случая к случаю. А потом появились коровьи головы, стоившие так дешево, что мясник не рубил их на части, а продавал целиком. Я привозил их на багажнике велосипеда из Каррика: отец никогда их сам не покупал. У нас не было большого котла, и мне приходилось распиливать голову ножовкой и старым мясницким ножом. Отец млел от удовольствия при виде кипящего на плите варева: "Вот теперь наше войско наберет силушку, нарастит мышцу". Не знаю, взаправду ли он блаженствовал, когда перед ним ставили похлебку из костей и шматков мяса, или только притворялся – но нам самим кусок в горло не лез. Мы ненавидели толстые черные губы с резиновыми волосками, серые мозги, вытаращенные глаза.

В то время я взял собаку – рыжеватую борзую Нелли – у Тома Глисона, агронома, который снимал квартиру в башне Бауна. Финаны перевелись в школу получше на окраине городка. Кэнноны переехали в более просторное помещение, и вся башня осталась в распоряжении молодых Глисонов. По воскресеньям мы с Томом и Нелли часто уходили в бескрайние поля равнины охотиться на зайцев, а когда Том тяжело заболел, то отдал собаку мне, чтобы я кормил ее и ухаживал за ней, пока он не поправится. Мы были очень привязаны друг к другу. Каждый вечер она встречала меня у моста, когда я возвращался из школы. Мы тайно скармливали ей коровьи головы. Она обожала мозги, глаза и черные губы, а большие кости уносила и закапывала. "Посмотри, осталось – всего ничего!" – избегая прямого вранья, докладывали мы отцу к его большой радости.

Другой его навязчивой идеей были башмаки. Летом, как только наступал май, мы с облегчением начинали ходить босиком. Страдания из-за башмаков начинались в октябре. Он без умолку жаловался на дороговизну наших ботинок и с пристрастием следил, чтобы мы не износили их раньше времени. Сразу после покупки он приколачивал к кожаным подошвам защитные полоски, вырезанные из стертых велосипедных покрышек. Это затрудняло ходьбу, но нам было все равно. Обнаружив малейшую прореху или трещинку, мы должны были немедленно отдать ему обувь в починку. К несчастью, при первом же взгляде на дырочку или трещину он впадал в ярость и начинал угрожать и браниться, браниться без конца. Поэтому мы стали скрывать от него наши промокшие ноги, а по ночам прятали ботинки, давшие течь.

Время от времени он по ночам принимался за поиски спрятанных ботинок. Он выволакивал нас из постелей в гостиную, где мы обнаруживали нашу обувку, выстроенную на полу в шеренгу. К тому времени мно-

гие башмаки уже не подлежали ремонту. Яростно сетуя на судьбу, он надевал коричневый фартук и, наобум выбрав из шеренги пару, приступал к работе. Он порол и отпускал спать всех, кроме хозяина злополучной пары, который обязан был остаться и подавать ему гвозди и гвоздики, держать вощеную нитку, слушать нотации и время от времени получать подзатыльник, если гвоздь был не тот или что-нибудь падало из рук. Это могло продолжаться до утра, пока тусклый свет не вползал в гостиную, а виновный не засыпал стоя. В другие же ночи он в расстройстве бросал инструменты всего через пару минут.

В отличие от башмаков и бакалеи, одежда, которую он покупал, не причиняла нам особых страданий. Обычно он водил нас по городу от одного торговца мануфактурой к другому, явно выставляя свою заботливость напоказ. Думаю, объяснялось все просто: по воскресеньям мы ходили в церковь и причащались, нельзя было ударить в грязь лицом перед прихожанами. Вернувшись с мессы, мы тут же переодевались. Нам не нужно было напоминать об этом. Все девочки хорошо шили, вязали и штопали.

Еще в раннем детстве мы постигли искусство обороны и научились приспосабливаться к жестокости мира. Мы были очень близки, и с годами эта связь только крепла. Дух соперничества, такой естественный в нашем возрасте, был искоренен раз и навсегда. Мы не могли себе его позволить. Все наши силы сосредоточены были на том, чтобы выжить, несмотря на тиранию отца. Ябеда или подлиза тут же становился изгоем. После серьезной порки, когда гроза утихала, мы собирались вокруг избитого, чтобы утешить и подтвердить полную несправедливость содеянного. Это облегчало наши страдания и питало наш гнев. Мы освоили азбуку его настроений и способы подачи предупредительных сигналов: так мы могли мгновенно скрыться из виду или успеть занять оборонительную позицию, притворившись, что ужасно страдаем. Мы действовали бессознательно, совершенствуясь с каждым разом, и хотя это не могло защитить нас от самых свирепых бурь, но изрядно ослабляло их мощь и помогало устоять. Главное — мы научились не поддаваться его чарам, когда он пребывал в хорошем расположении духа, потому что знали: стоит дать слабину, и очередная атака, уже маячащая на горизонте, застигнет нас врасплох и ранит еще глубже. Так, год за годом и шаг за шагом, мы превращались в единую стаю.

Первое время после маминой смерти мы были в полной растерянности. Мы не умели защищаться от внезапных приступов ярости, от рукоприкладства, от наказаний и постоянной брани. Многие начали ходить во сне. Однажды ночью, проснувшись, я упал в воду на отмели возле просмоленной лодки, в другой раз свалился с лестницы. Но хуже всего обстояли дела у Розалин, страдавшей лунатизмом. Как-то, бродя во сне по дому, она забрела в комнату отдыха и сильно напугала спящего там дневального. Естественно, скрыть это не удалось. Отец отругал ее и выпорол, отчего дела приняли совсем скверный оборот. Конечно, это было запоздалой реакцией на смерть мамы и жестокость, царившую в доме. В конце концов отцу пришлось вызвать доктора Вэзи. Тот определил у нее посттравматический синдром и отправил в больницу графства Роскоммон, где ей был предписан полный покой. Она провела там два месяца. Видимо, отца предупредили или пригрозили чем-то, во всяком случае, он больше ее и пальцем не тронул, хотя продолжал отчиты-

вать на каждом шагу. Пожалуй, она была самой смышленой и чувствительной из девочек, потому ей и пришлось особенно несладко, но ходить во сне она перестала. А мы учились не доверять переменам его настроения и знали, что делать, когда он не в духе. В итоге он оказался в изоляции, даже более глубокой, чем мы, — чужой среди своей семьи, чужой среди своих товарищей по казарме.

А связь между нами, детьми, все крепла. Чтобы дать выход чувствам, мы, убедившись, что горизонт чист, устраивали импровизированные концерты и постепенно превзошли сам оригинал.

— Господи, Господи, о Господи Боже, — наигрывала Моника на воображаемом пианино, — чем заслужил я этот крест? Я запихну вас в мешок, как Тоби. Я отправлю вас в плавание под арки Кутхоллского моста. И, наконец, вздохну свободно.

— Господи, Господи, — подхватывали барабаны Розалин, — я отправлю вас в сиротский приют. Монахи и монашки быстренько приведут вас в чувство. Господи, Господи, Боже мой, смилуйся, даруй мне покой!

— О Господи, о Господи Боже, — вступала моя труба, — должно быть, в прошлой жизни я совершил какое-то ужасное преступление (а вот это уж точно!), и ты взвалил на меня эту ораву. Господи, поддержи и спаси меня (да ни за что на свете!). Боже, чем заслужил я эту кару?

Один-единственный раз он бесшумно появился в комнате во время концерта. Мы хотели броситься врассыпную, но не смогли сдвинуться с места, как будто нас пригвоздили к полу.

— Что здесь происходит? — проревел он, справившись с изумлением.

— Мы просто шалили и изображали тут разное... — сказал я.

— Просто дурачились, папочка, — добавила Моника.

— Не нашлось никаких дел по дому? Я что, не велел перед уходом прополоть и проредить морковь? Скоро я вам покажу, где раки зимуют. Господи, о Боже всемогущий, за что ты наслал на меня эту напасть?

Думаю, он закрыл глаза на то, что тогда увидел. Первое время после этого мы выставляли часового, прежде чем начать играть, но постепенно утратили осторожность и могли затянуть нашу песню в любой момент, особенно если знали, что его нет поблизости. Бридж, обожавшая отца, отлично понимала последствия перехода на его сторону, но с нами никогда не пела. А младший братик и Димпна были еще слишком маленькими.

Памела Трэверс
Главное – соединять

Перевод Е. Скрылевой

Библиотека Конгресса оказала мне большую честь, предложив рассказать, как была написана "Мэри Поппинс". На свете много людей, готовых долго и пространно рассуждать о том, в чем они несведущи. Я не из таких: не говорю о том, чего не знаю, но не от скромности, а потому, что не располагаю необходимыми знаниями. Любое художественное произведение, любой плод фантазии несут в себе поэзию, хотя бы малую ее толику, они родственны тем странным озарениям, которые возникают сами по себе – беспричинно и "не в рифму". Слова всего лишь инструмент. Это еще не поэзия, как пианино в комнате – еще не музыка. Как только произведение закончено, в нем есть все что надо. Я стремлюсь свести на нет лишнее и не вдаваться в подробности. Разве не о том же говорил ваш поэт Рэндалл Джаррелл[1]? Цитирую по памяти: "Писатель молчит о том, как он пишет и даже – о чем. Но всегда говорит о земле, перегное, на котором растут его детища. Он прекрасно знает, что это такое, потому что это он сам и есть".

Перехожу к названию нашей беседы. Наверное, можно не напоминать, откуда оно взято. В прошлом году студенты из Радклиффа, где я преподавала, а также из Гарварда собирались раз в неделю в моей тесной квартирке. Наши беседы проходили интересно и оживленно, звучало много замечательных идей, и каждый был готов отстаивать свою точку зрения. Это очень мне нравилось. Помню, я как-то высказала мысль, которая и сейчас кажется мне верной: размышлять – значит соединять. Одна очень способная девушка подхватила: "Да! Мы соединяем!" – и бросилась за карандашом и бумагой. Но я умоляла ее ничего не записывать. Э. М. Форстер[1] уже связал воедино все что нужно. Стоит что-то записать – и конец, оно тебе уже не принадлежит. Живая мысль превращается в мертвые слова, застывшие на бумаге.

Подвожу вас к мысли, почерпнутой мной из "Говардс-энд". "Главное – соединять", – написано там. В этих двух словах – все творчество Форстера: попытка связать холодный скептицизм с горячим желанием докопаться до сути, понять, как остаться человеком в этом бесчеловечном мире, и примирить индивидуальное и общественное, известное и неизведанное, объединить прошлое и настоящее и повернуть их к будущему. Какая прекрасная фраза! При подготовке к лекции я ухватилась за нее, потому что лучше ее ничего не придумаешь. Вопрос о связи вещей меня очень занимает, и раз уж так названа моя с вами беседа, мне хочешь не хочешь придется обратиться к моему прошлому.

© P. L. Travers, 1969
Журнальный вариант.
© Е. Скрылева. Перевод, 2007

1. Рэндалл Джаррелл (1914–1965) – американский писатель, поэт и переводчик. (*Здесь и далее – прим. перев*).

1. Эдуард Морган Форстер (1879–1970) – английский прозаик, критик, автор ряда романов, в том числе и "Говардс-энд", откуда взяты слова "Главное – соединять", использованные как название настоящей лекции.

Помните ли вы стихотворение Блейка "Негритенок"? "Там, где рожден я, — солнце и песок..."?[1] Я родилась в Австралии, в субтропиках, и, значит, я тоже с своем роде негритенок. Там прошли мои отроческие годы — по большей части вдали от крупных городов. Страна расцветала на древнейшей, по мнению геологов, земле, и, несмотря на все еще царивший там дерзкий дух первопоселенцев, даже ребенок чувствовал, сколь глубоки ее морщины. И несмотря на молодость страны, земля горбилась от старости. В нашей семье свято чтили традиции, и мы, дети, зажатые между отцом-ирландцем и матерью-шотландкой (но родом все же из Ирландии), как между молотом и наковальней, не могли не участвовать в домашних играх и ритуалах. Все у нас было просто, без излишеств, никто не искал положения в обществе, не стремился чем-то обладать. Что касается *добра*, всего было понемногу, конечно же мебель, одежда — только самое необходимое. Игрушек, личных вещей у нас почти не было. Приходилось все мастерить самим, но не по родительской указке, а когда нам самим чего-то очень сильно хотелось. На полке стояло с десяток книг: Диккенс, Скотт, конечно же Шекспир, Теннисон, пара-тройка ирландских поэтов. Я жадно вгрызалась в них не потому, что у меня были литературные наклонности, а просто потому, что это были книги. Мир взрослых довлел над детским, за нами, сколько помню, уход был нехитрый. В нашем меню числилось следующее "литературное рагу": Беатрикс Поттер, простые — до глупости — комиксы, странная книга "Почемучка Валипаг", о которой, похоже, никто, кроме нас, не слышал, рассказы Этель Тёрнер, "Алиса", "Герои" Кингсли[2]. Готорн[3] мне в детстве не попадался. Сейчас вижу, что он говорит с детьми свысока, "умаляюще", если можно так выразиться, хотя, вероятно, мне бы это не пришло в голову тогда. Для того чтобы кто-нибудь, вроде Мидаса, выглядел посимпатичней, он вводит в повествование маленьких очаровательных девочек с завитыми локончиками — не то что Кингсли, который не боится честно пересказывать миф.

Кроме того, у нас были грошовые книжечки. Сейчас таких нет ни у кого в мире, а мы могли за пенни купить себе сказку, и в детстве все было ими пропитано. В таком малом формате (в моем возрасте большего и не надо было) выходил и "Буффало Билл". Не знаю, кто-нибудь в этой аудитории помнит эти книжки? Совсем недавно я начала сомневаться: может быть, я их выдумала? И с каким же облегчением услышала от писательницы Розамонд Леманн[1], что они мне вовсе не пригрезились.

— Конечно, у нас они были, эти грошовые книжечки, — воскликнула она, и мы предались воспоминаниям.

Ах, почему я ни одной не сохранила? Да разве взрослый, обычно глухой к будущему, способен остановиться, задуматься, прежде чем швырнет в мусорный ящик такое маленькое потрепанное чудо? В прошлом году в Торонто на выставке детской книги, где были представлены издания, начиная с XVII века и далее, я жадно всматривалась в стеклянные шкафы.

— Только бы, — вырвалось у меня тогда, — найти хоть одну грошовую книжечку!

Библиотекарши заговорщицки посмотрели друг на друга, как Гай Фокс на своих сотоварищей, одна убежала, потом вернулась, пряча что-то за спину, и положила передо мной "Буффало Билла" — кажется, того самого, моего. Те же поблекшие краски — черный, голубой и красный, — на обороте реклама будильника за два шиллинга шесть

1. Перевод В. Топорова.
2. Этель Тёрнер (1872–1958) — австралийская писательница, автор книг для детей; Чарльз Кингсли (1819–1875) — английский поэт, новеллист и проповедник.
3. Натаниел Готорн (1804–1864) — американский прозаик; пересказал греческие мифы для детей ("Книга чудес", 1852–1853).

1. Розамонд Леманн (1901–1990) — английская писательница, писавшая также и для детей.

пенсов — я долго собирала на него деньги, так и не собрала. И там же — предел мечтаний! — пневматическое ружье за девятнадцать шиллингов и одиннадцать пенсов, из которого с расстояния в пять ярдов можно убить слона. Увы, его я тоже так и не купила. Что бы я с ним стала делать, спросите вы. Но тогда я ни минуты не сомневалась, что это вещь необходимая и на нее стоит копить деньги. Ружье нужно мне было для того, чтобы уничтожить всех врагов Ирландии! О печалях "самой обездоленной страны" я узнала очень рано, ведь отец постоянно предавался воспоминаниям, тем самым поневоле подпитывая мое воображение. Бренное тело нежилось в южных лучах австралийского солнца, но в мыслях я видела более сдержанные серые краски Англии, белые снега, маленького Джо, который преодолевает все на своем пути, и безбрежную зелень Ирландии — страны, где живут одни только поэты с арфами в руках, высокородные герои, отрубающие головы друг другу, и леди с вуалью, скорбящие у чьей-то могилы.

Пожалуй, главное преимущество моего воспитания, если таковое существовало, заключалось в том, что мои родители никогда ничего нам не навязывали и если за что и хвалили, то обиняком. Стоило кому-нибудь из них что-нибудь прочитать, как это тут же входило в домашний обиход и постепенно становилось частью семейного "предания". Как только отец обнаруживал стихи, которые ему понравились, даже если это были низкопробные вирши, он их тут же декламировал за обеденным столом. Множество всяких фразочек, привычных, как утренняя овсянка, на самом деле позже оказывались либо цитатой из того или иного стихотворения, либо отрывком из баллады. Например, отец, большой любитель лошадей (а лошади были у него норовистые и злобные), бывало, кричал, возвращаясь домой, независимо от того, ехал он верхом или правил повозкой:

— Джордж Кэмпбелл уже дома!

И моя мать, где бы в доме она ни находилась, отвечала:

— Слава Тебе, Господи!

Так кто именно приехал, никогда не понимала я, ведь мой отец не Джордж и не Кэмпбелл. И только много лет спустя, читая шотландские баллады, я поняла, откуда это взялось. Помните?

Джордж Кэмпбелл верхом на коне
Уехал в далекие дали.
Но в стойло вернулся
один только конь,
А Джорджа с тех пор не видали.

Конечно же, за всех Джорджей Кэмпбеллов, счастливо возвратившихся домой, следовало возносить Господу хвалу.

— О рыцарь, что тебя томит? О чем твои печали?[1] — любила спрашивать мать у плачущего ребенка.

Что еще за рыцарь? Но если задуматься, дети действительно странствующие рыцари, печальные, томящиеся. Им необходимо утешение. Но отец ничего такого не поощрял.

— Нет-нет, — говаривал он, — пусть поплачет. Давненько у нас не было дождика.

Часто вспоминаю свое детство и думаю, что мы жили в особом, можно сказать, античном мире и что в жизни нам никуда не уйти от мифа, даже если очень хочется. Можете назвать это симпатической магией[2]. В засушливых странах до сих пор принято выливать на почву чашку воды в надежде, что так скорее пойдет дождь. В Шумерии, стране древнейшей цивилизации, бога дождя вызывали чашей вина, пролитой в землю. Я вспомнила об этом, когда один журналист рассказал мне, что, когда он рассказывал ирландцам об обстоятельствах убийства президента Кеннеди, один пожи-

1. Первые строки стихотворения Дж. Китса "La Belle Dame Sans Merci" в переводе В. Левика.
2. Один из принципов симпатической магии состоит в том, что вещи, которые один раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта.

лой человек совершенно серьезно заметил: "Было столько слез, что начался ливень". Какая эпитафия! Ливень слез!

Помню огромное количество разных сентенций, пословиц, речений и афоризмов. Я была талантливейшим по части лени ребенком и так часто слышала от родителей: "Фанни, сделайте усилие", что решила: это, наверное, одно из моих имен. Откуда мне было знать, что Фанни – жена мистера Домби, героиня Диккенса?

Но в миф можно было попасть и коротким путем, минуя литературу. В те далекие счастливые дни в доме всегда требовались помощники, которые для нас, детей, были настоящим подарком судьбы. Их непонятная и загадочная жизнь освещала ослепительным блеском наше обыденное существование. Помню Беллу (или Берту?) и ее зонтик с наконечником в виде головы попугая, который меня просто завораживал. Он то и дело мелькал среди ее бесчисленных воланов (вот бы и мне такую элегантную маму, думала я), а потом исчезал в бумажном чехле, когда, приводя себя в порядок перед уходом, она рассказывала нам невероятные истории: кого видела и что с ней намедни приключилось. Хотя нет, не рассказывала – *намекала.*

– Ах, – с видом Кассандры начинала она, – знали бы вы, что случилось с зятем моей двоюродной сестры!

Но, как правило, несмотря на наши мольбы, она обреченно и торжественно заявляла, что остальное – не для детских ушей. О, эти злосчастные детские уши! Оставалось разгадывать загадки самим. Помогали мифы: наверное, кто-то околдовал несчастного зятя своим волшебным голосом и его тоже привязали к мачте? А может быть, его печень методично клюет какой-нибудь лысый австралийский орел? Что бы там ни было на самом деле, но эти беллины-бертины "недосказанности" были для нас реальнее, чем сама жизнь. Однажды она прямо заявила:

– Видала я тут Падди Листона в канаве. Пьяного в стельку, как английский граф!

Какое зрелище тут же явилось внутреннему взору! Мы так живо представили себе эту картину, что до сих пор бедных, конечно же трезвых, графов я воображаю себе не иначе, как распростертыми под столом, в исподнем, но с короной на голове и на последней стадии алкогольного опьянения. Нам, как вы понимаете, совсем не нужен был телевизор! За душой – почти ничего: ни книг, ни игрушек; на вопросы никто не отвечает, никто никогда ничего не объясняет и – говорю это с радостью, а не с грустью! – приходится самим созидать для себя вселенную, а потом и прокладывать путь в жизни. Я выбрала для себя мир воображения и поэзии – или, если сказать поскромнее, мир сочинительства, и вовсе не из-за взрослой жажды похвал. Несмотря на то что я их слышала, и не раз, я никогда к ним не стремилась.

– Да-а, боюсь, это не У. Б. Йейтс, – однажды сказал отец, когда мать показала ему мои черновики.

Вспоминая сейчас эти его слова, я понимаю его правоту, хотя в семилетнем возрасте Йейтсу тоже далеко было до "У. Б.". Мой отец был влюблен в Кэтлин ни Хулихан[1], наверное, потому, что находился от нее так далеко. Все, что происходило в Ирландии, считалось правильным, все, что в других странах, – не вполне таковым. Каждая его сентенция (с какого-то боку) непременно имела отношение к Ирландии. К примеру: "Никогда не клади ребенка в ящик". И кому только придет в голову класть ребенка в ящик? Но отец, увидев в комоде куклу, к примеру, доставал ее оттуда и изрекал:

– Вспомните Парнелла!

Мы тогда даже не *слышали* о Парнелле, лишь несколько лет назад я прочитала историю его жизни и связала наконец одно с другим. Как-то его мать позвали по срочному делу, она положила новорожденного мла-

1. Аллюзия на одноименную пьесу У. Б. Йейтса.

денца в безопасное место и отлучилась на минутку, но, вернувшись, обнаружила, что ребенок исчез. Его нигде не было, слуги обыскали дом, прочесали весь сад и кустарники, но Чарльза Стюарта Парнелла и след простыл. Вызвали полицию — надеюсь, я ничего не сочиняю. В очередной раз обыскивая детскую, она вдруг услышала еле слышное кряхтение из конторки. Там и лежал задыхающийся Чарльз Стюарт, шести недель от роду. Мать по рассеянности сунула его в открытый ящик и по рассеянности же захлопнула! Уверена, что отец знал эту историю. А иначе откуда бы взялось подобное поучение?

Так что, как видите, кельтские сумерки[1] окружали меня еще до того, как я в них попала. Когда я приехала в Ирландию, они уже заканчивались, близилась полночь. Я всю жизнь мечтала попасть в эту страну, и хотя отец давно умер, я должна была увидеть своими глазами то, о чем он рассказывал мне в детстве. Приехав в Англию, я первым делом послала кое-что из написанного АЕ — Джорджу Расселлу[2], редактору "Айриш стейтсмент". Со всей заносчивостью юности я сознательно не вложила сопроводительное письмо — только конверт с маркой и обратным адресом. И конечно же, он пришел обратно (ни на что другое я и не рассчитывала), но вместо рукописи внутри оказался чек на три гинеи и письмо от АЕ: "Если есть еще что-нибудь, присылайте, а если вы в Ирландии, давайте встретимся". Не собирайся я даже в Ирландию, я тут же села бы на ближайший поезд и помчалась туда.

Так я попала под крылышко АЕ, познакомилась с Йейтсом и другими замечательными людьми, принадлежавшими к их кругу. Все они тут же деловито принялись меня вылизывать и охорашивать, как заботливая мама-кошка — котенка. Можете себе представить, какое это было счастье, ни о чем таком я и не думала. Впрочем, так няньчились не только со мной — на всякого молодого человека здесь изливался поток благодеяний. Это было настоящее чудо — увидеть родину своего отца, край поэтов и творцов истории с такой стороны! Возможно, не менее закономерно и то, что с первых же минут общения с ирландскими родственниками мне пришлось спуститься с небес на землю. Это было неизбежно. Оказалось, что никто из них не влюблен в Кэтлин ни Хулихан. Они жили с ней бок о бок, но видели ее без флера. Истинные ирландцы, знатоки фольклора и истории, любители лошадей и деревенского образа жизни, эти люди вовсе не считали, что поэзия — венец всего, а к Кельтскому возрождению относились весьма сдержанно.

— Не нравится мне, что ты водишься с теми, кто знается с феями, — твердил один из них. — Чтоб молодая девушка слонялась по Флит-стрит, такому ужасному месту, даже подумать страшно!

Послушать его, так я просто тонула во грехе, а все из-за коварных газетных магнатов и пьяных репортеров, которые волокли меня куда-то по темным аллеям, а я только радовалась, — хотя виду, разумеется, не подавала.

— С кем ты только якшаешься! — восклицал он. — Живет тут один такой за два квартала от нас, старый уже, но ужасный хвастун. При встрече с ним будь вежлива, но знакомства не заводи. Его зовут Шоу. Джордж Бернард Шоу.

Постепенно я научилась скрывать свое воодушевление по поводу всего того, что представлялось моим родственникам по отцовской линии достойным порицания. Один из них впоследствии одобрительно заметил:

— Ты уже не такая сумасшедшая, как вначале.

Этот человек, находясь на смертном одре, услышал, как его жена спрашивает у врача, дотянет ли

1. *"Кельтские сумерки"* — прозаическое сочинение У. Б. Йейтса, своеобразный путеводитель по истории и культуре Ирландии.

2. Джордж Уильям Расселл (1867–1935) — ирландский критик, поэт, художник. АЕ (а также А. Е.) — его литературный псевдоним; возник в результате типографской ошибки при наборе слова AEON на титульном листе.

он до утра, и с сардонической усмешкой заметил:

– До того ли мне? Достали меня эти рассветы. Вы лучше скажите, доживу ли я до результатов лодочной гонки?

Среди всего, что он сказал на прощание, эта фраза – то ли аскета, то ли чудака – занимает, как мне кажется, особое место.

Не такая сумасшедшая, как вначале? Плохо же он меня знал! Как раз возвращаясь от него в Дублин, я решилась на самый сумасшедший поступок в жизни. По дороге поезд останавливается у озера Лох-Гилл – где находится остров Иннишфри[1], описанный Йейтсом. Так что я выпрыгнула из вагона, на берегу под шум плещущихся волн наняла лодочника и велела ему отвезти меня туда.

– Здесь такого острова нету, – ответил лодочник.

– Есть, уверяю вас. О нем писал У. Б. Йейтс.

– Это еще кто такой?

Я объяснила.

– А, поэты! Вечно витают непонятно где, выдумывают какие-то небылицы. *Мы* его называем Крысиный! Крысиный остров!

Лодка отчалила от берега. Над головой нависли серые облака. Я расположилась на носу, на корме устроился молодой священник, в последнюю минуту выросший как из-под земли. Плавание выдалось не из легких. Наконец показался Иннишфри. Никаких роев пчел, реющих в поисках меда, никаких бревенчатых домиков – впрочем, я и не надеялась их увидеть. Пчелы жужжали только в воображении поэта. Остров весь порос рябиной с ягодами-рубинами, и внезапно мне в голову пришла мысль – как выяснилось, самая пагубная: "А не нарвать ли ему веточек в подарок?" Остров маленький, я оборвала почти все деревья, собрала такой большой букет, что еле дошла до лодки. Поднялся сильный ветер, начался дождь, по озеру пошли большие волны. Эти ирландские озерца в мгновение ока превращаются в бушующее море. Когда мы отчаливали, валы, казалось, были высотой со статую Свободы, я сильно жалела, что не умею плавать. В промежутке между двумя накатами вод я заметила, что священник, бледный как полотно, одной рукой перебирает четки, а второй срывает ягоды с моего букета и бросает в воду.

– Ах, святой отец, – прохрипел лодочник, налегая на весла, – лодка не станет легче от пары-тройки ягод. Это нас не спасет. – И задумчиво посмотрел на меня.

Я сразу вспомнила, что при кораблекрушении обычно не спасают женщин, и поняла, что он выбросит меня за борт, если дела пойдут совсем худо. Как бы мне хотелось, чтобы четки в тот момент оказались у меня! Тем не менее, возможно, лишь благодаря молитвам священника мы все же благополучно причалили. Под проливным дождем, сгибаясь под тяжестью букета, я поспешила на ближайший поезд до Дублина. Стоявшие рядом со мной пассажиры поспешили ретироваться, увидев мои насквозь промокшие одежды – они приняли меня, должно быть, за древнего морехода. И зачем я только вообще тащила в Дублин букет? Но, к несчастью, я родилась упрямой и не могла его бросить. Можно сказать, продираясь сквозь завесу облаков, я понесла – такси в то время для меня не существовали – этот невероятных размеров веник к Йейтсу на Меррион-сквер, но перед дверью остановилась, внезапно увидев себя со стороны: пряди волос свисают как крысиные хвостики, в руках такие же жалкие, смятые и побитые дождем ветки. Я была похожа на Бирнам, двинувшийся на Дунсинан[1], и больше всего на све-

1. У Йейтса есть стихотворение, посвященное этому острову, – "Остров Иннишфри".

1. Аллюзия на "Макбета" У. Шекспира:

...Меня
Поймал на правде дьявол, обнадежив:
"Спокоен будь, пока Бирнамский лес
Не двинулся на Дунсинан".
Перевод Б. Пастернака

те мне хотелось умереть. Нажав кнопку звонка, я молилась, чтобы открыл не Йейтс, но молитвы мои не были услышаны.

Согласитесь, не так часто бывает, что поэт лишается дара речи. Увидев меня, он просто онемел. Сгорая от стыда, я услышала, как он выкрикнул в темноту чье-то имя и поспешно убежал наверх. Передо мной тут же явилось материализовавшееся в человеческом облике имя, нежно взяло меня за руку и, словно больную, заблудившуюся в пути или повредившуюся умом, увело вниз, на кухню. Там меня отогрели, заменили мокрую одежду сухой, напоили какао, забрали ужасные ветки. Я чувствовала себя так, будто я уже в лучшем мире, будто мучения мои закончились и все плохое позади. Пребывая в этом полубредовом состоянии, я собралась уходить — найти бы заднюю дверь! — чтобы меня здесь больше не видели. Но пришла служанка и, осторожно подбирая юбки, обратилась ко мне (точно к живой!) со словами:

— Хозяин готов с вами встретиться.

Я была в ужасе. Схватилась за последнюю соломинку:

— Зачем?

— Ну... Сами узнаете. Его ведь не поймешь.

И я пошла наверх по лестнице, по нескончаемой лестнице, и он ждал меня в комнате с голубыми занавесками.

— Моя канарейка снесла яйцо! — сказал он весело и подвел меня к клеткам, стоявшим у окна.

Оттуда мы совершили круг по комнате, и с каждой минутой я чувствовала себя все лучше и лучше, а он все говорил и говорил, какие книги любит, как это бывает, когда у него появляется мысль о стихотворении (здесь он надолго замолчал). Он всегда был бардом, всегда играл роль поэта и, не будучи театральным актером, знал, чего она от него требует, и исполнял ее на совесть. Он не входил в комнату, а вплывал, его прогулка по кабинету была церемониальным шествием, участвовать в котором вместе с ним было волшебством.

— Когда я думаю о стихотворении, — возвестил он, — я читаю одну из своих книг, и тогда писать — словно продолжать написанное.

Моисей и его заповеди не произвели бы на меня столь глубокого впечатления. Наше странствие завершилось, на душе было светло, и я уже хотела сказать ему "до свидания", когда заметила на столе вазу, а в ней веточку рябины с ягодами. Я недоверчиво посмотрела на него. "Так это что, был урок?" — думала я, ведь в моем возрасте сама мысль о назидании казалась оскорбительной. Нет, судя по выражению его лица, он не собирался поучать. Он не опустился бы до банальности. Зачем пускаться в объяснения, я и так все пойму, соединив одно с другим. Веточка — а не букет. То же и с писательством. Говорить меньше, чем хочется. Не нужен лес, довольно и листочка.

На следующий день, за обедом АЕ сказал:

— Йейтс был весьма тронут вашим маленьким сувениром с Иннишфри.

Я рассказала ему все — с АЕ нельзя лукавить.

— Надеюсь, — с хитрецой ответил он, — что в Данфанагее (то было его любимое место в Ирландии), — вы не спилите все ивы. А как же духи деревьев? Вы что, забыли о друидах?

Друиды! Я выросла на мифах, а на Иннишфри обо всем забыла. И напомнил мне о них АЕ — АЕ, чьи мысли, обладавшие кристальной ясностью и определенностью, не обошли тем не менее и друидов. Такие люди, как он, Йейтс, Джеймс Стивенс[1], были аристократами духа. Мир для них был един. Мысль не являлась к ним сама по себе, просто так, с бухты-барахты, вне связи со всем остальным. Для них все на свете имело прошлое и родовое дерево. Они не видели ничего постыдного и глупого в мифах и сказках, не подде-

1. Джеймс Стивенс (1882–1950) — ирландский романист, очеркист и поэт.

вали их на лопату и не бросали куда подальше, где воткнута табличка "Только для детей". Они всегда были готовы признать, что на земле и на небе "...есть многое... чего не знают наши мудрецы". Они не отгораживались от неведомого. Конечно же, я многому у них научилась.

АЕ показал мне также, чему могут научить человека собственные писания.

– Попкинс, – сказал он однажды (он всегда называл мою Мери – Попкинс, не знаю, нарочно ли он коверкал ее имя или просто острил, а он всегда делал это очень тонко). – Так вот твоя Попкинс, живи она в старые времена, когда ей и следовало бы родиться, без сомнения носила бы золотые косы, держала бы в одной руке венок из цветов, а в другой – копье. Ее глаза были бы как море, носик хорошенький, а на ногах – сандалеты с крылышками. Но сейчас, если верить индусам, у нас Калиюга, а по-нашему Железный век, и поэтому она носит одежды, подобающие нашему времени.

Золотые косы и всякая мишура меня не интересовали. Я воспринимала Поппинс такой, как она *получилась*. Но поражало меня то, что АЕ столько знал о ней, о ее прошлом, о происхождении, ведь мне ничего такого и в голову не приходило. Мне не терпелось ринуться в бой. Я начала *читать*. И только спустя годы поняла, что́ он хотел сказать: Попкинс пришла оттуда же, откуда и другие сказки...

Шеймас Хини

Три эссе

Переводы Г. Кружкова, Г. Стариковского

Бог в дереве

Ранняя ирландская лирика природы

Древнеирландские стихи о природе много хвалили и переводили. Восхищались исключительной чистотой их дикции. Кажется, сама свежесть и ясность первоначального мира девственных лесов, рек и птичьих трелей запечатлелась в этой поэзии. Читая, мы то и дело вздрагиваем от уколов наслаждения, которое трудно выразить словами. Может быть, фраза Вордсворта "захваченный врасплох" ближе всего передает то сочетание неожиданности и красоты, что дарят нам, например, вот эти восемь коротких строчек, запечатлевшихся в памяти поколений:

Там, в кустах,
мелкий птах
щебетах:
    юркий хвост,
быстрый взмах,
взлет и – ах! –
над Лох-Лайх
    черный дрозд!

Своей лаконичностью и образностью это искусство может по праву сравниться с хокку. Лягушка Басё, плюхнувшаяся в японскую лужу в семнадцатом веке, произвела не более звучное и долгое эхо во времени, чем этот юркий ирландский дрозд, прочистивший горло на берегу Лох-Лайха[1].

Не менее сжато и выразительно стихотворение, начинающееся по-ирландски scel lem duib. Каждое слово в нем обладает яркостью и вескостью капли дождя, сверкнувшей на ветке тёрна. Прав был Флэнн О'Брайен, говоривший о "каллиграфической четкости" древнеирландской лирики. Почувствуйте, как ледяное дуновение северной зимы входит в нас вместе с этими краткими строками:

Вот вам весть:
хлад грядет;
с воем в брег
взводень бьет.

С ревом в дебрь
мчит олень;
стынет свет,
меркнет день.

Вереск рдян,
ветер дик;
в гуще туч
гусий крик.

В гнездах птиц
больше несть;
в бродах лед:
вот вам весть.

Я могу назвать лишь несколько примеров в английской поэзии, когда слова передают холод и озноб зимы столь же пронзительно: это средневековая поэма "Гавейн и Зеленый рыцарь", "Король Лир" Шекспира да "Дрозд в сумерках" Томаса Гарди. В знаменитой строке "По терновнику ветер холодный летит" есть подлинная дрожь голой человеческой плоти; но такая чувствительность редка

© Seamus Heaney, 2002
© Г. Кружков. Перевод, 2007
© Г. Стариковский. Перевод, 2007
Сборник стихов и эссе Ш. Хини выйдет в этом году в издательстве "Текст".
1. Лох-Лайх – старинное название Белфастского залива. (*Прим. перев.*)

у английских поэтов. Кажется, что после нормандского завоевания температура английской поэзии в целом повысилась под действием теплого фронта, пришедшего со Средиземного моря. Ирландская литература не испытала подобного влияния, и ранняя ирландская лирика с родниковой звонкостью и прозрачностью запечатлела ощущения, которые мы не найдем ни на каком другом языке. Недаром Куно Мейер, первый исследователь и переводчик многих кельтских текстов, писал: "Эти стихи занимают уникальное место в мировой литературе. Способность любить, наблюдать и описывать природу в ее мельчайших и величайших проявлениях ни одному народу не была дана так рано и так полно, как кельтам".

На полях рукописи девятого века из монастыря Сент-Голл в Швейцарии мы находим еще один пример этого тонкого ощущения природы, увиденной сквозь омытый христианством глазной хрусталик кельтского монаха:

Рад ограде я лесной;
за листвой свищет дрозд;
над тетрадкою моей
шум ветвей и гомон гнезд.

И кукушка в клобуке
вдалеке будит лес;
Боже, что за благодать –
так писать в тени древес!

В этом стихотворении, которое обычно называют "Монах, пишущий в лесу", мы видим, как воображение автора питается из двух разных источников. С одной стороны, это – pagus, языческая стихия леса с его таинственной и неугомонной жизнью, с другой стороны – разлинованная тетрадь, христианская disciplina, религиозное чувство долга, подчиняющего себе чувственные оклики природы. Автор – монах-отшельник и одновременно переписчик книг; отшельническая традиция ранней ирландской церкви и породила такое явление, как древнеирландская лирика природы. Более того, П. Г. Генри в своей ученой и увлекательной книге "Ранняя английская и кельтская лирика" прослеживает связь между хвалебной поэзией и другой – противоположной и противонаправленной, которую мы можем назвать покаянной. Оба рода поэзии питаются опытом монашеской жизни, простой и аскетической, причем переживания аскета находят выход в покаянных стихах, а прямое соприкосновение отшельника с вечно меняющейся природой – в более жизнерадостной лирике времен года.

Оба направления поэзии представлены в живой и драматической форме в диалогах святого Патрика, осуждающего старый героический уклад ирландской жизни, и Ойсина, необращенного естественного человека. В то время как Патрик хвалит монашескую жизнь, молитвы и песнопения, Ойсин перечисляет шумные и полнокровные радости фениев, охоту и сражения. В Ирландии начиная с тринадцатого века сложился тщательно разработанный жанр поэзии места. Описание гор, долин и озер в ностальгическом и романтическом ключе, часто соединенное с жалобами изгнанника, – типическая черта кельтской поэтики. Я выбрал одно стихотворение этого жанра: восхваление Ойсином горы Бен-Балбен (ее первоначальное, "настоящее", название – Бенн-Гулбайн), выбрал отчасти потому, что это одно из ранних упоминаний той горы, что занимает столь доминирующее место в ландшафте Слайго и неотделима от поэзии У. Б. Йейтса, запечатлевшего ее образ в воображении современного читателя.

Бенн-Гулбайн теперь не тот,
мрачен и уныл, как смерть,
а бывало, с тех высот
дивно было посмотреть!

Скок оленей сквозь кусты,
хрип собак и крик ловитв –
много сильных знала ты,
о гора великих битв!

Цапель стон по вечерам,
гомон гнезд на деревах,
дивно было по утрам
слушать пенье первых птах.

Видеть воев молодых,
храбрых фениев лесов,
и на привязях у них —
боевых свирепых псов.

Чуять хлад ночной росы,
что на склон горы легла,
слышать тявканье лисы,
одинокий крик орла.

Или севшего на пень
слушать песенку дрозда...
Патрик! Минул век, что день,
дивно было жить тогда.

Ученые могут трактовать это стихотворение как элегию, и действительно, в нем есть некое отстранение, как бы дымка времени, отдаляющая его от объекта описания и приближающая к сегодняшнему восприятию. Но на первом этапе монастырской поэзии, что началась на шесть-семь веков раньше, отнюдь не плач по утерянному, а чистая радость, возвышающая взор и сердце, была эмоциональным содержанием стихов. Эта поэзия приближает нас к первым дням творения, к тому времени, когда Адам давал названия растениям и зверям. В качестве примера можно привести следующие несколько строф, вложенных в уста коннахтского отшельника Марбана, жившего в седьмом веке:

Тис нетленный —
мой моленный
дом лесной;
дуб ветвистый,
многолистый —
сторож мой.

Яблок добрых,
алых, облых —
в кущe рай;
мних безгрешен,
рву с орешин
урожай.

Из криницы
ток струится
(свеж, студен!);
вишней дикой,
земляникой
красен склон.

Велий заяц
вылезает
из куста;
скачут лани
по поляне —
лепота!

Бродят козы
без опаски
близ ручья;
барсучаты
полосаты
мне друзья.

А какие
всюду снеди —
сядь, пируй! —
сколько сочных
гроздий, зелий,
светлых струй!

Мед пчелиный
из дуплины
(Божья вещь!);
грибы в борах,
а в озерах
язь и лещ.

Так она и идет дальше, эта отшельническая рапсодия, полная первобытной энергии друидской рощи. Слово "друид", конечно, вызывает в жизни мир более древний, темный и густолиственный, чем мир раннего ирландского христианства, хотя некоторые ученые утверждают, что *филид*, этот официальный поэт исторического периода, лишь продолжал роль друида, поэта-жреца архаической эпохи. Мне очень нравится такая мысль, потому что "друид" происходит от слова "doire", дубовая роща, и таким образом поэт оказывается связанным с таинствами, происходившими в этой роще, а его воображение — с языческой стихией леса, скорее с Ойсином, чем со святым Патриком.

И здесь я обращаюсь к названию своего эссе: "Бог в дереве". Поэзия всегда глубже любого заявленного смысла. Тайная сила, связывающая слова вместе, есть некая психическая энергия, трудно уловимая, первобытная и лишь смутно осознаваемая и поэтом, и его слуша-

телями. Скажем, в контексте монастырского миропонимания бог — податель жизни, создатель всего сущего, Бог Троицы — Отец, Сын и Святой Дух. Но есть другой бог — прячущийся в дереве, неосязаемый, но тем не менее сильный, не тот, описанный в христианских книгах, а другой — неведомый и таинственный. Иан Финлей в своем "Введении в кельтское искусство" отмечает, что лишь после завоевания галлов римлянами и превращения их страны в имперскую провинцию галльские и кельтские боги приобрели сходство с живыми мужчинами и женщинами, до того эти божества оставались окутанными в непроницаемые оболочки камней и деревьев — в обличья, присущие объектам природы. И впрямь, когда подумаешь о суеверном страхе и почитании, вплоть до недавних пор окружавших волшебный тёрн в ирландских деревнях, о паломничествах, которые и сейчас совершаются к древним святым источникам, сразу отпадут все сомнения в реальности утверждений Финлея. Я предполагаю, что ранняя ирландская поэзия природы питалась глубинной неосознанной связью с мистериями леса, с "древобожием", — как бы она ни заявляла о своей приверженности новой религии Христа. В конце концов, нет никаких оснований, почему бы литературе не сохранить те же следы старых верований, которые сохранила готическая архитектура по всей Европе в форме тех украшений церковных крыш, которые историки называют "зелеными человечками" или "лиственными головками", — человеческие лица, переплетенные с листьями, желудями и ветками.

Эти зеленые человечки напомнили мне о еще одном персонаже, тесно переплетенном с лесом, жившем и спавшем на деревьях, собиравшем съедобные травы и пившем из родника: я, конечно, имею в виду Безумного Суини, героя знаменитого цикла стихотворений, — одновременно врага и заложника монастырской традиции. Согласно легенде, Суини был одним из местных ирландских вождей (королей), которого святой Ронан проклял и превратил в получеловека-полуптицу, обреченного вести кочевую, бездомную жизнь в лесу, — до тех пор, пока он не был возвращен к человеческому облику монахами церкви Святого Моулинга, записавшими его историю и сочиненные им стихотворения. Одно их этих стихотворений несомненно связано с архаическим древобожием, но свою окончательную литературную форму оно обрело в более поздние времена. Это — так называемая "Песня о деревьях Ирландии", благодарный гимн щедрому обилию природы и еще одно свидетельство того, каким ореолом были окружены деревья в воображении древних кельтов.

Дуб, ты сучья распростер
дальше, выше всех;
ты, орешник, тонкокор,
крепок твой орех.

Ты, пушистая ольха,
добрым людям кров,
незлобива и мягка,
нет в тебе шипов.

У тебя, колючий тёрн,
ягоды сладки;
ты, жеруха, бедных корм,
гуще у реки.

Клевер клейкий, ты влечешь
и коров, и пчел;
земляника, ты растешь
там, где светел дол.

Яблонька, тебя трясут
все, кому не лень,
как прекрасна ты в лесу
в майский дивный день.

О шиповник, ты жесток,
крови любишь сыть,
ладишь ты свой коготок
в плоть мою вонзить.

Тис тишайший, ты могил
строгий страж ночной;
плющ курчавый, ты обвил
старый ствол лесной.

Остролист, от ветра щит,
ты прочней стены;
ясень стройный нам растит
копья для войны.

Ты, береза, всех дерев
звонче и светлей,
затмеваешь королев
прелестью своей.

Жаль тебя, осина, жаль:
как трепещешь ты,
как хотят сорваться вдаль
круглые листы!

Но грозит мне старый дуб,
машучи рукой:
чем-то я ему не люб,
чем-то не такой...

Это — единственное из многочисленных стихотворений-монологов Безумного Суини, которое целиком произрастает из растительно-природного мира как продолжение его естественного орнамента; оно одно стоит десятков сходных стихотворений, написанных с шестого по шестнадцатый век и свидетельствующих о древобожии как об источнике поэтического вдохновения.

Я привел здесь лишь малую горстку стихов. Желающие познакомиться глубже с ирландской лирикой природы могут получить много пользы и удовольствия, обратившись, например, к работам Куно Мейера, Ричарда Мёрфи и Фрэнка О'Коннора или к поэтическим антологиям Джона Монтегю и Брендана Кеннелли. Я ограничился лишь немногими стихотворениями, оказавшими наиболее сильное и длительное влияние на мое воображение, и попытался сам разобраться, в чем тут дело.

Закончить я хочу коротким воспоминанием, имеющим, как мне кажется, прямое отношение к тому, о чем мы говорим, и явившимся для меня своего рода маленьким открытием или эпифанией. Я побывал — тому уже одиннадцать лет назад — в старинной монастырской молельне (оратории) на полуострове Дингл в графстве Дерри. Сложенная всухую из серого известняка, по величине она не больше обычного штабеля торфа. Внутри, в каменном полумраке, мне захотелось пригнуться от тесноты и какого-то гнетущего ощущения, опуститься на колени, как опускались поколения монахов, моля о спасении, об искуплении своих грехов. Я вдруг ощутил на своих плечах весь груз христианства с его суровым, непоблажливым отношением к себе, с пафосом самоунижения, смирения брыкливой человеческой плоти и дерзкого духа.

Но когда я покинул холодную каменную утробу молельни, снова вышел на солнце и увидел ослепительный блеск травы и моря, я ощутил такой внезапный подъем духа, такую непреодолимую жажду счастья, какие, должно быть, вновь и вновь испытывали монахи, пересекавшие этот порог за много веков до меня. Эта потребность восхваления, это ощущение мира как света, как озарения и есть сердцевина древнеирландской поэзии природы — то, что делает ее такой уникальной частью нашего наследия.

Перевод Г. Кружкова

Смещение: Поэты Северной Ирландии

Во вступлении к психологии Юнга Энтони Сторр описывает ситуацию, необычайно похожую на ту, в которой оказывается североирландский поэт, да, в общем-то, и любой другой поэт, независимо от страны проживания:

Юнг описывает некоторых своих пациентов, которые находили выход из, ка-

залось бы, неразрешимого кризиса, достигая "нового уровня сознания" и тем самым превозмогая свой кризис. Он пишет: "Внутренний кругозор пациента расширился, вобрав в себя нечто более возвышенное, и через это расширение кризис терял свою власть над пациентом. Излечение не требовало рационального подхода, а само кризисное состояние, не завладевая пациентом полностью, уступало влиянию более весомого жизненного императива".

Достижение новой ступени психологического развития подразумевает некоторую "отрешенность от собственных эмоций. Человек явно сознает, что находится в состоянии аффекта, и, мучимый этой мыслью, не может успокоиться; в то же время он обнаруживает, что более высокий уровень сознания не позволяет ему слиться с самим аффектом. Такое сознание рассматривает аффект как объект, оно вправе постулировать "*знаю*, что стражду".

Сторр первым признал, что эти выкладки лишены конкретности. Юнг не приводит примеров "неразрешаемого кризиса", который необходимо превозмочь и разрешить на уровне образов, воспринятых сознанием. Задайся он такой целью, Юнг мог бы обнаружить в "Прелюдии" Вордсворта рабочую модель для своей эволюции сознания, находящегося в кризисном состоянии. В последних книгах поэмы нарастает тревога; поэт вновь и вновь пытается понять, что произошло в 1790-х годах, когда обожаемые им идеалы свободы и возрождения человека, идеалы, которые он исповедовал в начале Французской революции, оказались в разладе с нежным чувством, питаемым Вордсвортом к английской земле. Когда Англия объявила войну революционной Франции, Вордсворт пережил неожиданный для самого себя глубочайший внутренний кризис, который он пытался смягчить, сперва обратившись к философскому учению Годвина, а после — спасаясь в мифотворчестве, обновляя и развивая миф о предназначении человека. Описание кризиса волнует, как трагическая фабула:

Когда британцы стали под ружье,
И все готово было
к выступленью,
Меня как подменили,
будто кто-то
Сомненьем терпким душу опоил.
До той поры я правдой жил
единой
И угрызений совести не ведал,
Привязанностей не меняя, — если
Любил, то без остатка, но теперь
Произошел во мне переворот:
Я знал свой путь и шел,
то замедляя,
То ускоряя шаг, по назначенью,
Пока не сбился с прежнего пути
И оказался где и сам не знаю.
Правительство прогневали
французы,
С тех пор как возрожденная
страна
Покоя не дает сварливым пэрам.
Не то чтоб я последствий
не предвидел,
Но никогда не придавал значенья
Событиям, маячившим вдали,
Ютящимся за горизонтом мысли.
Теперь, натравливая друг на друга
Враждующие стороны души,
Я надвое разъят и уничтожен,
Как непосильной тяжестью,
враждой
К еще недавно милым —
ветру в поле,
Листве, ее подветренным
покровам,
Высоким деревам земли, где жить
И умереть, казалось мне,
прекрасно.
Теперь как будто буря
разыгралась,
И мой корабль гонит
на погибель.
Не скрою, я отпраздновал
триумф,
Когда бежали толпы англичан —
Бесстрашные вояки! —
с поля боя,
И тысячи их тысяч полегли,
Как ликовал я! Да, стряслась
беда,
Я понимал, но ничего поделать
С собой не мог,
с другой своею частью.
Лишь тот, кто схожее
с моим волненье

Испытывал при виде
сельской церкви,
Пусть тот меня
к ответу призовет:
Когда с поклоном Вышнему Отцу
Молились прихожане о победе
Британского оружья, среди них
Я, как незваный гость, сидел и,
звука
Не проронив, был только
тем утешен,
Что мы за все в ответе
пред Всевышним.

Прелюдия. X. 230–237

Столь милая его сердцу, вскормившая Вордсворта страна, с которой он ощущал внутреннее сродство, стала для революционного поэта чужой. Место проживания перестало отождествляться с судьбой, в которую он до сих пор верил. Его привязанности сместились, поскольку в его глазах сама добродетель стала достоянием иной державы. Политические, утопические мечтания поэта порывают с любовью к родине. Единство инстинкта и интеллекта распадается. Поэт чувствует, что предал тех, кого знает и любит, ведь по отношению к самому себе преданность и предательство — две стороны одной и той же медали. Он переживает глубокое внутреннее потрясение, и в волнах шока, охвативших его сознание, отображаются катаклизмы окружающего мира. Действительно, весь отрывок — как пример из учебника, иллюстрирующий еще одну мысль Юнга, а именно, что травма индивидуального сознания скорее всего является совокупностью действующих сил сознания коллективного, коренящегося в прошлом и настоящем одновременно, ведь, по Юнгу, крик Гамлета "О, ясновидящая моя душа" — не более чем трюизм.

Еще одним общим местом стало бы утверждение, что при подобных обстоятельствах освоение новых творческих высот целительно действует на художника; совершенно очевидно, что работа над "Прелюдией" отчасти помогла превозмочь — на символическом уровне — пережитый поэтом личный кризис. В поэме при описании неразрешимого противоречия во внутренний диалог вступают привязанности и убеждения поэта. Поэма в одно и то же время становится диагностической, терапевтической и дидактической. Она предвосхищает модернистскую технику "проецирования нервов на экран". Поэма подчиняется современным требованиям психологического реализма, и, хотя стиль поэтических исканий Вордсворта витиеват и возвышен, поэт все же не впадает в абстракцию; ему достаточно личных переживаний, желаний и чувств; при этом сохраняется единство места и времени. Случай Вордсворта симптоматичен для его времени, однако поэт избегает обобщений: диктат обстоятельств, побудивших Вордсворта взяться за поэму, призывает не останавливаться на аллегорическом или символическом истолковании своих переживаний. Принцип построения поэмы, её структурное и риторическое единство объясняются не желанием эпатировать читателя, не самооправданием или драматизацией своих противоречий, но лишь присущим Вордсворту складом мыслей и его отношением к своему ремеслу. "Я" стихов становится оком бури, разыгравшейся в лирическом "я".

Высшим достижением среди произведений такого рода стала написанная более чем через сто лет "Бесплодная земля", поэма, где в лирическом приращении острого внутреннего кризиса различим голос эпохи, призывающий читать стихи по-другому. "Бесплодная земля" выучила нас отыскивать в поэтических образах культурные и психологические откровения, рассматривать аллюзию с точки зрения её критической весомости, а не как декоративный элемент, искать отличительные черты художественного мира в канве самого текста, вслушиваться во внутреннее звучание стиха, не довольствуясь его внешней отделкой. "Бесплодная земля" — и мы принимаем это как данность — разрешает

на символическом уровне внутренние противоречия в сознании поэта; в то же время эту поэму можно читать и как отображение противоречий, существовавших в поствоенной Европе, ведь в том, что касается понимания искусства, все мы — последователи Юнга.

Подобно разуверившемуся в своих идеалах Вордсворту, писатели Северной Ирландии, о которых я хотел бы поговорить, вынуждены пребывать одновременно в двух разных мирах, сочетая в себе два взаимоисключающих условия лирической достоверности. Не поэтому ли их стихам подчас присуща элиотовская осмотрительность и скрытность? Они связаны со страной, чей расколотый надвое народ настаивает на своей принадлежности к другим землям. Каждый живущий в Ольстере живет прежде всего в Ольстере непосредственной действительности, а уже потом в одном из двух мыслимых ольстеров. Североирландский националист поморщится при виде Юнион Джека или при звуках "Боже, храни Королеву", не желая ни в том, ни в другом случае отождествлять свое место в мире с Англией; он воздержится от предполагаемого государственной символикой изъявления преданности, почти так же, как Вордсворт воздержался от солидарности с общими молитвами об успехе английского оружия. Однако точно так же, как Вордсворт, живший среди своих патриотически настроенных соплеменников, североирландский националист ежедневно сталкивается с земляками-юнионистами, которых та же самая символика подвигает к пиетету и патриотическому энтузиазму и для которых его националистические принципы, его надежды на другой флаг и на другой гимн — не менее серьезное предательство, чем революционные симпатии Вордсворта. Исток юнионистского мифа — Английская Корона, но юнионист вынужден отстаивать свои проанглийские идеалы на острове Ирландия. Корни североирландского национализма — в идее неделимой Ирландии, но националист, как и юнионист, живет в изгнании по отношению к "идеальной" стране. Тем не менее националист, не отрицая своего британского подданства, мог бы найти утешение в самом факте проживания на разделенном ирландском острове, точно так же как юнионист мог бы утешиться мыслью о политической реальности Объединенного Королевства, даже если он должен признать, что местом его проживания является Ирландия.

Это положение вещей застарелое, всеохватывающее и не обязательно окончательное. Оно вошло в коллективное сознание Северной Ирландии задолго до того, как начались нынешние беды. Действительно, это состояние было интернализировано жителями Ольстера в мирное время; как правило, сдержанная реакция многих североирландских писателей на всплеск насилия имеет много общего с этой интернализацией. Как и другие представители человеческого сообщества, поэты знали, что к чему. Сектантские разделения, подтасовки со стороны большинства, дискриминация в сфере жилья и трудоустройства — все это воспринималось с прискорбием. Думаю, будет справедливым утверждать, что к середине шестидесятых годов националистическая, республиканская и юнионистская молодежь задалась целью изменить ход надвигавшихся событий. Это не значит, что юнионистский истеблишмент мог бы легко или по доброй воле поменять политический курс, но более активное, более внятно заявившее о себе движение за гражданские права и не столь наглое упрямство нового поколения юнионистских политиков могло послужить началом создания лучшего, более справедливого и более сбалансированного общества.

Появление моего поэтического поколения в Ольстере не в последнюю очередь связано с социально-политической обстановкой. Сам факт существования литературной жизни стал политическим преце-

дентом. У литераторов не было необходимости заниматься поисками ответов на отдельные политические вопросы; предполагалось, что их творческая утонченность и терпимость должны были стать противовесом заскорузлости и нетерпимости, царившим в обществе. Когда Дерек Махун, Майкл Лонгли, Джеймс Симмонс и я опубликовали свои первые книги, уже разнесся сектантский клич Пэйсли, и кабинет министров Северной Ирландии каждое Двенадцатое июля поощрял атавистский фанатизм оранжистов. В этой ситуации литератору добавить было нечего: наоборот, казалось, что нужно было превозмочь действительность. Вероятно, можно говорить о том, что поэзия сама по себе и была тем возвышенным идеалом, к которому поэты непроизвольно тянулись, чтобы выжить в унизительной для них действительности — униженные озлобленностью националистов и в худшем случае — нерешительностью юнионистов, в лучшем — их чувством вины. К слову, процитированный ранее пассаж Юнга соответствует типичному, если не сказать, сознательно выбранному, положению ольстеровского поэта в шестидесятых годах:

> Человек вне сомнения осознает, что находится в состоянии аффекта, и, мучимый этой мыслью, не может успокоиться; в то же время он обнаруживает, что более высокий уровень сознания не позволяет ему слиться с самим аффектом. Такое сознание рассматривает аффект как объект...

В данном случае юнговский "аффект" мог бы описать степень озлобления тех, кто называет Северную Ирландию своей родиной, ведь под такого рода "аффектом" подразумевается нарушение душевного равновесия, искривление эмоционального хрусталика, искажающего реальность и грозящего сузить спектр реакций интеллекта на характер самого кризиса. Душевный разлад только усилился, когда "аффект" был осмыслен новым сознанием, которое отнеслось к нему как к следствию воздействия иной истории, иного наследия, иной культурной принадлежности, иных традиций, назовите это чем угодно. В результате стали очевидней разрушительные эмоции, которые слишком уж быстро возникли в коллективном сознании (мятежные чувства националистского меньшинства, властолюбивые и карательные — со стороны большинства), эта внеличностная реакция при столкновении с ежедневной реальностью Северной Ирландии.

Когда новый поэтический язык только формировался, мы говорили скорее о плантерах и гэлах, чем о протестантах и католиках, говорили о различиях в культурном наследии, не выдвигая обвинений друг против друга, не опускаясь до взаимных подозрений; мы говорили скорее об истории, чем о мошенничествах нашего правительства. Стихи стали по-своему успокоительным и полезным снадобьем. Тем не менее все, включая самих поэтов, понимали, что это снадобье до конца не излечивало. Объяснять истоки своей личности этническими и конфессиональными привычками группы, к которой принадлежишь, может быть, само по себе и неплохо, но когда эта группа сдерживает рост личности, диктует, кого любить, а кого нет, и предопределяет отношение к действительности, такой диктат становится ловушкой, в которую легко угодить. Поэт может избежать этой ловушки, только утешившись написанным стихотворением. В момент освобождения, когда лирика обнаруживает и утверждает свою самодостаточность, когда законченная форма раз и навсегда приносит удовлетворение, достигающее исчерпывающей полноты, в эти минуты, когда жизнь поэта, всего себя отдавшего стихам, получает оправдание, его сознание повышается до нового уровня, нарастает художественный потенциал, а сам поэт освобождается от внутренних противоречий. Это и есть та глубинная психологическая установка, которая объясняет типичную для североир-

ландского лирика проработку стилистических нюансов, поиск формальной законченности, интерес к языковой игре, не брезгающей красным словцом. Ольстеровский поэт находит истину в йейтсовском утверждении, что "Гражданский поэт морочит ближних / Сентиментальный лирик – сам себя. / Искусство же есть видение мира". Иными словами, поэт знает свое место в мире, где творчество неотделимо от политики и топографии. Не случайно первый сборник Пола Малдуна, опубликованный в Белфасте в 1971 году, назван, кстати, "Знаю свое место" – каламбурное название, одновременно скромное и высокомерное, лукаво отсылающее к поведенческим нормам, навязанным католическому меньшинству, к которому принадлежал Малдун. В то же время поэт искренне верит, что все в мире имеет свое место – искусство, любовь, политика, привязанность к малой родине, культурное наследие и, кстати, место, где слово удваивает свою силу, где пишут в столбик.

Во-первых, я хотел бы указать на неразрывную связь между поэтической техникой и исторической ситуацией. Было бы чересчур поверхностным говорить о творчестве североирландских поэтов, принимая их лирическую позицию за побег от действительности. Их заботливое отношение к стихам особенно очевидно, если сравнить их с поэзией протеста шестидесятых годов: насыщенность их словесных миров показательна, чисто поэтическая сила речи гарантирует преданность своему делу. Им не нужно просить прощенья за то, что они не брали в руки дреколье: их стихи стали той дирижерской палочкой, взмах которой приносит гармонию в мир, изуродованный дрекольем. Взмахивать палочкой стоит, конечно, в оркестровой яме своего сознания, а не там, где сшибаются крышки мусорных ящиков или стреляют в голову.

Во-вторых, позволю себе утверждать, что поэзия как символическое примирение противоречащих друг другу истин, поэзия, бытующая вдали от политики, не снимает со стихов или с поэта ответственности политической. Никто не собирается призывать поэта к затворничеству в башне из слоновой кости или говорить об "избранничестве" стихотворца. И все же бытование "чистой" поэзии допустимо там, где взрываются автомобили; в то же время стихотворение может отсылать читателя к политическим событиям, если оно сопричастно последним. На первый взгляд, поэзия тонких острот, загадок, обмолвок и высмеивающей себя иронии заслуживает осуждения у стоящего на перекрестке агитатора с мегафоном как поэзия камерная или высокомерная, и все же такая поэзия способна пусть чуть слышно, но высказывать яростное презрение к воззваниям активиста либо, на грани боли, выражать сочувствие к оным. Однако обнаружение "политического" подтекста уже само по себе "политическое" занятие, отличное от процесса стихотворчества. Оно является продолжением или проекцией творческого усилия – усилия, которое не обязано иметь иных целей, кроме стремления к самозавершенности.

Политика и трансцендентность поэзии тянут стихотворца в разные стороны; он часто не способен отстаивать какую-либо одну точку зрения по естественной склонности находиться под влиянием совокупности идей, возможных скорее потенциально, чем в реальности. Это обстоятельство, а также запутанность нынешней ситуации позволяет понять огромное число стихотворений, в которых североирландские литераторы смотрят на мир с большого временного и пространственного расстояния, из-за гробовой доски, говоря от лица мифологических или исторических персонажей далекого прошлого: в "Образе из Беккетта" Дерека Махуна друг на друга наслаиваются монологи фальшивомонетчиков, дезертиров, проституток, художников, искаженные и заунывные репетиции их судеб. Стихотворения, подобные "Образу из Беккета", достигли высшего накала в прекрасно оркестрованном "Брошенном сарае

в графстве Уэксфорд", где лирический голос принадлежит не отдельно взятой судьбе, а всей Лете, наполненной про́клятыми поколениями и племенами, шепчущими шкурками штукатурки о своей невостребованности и неосуществленных надеждах, мягкими жестами прося о том, чтобы их выслушали, — эти семьи грибов, которые в напряжении тянутся из темноты к путеводной звезде света, пронизывающего замочную скважину:

За столько лет никто
не переступил порог,
Не отомкнул замок.
Петли скрипят,
кто здесь таится — духи, волхвы,
Отставные светские львы?
Паутина забила им горло,
тельце скрутила сушь
И бессонница,
удуший густая тушь,
Когда свет фонарика бьет,
пробуравив тьму,
Высветив жизнь
на изломах форм...
Метастазой пошли,
для червей заповедный корм,
Каждый трясет головой,
просит внимать ему,

Каждый по-своему клянчит,
глядит в лицо:
"Сделай же что-нибудь,
замолви за нас словцо,
Не оставляй нас, стертых в труху,
Пепел Помпей, Треблинки,
Мы тоже хотели бы на слуху
У вечности быть,
но не дожили из-за
Войны, недорода, каприза
Природы, о нас не напишут ради
Нас самих, со временем
живших врозь...
Не уходи, человек, ступающий
по прохладе!"

Стихотворение — о праве на жизнь, на свой голос, на свою личность, о праве быть узнанным в глазах Бога и в глазах мира, музыка стихотворения — тоска виолончели. Смысловым фоном становится цикличность истории, ее несправедливости и катастрофы. На переднем плане — поиск логической связи среди метафор, прорастающих, как грибы в сарае старого имения, оставленного влиятельной ирландской семьей после провозглашения независимости. Печаль и проникновенность стихотворения усиливаются его глубокой перспективой: поэт "вживается" в спертый воздух, идущий от глиняных полов сарая, беспристрастно расходуя сочувствие своего цивилизованного мира, светлого и свободного. Отнести чаяния обитателей сарая на счет разочарования поэта в беспросветной североирландской жизни, конечно, является вполне допустимым, политизированным прочтением, но мы понимаем, что такое аллегорическое объяснение остается неполным. Амплитуда его воздействия, наполняющее своды эхо зависит от смещенной перспективы. Беспомощные, как будто навсегда приставшие к земле, эти существа обращаются к оторванному от своих корней гостю, не важно, поэту или фотографу. На стихи Махуна, утонченного городского поэта, ироничного, не брезгующего ученой аллюзией, отбрасывает тень его собственная жизнь, прожитая вдали от родных теней Белфаста. Не отказывайся от нас, не презирай наши уродливые, задохнувшиеся судьбы, верь в свои истоки, будь верен им, замолви за нас слово: обитатели сарая — это голоса причастности, но они не прозвучали бы столь убедительно, если бы Махун, написавший нашептывающие портреты отчуждения, не уехал из Ирландии, превратив биографическое сходство в иронию и сострадание и, само собой разумеется, в одиночество. Этот лирический голос взращен молчанием и дзенбуддистским спокойствием, это — вечность, влюбленная в результат действия времени. Подчас стихи Махуна — великое утешение природы, а еще — великие раны, которые мы наносим ей и себе. "Овидий в Томах", например, начинается с забавного, "экологического" отождествления римского поэта с современным аутсайдером. Поэт негодует:

Какой неотесанный бог
придорожный
В дождь принял вид шестерен,
превратился
В коробку передач?

Что там за нереида —
непотопляемый
Восстановитель волос —
Льды дробит?

Они таращат глаза на меня.
Целомудренна важность,
Гордость звериная

Доблестных дикарей,
Обосновавшихся
На чужом берегу.

Всего не упомнишь.
С тех пор,
Как меня превратили в камень.

Я напрочь забыл,
Что прежде меня
Время тоже текло.

Что устье Дуная
Глотало ил, а в Риме
Говорили "грязный Дунай".

Представь себе Байрона,
Изгнанника в Ботани-Бэй,
Или Уайльда — в Даусон-сити,

И ты поймешь,
Каково было на берегу
Черного моря.

Поэт-альбатрос Бодлера, смотрящийся нелепо на палубе, поэт, над которым насмехаются жестокие матросы, не имеет ничего общего с героем этого стихотворения, так самокритично подтрунивающим над собой, пишущим автонекролог. Он столь скептично относится к попыткам сочинить стихотворения, что вправе сказать:

Я
Веру сменил
На пропуск.
Музы, они где угодно,
Только не здесь,
У замерзшего озера.

А если и здесь,
Не хватит мне ремесла,
Чтоб отыскать их.

Вправду ли мы одиноки
С нашей физикой,
сборником мифов,
И звезды — всего лишь

Блестящая пыль,
И некому выслушать хоровые
Наши гимны?

Если все это — правда,
Мы вправе не слышать молчания
Бесконечных пространств,

Раскумекай-ка лучше
Бесконечность
Под своим носом —

Сердечный надрыв
Артишока,
Веселье атомов.

Созерцай
Чистый лист
И оставь нетронутым,

Это лучше,
Чем перекраивать
Материю — росчерком.

Он сшит из лесных нимф,
Его хватит на множество
Ненаписанных книг.

Я склоняю голову
Над бумагой, ее прозрачностью,
И оплакиваю наше изгнание.

Опять же понимание этого стихотворения нельзя ограничить рамками драматического монолога или завуалированной автобиографии; в гораздо большей мере "Овидий в Томах" — размышление о природе творческого воплощения. В конце стихотворения поэт отрекается от языка, но вместе с тем он выстраивает слова так, что они — на уровне формальной отделки — снимают накопленное напряжение. Главный герой оплакивает свое изгнание, но не стремится реабилитировать себя в наших глазах. Рана, от которой он

страдает, полезна ему и нам: среда проживания, к которой приковано его сознание, претворена в символ.

Не хочу сводить рассуждения о поэзии Дерека Махуна к одной-единственной теме отчуждения; у него множество стихов, где, обращаясь к житейской повседневности, поэт пришпоривает своего Пегаса, который несется по кухонным столешницам и барным стойкам. Я далек от того, чтобы навязывать этим стихам какую бы то ни было теорию. Во всех его сборниках преобладает мотив аутсайдерства (на принятие которого затрачиваются недюжинные душевные усилия) в сочетании с ностальгией по той жизни "внутри", которая, как хорошо известно поэту, невозможна, ибо невыносима. Эта нота свойственна ряду лучших стихотворений Махуна, в которых он пишет о неприкаянности людей, названных им в ранних стихах "непримиримыми в своей метафизической боли". Лирика смещенного сознания пропитана сочувствием, как политическим, так и этническим, как хайку Басё; но ее чисто художественные достоинства приобретают еще большую значимость при сопоставлении с политическим и этническим прошлым самого поэта.

В поэтике Махуна для достижения полнейшего художественного правдоподобия при описании любого места последнее должно быть соотнесено с другими местами. На языке "Стар Трэка", его нужно "направить вверх", чтобы потом без проблем "направить вниз". В стихотворении, в котором Махун пишет о переезде из Суррея в Северный Антрим, поэт воображает, что превратился в дерево в английском парке, "как будто и это место принадлежит ему", но судьбой ему уготовано узнать себя в полной противоположности того дерева — в диком, исхлестанном ветрами кусте терновника на вершине высокой северной скалы:

Ну что о нем скажешь, кроме
Того, что он мертвой хваткой
Вцепился в утес над морем,
Давая понять повадкой
Звериной своей, что жизни
Хватает, чтоб жить украдкой.

Как ворон, с уродством вровень,
Он небо скоблит ветвями,
Над бездной повис, в которой
Соленое плещет пламя,
Но — ангелом битым — к Богу
Взывает еще упрямей.

<...>

Э. М. Чоран писал: "Некоторые народы задаются вопросами божественного порядка: можем ли мы верить в себя?" — "Конечно, не можем", — отвечает на это Пол Малдун применительно к ирландскому контексту. Однако этот отрицательный ответ, сказанный с улыбкой, намекает на нечто противоположное. Открывая книги Малдуна, читатель оказывается внутри хорошо известной истории, в которой главный герой имеет дело с двумя информантами, один из которых всегда говорит правду, а другой всегда лжет. Надо сформулировать вопрос так, чтобы у каждого из них выманить ответ, который можно без труда расшифровать. Иными словами, стихи Малдуна не предлагают нам готовых ответов; они удерживают читателя внутри вопроса. Один из таких вопросов — позволительно ли относить художественный вымысел на счет страны проживания и той двойной жизни, которую ведет в ней поэт, — косвенно задается Малдуном в коротком и типичном для него энигматическом стихотворении "Дефект":

Виной тому наследственность
иль случай,
Что необычен вид благополучья
Земных красот, в чью глубь
глядят без веры
Ее глаза — коричневый и серый.

Поэт отказывается от утверждения или вопроса ради условного наклонения. Если полностью развернуть предложение, оно будет звучать так: "это было бы дефектом,

если бы и вправду..." Мы в точности не знаем, появился ли дефект при рождении, как часть наследственности. Его можно также рассматривать и как дар всевидения, знак божественного покровительства, позволяющий видеть в кажущихся нам вещах и явлениях, как, например, в нежном небе, всю их подноготную. Малдун как бы намекает, что дар североирландских авторов нельзя понять, полагаясь исключительно на социологию и сетуя на ущербную жизнь в их стране. Окружающая действительность то овладевает сознанием, то остается неосознанной, как слова прорицателя, чья невнятная обмолвка расцветает всем спектром возможных последствий, хотя сам прорицатель давно исчез за поворотом. Нам остается недоумевать, когда мы обнаруживаем, что персонаж Маркеса в романе "Сто лет одиночества" имеет тот же самый дефект, которым Малдун наделяет свою героиню. Что это — аллюзия или первичный образ? И то, и другое, и — третье, ответил бы Малдун из-за полога стихов.

В стихах Малдуна язык является движущим элементом, это — мгновенная коробка передач, автомобиль, на котором мчится поэт. Джеймс Джойс, творивший из знаков препинания исторический ребус, как, например, при обращении к своему народу "Ледюни и джентилеты, вовсю-затычки и полу-земцы", Джойс "Поминок по Финнегану", который расплавил пространство и время в плазму ритмов и корневых сгустков слов, каламбуров и мелодий, в показ слайдов, состоящих из фрейдистских опечаток, подобранных для юнговского наборщика, этот Джойс признал бы в Малдуне и его словесном оппортунизме своего северного двойника: поэт наигрывает на скрипке, надеясь тем самым потушить бушующий в доме пожар. К примеру, главного героя стихотворения Малдуна "Чем больше человек имеет, тем больше хочет" зовут Гэллоглай. Его имя отсылает к герою более раннего стихотворения Малдуна, Голигтлаю, а также к воинам Гэллоугласса в гэльском Ольстере и к смельчакам Сиу из племени Оглала; он появляется в повествовании столь же удивительном, как любая из легенд Инголдсбая. Пользуясь сходной языковой экипировкой, Малдун ткет свои полотна из заголовков ольстеровских новостей — взрывов, убийств, американской помощи ИРА, всякого рода секретных военных операций — материи, из которой сотканы сны. Все эти вещи, которые мы безоговорочно воспринимаем как данность, остающуюся где-то на периферии нашего сознания "в реальной жизни", для Малдуна — ингредиенты жестокой игры воображения; перемещаясь в сферу "художественной литературы", они заново обрастают зловещим смыслом. Хорошо проверенные тематические ходы — культурное наследие, традиции, фольклор, плантаторы и туземцы, всю литературу и литературные споры, восходящие к этим различиям (включая стихи его современников), — пристрастно просматриваются на предмет тропов и аллюзий; тем самым в своих стихах Малдун придает своему материалу статус художественной литературы. В стихотворении "Чем больше человек имеет, тем больше хочет" Малдун, как истинный ирландец, надевает маскарадную, шутовскую маску повествователя, но приходит к тому, чего поборники высокой серьезности требуют от серьезного художника, — к критике жизни.

Понимаю, что мои утверждения нуждаются в доказательствах, но рассматриваемое стихотворение в силу своей длины не позволяет задерживаться на деталях. В самом деле, стихи Малдуна слишком символичны; поэт сравнивает, вводит скрытые смыслы, прибегает к словесной эквилибристике, намекает и уходит от ответа. Даже короткое лирическое стихотворение может вдохновить на написание пространных пояснений или, лучше сказать, на тайное соглашение с поэтом, так как "пояснение" означает нахождение некоего "смысла", слишком ловко и добродетельно вытянутого из правого рукава стихотворения, в левом рукаве которого упрятан какой-нибудь другой "смысл".

Таким образом, поэт — это фокусник, который набил руку, крутя столы и свивая пряжу; он всегда на что-то намекает и одновременно обращается к читательской совести. И все же интеллектуальная терпкость Малдуна подслащена юмором и нестесненной ритмикой стихов, наглядным свидетельством чему служит безличное повествование "Обед с Панчо Вильей", стихотворение о связи "жизни" с "искусством", так, как их понимает поэт-протагонист во время некой "славной революции", произошедшей, по всей видимости, "на заднем дворике". Поэта-повествователя обвиняет "прославленный памфлетист":

Оглянись-ка, парень,
Люди гибнут и справа, и слева,
И посередке.
А у тебя на уме — одни триолеты.
В этой стране жизнь покруче,
Чем все твои звезды, лошадки,
деревья.
О чем ты вообще пишешь?
Ты что, газет не читаешь?

Такое отношение поэта к миру обусловлено внутренним убеждением, родственным убеждению Патрика Каванаха, что литератор обречен на *свою* тему, даже ему суждено искать вдохновения в новостных заголовках. Стихи Малдуна, растекаясь, выявляют фальшь таких расхожих слов, как "прославленный" и "знаменитый", да и само повествование ("мол, накропал мимоходом") становится столь же ненадежным, как упомянутые прилагательные:

Мой прославленный памфлетист!
Конечно, я сразу же выдал себя
и вас
Нелепым величанием.
"Кровавая роза"?
"Мечта барабанов"?
И трехдневные ахи-охи перед
цветущей сливой!
То ли сам я безмерно желал
Стать соавтором этих книг,
То ли на полке иметь первое
Издание "Новобранцев
и других битв"?

Вспышка неуверенности в этих последних четырех строках возвращает памфлетисту часть отнятого стихотворением доверия. В конце стихотворения Малдун — в замешательстве, хотя и внутренне соглашается с мыслью, что дело искусства — скорее давать вещам их имена, чем выискивать причины их возникновения:

Ну что я скажу желторотому
Заочнику, который кропает
стишки
Без году неделю?
Он приходит ко мне на обед
Со своей ахинеей о звездах,
Деревьях, свиньях, лошадях.

Если в стихах Малдуна лжец и правдолюбец пытаются найти "правильный" вопрос, в поэзии Майкла Лонгли мы наедине с любовниками — в темной, обесточенной квартире. Одно из городских поверий гласит, что перебои с электроснабжением приводят к росту рождаемости. Живущие под одной крышей от повседневной жизни переходят к любовной, и наслаждение близостью становится естественной компенсацией за освобождение от посторонних предметов и событий. Мы воспринимаем такое поведение как вполне очевидное, предполагаемое и дарящее наслаждение.

Именно в свете этих перебоев с электричеством следует вслушиваться в эротическую музыку Лонгли, которую ни с чем не спутать. Во многих случаях стихи Лонгли — прямая речь влюбленного, а их драматический голос — голос праздной и иногда мечтательной задумчивости; их предмет — грезы любви и все, что с ними связано. Но даже когда в стихотворении выведен пейзаж или вид на море, флора или фауна, мифологические персонажи или музыкальные инструменты, интонация строки соблазняет, ее напев успокаивает и льстит, ее типичная тональность — нежный намек и обещание большего.

В своих стихах Лонгли ведет счет явлениям естественного мира,

задумчиво наслаждаясь ими, как любовник, перебирающий клавиши позвонков своей возлюбленной. Названия частей тела постоянно присутствуют в его стихах, но даже если это не тело, а цветок, к которому прикасается поэт, соприкосновение мира и языка тайно ласкает губы говорящего. Такое ощущение, что рука, опускающаяся за упавшей салфеткой, сбилась с пути и уткнулась в стройные ноги соседки. Приведу здесь, навскидку, небольшой стихотворный цикл, "Ботаника":

Ряска

Сведя в одно и зеркало и тело,
Изящная кокотка с ноготок
В своей ушитой юбке
спать ложится,
Прощаясь с летом, уходя ко дну.

Наперстянка

Хоть венчик смотрит в землю,
ничего
Оттуда не появится, нектаром
Не одарит, не выдохнет пыльцу
Наперсток для мизинца,
пчелкин дом.

Щавель

Зеленый лист один лишь ветер
треплет,
Но водоносный доставляет влагу
Сосуд, который родинкой зацвел,
Застенчивое средство от ожогов.

Орхидея

Узлы колен вбирают жар и холод,
Уродские сплетенья рук и ног,
Артерия проскальзывает вверх,
Росток пуская, чтобы жил цветок.

Эти стихи — не из самых ярких, принадлежащих перу Лонгли, но именно по этой причине я проверяю на них свои доводы и убеждаюсь в несокрушимости доказательств. Эротическая эмблематика самоочевидна в "ушитых юбках", "родинках" и "застенчивости". Ассоциативный ряд, связанный с "повисшими венчиками", "артериями, пускающими росток", чтобы не дать увянуть цветку — "наперстку для мизинца", "пчелкиному домику", заставляет нас скорее стыдливо опускать взгляд в присутствии этих образчиков флоры, чем подглядывать за их маленькими прелестями. И все же эротизм этих строк выражается не просто в воображаемых или подсознательных ассоциациях; это желанное наслаждение, полученное при тщательном исчислении малых примет, заботливое и томительное имя, которым названа сама вещь.

Для большей очевидности обратимся к более развернутым стихам Лонгли; в недавно вышедшей книге "Врата Эха" много щедрой, в классическом смысле, любовной лирики, нашедшей одно из своих лучших воплощений в стихотворении "Льняная промышленность". Теперь было бы излишне пояснять связь между домашним производством льна, о котором идет речь в стихотворении, и национальной индустрией. Фабричное производство льна, ставшего основой индустриальной мощи Белфаста и бескомпромиссной политики "тяжелого мужского кулака", не признавало труд женщин, этого символа ирландской земли. Было бы излишне настаивать на том, что стихотворение имеет некую политическую подоплеку, и все же можно прочесть это стихотворение, увидев в нем интернализацию и утверждение женского начала, подавляемого мужским, в особенности в условиях индустриального мира:

Треплем стебли,
пропахшие торфом,
Или в воду цветы опускаем.
Из цветочного вороха ставим
Стог покатый,
как юбка плясуньи.
Мы становимся частью льняного
Производства.
Неряшливый город

Нашу белую дань забирает,
В темных ящиках прячет очески.

На полу под чердачным оконцем
Солнце зелень поблекшую белит.
Там дружков обнимаем; как будто
На снегу обнимаемся с ними,

И упрямые стебли молотим,
Чтоб волокна вычесывать
нежно –
Для свивальника, савана или
Подвенечного платья.

Мы – последние. С ним уходом
Ремесло до конца оскудеет.
Мы в приданое лен получили,
Нас в льняном похоронят наряде.

Но постойте, не надо о смерти...
Ничего нет прекраснее юбки,
Белой юбки, цветами расшитой,
Этой птицы льняной,
легкокрылой.

Отвлеченное отношение к истории, свойственное Махуну, присутствует и в этом стихотворении, а восприятие жизни по нисходящей языка, типичное для Малдуна, здесь тоже задействовано, но с большей откровенностью, ибо Лонгли безоглядней доверяет первому невинному румянцу мира; он – восприимчивее к его чисто фонетическим особенностям. Здесь более очевидно влияние английских "прозрачных" стихов Эдварда Томаса, чем заковыристой ирландской прозы Джойса, что позволяет находить в достаточно традиционных стихах Малдуна понятный читателю политический подтекст.

Если вернуться к терминологии, с которой я начал лекцию, и слегка её модифицировать, можно утверждать, что символичность стихов Лонгли – в их способности снимать напряжение. Как Фауст в свой последний час под воздействием панического страха смерти желает распасться на мельчайшие организмы и явления, Лонгли-художник устремляется к многообразию подробностей естественного мира. Упоение творчеством для него сродни внезапному освобождению голубиной стаи из темного ящика, а старинное елизаветинское употребление слова "смерть" как синоним оргазма выходит у Лонгли на передний план, когда мы видим, как эротизирует поэт распад тела после смерти, – например, в стихотворениях "Похороны" и "Оливер Планкетт".

Хочу закончить размышления о путях преобразования и смещения бурной североирландской повседневности в поэзию, взглянув на стихотворение Лонгли "Черноголовка" ("Self-Heal") из цикла, названного "Диалоги Майо". Майо, конечно же, лежит на западе, а не на севере Ирландии, да Лонгли и не хотел писать стихотворение, относящееся к Беспорядкам, и это только к лучшему. "Черноголовка" – цветок, одним своим именем успокаивающий героиню монолога, женщину, которую обидел недоразвитый сосед-монголоид, навлекший на себя за попытки "отведать" прекрасного и быть "не хуже других" безумно-жестокие предрассудки его соплеменников, и это изуверство вызвало в нем новый прилив ожесточенности.

Я учила его именам цветов:
смотри, это – черноголовка,
А это – золототысячник,
а вон там – асфодель,
Растет на болоте,
вдали от пастбищ.
Ну как я могла полюбить такого,
как он, безумца
Или, еще того хуже,
дать ему повод?
Уродец, он в колыбели спал
до двенадцати лет,
Потому ли, что не хотел
взрослеть, или
Спать было негде,
или отец его проигрался в пух,
Все отдал, кроме поросших
тростником пастбищ?
Голова недоростка похожа
на клин,
Загнанный молотом в плечи,
сам он сутулый,
Что-то в нем есть
от ученого мужа.

Он забывал, чему я его учила:
Имя цветка — это нимб,
над цветком зависший,
Вроде бабочки, кружащей
в вечном полете.
В тот день я раскрывала
цветки аронника,
Хотела пытливых букашек
вызволить.
Его рука скользнула
по моим коленям.
Нет, страха не было, отчего —
до сих пор не знаю.
Только слезы лились,
когда я бежала жаловаться.
Потом его всю неделю хлестали
терновыми прутьями,
А после на привязи пустили
пастись на луг.
Я, наверно, была той коровой,
чей хвост
Он обрубит, а он — бараном,
Застрявшим в колючей
проволоке,
Которую он растопчет в ярости.

В этом стихотворении женский голос повествует о соучастии в жестоком наказании, в котором героиня по простодушию повинна; рассказчица постепенно отдаляется от собственной обиды и начинает постигать роль, которая ей отведена за рамками происходящего. Она обнаруживает, что, сама того не подозревая, была ввязана в эту дикую историю, но не ищет себе оправдания. Ход её мыслей можно соотнести с мыслительным процессом североирландских поэтов, откликающихся на события в своей стране. Хотя они невиновны в Беспорядках, североирландцы понимают их причины и следствия, видя в стихотворчестве акт самоизлечения, сознательно не желая сгущать краски, но и не обособляясь (что их бы не красило) от мира, в котором они живут.

Перевод Г. Стариковского

Письмо на родину

Река Мойола, беря начало в горах Сперрин, течет на юго-восток через графство Дерри и впадает в озеро Лох-Ней в нескольких милях от того места, где я вырос. Впоследствии реку углубили и спрямили, но в 1940-х годах был еще брод у Нижнего Броха и цепочка камней, которая вела с одного берега на другой, соединяя городок Брох с городком Белшилл. Мы, мальчишки, часто бродили босиком по галечному дну у брохского берега, и я любил, прыгая с камня на камень, добираться до середины реки. Хотя она была неширока и достаточно мелка, на стрежне потока дух все-таки захватывало. Тут тебя никто не мог поддержать. Твои ноги прирастали к земле, голова начинала кружиться. Удивительное чувство: тело оставалось неподвижным, как межевой камень, а голова делалась легкой и зыбкой от несущихся струй и медленного, торжественного хода облаков высоко над рекой.

Когда сейчас я вспоминаю этого мальчика, приросшего к месту посередине реки, он мне представляется чем-то вроде Терминуса, римского бога границ и межей. У римлян статуя Терминуса стояла в храме Юпитера на Капитолийском холме, и вот интересная деталь: крыша над этим местом имела большое отверстие, словно бы намек на то, что богу земных границ следует иметь доступ в безграничность, в бескрайнюю ширину и глубину небес. Что границы и межи — неизбежное зло, а естественным состоянием может быть лишь чувство безграничности, ощущение себя властелином бесконечного пространства мира. Из этой двойной способности — стремиться

одновременно к безопасности своего, родного, и к искушению и очарованию чужого, неизведанного, — из этой двойной способности и возникает поэзия. Хорошее стихотворение позволяет вам твердо стоять на земле и в то же время витать головой в небесах.

Терминус в форме "терманн" встречается в названиях многих ирландских мест, особенно земель, принадлежащих монастырям или церквам; и хотя в окрестностях Мойолы не было мест с подобным названием, я ощущал всей своей кожей, что сама Мойола была *терминусом* — границей, разделяющей два разных пространства. Я понимал это, стоя на камне посередине реки — или на мосту возле Каслдоусона, перегнувшись через парапет и глядя вниз на течение, в котором резвились форели и речные водоросли извивались, как вымпелы, в водяных струях. С одной стороны от меня был городок Каслдоусон, где в одном из выстроившихся в плотную шеренгу домов с вьющимися розами над дверью и огородом с задней стороны участка жила семья моей матери. Дом моих дедушки и бабушки был в точности такой, каких без счета в английских фабричных городках, где рабочие встают по гудку и возвращаются по гудку в свои аккуратные домики, построенные в шеренгу вдоль опрятных улиц. В данном случае гудок гудел в восемь утра и в шесть вечера, сначала сзывая работников на льняную фабрику Кларка, а затем распуская их по домам. Они шли к себе домой по Нью-роу, Бойн-роу и Вокзальной, мимо клуба оранжистов и протестантской церкви, проходили мимо Мойола-парка, где у футболистов Каслдоусона было свое игровое поле, и мимо усадьбы Мойола-лодж, где Кларки из Чичестера жили своей особой жизнью за оградой своих владений.

Все это было на одной стороне реки; на другой же был приход Беллахи, или Баллискуллион, где много поколений подряд жила другая часть моей семьи со стороны отца, Хини и Скуллионы. Их жилища были покрыты соломой, а не черепицей, в кухнях у них были открытые очаги, а не блестящие плиткой печки, дома стояли посередине поля, а не плотными рядами вдоль аккуратных улиц, и жили в них люди, прислушивающиеся по утрам к мычанию коров, а не к фабричному гудку. Каким-то образом уже в самом раннем возрасте я понимал, что та часть моей жизни, которая находилась в Беллахи, принадлежала не только к другому месту, но и к другому культурному миру. Здесь не было поля для соккера, или "английского футбола", как он официально назывался. Я чувствовал, что мир Беллахи отличается не только своей, гэльской, игрой в мяч, но и намного более древним гэльским укладом, отраженным в скотоводстве и остатках городищ на холмах; например, каждый первый понедельник месяца в нашей деревне была ярмарка: коровы, телки и бычки переполняли улицы, все это мычало, ревело и пахло навозом. Невозможно было представить, чтобы нечто столь непотребное происходило на улицах Каслдоусона. Нет, Каслдоусон несомненно был более официальным местом, более современным, он двигался в русле прогресса. В самом имени городка звучала благоустроенность английского восемнадцатого века, в то время как Беллахи отзывалось незапамятной и темной ирландской стариной. Одним словом, как я однажды написал — в стихотворении, озаглавленном "Терминус", — *я вырос посередине.*

Я вырос посередине между по преимуществу протестантским и роялистским Каслдоусоном и в целом католическим и консервативно-националистическим Беллахи. В доме, расположенном между железной и обычной проезжей дорогой. Между звяканьем лошадиных подков и пыхтеньем маневрового паровоза. Между разными диалектами и языками: на одном конце прихода выговор напоминал об Антриме и шотландской речи, которую я потом слышал на ярмарке в Баллимене, на другом

конце — о доннегальском диалекте, четком североирландском, который я стал учить, когда поступил в гэльскую школу в Раннафасте.

Неудивительно, что некоторые из тех слов, которые Филип Ларкин назвал бы моим "внутренним языком", происходят из того межвременного, межъязыкового мира, откуда я родом. Например, слово "hoke". Это не стандартное английское слово и не ирландское, но оно сидит во мне глубоко и прочно. Каждый раз, когда я его слышу, оно словно возвращает меня к самому началу существования. Оно — как пол дома, в котором я рос. Как письмо на родину, в каком-то смысле. Это слово означает: искать, рыться, копаться, ковыряться; между прочим, в стихах тоже происходит нечто подобное. Стихотворение припадает к земле, берет след и инстинктивно отыскивает самое главное для себя. Именно со слова "hoke" началось для меня стихотворение "Терминус": "When I hoked there, I would find..."

Ковыряясь в земле, я находил
Желудь шершавый
и ржавый болт.

Поднимая глаза, видел холмы
И дымящую заводскую трубу.

Вслушиваясь, различал
цокот подков
И шипение паровозных колес.

Что же странного,
если мысли мои
Двоились, одна сквозь другую
сквозя?

Трудно вырасти в Северной Ирландии и не приобрести, раньше или позже, эту привычку к двоемыслию. Когда вокруг столько пограничных вех, люди непрерывно на что-то натыкаются. Двоемыслие, о котором я говорю, это признание, что у всякой истины, как у Терминуса, два лица, что надо принимать в расчет взгляд с другой стороны. Если один говорит, что "дружно не грузно", другой скажет: "у семи нянек дитя без глазу". Если один напомнит, что "дорого яичко к красному дню", то другой предупредит: "поспешишь — людей насмешишь". Один скажет, что Ольстер — это Британия, другой, что Ольстер — это Улад, одна из древних пятин Ирландии. Даже слово "картошка" на одной стороне дренажной канавки произносят так, а на другой — совершенно иначе. Если ты принадлежишь к человеческому роду, тебе не избежать таких противоречий. Но в Северной Ирландии они проявляются с особой силой и остротой.

Когда славили белочки мудрой
запас —
Он сиял предо мной,
как рождественский дар.

Когда обличали скупцов — медяки
Жгли карман мне,
как уголья из костра.

Я был пограничной канавой,
томясь
Невозможностью примирить
берега.

Река Лойола была не единственной границей, которая вошла в мое детское сознание. Каждый вечер я относил бидон с молоком из нашего дома в следующий дом вдоль дороги. Он тоже был, как и наш, крыт соломой и побелен известкой, но это был не просто дом, а местный трактир. Он и сейчас сохранился в том же качестве и примерно в том же виде — типичная старинная пивная при дороге.

Мой путь от дома до задней двери этого дома был коротким, не больше двухсот ярдов, но в своем воображении я каждый раз пересекал огромное пространство, потому что как раз по пути между нашими двумя домами проходила граница между церковной епархией Дерри и епархией архиепископа Армаха. Епархия Дерри тянулась на северо-запад, в графства Иннишовен и Донегал, а Армахская епархия простиралась на юго-запад до реки Бойн и города Дрогеда на границе Ирландской рес-

публики; вот почему мой короткий, уютный путь с молоком между двумя домами воспринимался как путешествие в какую-то чужую даль. Хотя никаких пограничных знаков между двумя епархиями, конечно, не существовало. Лишь в одном месте под дорогой, почти незаметно для глаз, если нарочно не приглядываться, была вкопана труба, внутри которой бежала струйка воды, и эта струйка была частью длинной дренажной канавки, отделявшей городок Тамнарн от городка Анахориш и, одновременно, приход Беллахи от прихода Ньюсбридж, что, как я уже упоминал, было также границей между епархиями Дерри и Армах. Эта канавка, или пограничный ручей, называлась Слугган, еще одно ирландское название, означавшее "болото" или "топь", и этот Слугган, протекая дальше по низкой, топкой равнине между лугами и посадками, становился также границей между городками Крейх и Лейтрим, пока через какую-то пару миль не впадал в озеро Лох-Бег.

Каждый день по дороге в школу и из школы я дважды проходил Слугган и каждый раз чувствовал, что пересекаю некую черту. Я никогда не мог сказать уверенно, какой стороне я принадлежу, и на то были свои исторические, а также топографические причины: все эти городки, приходы и епархии, которые когда-то составляли часть доколониальной Ирландии, были захвачены и переданы под другую юрисдикцию, став частью другой системы. Многие из названий, которые я только что упоминал, можно найти в списке земель, конфискованных англичанами в эпоху королевы Елизаветы и пожалованных Томасу Филипсу, губернатору провинции, именовавшейся графством Коулрейн в период между "бегством эрлов" и началом колонизации Ольстера. Часть этих земель, составляющих мою малую родину, упоминается в документах как окру́га Мойолы и включает такие места, как Тамниаран, Лейтрим и Шанмуллах — старое ирландское название поселения, которое мы сейчас зовем Каслдоусоном:

И все-таки, если иначе взглянуть,
Два ведра легче нести, чем одно.

Я вырос, привыкнув изгибом
хребта
Уравновешивать лишний вес.

Меж двух приходов,
меж двух баронств —
Стоя на камне посередине реки,

Я был как последний эрл на коне,
Окликающий равных
на том берегу.

Одной из крупнейших фигур ирландской истории предколониального периода был Хью О'Нейл, граф Тиронский, последний лидер, сумевший оказать сопротивление армиям Елизаветы I, последний эрл, удерживавший свою власть, и один из первых испытавший на себе раздирающую тягу двух разнонаправленных политических сил, которая до сих пор оказывает свое роковое влияние на жизнь Северной Ирландии. По английскому закону О'Нейл был графом Тирона и, следовательно, в понимании королевы Елизаветы, верным представителем английской короны в Ирландии. Но по своему ирландскому происхождению и родословной О'Нейл был потомком легендарного ирландского вождя Ньялла Девяти Заложников, и для ирландцев он являлся наследником славных О'Нейлов с лежащим на них долгом защищать гэльские интересы против англичан. Тут не место излагать историю елизаветинских войн в Ирландии, закончившихся поражением ирландских отрядов Хью О'Нейла и Рыжего Хью О'Доннелла при Кинсейле в 1601 году; но в этой долго тянувшейся истории есть один эпизод, который не перестает волновать мое воображение.

Это случилось в сентябре 1599 года, после того как войску О'Нейла удалось вытеснить английскую армию обратно на их территорию, в леса Лаута и Армаха. Командующим английскими экспедиционными силами был фаворит Елизаветы граф Эссекс. Королева уже несколько ме-

сяцев побуждала его к самым решительным действиям. Но О'Нейл был великим мастером переговоров, умеющим выбрать момент для наведения мостов, и ему удалось уговорить Эссекса встретиться на реке Глайд в графстве Лаут. О'Нейл сидел на коне посередине течения, вода доходила его коню до самого брюха. С ним было несколько воинов, говоривших только по-ирландски. Эссекс стоял на другом берегу, отослав охрану выше по склону. Разговор шел на английском языке. У Эссекса был приказ беспощадно преследовать О'Нейла как изменника, но сейчас они разговаривали скорее как друзья, чем как враги. В прежние времена О'Нейл жил при дворе Елизаветы, и его покровителем был отец Эссекса, граф Уолтер Деверу. Для обоих эта встреча у реки была таинственным моментом вне времени, стоп-кадром в череде ожесточенной борьбы. Их соратники на обоих берегах видели их, но не слышали, о чем идет речь. Они были одни, готовые принять все последствия своих действий. Эссекс, согласившийся встретиться с тем, кого королева считала предателем, мог сам считаться изменником, и он действительно был отозван из Ирландии, обвинен в измене и казнен в 1601 году. Окончательное поражение О'Нейла тоже было не за горами. Но в этот момент весы колебались и дрожали, вода струилась внизу, и облака неслышно шли над ними:

Меж двух приходов,
меж двух баронств —
Стоя на камне посередине реки,

Я был как последний эрл на коне,
Окликающий равных
на том берегу.

Я написал "Терминус" в середине 1980-х, когда политическая ситуация в Северной Ирландии зашла в тупик, когда операции Ирландской республиканской армии продолжались с незатихающей силой и тэтчеровское правительство смирилось с тем, что оно называло "приемлемым уровнем насилия". Может быть, это было одной из причин того, что стихотворение заканчивалось так неопределенно — эрлом, сидящим на коне посередине потока и старающимся докричаться до своего собеседника на другом берегу. Оно говорит, что груз долгой разделенности обессиливает каждую из сторон, загоняет в угол и лишает возможности действовать свободно и творчески. Но положение меняется, и приходит надежда...

Перевод Г. Кружкова

Алан Титли
Уроки русского

Перевод О. Каркищенко

Казалось бы, нет особых оснований утверждать, что две страны, находящиеся на противоположных концах Европы, вступали когда-либо в прямой культурный контакт. Но в конце XIX века у литератур этих стран, двигавшихся к модернизму, было немало общего, и в лучших образцах ирландскоязычной прозы XX века несомненно прослеживается влияние русской литературы. Во избежание неверного истолкования хочу подчеркнуть, что, говоря об ирландской литературе, я имею в виду литературу на ирландском языке, точно так же, как, говоря "испанская литература", обычно подразумевают литературу на испанском языке, или, говоря "немецкая литература", – литературу на немецком.

Каждый ирландский писатель, как и всякий писатель западноевропейский, испытал потрясение при встрече с русской литературой. Все мы читали в университете русские книги, рекомендованные преподавателями тем студентам, которые хотели по-настоящему узнать мировую литературу: Толстого, Достоевского, Пушкина, Тургенева, Гоголя, Горького, а зачастую и Белинского, и Розанова. Мы извлекали из них, что умели, погружаясь в неведомый мир, пытаясь постичь то, что скрывалось за необычными именами и загадочными отчествами. Конечно, мы понимали эти книги по-своему, но не могли не видеть перекличку их с ирландской литературой и культурой конца XIX и начала XX века.

Как это ни странно, мне кажется, что, за исключением некоторых новеллистов, русская литература мало повлияла на авторов англо-ирландских, то есть на тех ирландцев, что писали по-английски. А если и повлияла, то в первую очередь это были Чехов и Тургенев, а не Достоевский, Гоголь и Горький, которые наложили отпечаток на литературу ирландскоязычную.

С XVI и до конца XIX века литература на ирландском языке существовала либо в виде рукописей, либо как устное предание и в основном сводилась к поэзии и фольклору. В 80-е годы XIX века началось Ирландское возрождение – по словам леди Грегори[1], "великое движение мысли, которое привело к созданию независимого Ирландского государства". Это оживило не только литературу на обоих языках, на которых писали ирландские авторы, но и все остальные сферы искусства и жизни: драму, музыку, танцы и политику. Однако в то время ирландским писателям не хватало образцов, которым они могли бы следовать, у них не было стиля, который они хотели бы развивать. Писатель Джордж Мур однажды заметил, что дамы с веерами в руках никогда не говорили по-ирландски.

Именно тогда и возникает связь между ирландской литературой и русской. Отчасти это объясняется историческими параллелями: есть сходство между противостоянием западников и славянофилов в России и тем, что происходило в ирландской культуре конца XIX века. В нашем случае речь шла о борьбе сторонников традиционных фольклор-

1. Леди Изабелла Августа Грегори (1852–1932) – ирландская фольклористка, писательница и драматург; директор основанного ею театра "Аббатство".

© О. Каркищенко. Перевод. 2007

ных форм, базировавшихся на "народных представлениях о жизни", и тех, кто хотел отказаться от этого и писать "по-европейски". Но европейская буржуазная литература не могла заинтересовать ирландцев, которые в основном, как, кстати говоря, и их писатели, были выходцами из беднейших, экономически отсталых частей страны. Неслучайно биографии иных из ирландских писателей нередко напоминают биографии писателей русских, таких, как Достоевский или Горький.

Возьмем, например, лучшего ирландского прозаика XX века — Мартина О'Каинь. Он родился сто лет назад на западе Ирландии — в ирландскоговорящем районе. Сам он утверждает, что не слышал ни одного английского слова до шести лет, пока не пошел в школу. Книг в его доме не было — его родители, как и большинство соседей, не знали грамоты. Сейчас бы мы назвали их "крестьянами" (но это слово редко употребляют, характеризуя жителей сельской Ирландии), скорее — беднейшими фермерами. То был край фольклора: неподалеку от того места, где жил О'Каинь, была записана самая длинная ирландская народная сказка: чтобы рассказать ее от начала до конца, потребовалось бы семь вечеров. О'Каинь стал школьным учителем, участвовал в революционной деятельности, за что его уволили с работы, был политическим заключенным: пять лет, на которые он был осужден, отбывал в лагере для интернированных в Килдэре — позже он назвал это место "ирландской Сибирью"; потом работал газетным обозревателем и, наконец, профессором ирландского языка в Тринити-колледже в Дублине. Незадолго до тюремного заключения случилось некое событие, которое оказало на него как на писателя огромное влияние, — он рассказал о нем впоследствии в своих воспоминаниях:

Lá amháin fuair mé seanchóip d'irisleabhar Fraincise, ar phím, sílim, i siopa leabhar i sráid Aungier i mBaile Átha Cliath... Однажды в букинистической лавке в Дублине я купил за пенни или около того экземпляр старого французского журнала, где мне попался французский перевод рассказа Максима Горького о сборе урожая на Дону. Это было подобно откровению, пережитому святым Павлом на дороге в Дамаск! Я читал лежа, и меня просто подбросило на кровати: я никогда не встречал ничего подобного. Почему мне никто не говорил, что бывают такие рассказчики? "Это мог бы написать и я, — сказал я себе. — Так же трудятся и у нас, только зовут людей по-другому". Я ощутил голод, неутолимый голод, но — не физический.

Мартин О'Каинь понял, что хочет так же писать для своих соотечественников. В его прозе, как и в прозе Достоевского, нет описаний природы. Джойс как-то хвастал, что если бы Дублин разрушили, его можно было бы восстановить по описаниям в "Улиссе". Но на самом деле Джойс все время колеблется между выстраиванием внешнего мира и описанием тупиков мира внутреннего. О'Каинь же, как и Достоевский, описывал только внутренний мир, где нет освобождения и искупления — есть только слова, создающие иллюзию непрерывности существования.

Действие его лучшего романа "Cré na Cille" ("Кладбищенский прах") происходит на кладбище, среди говорящих покойников. Многие критики усматривают тут сходство с рассказом Достоевского "Бобок", хотя О'Каинь отрицает, что читал его. Впрочем, главное здесь — не влияние, которого, может быть, и не было, а понимание того, что могила — единственное не осквернённое человеком место.

Мартин О'Каинь признавал, что многим обязан не только русской литературе, но и своему путешествию по России. Он неплохо изучил русский язык и посетил некоторые республики Советского Союза, а попав в Киргизию, понял, что снова встретился со своей юностью — с животворящим колодцем на краю света,

источником, где зарождались народные сказки.

И все же Мартин О'Каинь ничего бы не смог написать, если бы у него самого не было предшественников в ирландской литературе. Предшественников, которые в свою очередь порвали с традицией. Таким "предтечей" прежде всего был Патрик О'Конайре – возможно, первый модернист, создатель новеллистического и романного жанров ирландской литературы. Он родился в 1882-м в Голуэе – вероятно, единственном в ту пору городе, где было большое ирландскоговорящее население. Отец Патрика О'Конайре держал паб, но бросил и дело и жену с маленьким сыном, чтобы уехать в Америку. Считается, что он вскоре после этого умер, но это неизвестно наверняка. Мать О'Конайре тоже вскоре умерла. Сироту отправили к дяде: у того был магазин в ирландскоговорящей части западного Голуэя; дядя отправил его учиться, но тот в первый же вечер сбежал из школы – перелез через стену.

Образование О'Конайре все-таки получил и впоследствии стал государственным служащим. Ирландия составляла в то время часть Соединенного Королевства, а контора О'Конайре, находилась в Лондоне, где он и поселился и где начал писать. В своем известном эссе "Seanlitríocht na nGael agus Nua-litríocht na hEorp" 1908 года он сравнивает старую ирландскую и современную европейскую литературы с целью понять, какая из них может стать для современных ирландских писателей моделью для подражания, и приходит к выводу, что старая литература по-своему прекрасна, но современным требованиям уже не отвечает. Он бы наверняка согласился с Максимом Горьким, который когда-то сказал: "В карете прошлого далеко не уедешь". По его мнению, новая литература должна была:

Scrúdaítear an duine. Scrúdaítear a aigne. Изучать человека. Изучать его мысль. Изучать те великие вопросы, что волнуют ум человека, совершающего тот или иной поступок. Создавать образы людей, так или иначе связанных друг с другом, и показывать связь между тем, чем они занимаются в жизни, и тем, что они за люди. Современные писатели ничего не боятся. Они показывают хорошее и плохое. Порок они видят в людских душах так же ясно, как и добродетель... они дают нам понять, что их собственное сердце не менее удивительно, чем все чудеса света. И что каждое сердце бьется по-своему. И что человек сам по себе кладезь премудрости и источник всех противоречий.

Сегодня все это кажется самоочевидным, но для Ирландии тех времен это были революционные идеи. Нам, собственно, важнее всего признание писателя, что эти идеи к нему пришли из современных литератур молодых (как он их называл) стран и прежде всего – из России:

Sa Rúis, tír a bhí taobh leis na seanscéalta agus leis na seanamhráin go dtí le céad bliain, d'éirigh dream údar oirearc suas... В России... возникла группа талантливых авторов, которые не уклонялись ни от каких актуальных вопросов своего времени. Они копали вглубь – доискивались правды, и в них была подлинность. <...> Когда они выбрались из ямы, которую раскапывали, они предъявили миру грязное, мерзкое существо, напоминающее человека, и закричали что есть мочи: "Вот человек! Вот он! Вот он каков!" Люди вначале не обратили на них внимания, решив, что это грязное, мерзкое существо слишком ужасно и слишком уродливо, чтобы называться человеком... Но Гоголь и его старшие современники не испугались. Они клялись, что нашли правду, а затем пришел Тургенев и другие писатели, которые доказали, что их предшественники были правы: в этом мерзком, уродливом существе, которое было открыто, уживались и порок и святость. А затем появились Андреев, и Горький, и самый знаменитый из всех – Лев Толстой.

В другом очерке о правде и лжи в литературе О'Конайре восхищается Лермонтовым и Достоевским. Действие его величайшего романа "Deoraíocht" ("Изгнание") разворачивается в Лондоне; все выведенные им герои — люди страдающие, и умственно, и физически. В одной из ранних работ Джордж Стайнер страстно доказывал, что невозможно одновременно любить Толстого и Достоевского, потому что у них разная философия жизни: Толстой верил, что человек спасется, если общество станет лучше, или люди станут честнее и духовнее, или законы справедливее. Достоевский же, как считает Стайнер, полагал, что люди неисправимо испорчены, необратимо порочны и обречены на горе и гибель. Из кривого дерева человечества нельзя сделать ничего прямого, как однажды сказал Кант. Пожалуй, Патрик О'Конайре думал именно так, о чем и писал в своих сочинениях.

На другого ирландского писателя, автора одной из лучших современных ирландских автобиографий, Томаса О'Криовхана, большое влияние оказал Максим Горький. К нему, рыбаку, владевшему кусочком земли на островах Бласкет у западного побережья Керри, часто приезжали ученые-филологи, искавшие образцы чистого, беспримесного ирландского языка. Один из таких исследователей предложил О'Криовхану описать историю своей жизни. Том только посмеялся в ответ и сказал, что вряд ли кого-нибудь заинтересует такая обычная история, но собеседник уговорил его прочесть первый том автобиографии Горького. В результате появилась суровая, далеко не романтичная книга "*An tOileánach*" ("Островитянин") о жизни в условиях крайних лишений, ставшая классикой современной ирландской литературы.

Мартин О'Каинь, Томас О'Криовхан и Патрик О'Конайре были наиболее значительными ирландскими прозаиками начала и середины XX века, и нет сомнений, что без русской литературы они не стали бы собой.

Вчитываясь в будущее

Перевод Е. Скрылевой

Известный ирландский теле- и радиоведущий Майк Мёрфи, автор программы о культуре, которая на протяжении двенадцати лет радовала ирландских радиослушателей, в 2000 году составил книгу интервью с самыми известными ирландскими писателями. Предлагаем вниманию читателей четыре интервью из этой книги.

Джон Бэнвилл

Сегодня я рассказал о том, о чем давно уже думал

Майк Мёрфи: Как бы вы охарактеризовали написанное вами за последние годы?

Джон Бэнвилл: Оглядываясь назад, я содрогаюсь. Никто не верит, но это правда. Не люблю свои творения. Мне за них бесконечно стыдно. Когда я прохожу мимо большого книжного магазина, мне хочется щелкнуть пальцами — раз! — чтобы остались только белые листы и все мои книги можно было переписать заново. Однажды Айрис Мердок спросили, почему она написала так много. Она ответила, что мечтала новыми романами искупить предыдущие. Многие писатели, многие художники мечтают о том же. Каждая последующая работа должна оправдывать предшествующую.

М. М. То есть лучше бы ваши книги исчезли с полок?

Д. Б. Нет, пусть остаются, но без текста, чтобы начать все заново и написать как следует. В каждой книжке два-три предложения, два-три абзаца получились, как надо. Но до совершенства далеко.

М. М. На дворе двухтысячный год, удовлетворены ли вы своей работой?

Д. Б. Нет, конечно. Я только сейчас понимаю, как нужно писать.

М. М. Большинство писателей проходят три стадии: раннюю, среднюю и позднюю. Где вы сейчас находитесь, на средней? Или до нее еще долгий путь?

Д. Б. У меня, по чудесному выражению Гора Видала[1], наступает "весна старости". Начиная писать и жить, учишься, набираешься опыта, кончаешь школу, и вот уже позади юность, влюбляешься, женишься, появляются дети, наступает средний возраст, а ты все растешь. Безостано-

© The Liliput Press, RTÉ; John Banville; Jonh MacGahern; Seamus Heaney; William Trevor.
© Е. Скрылева. Перевод, 2007
Журнальный вариант.
1. Юджин Лютер Гор Видал (р. 1925) — американский писатель, эссеист, киносценарист. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вочный прогресс, как у промышленника-викторианца, ты все лучше и лучше, мудрее и мудрее. Наконец и средний возраст позади, и тут ты сознаешь, что чем ты старше, тем меньше в тебе мудрости. Все хуже понимаешь этот мир, все больше запутываешься. По крайней мере — говорю о себе. Но и это своего рода становление. Сумятица — продуктивна, ведь я пишу о том, в чем и сам не до конца уверен. Так, я не могу объяснить, о чем мой последний роман "Затмение". Издатели шлют ко мне интервьюеров, а я не знаю, что сказать. Но, по-моему, так и должно быть.

М. М. Откуда же берется литература?

Д. Б. Не знаю. Вообще-то из литературы. Книги получаются из книг. Новое рождается из старого, все произведения одного автора — это одно большое произведение.

М. М. Что представляет собой ваше творчество? Исследование себя? Человека? Попытку создать шедевр? Формальный эксперимент?

Д. Б. Боюсь показаться претенциозным, но, пожалуй, все сразу. Конечно, экспериментирую с формой. Я никогда не доверял большой прозе, она меня не устраивает. Я хотел бы родиться поэтом, например, или композитором — все художники чувствуют, что, если бы им удалось овладеть другим видом искусства, они бы лучше себя выразили. Несмотря на свою молодость, роман уже износился, обветшал.

М. М. Критик Гарольд Блум недавно выпустил книгу, где пессимистически оценивает будущее романа. Вы с этим согласны?

Д. Б. Блуму больше всего нравятся пухлые викторианские романы XIX века; в начале XXI их еще пишут в Америке, но это уже исчерпанная форма. Ничего нового, интересного здесь больше не происходит. Вообще-то в искусстве необязательно искать что-то новое. Возможно, давно пора забыть о "новизне любой ценой" и вернуться к традиции. Но, боюсь, этого не случится. В Европе у романа нет будущего. А все потому, что закончилась викторианская эпоха, когда мир рассказывал себе свою собственную историю. То было время радикальных перемен, промышленной революции, полностью все преобразившей. Изменения есть и сегодня, но такие внезапные и резкие, что роман за ними не поспевает.

М. М. В век мгновенной передачи информации ему приходится соперничать с телевидением, да и не только.

Д. Б. Роман, даже простой и одноплановый, требует размышлений. Читатель неизбежно начинает думать вместе с писателем. Роман — ничто, если это всего лишь энное количество страниц под одной обложкой. Он живет только в сознании читателя, благодаря игре его воображения. Сколько читателей, столько и версий. Каждый создает свое произведение. Последние достижения европейского романа относятся к послевоенному периоду.

Беккет, говоря о Прусте, утверждал, что литературное развитие — это углубление. Но европейский роман сам в себе тонет: в отличие от викторианского, ему неинтересны перемены в обществе, заботы предпринимателя, социальные следствия промышленного роста. Центральное место отводится душе отдельного человека, его сознанию.

М. М. И мышлению?

Д. Б. Писатели, вроде меня, заражены этим смертельным вирусом. Для романа это опасно. Трудно вложить мысль в большую форму, пере-

дать мыслительный процесс, воплотить идею. А ведь у романа должна быть зримая сторона — это такой особый спектакль.

М. М. То есть при написании романа вы жертвуете сюжетом, историей из жизни?

Д. Б. Да. В XX веке было "два великих романиста" — Джойс и Беккет. Первый все, что можно, пускает в ход, второй все, что можно, выбрасывает.

М. М. А что же делаете вы?

Д. Б. И запихиваю, и выбрасываю, причем и то и другое делаю одновременно. И не я один. Трудоемкий процесс, может быть, он и не стоит того. Как сказал Джойс Кэри[1]: "Все равно что пердеть (так и запишите), чтобы протолкнуть грузовик через замочную скважину. Ведь это невозможно, так и зачем напрягаться?"

М. М. Вы огорчаетесь, когда вам не удается достичь желаемого?

Д. Б. Неудача всегда гнетет. Беккет говорил, что никто так не рискует, как художник. Не совсем с ним согласен. Взять тех же спортсменов. И все же я понимаю, к чему он клонит: попытка добиться идеального стиля неизбежно оборачивается крахом. Мартин Эмис как-то сказал, что в каждой написанной странице около двухсот ошибок; наверное, он прав.

М. М. "Улики"[2] и "Неприкасаемые"[3] завоевали большую читательскую аудиторию. Вы этого ожидали?

Д. Б. Нет. Еще до "Улик", в конце 80-х, я написал "Мефистофеля"[4] и думал, что книга будет пользоваться популярностью, а она провалилась.

М. М. Что вы считаете "успешной книгой"?

Д. Б. Если она хорошо продается.

М. М. Количество проданных экземпляров имеет для вас значение?

Д. Б. Этим я зарабатываю на жизнь.

М. М. И все-таки что для вас важнее — коммерческий успех или возможность поэкспериментировать, выразить то, что вы хотите?

Д. Б. Книга существует в двух состояниях: одно дело — то, что ты пишешь, другое — то, что уже написал. Пока работаешь, ничего не видишь вокруг, мечтаешь только ее, треклятую, поскорее закончить и сделать все так, как хочется. Пусть уйдет сколько угодно времени: три года, пять лет, но написать так, как мечтается, дотянуться до всех возможных пределов. А когда заканчиваешь, когда — "вот она, готовенькая", берешься за следующую, которая искупит все предыдущие, и корпишь уже над ней. Когда такие, как я, участвуют в публичных чтениях и обсуждениях только что вышедшей книги, люди не знают, что от "готовенькой" нас уже тошнит. На вопросы слушатели получают вымученные ответы, отчасти потому, что мы просто устали от "готовенькой". Она закончена год назад. И этим все сказано.

М. М. Вы бы хотели интеллектуально быть человеком другого склада? Скажем, таким, как Уильям Тревор, который говорит, что просто рассказывает истории. Его умственная жизнь проста, но отнюдь не при-

1. Джойс Кэри (полное имя Артур Джойс Лунел Кэри,1888–1957) — английский писатель, родился в Лондондерри (Северная Ирландия).
2. Роман вышел в 1989 г. (рус. перев. — "ИЛ", 1995, № 2.)
3. Роман вышел в 1997 г.
4. Роман вышел в 1986 г.

митивна. Почему бы не забыть о том, продаются книги или нет, и писать, как пишется, а не биться над недосягаемым шедевром?

Д. Б. Жизнь стала бы скучна. Мысль — самая восхитительная часть моей жизни. Она захватывает меня, как и раньше, когда я был подростком. До сих пор есть непрочитанные книги, появляются новые писатели. Так устроена моя голова. Не могу взять и рассказать историю. Хорошо быть проще, и все же, будь у меня такая возможность, я отказался бы.

М. М. Раз вы рефлектирующий писатель, что вы ощущаете, когда слышите в свой адрес: "Он такой же, как и его герои: холодный и неприступный"?

Д. Б. Прихожу в ярость. Обидно и неверно.

М. М. А если вас называют бесстрастным писателем?

Д. Б. Не обижаюсь. Прошло то время, когда меня задевали чужие оценки моей работы. Удивительно, но никто не обращает внимания на то, что в моих книгах много юмора. Я думал, что "Неприкасаемые" рассмешат читателей. Местами забавны и "Улики". Мало кто со мной согласен, но, по-моему, это смешно.

М. М. Что смешного в "Неприкасаемых"? Шпион внезапно понимает, как легко прикрывать гомосексуальность тем, что у него есть ребенок.

Д. Б. Юмор в "Неприкасаемых" "хрупкий", неуловимый, такой, как у англичан, вроде Ивлина Во и даже П. Г. Вудхауса, которыми я восхищаюсь. Это юмор безысходности, не броский, не ситуативный. В "Уликах" герой совершает страшную ошибку, но чужая гибель для него — факт второстепенный, коль скоро его собственная жизнь катится под откос. Черная комедия. Ведь единственный человек, о котором ничего неизвестно, это убитая главным героем женщина, читатель знает о ней только то, что у нее голубые глаза. Чудовищная ирония. От такой комедии живот не надорвешь, и все-таки это комедия.

М. М. В таком случае элемент откровенной сатиры есть и в "Письме Ньютона": ведь сам Ньютон так и не появляется.

Д. Б. "Письмо Ньютона" задумывалось как классическая сатира. По-моему, забавно и то, что практически каждая фраза в "Письме Ньютона" представляет собой ложное суждение. Рассказчик что-то путает буквально каждую минуту. Мне это кажется смешным.

М. М. Требуете ли вы от своего читателя напряженной работы? Много ли в ваших произведениях ссылок на литературные источники, необходимо ли их распознавать?

Д. Б. Нет, аллюзии в книгах действуют, как резонатор, и я не требую, чтобы читатель обязательно дознался, что это за звук. Я и сам понимаю не все, могу только откликнуться, услышав резкое "дзинь", когда прозаик или поэт намекает на что-то, цитирует или отрезает от жизни ломоть и перемещает в книгу. Странная вещь. Скажем, вы в автобусе слышите обрывок разговора двух людей и не понимаете, о чем это они. Моя жена однажды в автобусе услышала, как женщина, стоявшая сзади, сказала соседке: "Конечно, они им уже не подходят, — в смысле, как ноги". Вставьте такую фразу в рассказ, выстройте сюжет, впечатление будет потрясающее. Не знаю, может быть, только писатель это поймет, а читатель пройдет мимо. Меня часто спрашивают: "Почему? Зачем? Что это такое?" Значит, что другие услышали это самое "дзинь".

М. М. Вы писали стихи?

Д. Б. О нет! Ну, то есть написал, конечно, несколько сонетов лет в двенадцать, когда впервые влюбился, и все. Поэзию читал и продолжаю читать, причем даже охотнее, чем прозу. Все время напитываюсь идеями.

М. М. И что служит источником?

Д. Б. Что угодно. Как читатель я зауряден. Однажды меня спросили, почему я в своих книгах излагаю одно, а не другое. Я ответил, что мне нужно эти мысли "проглотить" — так поступает художник-самоучка, потому что ему многого недостает. Мы жили на окраине Вексфорда, и там — это одно из немногих его достоинств — я научился удивительно чувствовать природу, испытывать перед ней трепет, суеверный страх. Я любил бывать за городом, но всегда боялся. Природа всегда была "не-я" — вернее, "я" было с одной стороны, а "не-я", то есть весь остальной мир, — с другой. Тогда еще город находился далеко от нас, мы жили почти в деревне. Там я впервые задумался о разных вещах, о которых не перестаю думать до сих пор. Там я понял, что люди создают искусство, потому что испытывают ужас перед равнодушием мира к самому себе. По выражению Филиппа Ларкина[1], мы смотрим на мир и понимаем: "Здесь все к нам безразлично".

Именно тогда во мне рождался писатель постгуманизма, каков я и есть, хотя многие называют меня постмодернистом. Я не считаю человека абсолютным центром Вселенной. Отчасти поэтому я писал о Копернике и Кеплере, сместивших фокус, показавших человеку, что он не Бог и не пуп земли. Они к этому не стремились, но их работы доказывают, что человек не вправе был делать то, что сделал. Да, многих раздражает, когда я вдруг прерываю повествование и начинаю разглядывать какие-то непонятности на заднем плане. "Зачем? Почему просто не рассказать историю?" Потому что я запутался в собственных следах, как человечество — в мироздании, и мне постоянно приходится останавливаться и искать их.

Говорят, я многое преувеличиваю, работаю на гротеске. А мне кажется, что я деликатничаю, когда рассказываю об окружающем мире. Уж очень он странный. Наверное, не я один это вижу, но все никак не могу с этим смириться. Существуют, по меньшей мере, два типа художников. Одни принимают мир, как, например, Диккенс и Джойс. Вторые — отвергают, как Кафка и Беккет, которые не устают поражаться феномену мира, в котором они живут. Я принадлежу ко второму типу, и в молодости много об этом размышлял. Я был невероятно счастлив, но одинок. Мир и я, больше никого, и он всегда ставил меня в тупик.

М. М. Расскажите, пожалуйста, о своем творческом процессе.

Д. Б. На это я всегда отвечаю вроде бы несерьезно, но это не так. Пишу двадцать четыре часа в сутки. Писатель никогда не перестает работать, даже во сне. Сновидения — тоже часть работы. Все, что попадает в их водоворот, всплывает черными строчками на белом листе. Если же говорить о собственно физической стороне дела, то раньше я мог сидеть за столом часов по восемь-десять. Сейчас не получается так концентрироваться, да и не хочется, вот и работаю только по три-четыре часа. В частности поэтому и люблю литературную журналистику: на нее можно потратить остальные двенадцать.

1. Филипп Ларкин (1922–1985) — английский поэт.

М. М. Как насчет тех прекрасных минут, о которых все мы наслышаны, когда приходит вдохновение и все получается?

Д. Б. Весь свой пыл я отдаю творчеству. Больше ничему. Дико звучит, не правда ли? Человек признается, что для него нет ничего лучше, чем пустая комната, ручка и бумага. Все художники, наверное, понимают свою ущербность, иначе искусство не было бы их главной страстью. Я пытаюсь преобразить эту страсть в живые человеческие чувства. И время от времени это получается, могу сказать твердо. Возможно, через сто лет, если у меня найдутся читатели, кто-нибудь из них поймет, что я делал. Хотелось бы, чтобы у них в глазах стояли слезы — от смеха и от сострадания. Хотелось бы, чтобы в книгах продолжали бурлить чувства, и мне кажется, так оно и есть.

Отчасти такая одержимость и впрямь мой недостаток. Однажды мне посоветовали прекратить одеваться в черное и носить светлые тона. Теперь, встречая меня, люди думают: "Ему уже лучше". У меня репутация человека тяжелого, непреклонного, важного. И все же мои книги серьезны, но не торжественны. Торжественность в искусстве — смерть.

М. М. Вы как-то говорили, что в молодости подумывали уйти в "интернациональное" измерение. Почему вы не уехали, как Джойс или Беккет? Недавно в посвященном вам документальном фильме я видел, как вы сидите в ресторане в Турине и бродите там, где гулял Ницше. Мне показалось, что вы в Европе чувствуете себя как дома, что именно там — ваше место. Почему вы не эмигрировали?

Д. Б. Кто рвется в ссылку, пусть остается в Ирландии. Возможно, я это не могу объяснить, но вижу, что так оно и есть. Я уже как-то говорил, что ни один ирландец не эмигрировал — все отправились в ссылку. Джойс и Беккет уехали в Европу. Беккет просто-напросто мечтал жить во Франции. После отъезда из Ирландии они стали героями-изгнанниками. Мне это не нужно. Скажу сейчас ужасную вещь, но я никогда не любил Ирландию так сильно, чтобы мечтать о побеге. Не то чтобы я чувствую, что здесь я дома; впрочем, я нигде не чувствую себя дома. Я вообще считаю, что никто нигде не чувствует себя дома, и согласен с Хайдеггером: мы заброшены в этот мир и пытаемся хоть как-то, в меру сил здесь прижиться. Допустим, я живу месяц-другой в Турине, сижу в ресторанчике, и вдруг — ирландская волынка. Так вот сердце у меня все равно бы екнуло, как это ни банально. Хоть я и не доверяю таким чувствам. Да это и не чувство, а просто сантименты. К самым бурным, самым острым своим переживаниям человек должен относиться настороженно.

М. М. Вас называют "ирландский писатель Джон Бэнвилл", согласны ли вы с этим?

Д. Б. Да, так оно и есть. Я пишу на так называемом ирландском английском. Я не использую ни "английский" английский, ни "американский" английский. Хотя на "американском" хотелось бы попробовать. Удивительный и увлекательный язык.

М. М. Почему?

Д. Б. Эта страна до сих пор творит самое себя, и в ее тигле переплавляется и язык. Как во времена Елизаветы I. У нас такое тоже возможно. Дублин отчасти напоминает шекспировский Лондон, здесь полно приезжих, в том числе и из Европы. Язык подвергается давлению, а мы зарабатываем на них много денег.

М. М. Получается, то, что вас называют ирландским писателем, ничего не значит для вас?

Д. Б. Да, ничего, как и для любого другого. Некоторые ирландские писатели бьют себя в грудь, мол, мы ирландцы, но просто таков обычай.

М. М. То есть вы в стороне от сообщества?

Д. Б. Я принадлежу к международному сообществу писателей. У меня столько же общего с Ричардом Фордом[1] и Клаудио Магрисом[2], сколько и с большинством ирландцев.

М. М. Важно ли для вас общественное признание?

Д. Б. Не знаю. Как художнику, опять же нет. Как личности, наверное, важно, ведь я же в конце концов человек. Каждому хочется, чтобы его замечали. Каждый хочет оставить в жизни след, хочет, чтобы о нем осталась память, хотя бы надпись на стене вокзала. Каждый хочет, чтоб его запомнили. Мы страстно рвемся поставить зарубку.

М. М. Как вы думаете, что через сто лет узнает из ваших книг читатель?

Д. Б. О смысле страсти, о смысле — рискну прибегнуть к религиозному термину — "свидетельства": как говорил Томас Гарди, здесь на этом месте стоял человек, все видевший и свидетельствующий о том. Я бы этого хотел. А вовсе не того, чтобы мои книги превратились в летопись; хотелось бы, чтобы в них остались какие-то мелкие, ненужные, на первый взгляд, детали. Чтобы они, эти детали, и через сто лет всколыхнули читателя и его охватили страсть и радость, чтобы он угадал их смысл и хотя бы на миг услышал, как вещи разговаривают друг с другом, и понял, что гармония существует. Неважно, насколько все это неуловимо и призрачно, ведь иллюзия — очень хорошая штука.

Джон Макгахерн

Творчество способно все преобразить: можно написать превосходную книгу о поражении и скучную — о победе

Майк Мёрфи. Как бы вы оценили свои ранние пьесы, часто ли вы их перечитываете?

Джон Макгахерн. Нет, не часто. Писателю все-таки в основном интересно то, что он делает сейчас. Хорошо, когда книгу наконец публикуют — ее у тебя забирают. А дальше — она принадлежит всем, кто встре-

1. Ричард Форд (р. 1944) — американский писатель, лауреат Пулицеровской премии.
2. Клаудио Магрис (р. 1939) — итальянский писатель.

тится на ее пути, а не автору. Рильке говорил, что многие книги мечтают о смерти своего творца, чтобы начать собственную жизнь.

М. М. То есть вам не хотелось бы вернуться, например, к "Казармам" или "Темноте"?

Д. М. Нет конечно. Я, правда, переписал "Прощание", но это вышло случайно. Рассказы обычно печатают в журналах, только потом — в сборниках, поэтому их можно переписывать много раз. Любую работу можно доводить до совершенства бесконечно.

М. М. Насколько я понимаю, писательство — неотъемлемая часть вашей жизни. Для вас это не прихоть, не профессия и не способ заработка — вы ведь еще и фермер. Потребность писать сильна, как и прежде?

Д. М. Да, творчество мне необходимо. Давно бы все бросил, если бы мог заниматься чем-то другим. Конечно, всему можно придумать объяснение. Один мой друг, по роду деятельности костоправ, уже почивший, частенько повторял: "Если так подумать, жизнь — сомнительное приключение". Любопытна первая часть этой фразы — "если подумать". Ведь мы в основном не задаемся вопросами, просто живем. Таково же и писательство. Возможно, мы записываем, чтобы запомнить, чтобы остановить время, объяснить себе какие-то вещи, проговорить какую-то мысль, но, скорее, движет нами только потребность творить.

М. М. Вы работаете каждый день?

Д. М. Когда пишу роман? Да, каждый день. Но случается порой, что я вообще не сажусь за стол.

М. М. Наверное, в такие периоды вас терзают муки совести.

Д. М. Не то чтобы совести. Творчество способно преобразить все вокруг. Ну, а если ты сидишь за столом, и тебе не пишется, можно смотреть в окно — это не менее увлекательно.

М. М. Разве вы не огорчаетесь, когда сидите над чистым листом и ничего не приходит в голову?

Д. М. Такого не бывает. Творчество — это инстинкт. Если угодно, я пишу, чтобы увидеть. И если писатель не испытывает восторга и радости открытия, то и читателю будет скучно.

М. М. Вы как-то сказали, что самое важное в литературе — диалог писателя и читателя. Вы до сих пор так считаете?

Д. М. Да, это главное. Когда все публикации и премии уже позади, произведение живет или умирает рядом с двумя одинокими фигурами: писателя — и его творения, и читателя — пребывающего наедине с книгой.

М. М. Материалом для ваших книг часто служит детство и то, что вы испытали в жизни, вы постоянно ведете раскопки прошлого?

Д. М. Нет, по-моему, не веду. Пишу только о том, что меня сейчас занимает, часто это образ, или сцена, или ритм. Бывает — запишешь на бумаге, и они исчезают, но другого выхода нет: пока не превратишь образ в слова, не понимаешь, что у тебя в голове. Между читательским и писательским сознанием нет особой разницы. Читатель не книгу берет на английском или французском, а входит в освещенную комнату, и в его воображении оживают картины. Разница между ними только в том, что писатель обладает умением и талантом инсценировать собственный опыт. Процесс творчества не есть самовыражение. Хочется сказать одно, а в итоге получается совсем другое. Человек стремится предельно честно изложить все задуманное, но зачастую оконченная книга не име-

ет никакого отношения к тому, как он ее изначально себе представлял. Жизнь, переложенная в слова, в любом случае становится другой. Нельзя смешивать материал и творчество. Первое не имеет значения, важно, что ты из него сделаешь. Можно написать превосходную книгу о поражении и скучную — о победе.

М. М. Правда ли, что, так или иначе, и праздники, и будни в вашем детстве были связаны с Церковью?

Д. М. Да, безусловно. Церковь — это моя первая и по сей день самая важная *книга*. Еще до появления печатного слова церковь была библией бедных. Я жил по-настоящему в том мире, о котором говорила и который прославляла Церковь, меня окружали библейские персонажи. Небеса, ад, чистилище были гораздо реальнее, чем Канада и Австралия. Мы верили в них всей душой и серьезно относились ко всем праздникам: Рождеству, Пасхе, Троице — когда опасно выходить на лодке, празднику Тела Христова — когда дароносицу выносят из церкви к людям. Все эти шествия сопровождались огромным количеством народа.

М. М. Главной фигурой в общине был священник, а какое место занимали банкиры или врачи?

Д. М. Мы не имели дела с банкирами — слишком бедно жили. Самыми главными были священник, врач, школьный учитель, полицейский и земельный инспектор.

М. М. Насколько велик был авторитет церкви в Ирландии вашего детства?

Д. М. Он был абсолютным. Ирландская церковь получала много денег от Британии, которая в XIX веке считала ее институтом поддержания общественного порядка. Страна находилась во власти теократии, только этого слова тогда не говорили.

М. М. В вашем творчестве много женских образов, а как насчет мужчин? Как церковь влияла в то время на их жизнь?

Д. М. Я до сих пор верен Церкви, но в области сексуального воспитания она наносит много вреда. Вещи и без того противоречивые она еще больше усложняет; вместо того, чтобы порадоваться за человека, она его осуждает. Грехом считалось все, особенно половая близость, разрешались только супружеские отношения с целью зачатия ребенка. Церковь приучила нас бояться интимного. У мужчин и женщин была совершенно разная жизнь. Женщины всегда сидели дома, растили детей, а мужчины — работали вне дома, возделывали землю.

М. М. То есть в жизни не оставалось места для общения, смеха, шутки и веселья?

Д. М. Не совсем так. В церкви, куда я ходил ребенком, женщины стояли на одной половине, а мужчины — на другой. Один из прихожан, помню, вернулся с войны и привез жену из Англии, он оставался рядом ней на женской стороне, и нас, детей, это страшно забавляло.

М. М. Приехав в Лондон, вы познакомились со многими людьми искусства, интересовавшимися живописью и всем прочим.

Д. М. Как раз в то время я начал печататься, в журнале "Икс" вышел отрывок из романа. Дэвиду Райту, редактору, очаровательному человеку и хорошему поэту, понравился отрывок из моей книги, он решил, что возьмет его. Я приехал в Лондон и попал в совершенно непривычную, будоражившую меня атмосферу. Эти люди сидели обычно во французском пабе в Сохо и в "Свисс и Мюриэл".

М. М. Вы встречались с Фрэнсисом Бэконом[1]?

Д. М. Да, и со многими другими: Патриком Каванахом, Патриком Свифтом, Люцианом Фрейдом, Энтони Кронином, У. С. Грэмом, Джорджем Баркером[2].

М. М. Почему эта атмосфера вас будоражила?

Д. М. Из очень замкнутого сообщества я сразу попал в богему. Все лето, пока выходили мои вещи, я жил в Лондоне. Встретил интересных, но в то же время странных и непонятных людей.

М. М. Расскажите о "Темноте". Как к этому сборнику отнеслась ваша семья?

Д. М. Сестры жаловались, что на свадьбе знакомых в них тыкали пальцем, мол, их братец написал грязную книжонку. Они не сердились на меня, но им было неприятно. Я уже как-то говорил о своем к этому отношении, расстроило меня кое-что другое.

М. М. А как ваш отец отнесся к "Казармам", где главный герой, Рейган, сержант полиции, живет в такой же клетушке, в какой жили и вы в детстве? Читал ли эту книгу ваш отец и какова была его реакция?

Д. М. Я послал ему экземпляр, но он ответил, что читать не намерен. Хотя, судя по тону, было ясно, что он ждет не дождется, когда же ему представится такая возможность.

М. М. И как? Прочитал?

Д. М. Не знаю. Мы никогда об этом не говорили. Отец огорчился, когда меня уволили из школы, и поскольку был человеком несравненно более агрессивным, чем я, долго злился — считал, что я не сумел за себя постоять.

М. М. И все-таки, наверное, вам было приятно, что он принял вашу сторону?

Д. М. Ни Комитет по цензуре, ни всю эту шумиху я не воспринимал всерьез. Все, кто имели отношение к литературе, все, с кем я был тогда знаком, — тоже. Эта заваруха никак не повлияла на нашу жизнь. Запретный плод сладок, хотя большинство запрещенных книг, как и большинство всего, что вообще публикуется, не стоят того, чтобы их даже открывали. Но к запрещенным доступ был свободен. Достаточно было доехать до Белфаста, например.

М. М. То есть вы не отнесли все это на свой счет?

Д. М. Мне было неприятно, потому что вся эта возня не вызывала у меня ничего, кроме презрения. Кстати в мою защиту собирались устроить акцию протеста в Париже, да и здесь тоже.

М. М. И Сэмюэл Беккет вроде бы хотел ее возглавить?

Д. М. К нему приходили с соответствующей просьбой, но он сказал, что должен сначала прочесть книгу. Она, видимо, произвела на него неплохое впечатление, но все-таки он настоял на том, чтобы сначала спросили у меня — нужно ли мне все это? Я сказал "нет". Да и впутывать мис-

1. Фрэнсис Бэкон (1909–1992) — английский художник-модернист, долго живший в Ирландии.

2. Патрик Каванах (1904–1967) — ирландский поэт. Его поэму "Великий голод" (1942) критики считают "ирландским ответом" "Бесплодной земле" Т. С. Элиот; Патрик Свифт (1927–1983) — ирландский художник; Люциан Фрейд (р. 1922) — английский художник, родился в Германии; Энтони Кронин (р. 1925) — ирландский поэт; Уильям Сидней Грэм (1918–1986) — шотландский поэт, неоромантик; Джордж Грэнвил Баркер (1913–1991) — английский писатель и поэт.

тера Беккета мне совсем не хотелось. Естественно, я был очень благодарен и ему, и тем, кто пожелал за меня вступиться.

М. М. Чувствовали ли вы на себе клеймо позора, когда вас называли "человеком, пишущим грязные книжки"?

Д. М. Нет, я пропускал это мимо ушей.

М. М. То есть могли подняться над газетной трескотней?

Д. М. "Подняться" не то слово. Был у меня в то время друг, очень хороший писатель, Дж. Р. Эккерли[1], он как-то сказал, что на таком деле можно неплохо заработать — он имел в виду и славу, и деньги. И мне стало стыдно. Я принадлежу к первому поколению граждан свободного государства и подумал тогда, что мы живем в своей стране, а ведем себя как полные идиоты.

М. М. С другой стороны, вы проявили редкий для молодого человека рационализм. Ведь потом за книгу — туда же — гражданская регистрация брака, да еще и за границей, — вас уволили из школы.

Д. М. О моей женитьбе узнали позже. Кроме того, я ведь продолжал писать. По Би-би-си показали документальный фильм о моем увольнении, и я получил несколько писем от учителей, уволенных по той же причине: за конфликт с клерикалами.

М. М. Но все-таки вы появились в школе, чтобы приступить к работе, — это характеризует вас как волевого человека.

Д. М. Мне сообщили официально, в письменной форме, что с удовольствием дадут мне рекомендацию, если я захочу преподавать в Англии. Сбивать с пути истинного английских школьников — можно, а вот школьников Клонтарфа[2] — нельзя. Я в то время находился в годичном отпуске. По окончании, как и положено, пришел на работу. Решил, что больше не буду безответным и покладистым. Отец все сокрушался, что я не способен разозлиться как следует. Да ведь не в агрессии дело. Просто я считал, что цензоры не стоят того, чтобы с ними связываться, а вот в школе появиться было надо.

М. М. И как вас встретили?

Д. М. Я со всеми дружил, мы вместе проработали лет восемь-девять. Было тогда такое испанское кино, которое мне очень нравилось, называется "Палач". Герой должен впервые в жизни привести в исполнение приговор, но всячески увиливает от этого, а заключенный хочет только одного: чтобы ожидание закончилось. В последнем кадре приговоренный бодро шагает на виселицу, а палача туда тащат волоком. В тот день в школе я веселился, как никогда. Все были рады меня видеть. Директору пришлось читать приказ о том, что мне запрещено переступать порог класса, вслух. Священник, которому архиепископ Джон Чарльз Макквейд приказал меня уволить, не мог с этим смириться и взял отпуск. В тот день мы, наверное, выпили чашек сорок чаю, разошлись по домам в три ночи, вот так вот.

М. М. И началась новая жизнь.

Д. М. Да.

М. М. Какие отношения связывают вас с вашими героями? Вы, наверное, очень хорошо их знаете.

1. Джо Эккерли Рэндольф (1896–1967) — английский писатель, редактор журнала "Листер".
2. Имеется в виду битва при Клонтарфе (см. с. 130).

Д. М. Да, особенно если это роман. Но на страницу попадает не более двух процентов того, что знаешь о человеке. Спустя какое-то время герой становится для тебя такой же реальностью, как и то, что тебя окружает. Написать продолжение романа очень просто, если разбираешься в людях. В какую бы ситуацию ни попали твои герои, всегда понимаешь, как они будут себя вести.

Думаю, сама "грамматика" письма проста. Сначала возникает образ: это может быть пушок семян чертополоха, или обручальное кольцо, или банановая кожура. По сути, работа писателя состоит в том, чтобы отобрать то, что оживит действие, сделает его напряженным и волнующим. Затем нужно подумать о ритме — это эмоциональная скрепа повествования: связывает все образы воедино. Ритм в романе строится по тем же правилам, что и искусство беседы: сейчас лучше помолчать, а сейчас — подхватить слова собеседника. Абзацы и пунктуация служат той же цели. Роман как никакой другой жанр подразумевает общение, что касается рассказа, он ближе к стихотворению или пьесе. А после того, как ритм и образы сформировались у вас в голове, наступает время придать произведению форму — это, разумеется, самое трудное, она определяется выбранным материалом или содержанием, как вы его видите. В этом смысле форма и содержание связаны неразрывно.

М. М. Много ли вы пишете черновиков к роману? Сколько лет у вас ушло на книгу "Среди женщин"?

Д. М. Лет семь-восемь. О черновиках не хочу даже вспоминать. Каждое утро начинаю с написанного накануне, и от него обычно мало что остается. Случаются такие благословенные дни, когда ритм, слова и образы волшебным образом сами находят себе место. Тогда работаешь, как читалось в детстве, — на одном дыхании, лишь потом замечаешь, что прошло четыре или пять часов. Но такое бывает редко.

М. М. Читаете ли вы вслух написанное?

Д. М. Я постоянно обдумываю какую-то сцену. Воображение у меня, по большей части, визуальное. В голове постоянно крутится какая-нибудь сцена. Я представляю себе людей, как они двигаются, как разговаривают, как оживает все вокруг них — благодаря словам. И чтобы подыскать нужные, необходима ясность мысли и ясность чувств.

М. М. То есть чтобы радовать читателя, писателю не обязательно, сочиняя, радоваться самому?

Д. М. Писатель, удовлетворенный сделанным, — явление опасное. Перед ним стоит задача хранить верность своим мыслям и представлениям и как можно лучше их воплощать в слова. А потом — только скромно поклониться читателю.

М. М. Ваш роман "Среди женщин" задумывался как рассказ или вы сразу начали писать большую вещь?

Д. М. Об этом не знаешь заранее. Каждый материал ждет своего автора. Начиная "Среди женщин", я думал, что напишу об ирландцах 50—60-х, о поколении, растворившемся в Англии. Туда уехал не только я, но и члены моей семьи, и большинство школьных товарищей. В молодости, после увольнения и запрета моей книги, я работал в Англии. Первые образы "Среди женщин" — парк на окраине Лондона, где-то недалеко от доков, прогуливающаяся там парочка. Гостиница через дорогу от парка, где ночевали водители-дальнобойщики. Зимой сквозь голые ветви вид-

но было искусственное озеро, покрытое рябью, олени. Летом парк превращался в зеленую стену. Потом всю Англию — страниц двести — вытеснили из романа Мораны, ирландцы: начальные лондонские эпизоды почти все остались за бортом. Я всегда пишу слишком много, потом приходится резать. "Среди женщин" не так разбухла, как предыдущая книга, в конце концов я написал страниц пятьсот-шестьсот, но очень много выбросил, осталось примерно двести пятьдесят. Почти никаких редакторских замечаний не последовало, но когда мне кто-нибудь указывал на промахи или холостые ходы, я был только рад.

М. М. А последний роман, из которого вы читали отрывки, будет длинным?

Д. М. Да, но его я тоже порежу.

М. М. Сколько времени вы уже над ним работаете?

Д. М. Три года.

М. М. Наверное, вас не очень жалуют издатели.

Д. М. Хорошо хоть не боятся выхода следующей книги.

М. М. Вы когда-нибудь пробовали писать стихи? У вас очень точная проза, выверенная, отшлифованная. Почему вы не сочиняете стихи? Или все-таки было дело?

Д. М. Нет, не было. Как и все, что-то пописывал в молодости. Поэзия и проза по-разному ритмически организованы, в первой — ритм плотнее. А в романе и в рассказе он совсем другой. Станислав Джойс[1] говорил, что есть только два жанра в литературе: стихотворение и прозаический текст. Поэзии нет ни там, ни там, но в прозе ее нет чаще. А я — прозаик.

М. М. Кто ваш читатель?

Д. М. Пишешь обычно для себя или для того, кто на тебя похож. Главным образом потому, что хочется сказать что-то новое. Ничего такого не возникает, если ты где-то об этом уже прочел и пережил вместе с автором. Хороший, наверное, аргумент в пользу всего провинциального и местного, против интернационального в искусстве. Все интересное начинается с какого-то одного человека, с какого-то определенного места. Вселенское рождается в укромном уголке, где в четырех стенах творит писатель.

М. М. Почему вы так популярны во Франции?

Д. М. Лучше уж быть популярным, чем запрещенным. Да, во Франции меня читают. И мне это нравится, потому что ее литература оказала на меня большое влияние. Порой мне намного ближе французы, русские и итальянцы (особенно сицилийцы, например Шаша и Пиранделло[2]), чем англичане. Наверное, это как-то связано с католической традицией.

М. М. Во Франции многие видят в вас писателя-экзистенциалиста. Оказал ли на вас влияние кто-нибудь из французских экзистенциалистов?

Д. М. Не вполне понимаю, что означает это слово. Когда я был молод, французских писателей почитали, их всячески рекомендовали и Комитет по цензуре, и католическая церковь. Больше всех я лю-

1. Брат Джеймса Джойса.
2. Леонардо Шаша (1921–1989) — итальянский писатель; Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1934 г.

бил Монтерлана и Селина[1]. Не бывает простой и внятной истины. Истина всегда сложна и неоднозначна. Взять к примеру двух совершенно разных писателей: Каванаха и Селина. Каванах говорит, что "у потомков нет ни на что времени — они заняты собственной душой", а Селин — что "призывать к чему-то потомков — все равно, что читать проповеди личинкам". И оба правы, хотя занимают противоположные позиции, страстно их отстаивают и думают на самом деле больше о себе, чем о потомках.

М. М. Кого из современных писателей вы бы особо выделили?

Д. М. Как-то мне пришлось писать вступительное слово к сборнику рассказов одного замечательного писателя — Элистера Маклеода[2]. А вообще мне многие нравятся. Хотя часто бывает, что человек сверкнет парой-тройкой вещей, а последующие — ничего особенного, только изредка промелькнет что-то невзначай. Я иногда думаю, что талант писателя измеряется его ограничениями. Возьмем великого Скотта Фицджеральда. Писал прекрасно, стиль безупречный. Сравним "Великого Гэтсби" и "Богача" — и то, и другое настоящий Фицджеральд: блестящее описание социальных условий и всего того, что он хорошо знает по собственному опыту, но когда повествование отклоняется в другую сторону, результаты более чем скромны — автор упирается в свой потолок.

М. М. Каковы ваши собственные пределы?

Д. М. Не знаю. Они конечно есть, но установить их могут только мои читатели.

М. М. Что вам дается труднее всего в романах?

Д. М. Многим кажется, что очень просто написать диалог. Это не так. В хорошем диалоге и в реальной жизни люди говорят по-разному. Литературный диалог только отдаленно напоминает повседневный. Если записать чей-то разговор, получится стенограмма. Хорошая проза — лишь намек, и дополнить ее — дело читателя. А плохая проза — сплошные утверждения. Вот почему писатели, как правило, не спешат открыто высказываться по тем или иным поводам.

М. М. Вы интересуетесь литературными рецензиями?

Д. М. Критики, как и все мы, прежде всего читатели. Я часто сам пишу рецензии и понимаю, что мнение критика влияет на отношение читателей к книге и на то, появятся ли таковые вообще.

М. М. Вас ранят критические замечания?

Д. М. Такие чувства невозможно контролировать. Конечно, мне нравится, когда хвалят, а не ругают. Лучше, чтобы хвалили, чем ругали. В молодости рецензии для меня были как акции на фондовой бирже. Поднимутся ли они в цене, напечатают ли тебя? Вкусы ведь у всех разные. Если книга хоть чем-то примечательна, она все равно найдет своего читателя. Одному в книге что-то понравится, другого, обладающего каким-то иным опытом, иными предпочтениями, оно же будет раздражать. Мне кажется, что все стычки на литературном фронте происходят по одной причине: у каждого свой вкус, и каждый стремится поставить свои предпочтения и взгляды на первое место.

1. Анри де Монтерлан (1896–1972) — французский писатель; Луи-Фердинанд Селин (1894 — 1961) — французский писатель.
2. Элистер Маклеод (р.1936) — канадский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

М. М. В общем, вы еще раз подчеркиваете, что в литературе главные действующие лица — писатель и читатель?

Д. М. Да, основные. Я не против издателей и журналистов. Без них книги нельзя продать, без них невозможно было бы найти своего читателя, а он важнее всего.

М. М. Можно ли считать писателя публичной фигурой?

Д. М. Да, и как только выходит его книга, он должен следить за тем, что говорит. Опубликованная книга — это общественное деяние; личное представлено на суд людской.

М. М. Ощущаете ли вы, что завоевали признание?

Д. М. Этого обычно не замечаешь. Просто живешь, как и жил.

М. М. Вас часто просят высказаться, где-нибудь выступить, приглашают на семинары по обсуждению ваших произведений. Как вы к этому относитесь?

Д. М. Мнение писателя о чем бы то ни было ничем не интереснее мнения футболиста.

М. М. Считаете ли вы себя ирландским писателем, или вы против таких жестких формулировок?

Д. М. Да, я ирландский писатель, а не китайский или японский, и не мог бы ими стать. Я пишу по-английски, опираюсь на свой собственный опыт. Моя жизнь, как и моя национальная принадлежность, — это мой материал. Только этот опыт имеет для меня значение.

М. М. Вы пишете, в основном, о прошлом. Сейчас мы переживаем удивительный экономический подъем, по стране шествует "кельтский тигр"[1]. Напишите ли вы об этом со временем?

Д. М. Вряд ли. Материал выбирает художника, а не наоборот. И человек всегда знает, что ему по руке и принадлежит именно ему. Как я уже сказал, талант писателя задается его ограничениями. Автор работает в определенных границах, а стоит их нарушить, ничего не получается. Я знаю, где правда и в чем ценность. Всегда слышно, говорит ли писатель своим голосом. Многие сегодня считают, что надо писать о "кельтском тигре", а в 30-е, наверное, пытались с энтузиазмом писать об Арднакруша[2]. Достоевский иронизировал, что, если писатель описывает страшное лиссабонское землетрясение, он должен преисполниться высокого сочувствия к жертвам катастрофы, а не описывать ласковый воздух и чудную погоду, иначе критики его четвертуют, но через сто лет будут вспоминать, какая погода стояла в тот день и как сладок был воздух.

М. М. Что через сто лет прочтет в ваших книгах читатель?

Д. М. Если тогда еще найдется таковой, пожелаю ему удовольствия и некоторого проникновения в суть.

1. С 1990-х годов в Ирландии начался бурный экономический рост, и ирландцы заговорили о феномене "кельтского тигра" по аналогии с бурно развивающимися экономиками стран юго-восточной Азии.

2. Электростанция на самой крупной реке в Ирландии Шэннон, построенная в середине 20-х г. XX в.

Шеймас Хини

Твое внутреннее существо сообразуется с ритмами окружающего мира

Майк Мёрфи. Вам шестьдесят один год, на какой стадии творчества вы сейчас находитесь? Осмелюсь предположить, что на третьей, ведь самое лучшее поэты нередко создают именно в эту пору. У вас есть ощущение большей свободы?

Шеймас Хини. Я кому-то сказал на днях, что пребываю на стадии жвачного животного, ну, а если выразиться поделикатнее — на стадии пережевывания, тут-то и открываются новые перспективы. Понимаешь все пережитое и ищешь для него форму. Похоже, я возвращаюсь к истокам своего самосознания, о том и пишу. У нас в семье — впрочем, не только у нас, — как появляются дети на свет, оставалось тайной за семью печатями, считалось, что их нам приносит в сумке доктор Керлин. Недавно, начав писать стихотворение, я понял, что пишу как раз об этой сумке.

То, что осознается человеком как начало, и есть предмет его поэзии. Откуда бы вы ни черпали силы, что бы ни составляло первооснову вашу и вашего сознания — об этом вы и пишете стихи. О том, что это заставило вас в свое время пробудиться и заставляет пробуждаться снова и снова. В этом смысле поэзия несколько отличается от романа. У романа непременно есть конкретная тема. У поэзии — тоже, но и для тех, кто пишет, и для тех, кто читает, она возвращение к знакомому, обновление: через язык обновляется и твое сознание, и ты сам. С одной стороны, я все тот же и стою на том же месте, с другой — стою поодаль и вижу это место по-новому.

М. М. Вы стали поэтом Шеймасом Хини в основном благодаря Закону об образовании 1947 года[1], не правда ли?

Ш. Х. Конечно. Каждый сборник замыкал очередной годичный круг в древесном срезе моего сознания. Важнее всего первая книга. Это первый шаг. Я не раз сравнивал писательскую жизнь с камушками. Нужно прокладывать дорожку: первый шаг — первый камушек, потом клади второй, и так — пока не достигнешь другого берега. "Смерть натуралиста"[2], конечно же, начало, мой первый камень, и его не было бы без того, что и мое поколения, и все другие называют учебой.

Я оторвался от своих корней, когда передо мной распахнулся новый мир и открылся путь к знаниям: я закончил школу, потом университет. Я был старшим из девяти детей, вырос в графстве Дерри на маленькой ферме и жил, как все деревенские в то время. Благодаря экзамену "элевен-плас"[3] я в конце концов попал в университет. Мне повезло, у меня были хорошие учителя, и я увлекся литературой. "Смерть натуралиста" вышла, когда мне исполнилось двадцать семь, стихи для нее я писал

1. Закон 1947 г. стал основой законодательства о среднем образовании в Ирландии.
2. Сборник "Смерть натуралиста" вышел в 1966 г.
3. Экзамен "элевен-плас" — отборочные испытания британских школьников в возрасте 11 лет, определяющие, в какой из трех типов школ учащийся будет продолжать образование: классической, средней современной или технической.

с двадцати трех до двадцати шести. В этом сборнике моя родина, Моссбон, графство Дерри, там есть я — подросток, обыденная низменная жизнь природного существа, и моя жизнь как продукт культуры. Молодой учитель со степенью бакалавра искусств, полученной в Белфасте, и бесформенный кусок плоти, который доктор Керлин принес в сумке в один из дней 1939 года, тесно связаны друг с другом.

М. М. Какую роль играли в вашей жизни родители? Чувствовали ли вы себя одним целым с семьей?

Ш. Х. В то время я этого не осознавал. Оглядываясь назад, понимаю, что наша ферма была надежной маленькой башней, где царила любовь. Мы поддерживали отношения со всеми соседями и чувствовали себя в безопасности. Что парадоксально — ведь шла война. Прямо над нашим домом в 1942 и 1943-м на высоте десяти-пятнадцати метров, очень низко, летали самолеты. Они направлялись на базы в Ньюбридж и Крей. Аэродромы построили в начале 40-х, когда союзники готовились к решающим высадкам, и, как я потом узнал, сто третья воздушная дивизия располагалась совсем рядом.

М. М. Вы понимали, что вокруг вашей семьи — католиков — одни протестанты?

Ш. Х. Да, с раннего детства. Словосочетание "протестантское общество" выучиваешь лет эдак к двенадцати. Джим Гилмор, приходивший к нам за молоком, был "другой", как и Гарвинсы или Эвансы. Я знал, что они все протестанты. Мы относились к этому слову спокойно и не усложняли отношений. В общении не возникало трудностей, но все-таки грань существовала — мы жили "по-другому". Но "другими" были также викарий и кюре. В общем, не только протестанты были "другими". Мы отличались от остальных, но можно было договориться. И у меня, к счастью, выработалось здоровое отношение к тому, как люди договариваются между собой: чувство юмора помогало. Оно служило и подтверждением человеческих расхождений, и отрицанием их. Но в нашем доме всегда знали, что мы "не такие".

М. М. Вы много читали в детстве? Слушали радио? Когда родилась ваша любовь к слову?

Ш. Х. Сказать можно только по прошествии лет. Нельзя в какой-то день объявить, что с этой минуты я люблю литературу или что-нибудь другое, неважно что. В мое время вместо поэзии были молитвы, литании: "Молись о нас, молись о нас, молись о нас". На все лады повторяешь имя Пресвятой Девы, молишься святым, "Ora pro nobis"[1]: месса — на латыни. Каждый подросток не мог не погрузиться в этот диковинный, полный величия и очарования язык. Он вплетался в самую ткань повседневной жизни, уносил в трансцендентное. Трудно это передать. В университете я уже всерьез заинтересовался языком, его историей, этимологией, истоками: откуда какие слова произошли и как родилась вся эта мешанина ирландского, английского и латыни.

М. М. Известно, что в молодости вы были под большим впечатлением от Джерарда Мэнли Хопкинса[2], а что значила для вас встреча с поэзией Патрика Каванаха, стало ли это революцией сознания?

1. "Молись о нас" (*лат.*).
2. Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт; 1868 г. стал для него переломным: он сжег ранние стихи и стал послушником ордена иезуитов; вернулся к поэзии в 1875-м; в 1877-м был рукоположен в священники.

Ш. Х. Несомненно. Я уже говорил где-то — и думаю так и сейчас, — что Каванах вывел субкультуру на сцену. Жизнь, которую мы прятали от других и от себя самих куда-то в заросли крапивы, за курятник, в самый укромный уголок памяти, — у Каванаха встала в полный рост. А когда поэт отваживается на подобный шаг, что-то навсегда меняется и меняется к лучшему. Начинаешь лучше понимать себя, иначе отслеживаешь свои внутренние движения, добираешься до сути вещей. Каванах сделал предметом описания то, на что раньше смотрели свысока. Он снял запрет — разрешил работать с этим материалом.

М. М. В своем сборнике 1975 года "Север" вы подвергаете сомнению роль искусства перед лицом трагедии, появляются ваши "болотные стихи". Хочу спросить, во-первых, что вы открыли для себя, работая над "Севером", и, во-вторых, как рождались "болотные стихи"? В частности, я имею в виду "Болотную землю", ведь именно там складывается стиль, в котором вы в основном и писали с тех пор.

Ш. Х. "Болотная земля" появилась в 66–67-м, когда я жил у моей свояченицы на Грейт-Рассел-стрит в Лондоне. По крайней мере там все это началось. Как-то вечером я собирался в город, стал одеваться, сунул ногу в штанину, и вдруг на ум пришла строчка. Чисто физическое ощущение "прохождения" через брючину вызвало по ассоциации чувство преодоления, свободы. И тут же — радости, ликования, открытия чего-то неожиданного, словно берешь на вилы пласт сена и переворачиваешь. В ушах стояли слова: "У нас нет прерий". Просто звучали — и все. Они мне понравились, я их записал. Вся история Ирландии совершалась на болотах, а не в прериях, как в Америке. Стихотворение — не автобиографическое. В каком-то смысле оно написалось само собой, вылилось как неожиданное признание. И стало моим вторым годичным кольцом.

М. М. Сначала строка "У нас нет прерий", а потом уже мысли?

Ш. Х. Да. Так вбиваешь клин в древесину в нужном месте, и она сама собой распадается на части.

М. М. А как было с другими "болотными" стихотворениями?

Ш. Х. Большую роль сыграла книга П. В. Глоба "Болотный народ" — об археологических раскопках в Дании: там нашли в болотах останки людей, которых, по мнению автора, приносили в жертву. Книга попалась мне на глаза случайно. Но на ловца и зверь бежит — ведь в то время я уже очень интересовался болотами.

Когда я писал "болотные стихи" для "Севера", я все время вглядывался в найденные тела и предметы — просто не мог оторваться от фотографий. И сам не понимал, что меня в них так привлекало. Вот они, эти люди железного века, жившие во времена насилия и жертвоприношений, но как-то связанные с настоящим. Стихи неслучайно были написаны именно в то время и именно в Ирландии, но я не назвал бы их политическими.

М. М. Вы человек дисциплинированный, работаете регулярно?

Ш. Х. Мои представления о поэте и поэзии сформировались самым традиционным образом. Все почерпнуто у романтиков, из предисловия Вордсворта к "Лирическим балладам" и писем Китса, из написанного Т. С. Элиотом. У меня сложилось восприятие поэзии как "внезапного потока необоримых чувств", по выражению Вордсворта, или, по выражению Китса, "листвы на деревьях", которая распускается по весне и заслоняет собой повседневность. Поэзия не требует прилежания и ясной цели. Она больше связана с бессознательным, это линия жизни, линия

судьбы. Стихи — происшествие невероятное, а не запланированное. Я всегда считал их милостью Божьей, и труд для меня, точнее, работа — нечто совсем другое. Я оправдан своими стихотворениями, но считаю, что, если на вас снисходит благодать поэзии, это не дает вам как гражданину какие-то дополнительные права. Нельзя требовать к себе особого отношения только потому, что вы поэт. С вас довольно и восторга читателей, если ваши стихи хороши. Сидевшее во мне пуританство не позволяло распроститься с преподаванием. Не считая четырех важнейших лет в Виклоу, когда я убедился в том, что поэзия — мое истинное призвание, я всю жизнь ходил на службу и до самого недавнего времени не позволял себе ограничиваться одним творчеством.

М. М. Вспомним стихотворение "Воздушный змей для Майкла и Кристофера". Интересно, думали ли о вас когда-нибудь сыновья, Майкл и Кристофер: "Вот он, вышел с воздушным змеем, теперь уж точно напишет стихотворение"?

Ш. Х. Не знаю, вряд ли. Вообще-то интересная получилась история. В стихотворении речь идет об отце и детях, которые запускают змея. Но на самом деле стихотворение, конечно же, обо мне и моем отце. Возможно, это прочитывается. Сюжет стихотворения строится на воспоминании о том, как отец выпустил змея, и о том, какое удивление и восторг охватили меня в этот миг. Мой отец — а более приземленного человека и представить себе невозможно — стоял и держал рвущегося в бездонный небесный простор змея. И это было поразительно. Стихотворение о том, что каждое поколение в какой-то момент начинает мучиться дурными предчувствиями и ждать от жизни подвоха. А тут — такой порыв вверх, и ты ему веришь. Стихотворение посвящено моим сыновьям, но корни его — в моем прошлом.

М. М. Поговорим о сборнике "Прозрачность", который вышел в 1991 году. Вы тогда ощутили наконец свободу, вам было около пятидесяти, а в "Приемыше" есть такие строчки: "Когда мне стукнет пятьдесят, / Тогда поверю в чудеса". Судя по названию, в вашей жизни что-то прояснилось?

Ш. Х. Название выплыло случайно. Накопилось много стихов, которые и составили сборник, а заглавие пришло уже потом. Главное в сборнике — ощущение подъема, с которым я писал этого самого "Приемыша"... В "Прозрачности" мне больше всего нравится цикл из сорока восьми стихотворений "Наброски". Каждое по двенадцать строчек. Я готовил материал по Йейтсу для "Антологии ирландской литературы". Писал эссе и комментарии к его стихотворениям. Полтора месяца провел в Национальной библиотеке и уже заканчивал работу, когда на ум мне пришли первые строчки первого стихотворения из "Набросков". Оно начинается так: "Мерцание бриллиантов. Зимний свет / В дверном проеме, на ступеньке / Дрожит бродяги силуэт" — сейчас я вижу, что они, вероятно, навеяны стихотворением Йейтса: "И я в тот миг увидел холод..." Оно — об ощущении Божественного присутствия, об озарении, взлете, приобщении к высшему. Так или иначе, получилось стихотворение из двенадцати строк, я решил, что напишу второе, а потом — третье, так и пошло. Меня вдохновила сама форма в двенадцать строк, я почувствовал, что "взял" новый вес и что-то забрезжило впереди. Из меня посыпались слова "душа", "дух"... — может быть, потому, что недавно умерли родители. Не то чтобы сдуло крышу, но она поднялась, все внутри нагрелось и засияло.

М. М. В 1988-м вы выпустили книжку лекций "Смирение языка", где вы делитесь мыслями о поэзии и ответственности поэта за написанные слова. Как вы понимаете эту ответственность?

Ш. Х. Есть некая тайна в том, что на тебя нисходит стихотворение. Ты испытываешь при этом огромную радость, а потом мучаешься вопросом, чем ты собственно занимался и зачем все это? По крайней мере я мучился.

Меня волновали два обстоятельства. Первое — мое прошлое, в котором не было места для творчества. По соседству с нами жила пианистка, Рози Кинан, я уже писал о ней раньше. Она была слепая, может, это странно, а может, и нет — слепая играла на пианино. В юности я часто проезжал мимо ее дома на лошади, обычно после обеда, и слышал музыку, которая доносилась из окон спальни.

Никто не объяснял мне, что игра на фортепьяно освобождает место в душе для радости и восхищения, для гармонии искусства, которое тоже труд. Известно, что труд должен изнурять: тяжело махать мотыгой, переваливать сено, доить корову. И когда такой труженик вдруг оказывается в совершенно ином мире и начинает корпеть над стихотворением, само его естество требует, чтобы он нашел оправдание своей работе.

Второе обстоятельство — преподавание. Я начинал когда-то в средней школе Беллимерфи, постепенно дошел до Гарварда, и повсюду все эти годы мне задают один и тот же вопрос: "Зачем нужна поэзия?"

Первые мои ученики спрашивали: "Зачем мы тратим на это время, сэр?" Даже в Педагогическом колледже Святого Иосифа студенты все время недоумевали: "Мы будем учителями, зачем нам Шекспир, сэр?"

Западная культура со времен Платона ищет ответ на этот вопрос. Мне тоже хотелось узнать, какая польза в том, что нечто рождается у человека в голове и доставляет ему удовольствие, обладая немалым эстетическим совершенством и подчиняясь лишь своим законам. В 70 и 80-е, когда в Северной Ирландии происходили известные события, мне не давала покоя мысль: "Рим горит, а ты пиликаешь на скрипке". О том же я рассуждаю и в предисловии к "Смирению языка".

М. М. Помнится, вы говорили, что стихотворение получается, когда язык вдруг начинает жить по своей воле.

Ш. Х. Да. Минуты творчества — минуты свободы. Есть что-то божественное в том, что этот миг уверенной легкости, "момент ухода от смятенья", как говорил Роберт Фрост, — следствие неожиданно обретаемой внутренней свободы.

Этот опыт сладок, он может быть куплен ценой бед и внутренних борений, а может быть рожден и дневной грезой, и потворством самому себе. Можно выстрадать стихотворение, получить его как награду, заработанную тяжким трудом, а можно написать его, витая в облаках.

М. М. Само название "Смирение языка" звучит довольно жестко, в нем проскальзывают и политические нотки, на ум приходят поэты, боровшиеся за то, чтобы земная цивилизация не погибла.

Ш. Х. Все верно. Дело в том, что само это выражение взято из монашеских наставлений. Глазу не дозволено прельщаться, языку требуется обуздание и т. д. — говоря по-нашему, необходима самоцензура. Можно ли смирить свой язык, или он смиряет тебя? Этот вопрос и должен прочитываться в названии.

М. М. Как вы считаете, можно ли жить без поэзии?

Ш. Х. Можно жить без книг. Чисто физически. А вот поэзия нужна скорее немногочисленной прослойке, которая создает культуру и формирует духовные ценности. Причем как только ты их усваиваешь, начинаешь творить собственную систему ценностей. Совершенно безумный вопрос вы мне задали, Майк, — конечно же, миллионы людей живут без поэзии.

С другой стороны, поэт Лес Мюррей[1] называет главные вероисповедания "стихотворениями". Для него стихотворение равнозначно религиозной или этической системе, которую принимаешь или отвергаешь. Я думаю, что людям не обойтись без произведений, в которых воссоздается жизнь их духа. Вордсворт (один из моих любимых поэтов) говорит в предисловии к "Лирическим балладам": "В поэзии мы видим жизнь духа, вмещающего жизнь Вселенной". Ты ощущаешь, как твоя душа, твое внутреннее существо сообразуется с ритмами окружающего мира.

М. М. Вордсворт сочинял вслух. А вы?

Ш. Х. Нет, вслух не сочиняю. Но чем я старше, тем большее значение придаю ритму. Теперь при написании сонета или стансов меня больше чем что-либо занимает выдержанность метрики. Раньше я охотнее писал неправильные, взлохмаченные стихи, ломал ритм. Сейчас сознаю прелесть строгой мелодики и строгого размера. Вслух не сочиняю, но звучание становится все важнее.

М. М. Какие другие виды искусства вас привлекают?

Ш. Х. Мне всегда были близки художники. Я бываю в художественных галереях. Нью-Йоркском Метрополитене, лондонской Национальной галерее, Уффицци во Флоренции, парижском Орсэ. Не могу объяснить, почему, но испытываю там нечто радостное и успокаивающее. Много лет назад в Прадо я долгие часы провел перед "Садом радостей земных" Иеронима Босха, "черной живописью" Гойи и его "Бедствиями войны". Я не могу судить о живописи с точки зрения техники, особенностей наложения мазка. Меня влечет сама тайна полотна, его образ и настроение. Полная безмятежность Фра Анджелико и итальянских примитивистов; точность, любование обыденным у Брейгеля; мощный напор Ван Гога. По какой-то неведомой причине живопись дает мне то, чего не может ничто другое.

М. М. И наконец позвольте спросить, что, как вы думаете, вынесет из ваших произведений читатель 2100 года?

Ш. Х. Это зависит от того, что выносим из поэзии мы сами. Читая Томаса Гарди, Роберта Фроста, Йейтса, Элизабет Бишоп или Эмили Дикинсон, я говорю "Да". Чтобы произведение жило, оно как минимум должно быть правдивым. Лучше всего было бы, если бы они сказали: "Спасибо, Господи, за то, что это есть". Но довольно и одного "Да" — это идет от некоей вещественности языка, ты чувствуешь, как все становится на место. Вот что сам я получаю от поэзии.

В конце 70 — начале 80-х, как только мы купили дом в Сандимаунте, к нам в Дублин приехали родители. Отец вышел прогуляться по берегу с ясеневым прутиком в руках. Конечно, он не думал о джойсовском Стивене Дедале, который шел по пляжу в Сандимаунте "с ясеневой шпагой на боку" и остался в вечности. Когда отец умер, я вспомнил пунктир его следов на песке. Наверное, это и есть ответ на ваш вопрос. Я бы хотел,

1. Лес Мюррей (р. 1938) — австралийский поэт.

чтобы через сто лет после меня остался такой же пунктир и в нем читалось одно-два стихотворения — чтобы их не "смыло волной".

Есть у меня одно маленькое стихотвореньице, называется "Берег":

Тот след, что оставил отец
На пляже Сандимаунта,
Не сможет смыть волна.

Уильям Тревор

Я прежде всего рассказчик

Майк Мёрфи. Как вы считаете, нужно ли с наступлением нового века подводить итоги жизни и карьере?

Уильям Тревор. Я не склонен анализировать свою карьеру и свое творчество. Я все чаще возвращаюсь мыслями в детство. О творчестве — да, размышляю, обсуждаю кое-что с женой, но это так, не всерьез.

М. М. Как бы вы оценили свои вещи?

У. Т. Я их не оцениваю, поэтому вам сегодня предстоит нелегкая работа.

М. М. Верно ли, что вы прожили тихую, ровную жизнь, никогда ни от чего особо не страдая?

У. Т. Да, моя жизнь действительно текла довольно безмятежно. Мне повезло — обошлось без больших потрясений.

М. М. Вы часто говорите, что вы аутсайдер и это помогает вам вводить в рассказы некое новое измерение. Что вы имеете в виду?

У. Т. Писатели, как и вообще художники, по определению, все как один аутсайдеры. Мы — вне общества, оно для нас сырой материал. Приближаться к нему, даже к краю подходить — весьма опасно. Мне кажется, что я, или кто-то другой, похожий на меня, стоит за забором и пытается заглянуть внутрь: что там делается внутри, в Ирландии? По-моему, я лучше вижу, когда смотрю в телескоп не с того конца. Я постоянно слушаю передачи Ар-ти-и и каждый день читаю "Айриш таймс". С появлением телефона и прочих изобретений стало легко поддерживать связь. Я не живу в Ирландии и, приезжая сюда, не могу каждый раз не поражаться тому, как она изменилась со времен моего детства и юности. В 50-е это была удивительно тихая страна. Не то что сейчас. И все-таки я ощущаю, что перемены эти — поверхностные, не коренные. Та Ирландия, о которой я думаю с большой любовью, и сегодня существует. Еще не забыто слово "дружелюбие". Ирландия в самом деле самая открытая в мире страна, и это не пустые слова. Ирландцы люди щедрые, в том числе и в общении. Даже на проселочной дороге обязательно остановят, расспросят. Ничего такого нет ни в одной другой стране мира.

М. М. Вы выросли в католической среде, но в семье протестантов, может быть, это и стало причиной вашей обособленности?

У. Т. Да, хотя я часто не соглашался с людьми, указывавшими мне на это, но — лукавил. Где бы мы с братом и сестрой ни жили — в основном,

это были маленькие ирландские городки, — мы всегда входили в меньшинство, составлявшее четыре процента. Мы отличались от остальных, то есть были изгоями. Например, не посещали мессу. Наша семья застряла где-то на полдороге между новой католической Ирландией Де Валера и старой Англо-Ирландией георгианских и загородных домов. И пока отец не продвинулся по службе, мы оставались бедняками-протестантами — из тех, что заглядывают в окна богачей сквозь кружевные занавески. Были отщепенцами.

М. М. На ваших глазах происходило разложение верхушки общества, состоявшей из протестантов, как англичан, так и ирландцев. Общались ли вы с теми, кто к ней принадлежал?

У. Т. Да, и это было нечто удивительное. Мы не смогли бы так с ними общаться в Англии, потому что там быть протестантом — явление нормальное. В каком-то смысле эта знать тоже превратилась в изгоев, так что сама вышла нам навстречу. Спустилась на одну ступеньку, чтобы общаться с людьми, не думая о том, что теперь все ее знакомые — люди низшего сословия. Мы водили знакомство как с хозяином магазина, так и с владельцем поместья. Короче говоря, со всеми, кто принадлежал к протестантской общине. Встречались в нашем кругу и католики: мой отец был очень общительным человеком.

М. М. Впоследствии он дослужился до клерка, а потом — и до управляющего банком, и ему поневоле пришлось поддерживать отношения с католиками.

У. Т. Да, так.

М. М. В детстве вы нуждались, верно? В 30-е, самые тяжелые для Ирландии годы, вы то и дело переезжали с места на место, потому что отца переводили из Митчелстауна в Йофаль, из Скибберина — в Типперэри.

У. Т. Нищета в те годы царила повсюду. Люди ходили по улицам босиком. Всю окраину Йофаля заселяла беднота. Там даже воздух был особенный. На выходные из трущоб Корка к нам привозили на экскурсии детей — таких же нищих, как мы, они носились по пляжу, словно дикари. Никогда не забуду это зрелище. Страшное было время.

М. М. Вы с братом и сестрой учились у монахинь ордена "Ирландские сестры Лорето". Как вас, протестантов, учили Закону Божию в католической школе?

У. Т. Во время уроков Закона Божия нас выставляли за дверь или отправляли в раздевалку. Одна добрая монахиня, а может, и не монахиня совсем, а прихожанка, уводила нас на кухню и угощала печеньем. Всегда с теплотой вспоминаю этих монашек, да и вообще школьные годы в Йофале. Учителя у нас были строгие, но прекрасные.

М. М. Остальные дети, наверное, с завистью смотрели, как вас освобождают от урока.

У. Т. Да уж конечно.

М. М. В детстве кто-нибудь думал, что вы станете писателем?

У. Т. Нет, никаких особых задатков у меня не было. Отец любил пересказать за обедом анекдотец, услышанный на работе, мать запоем читала второсортную литературу. Выше этого они не поднимались, но, мне кажется, именно рядом с ними я стал тем, кем есть. Наверное, мне однажды захотелось написать обо всем, что меня окружало.

М. М. Насколько я знаю, вы восхищаетесь Чарльзом Диккенсом. Когда вы начали его читать?

У. Т. Триллеры наскучили мне еще в школе, я перестал брать книги у матери и записался в библиотеку. Первыми в руки попались Фрэнсис Бретт Янг[1], Сесил Робертс[2] – добротные писатели средней руки, каких сейчас уже нет. Они рассказывали о мире, о котором я понятия не имел. Действие обычно происходило в Англии, где-нибудь в деревне или поместье, главный герой почти всегда был врачом. Со временем интерес к этим авторам поутих. Дальше последовали "Луна и грош" Сомерсета Моэма – он для меня и сейчас эталон новеллиста, а потом я прочитал "Дублинцев", и мир перевернулся.

М. М. Почему?

У. Т. Джойс открыл мне глаза на ирландскую литературу. В то время я почти не читал никого из ирландцев, за исключением Чарльза Кикэма[3], который показался мне тяжеловесным. А "Дублинцы" – чудесны и сегодня, и всегда.

М. М. Что же вам так понравилось?

У. Т. Отличный рассказ всегда прост, а там все новеллы простые, этот сборник я считаю лучшим у Джойса. Плюс "Портрет художника в юности". Я прочитал тогда все, что он напечатал, а мне было только шестнадцать. Это было нелегко, но очень важно – важно по сей день.

М. М. Когда вы открыли для себя Диккенса?

У. Т. Тогда же, когда и Джойса, может, чуть пораньше. Отец собрал всего Диккенса, отсылая по почте купоны от сигарет "Свит Афтон". В ответ по почте приходили эти довольно симпатичные книжечки. Помню, что в нашем единственном книжном шкафчике стояли "Гордость и предубеждение" и еще пара-тройка классических произведений. Самым подходящим мне показался "Николас Никльби", с него я и начал. Поначалу он шел туго, а сейчас, спустя много лет, Диккенс мне кажется самым лучшим автором – самым подходящим для перечитывания. Мне нравится возвращаться к одним тем же сценам, зарисовкам, к знакомым героям.

М. М. Вы ему когда-нибудь подражали? Для Диккенса ведь не существовало персонажей слишком ничтожных для самого детального описания?

У. Т. Не существует персонажей, не достойных описания. Если вы выводите на страницах своего произведения то или иное лицо, оно должно появиться перед взором читателя, стать узнаваемым, видимым. Мое дело – прежде всего создать образ, потом, когда это уже позади, можно навести его порезче, чтобы читателю захотелось с ним пообщаться. Только так литературный персонаж становится живым. Но нельзя давать ему слишком разрастаться, потому что, став большим и важным, он сместит акценты и действие перекосится. Приходится монтировать книгу, как фильм. Я вырезаю ножницами целые куски. Выбрасывать – самое большое удовольствие для меня.

М. М. В школе Святого Колумбы[4] вы познакомились с Ойзином Келли[5], преподавателем рисования и одним из самых известных скульпторов Ирландии, который ввел вас в совершенно новый мир.

1. Фрэнсис Бретт Янг (1884–1954) – английский романист и поэт.
2. Сесил Эдрик Морнигтон Робертс (1892–1976) – английский журналист и романист.
3. Чарльз Джозеф Кикэм (1828–1882) – ирландский писатель.
4. Святой Колумба (521–597) – ирландский святой; основатель монастырских школ в Дерри (545 г.), Дарроу (553 г.) и др. местах; миссионер северных и южных пиктов в Шотландии.
5. Ойзин Келли (1915–1981) – ирландский скульптор.

У. Т. Все верно. Я принял решение стать писателем, когда перевелся из школы Сэндфорд-парк в школу Колумбы. В Сэнфорде я был одним из лучших по английскому.

М. М. А по остальным предметам?

У. Т. По ирландскому у меня всегда стояло "хорошо", но не потому что мне легко давались языки, а потому что я сочинял рассказы на ирландском — предельно простые. Всего несколько умело использованных слов — и эффект достигнут, так что я всегда получал хорошие оценки. Но английский я знал гораздо лучше. По математике шел средне, по латыни отставал и так и не продвинулся, пока не перешел из Уэксфордской Тейтскул в Сэндфорд-парк, там же занялся и французским. Я поздно поступил в Сэндфорд, всегда плелся в хвосте и ни разу не вышел в лидеры.

В школе Святого Колумбы каждый второй мальчик хотел стать писателем — я больше не был одинок. Мне понравились работы Ойзина Келли, и я увлекся резьбой по дереву. Я приходил к нему по воскресеньям — он работал у себя в студии, которая по основному своему назначению была теплицей, — и тоже пытался что-то делать. В итоге я увлекся скульптурой и забросил писательство.

М. М. У вас получалось?

У. Т. Да. К живописи у меня способностей нет, потому что я плохо рисую, скульптура давалась мне намного лучше. Можно было отложить в сторону карандаш и возиться с глиной. Мне нравилось также работать резцами, и я начал их собирать. Пожилые дамы отдавали мне свои наборы: они украшали резьбой доски для хлеба, занятие достойное, но много ли нужно человеку досок? Мы жили тогда в Портлише, и соседи, узнав, что я скульптор, приносили свои инструменты.

М. М. Каков был Ойзин Келли в роли наставника?

У. Т. Человек очень неординарный, он не ставил перед собой задачи кого-то чему-то научить. Он делал, а я повторял. В школе он просто зарабатывал себе на жизнь, хотя учителем его считали плохим. Он преподавал ирландский, французский и рисование, но мальчики все время жаловались на него. Учеников он не песочил. Был по-своему строг, но пространных нотаций не читал. Однажды я спросил у него совета, а он ответил: "Совета не дам, а кое-какие сведения — пожалуйста". И в этом он весь.

М. М. В 1946-м вы поступили в Дублине в Тринити-колледж, но скульптуру не бросили. Вы как-то сказали, что сторонились студенческой жизни и она мало вам дала. Вы не жалеете о том, что в годы, когда можно было поэкспериментировать, вы этого не сделали?

У. Т. Мне неинтересно было быть студентом. Возможно, следовало поступать в Школу искусств. Мне хотелось найти чердак, поселиться там, заниматься скульптурой и зарабатывать на жизнь. Когда-то давно я думал стать журналистом, писать книги и жить на гонорары от них, но все это осталось в прошлом. В итоге я сказал родным, что ухожу из университета, но они так расшумелись, что я согласился остаться и закончить курс.

М. М. Каким вы были в молодости?

У. Т. Застенчивым. Я и сейчас таков. И не слишком общителен. Помню, что у меня постоянно было пусто в карманах. Я дружил с ребятами из Национального колледжа искусств. Мы встречались, выпивали. Девушек среди нас не было. Потом я начал приводить с собой Джейн, и все изменилось. В мужской компании всегда должна быть женщина. Тогда ребята сразу становятся мягче и себя ведут тактичнее.

М. М. Наверное, вас вскоре перестали приглашать из-за Джейн?

У. Т. Мы быстро поженились, поэтому, скорее, я сам от них ушел.

М. М. С кем из художников вы в то время общались?

У. Т. С художниками Дэвидом Холтом и Патриком Паем, с актером Коннором Фаррингтоном. К миру изобразительного искусства он не имел отношения, но выпить умел, впрочем, не он один.

М. М. В скульптуре вы добились успеха. Принимали участие в выставке "Живое искусство" и, наверное, были вхожи в богемные круги столицы.

У. Т. Я предпочитал кино, не пропускал ни одной новой программы варьете, часто бывал в театрах "Гейт", "Аббатство", "Гэити" и "Олимпия", где постоянно кто-нибудь гастролировал — помню представление Илсли и Маккейба[1]. В театре бывал каждую неделю.

М. М. Почему вы решили оставить скульптуру?

У. Т. Пришлось уехать из Ирландии. Я был уже год как женат, мы жили в графстве Армах. Частную школу, в которой мы оба учительствовали, собирались закрыть. Решено было ехать в Англию. Там, в Центральных графствах, я преподавал искусство. Через два года ушел, рассчитывал, что смогу зарабатывать резьбой, церковными заказами. Когда я учился в Тринити, меня больше всего интересовала Книга из Келла[2] — я каждый день ходил в библиотеку и копировал ее по кусочкам. Я сделал четырехчастный резной аналой, в каждом фрагменте — фигура из Книги, вернее, в трех — для последнего фрагмента пришлось придумывать что-то свое. Аналой и сейчас находится в церкви, это возле Рагби в Варвикшире.

М. М. Вы создали и военный мемориал для церкви Святой Анны на Доусон-стрит, в Дублине. Он тоже стоит там до сих пор.

У. Т. Верно. Еще когда я учился в Тринити, я рассчитывал, что буду жить на заказы: буду вытесывать могильные плиты и вырезать на них надписи. Мы с Майклом Биггзом собирались основать такое предприятие в Дублине, но потом я отказался от этой мысли. Понял, что он намного лучше меня и камнереза из меня не получится. А потом решил, что буду заниматься скульптурой и жить в Англии. Но этого не получилось, я стал учителем рисования, меня приглашали временно поработать то в одной школе, то в другой, мы жили в западной стороне — как Джуд, герой романа Томаса Гарди.

Мы ждали первого ребенка, едва сводили концы с концами, несмотря на то, что жена пошла работать, завести свой дом не получалось, кончилось тем, что мы перебрались в Лондон, где я устроился в агентство рекламщиком. У меня появилась уйма свободного времени. На рекламу каких-нибудь носков или краски давали целых четыре дня. И в конце концов от нечего делать я начал писать рассказы. А потом каким-то чудом они понравились издателям, и со мной заключили договор на роман.

М. М. Когда вы решили превратиться из Уильяма Тревора Кокса в Уильяма Тревора?

У. Т. Я сменил имя, когда начал печататься. Тревор Кокс — это скульптор, а скульптор и писатель — совсем разные занятия. Я решил, что останусь скульптором Тревором Коксом, а как писатель возьму пер-

1. Театральная компания, основанная в 50-е гг. XX в. Стэнли Илсли и Лео Маккейбом при театре "Олимпия".
2. Книга из Келла, или Келлская книга, или Книга св. Колумбы — богато иллюстрированная рукописная книга, созданная кельтскими монахами примерно в 800 г. Находится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине.

вые два своих имени. Мне импонировало, что так сохраняется определенная анонимность, а заодно возникает некоторая путаница.

М. М. Вы говорили о Чарльзе Диккенсе и Джеймсе Джойсе — наверное, они больше всех повлияли на вас. А как насчет русских?

У. Т. Когда я пишу, мне часто хочется, чтобы сюжет напоминал книги моего детства — приключения, детективы, чтобы так же строилась интрига. В этом смысле я все хочу дотянуться до Диккенса и Джордж Элиот.

Возможно, на меня и повлиял кто-то из русских, французов или итальянцев. В последнюю очередь об этом догадывается автор — уловить чье-то присутствие в книге может только тонкий критик.

М. М. У вас и впрямь много детективных сюжетов. Вы явно не остались равнодушны и к готике: представление о зле и его последствиях, о том, что оно творится самыми обычными людьми, — это идет от Брэма Стокера? Шеридана ле Фаню[1]?

У. Т. Интересно, что вы упомянули Шеридана ле Фаню. Мне нравятся его вещи, наверное, в моих произведениях есть их отголоски. Кроме того, я с превеликим удовольствием читал и Брэма Стокера, и его рассказы, и большую прозу. Но, честно говоря, я не умею себя анализировать.

М. М. И все же вас больше интересуют люди, а не мистика. Вы както говорили, что у ваших родителей был тяжелый брак. У них были сложные отношения?

У. Т. Ужасающие — даже Стриндберг стал бы в тупик. Они практически не разговаривали друг с другом, всегда молчали. Конечно, это отразилось и на нас, троих детях. Родители были очень несчастны, но каким-то образом умудрялись не показывать этого на людях. Даже если бы я стал вдаваться в подробности, чего делать не намерен, описать этот брак не представляется возможным.

М. М. Где вы научились так хорошо понимать женскую душу? Я имею в виду таких героинь, как Аттракта в одноименном рассказе или Брайди в "Бальной зале любви".

У. Т. Не знаю. Наверное, я пишу, подчиняясь инстинкту, о том, чего не знаю, — вернее, чего не знаю по-настоящему; пишу, движимый чистым любопытством. Каждый новый рассказ или роман — это своеобразный способ удовлетворить любопытство. Мне интересны мои героини. Я не знаю, что значит быть женщиной. Что такое быть ребенком, знаю. Быть старым — тоже, хотя в ту пору, когда писал "Стариков", не знал. Женщина остается для меня загадкой, и мне каждый раз нужно к ней подступиться, поставить себя на ее место: "Что бы она подумала? Как бы поступила?" И вдруг — я вижу ее. Я создал ее, потому что она меня заинтересовала, и вот она передо мной — живая. А вообще, мне нравится слабый пол, хочется вознести ему хвалу. Мне нравятся все мои герои, но больше всего как раз те женщины, о которых вы спросили.

М. М. У вас есть любимый отрывок, любимый персонаж?

У. Т. Любимый персонаж — всегда последний. Все равно что младший ребенок в семье. Вообще-то, пожалуй, нет, не может быть одного-единственного, самого любимого. Вот сейчас думаю и понимаю, что такого нет.

1. Джозеф Шеридан ле Фаню (1914–1973) — ирландский писатель.

М. М. Давайте поговорим о том, как ирландцу пишется в Англии. В ранних произведениях ваши герои были чаще всего англичане по национальности, но очень скоро вы стали награждать их типично ирландскими душевными качествами, а затем уже начали изображать и самих ирландцев. Не потому ли что вы начали сознавать, как важно ваше ирландское происхождение?

У. Т. Первые рассказы об англичанах я начал писать из любопытства, о котором уже говорил. Меня интересовала Англия. Это удивительный край — я здесь живу, несмотря на то, что вовсе этого не планировал, тут удивительный высший класс — так сказать, выдержанное красное дерево — совершенно не похожий на ирландский, но мне очень хотелось его понять. Такой возможности у меня не было — ушли годы на то, чтобы попасть в английское общество. И я не стал тратить время. Во время работы над "Стариками", я смотрел на англичан со стороны, издалека. Действие происходит в английской частной школе, тогда я не знал, что она собой представляет. Опирался на воспоминания о школе Святого Колумбы. В общем, Англия все еще притягивает меня. Как и Ирландия, где я не живу, она далеко, и я смотрю на нее примерно так же, как на Англию. Каждый приезд домой наполнен свежими впечатлениями, а поселись я, скажем, в Дангарване или Скибберине, наверное, я бы жил себе и жил и ничего не замечал.

М. М. Почему вы каждого своего героя наделяете типично ирландской психикой, даже если непонятно, ирландец он или нет?

У. Т. Это технический прием. Первый такой герой появился в "Пансионате". Есть там некий Струди, о котором не говорится, что он ирландец. Сам он это отрицает, хотя подозреваю, что он врет. Забавно, что после выхода книги меня спрашивали, не ирландец ли он случайно. Нравятся мне такие шутки, хотя, наверное, никто, кроме меня, не получает от них удовольствия.

М. М. С чего начинается новая вещь?

У. Т. Это бывает по-разному. Скажем, я подслушал чей-то разговор: в итальянском кафе разговаривают двое, потом уходят, а ты начинаешь воображать, что с ними случилось дальше. Получается, что я использую ни в чем не повинных людей, но они об этом не догадываются, и вреда от этого никому не бывает, так что кому какое дело?

А иной раз происходит совсем по-другому. В голове засело некое название — и ты понимаешь, что хочешь придумать к нему рассказ, и все под него подстраиваешь. Порой на ум приходит первая строчка. Чаще всего рассказ рождается после того, как ты что-то прочитал в газете или услышал какую-то фразу, скажем, в документальном фильме по телевизору — она тебя задевает за живое, ты думаешь: "Так оно и есть", — и сочиняешь рассказ.

М. М. Вы дисциплинированный писатель?

У. Т. Да, очень.

М. М. После того как у вас сложился замысел, что происходит дальше?

У. Т. Встаю в половине восьмого, завариваю полный чайник чаю и сажусь за старую пишущую машинку "Олимпия" — модели 1951 года, и начинаю сочинять — слово за словом. Если рассказ получается, я говорю себе: "Ну что ж, все, пора браться за роман". Что и делаю, если он у меня в работе. Мне нравится переключаться, переходить от одной ли-

тературной техники к другой, мне легче от такого чередования: одно большое и замысловатое, другое маленькое и простое.

М. М. Сколько времени обычно у вас уходит на рассказ? Наверное, некоторые рассказы получаются гораздо быстрее других.

У. Т. Да, конечно. Один я могу написать за день, другой — нет, но это неважно, потому что, закончив, я откладываю его и возвращаюсь к написанному через полгода. Сначала нужен сырой материал — что для рассказа, что для романа, а потом я выкидываю все лишнее и оставляю суть.

М. М. Многие считают вас первоклассным писателем и внимательно следят за вашим творчеством. Это важно для вас?

У. Т. Мне как-то пришлось адаптировать свои рассказы для теле- и радиопостановок. До тех пор меня мало кто читал, большинство было опубликовано в малотиражных журналах, вроде "Лондон мэгэзин". И вдруг эти рассказы должны появиться на телеэкране перед аудиторией в восемь миллионов человек. Конечно, все эти восемь миллионов в принципе могут взять и выключить телевизор, но важно не это. Важно другое: нужно было так переделать рассказы, чтобы они стали понятны всем восьми миллионам зрителей. Я этого так и не смог — просто немного их адаптировал и сказал себе, что на большее не способен. Но все прошло довольно гладко.

М. М. Кого из современников вы читаете, кто вам нравится?

У. Т. Я больше перечитываю, к старости я все чаще возвращаюсь к полюбившемуся. Мне издавна нравятся американцы, а с какого-то момента я полюбил и индийцев. Среди них много прекрасных рассказчиков.

Я слежу за всем, что происходит в Ирландии, а новых англичан почти не читаю. Любимые мои книги в основном английские и американские. Я много раз перечитывал американцев: Карсон Маккалерс, Уильяма Фолкнера, Скотта Фицджеральда, а из современных — Апдайка.

М. М. Вы редко даете интервью. На это есть причины?

У. Т. Меня раздражают огни рампы. Сам я предпочитаю сидеть в зале и смотреть на тех, кто на сцене. Мне же на их месте неуютно. Кроме того, я мало что могу сказать о своей работе — спортсмен ведь тоже не станет вдаваться в подробности и объяснять, как он бегает, держит клюшку или биту. Вот и я так, и когда приходится говорить о работе, я чувствую себя не в своей тарелке. Зато могу подолгу рассказывать о себе как о человеке.

М. М. Как вы думаете, что через сто лет найдет для себя в ваших книгах читатель, чего вы ждете от него?

У. Т. Ничего особенного, разве только хотелось бы чтобы рассказ завладел его вниманием. Я не из тех, кто пытается что-то исправить, улучшить человеческую породу. Но если мне удалось невзначай высветить ту или иную черту характера — значит, мне повезло. Хотя сознательно я к этому не стремлюсь — я ведь прежде всего рассказчик.

Кирен Карсон
Выгодная сделка

Перевод Марии Фаликман

ДЖОННИ Маккуин и Агнес Рид поженились во время войны, когда снять дом было непросто, а позволить себе обзавестись собственным супруги не могли. К тому времени, когда случилась эта история, они жили в городке Ньюри, где занимали две тесные комнатушки в верхнем этаже дома. Ничего из тех удобств, без которых жизнь нынешних молодоженов и представить себе трудно, у них не было. А были только газовая горелка для готовки да туалет на улице. Так что жилось им нелегко.

Маккуины же мечтали об отдельном доме и неустанно молили Бога, чтобы их мечта сбылась. И вот как-то утром, читая газету, Джонни заметил объявление, что в Маллахбоне сдается коттедж с полуакром земли. "Съезжу-ка я сегодня в Маллахбон, — говорит он Агнес, — и, даст Бог, нам повезет". Он уехал, и, дабы не томить читателя, скажем сразу, что дом ему снять удалось. Буквально на следующий же день, не теряя даром времени, супруги вселились в маленький коттедж в Маллахбоне.

Раньше Джонни иногда выбирался пропустить стаканчик-другой, да и спортом не брезговал: по субботам ходил на футбол, а по воскресеньям — на гэльский футбол. Теперь же он обо всем этом и думать забыл. Уж больно много дел у него было, все время он что-то красил — то двери, то стены, то оконные рамы. И вот настал день, когда делать стало нечего: дом и без того походил на маленький дворец.

Как-то вечером, когда Джонни сидел у очага, с удовольствием покуривая трубку, Агнес ему и говорит:

— Джонни, дорогой, у тебя ведь на сегодня никаких особых дел нет? Может, сходишь в кабачок? Или в парк Макардл на соревнования? Я слышала, "Кросмэглен рейнджерс" сегодня играют.

— Знаешь, Агнес, — отвечает Джонни. — Все это меня больше не интересует. А лучше съезжу-ка я завтра в Ньюри и куплю там лопату и грабли, а может, и еще что, и наведу наконец порядок на нашей половинке акра, а то вид там прямо удручающий. Мне теперь это куда больше по душе, чем на футбол глазеть.

Наутро Джонни поднялся ни свет ни заря, доехал на автобусе до Ньюри и купил все, что хотел. А вернувшись, немедля отправился на задний двор и принялся копать. Через какое-то время Агнес ему кричит:

— Джонни, завтракать!

© 1997 by Ciaran Carson
© Мария Фаликман. Перевод, 2007

— Сейчас! — кричит в ответ Джонни, а сам все копает.

Еще через некоторое время Агнес выглянула из окна и видит — Джонни выкопал преогромную ямищу, а по обе стороны от нее громоздятся груды земли.

— Джонни, — снова кричит она, — завтрак стынет!

— Закончу — сам подогрею, — отвечает Джонни и копает дальше.

Проходит еще несколько часов. Агнес выглядывает снова, а мужа и не видать — во весь рост яму выкопал и еще глубже копает. Тогда Агнес вышла из дома и спрашивает:

— Объясни мне, бога ради, чего ты тут делаешь?

Джонни выбрался из ямы и с гордостью оглядел свое творение.

— Господи, разве ж эта яма не прекрасна? Ты-то сама что думаешь?

— Что я думаю? Ты хочешь сказать, что убил весь день на то, чтобы выкопать эту ямищу? А зачем, спрашивается? Теперь-то что с ней делать?

— А вот что: помещу объявление в газете и продам. Да, так и поступлю.

На другой день в Ньюри Пэдди Мёрфи за завтраком просматривал утреннюю газету.

— Послушай-ка, Кэтлин, — говорит он жене. — Ну у них тут и объявление — сроду такого не видал: ПРОДАЮ ПРЕВОСХОДНЕЙШУЮ ЯМУ. ОБРАЩАЙТЕСЬ В "ЧЕТЫРЕ ВЕТРА", МАЛЛАХБОН, ГРАФСТВО АРМАГ. Знаешь, съезжу-ка я туда и сам взгляну на это чудо.

Пэдди сел на автобус до Маллахбона, уточнил у прохожего дорогу и вскоре стоял перед домом Маккуинов. Не успел постучать, как Джонни уже дверь отворяет.

— Это вы яму продаете?

— Я, — говорит Маккуин. — Купить хотите?

— Да, — отвечает Мёрфи, — но надо бы сперва взглянуть.

— Сюда, — приглашает его Маккуин, — она у нас за домом. Чертовски здоровенная яма. Вам понравится.

И повел Пэдди на задний двор показывать свою яму.

— Вот она. Что скажете?

Пэдди заглянул внутрь.

— Господи, в жизни не видал такой ямищи! В ней, поди, футов тридцать в глубину.

— А то. Может, и больше, — отвечает Джонни. — Так что, берете?

— Беру, само собой. А сколько вы за нее хотите?

— Ну, — говорит Джонни, — вообще-то она, конечно, стоит фунтов двадцать, ведь я копал ее цельный божий день, но раз я и сам из Ньюри, так и быть — отдам за десять.

— Идет, — кивает Мёрфи, — по рукам.

Однако, отдав Маккуину десятку, он задумался.

— Послушайте, но ведь живу-то я в Ньюри, а яма в Маллахбоне. Как же я ее заберу?

— Ну, — говорит Джонни, — на это есть Ольстерская транспортная компания.

— Точно, — отвечает Мёрфи. — Поеду-ка я к ним. Удачи вам, сэр. Рад, что мы сговорились.

Приехал Пэдди в отделение ОТК в Ньюри и говорит клерку:

— Я тут купил яму в Маллахбоне. Яма просто шикарная: сорок футов в глубину и такая широкая, что хоть танцуй в ней. Мне нужен грузовик и полдюжины грузчиков, чтоб отвезти ее в Ньюри.

Сказал — и давай объяснять, где в точности яма находится, и куда он хотел бы ее перевезти.

— Порядок, — говорит клерк. — Сейчас же отправлю туда грузовик и наших ребят, и завтра после полудня яма будет у вас.

Поблагодарив клерка, Мёрфи отправился домой. Приезжает и говорит жене:

— Ты не против той ямы, о которой писали в газете? В общем, купил я ее, и завтра после полудня ее сюда привезут.

С самого обеда Пэдди только и делал что слонялся по дому в ожидании ямы. Настала ночь, а ямы все не было. Наконец он лег спать, но заснуть так и не смог — все думал о яме, которую почему-то не привезли.

Чуть свет он вскочил и, только контора ОТК открылась, ворвался туда и потребовал управляющего.

— Доброе утро, сэр, — говорит ему управляющий, — чем могу служить?

— Дело вот в чем, — начинает жаловаться Мёрфи. — Купил я тут яму в Маллахбоне. В жизни не видал такой ямищи: добрых пять десятков футов в глубину, никак не меньше, и такая широкая, что хоть танцуй в ней. Страсть как хочется, чтобы была она у меня во дворе за домом, так что нанял я в вашей конторе грузовик и полдюжины грузчиков, чтобы они мне ее доставили. Ну и где она, спрашивается? Разве это дело?

— Что правда, то правда, — отвечает управляющий, — не дело. А заказ кто принимал?

— Вон тот рыжий коротышка.

Управляющий подозвал к себе рыжего коротышку и спрашивает:

— Мистер Грин, джентльмен говорит, что купил вчера в Маллахбоне яму глубиной в шестьдесят футов и такую широкую, что хоть танцуй в ней. Кроме того, этот почтенный джентльмен утверждает, что нанял грузовик и шесть грузчиков, чтобы они доставили яму к нему домой, и что заказ у него приняли вы, а яма до сих пор не прибыла. В чем же дело?

— Ах, так это вы тот джентльмен, который яму купил? Грузовик и ребят в Маллахбон я отправил сразу. Ребята промучились часов семь, но в конце концов все-таки водрузили ее в кузов. Но дорога-то из Маллахбона в Ньюри идет все под горку, вот ваша яма возьми и вывались из кузова. Ребята попытались было затолкать ее обратно, а грузовик в нее раз — и провалился. Стали они тащить грузовик из ямы, да сами провалились туда же, и с тех пор от них ни слуху, ни духу.

Русский Джойс — исторические факты и личные переживания

"*Русская одиссея*" *Джеймса Джойса* / Под общей редакцией Е. Гениевой; Составление и предисловие А. Рознатовской. — М.: Рудомино, 2005

> Бросьте детские книги и шестидесятников. Вы по существу критик... Вы человек огромного таланта и веса... займитесь Джойсом. Непременно напишите о Джойсе.
>
> К. И. Чуковский. *Дневник. 1930–1969* (*Из разговора с В. Шкловским*)

В 2004 году в Ирландии вышла в свет книга мемуаров "Joyce We Knew"[1], где своими воспоминаниями об ирландском писателе делятся его школьные и университетские приятели. Книга снискала похвалу критиков и благорасположение широкой читательской аудитории, несмотря на то что Джеймс Джойс — сочинитель не массовый. Вероятно, популярность сборника объясняется вот каким фактом: друзья прославленного ирландца рассказывают не о писателе, а прежде всего о человеке — острослове и любителе розыгрышей, в котором с трудом узнается мрачноватый автор "Улисса". Книга тем самым удовлетворяет вечное человеческое любопытство — под микроскопом рассмотреть знаменитость.

"Увидеть" Джойса вблизи глазами наших соотечественников теперь смогли и российские читатели. Издательство "Рудомино", выросшее под крылом Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, выпустило в свет книгу "'Русская одиссея' Джеймса Джойса", в которой опубликованы документальные материалы, засвидетельствовавшие судьбу "русского" Джойса. В числе прочих — отрывки автобиографической прозы и интервью в прессе, где о личном знакомстве с ирландским гением вспоминают И. Эренбург, С. Эйзенштейн, В. Набоков и другие "наши", заставшие писателя в 30-е годы в Париже — там он провел последнее десятилетие жизни.

Но в отличие от ирландского сборника "Русская одиссея" — плод труда научно-библиографического отдела ВГБИЛ — научное издание, призванное удовлетворить интерес не столько обывательский, сколько литературный. Заметно, что сборник долго готовили, скрупулезно, не без педантичности, свойственной серьезной научной работе, собирали информацию, чтобы предоставить читателю полную картину русской джойсианы, позволяющую рассмотреть русского Джойса в буквальном смысле с разных сторон: эпитет, вынесенный в заглавие, — характеристика языковая и национальная, но никак не географическая. Ведь, как пишет во "Вступлении в 'одиссею'" — предисловии от составителя — Ю. А. Рознатовская, "поначалу "русский" Джойс — это Джойс двух русских миров, дол-

1. "Джойс, каким мы его знали". Перевод Владимира Скороденко. Отдельные главы сборника были опубликованы в "ИЛ", 2005, № 10.

гое время практически не соприкасавшихся": советской России и эмигрантского русского зарубежья. "Русская одиссея" — о том, как переводились *на русский язык* тексты ирландского писателя, о восприятии его творчества *русскими* (нашими соотечественниками или выходцами из России) не только здесь, но и за пределами страны. Не только тогда, но и сейчас. О Джойсе со страниц сборника размышляют писатели, критики, режиссеры, переводчики, философы самые разные: известные и не очень, "советские" и "инакомыслящие", тогдашние и сегодняшние: Е. Замятин, С. Эйзенштейн, В. Диксон, Г. Газданов, А. Ахматова, А. Величанский, И. Бродский, М. Мамардашвили, В. Аксенов, П. Вайль и др. Перед читателем — калейдоскоп мнений, свидетельств о Джойсе, изложенных в документах самого разного жанра: в статьях, докладах, лекциях, автобиографической прозе, рассказах, фрагментах нескольких романов и даже в стихах.

Как и положено в изданиях подобного рода, книга включает внушительную библиографическую часть. Последняя глава сборника — "Джеймс Джойс в русских переводах и критике" — вряд ли будет недооценена джойсоведами. Это собственно библиографический справочник, содержащий если не исчерпывающую, то подробную информацию о том, что писал Дж. Джойс, кто его переводил на русский, где и когда труд опубликован, а также список критических работ на русском языке, посвященных писателю. Характерно, что от внимания составительницы не ускользнули не только монографии или статьи мэтров отечественной культуры, но и небольшие заметки в прессе молодых литературоведов.

Ю. А. Рознатовская, составляя сборник, не пыталась навязать читателю собственное мнение, оставляя за ним право самостоятельно делать выводы и судить о предмете. И даже в предисловии, где возможно было признаться в личных симпатиях и антипатиях, изложены лишь общие тенденции в отношении к сочинениям Джойса в русской культуре и тонкая грань между объективной научной непредвзятостью и научной же субъективностью так и не была перейдена. Разбираться в том, что такое "Улисс" — "'регистрация' в огромном и скучнейшем томе всех еле уловимых ассоциаций мыслительного аппарата за один день", ничего, по мнению Павла Муратова, не прибавившая к нашему опыту о человеке, или, говоря словами Анны Ахматовой, "изумительная книга, великая книга", — придется без подсказок. Ведь и "герои" сборника так и не сумели "договориться", рассуждая о значении творчества Джойса. Вопреки всяким ожиданиям, эмигрантские критики, свободные от идеологической присяги, в своих суждениях порой куда жестче литераторов советской России (многие из которых не избежали политической ангажированности), где начиная с середины 30-х годов и фактически до перестроечного периода книги "буржуазного" писателя находились под запретом как не соответствующие требованиям и высоким задачам литературы социалистического реализма. Но на деле к области "патологии литературы" предлагает отнести Джеймса Джойса критик русского зарубежья Глеб Струве. Читать Джойса призывает советский писатель и критик Всеволод Вишневский. Восхищается ирландцем эмигрант Владимир Набоков, и, наоборот, нещадно обличает советский публицист Карл Радек. Именно Радек, заявивший в разгромном докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году, что "методом Джойса дать карти-

ну революции можно так же успешно, как неводом ловить дредноуты", на долгие годы поставил Джойса и прочих европейских модернистов вне закона, а вместе с ними — и всех советских граждан, имевших смелость заниматься "вредной" литературой...

Высказывания "за" и "против" представлены в сборнике во множестве противоречивых вариантов, намекающих только на один очевидный факт: Джойс с трудом поддается какой-либо, а уж тем более идеологической, унификации. Итог литературного противостояния остается для читателя открытым.

И все же, вопреки объективному характеру изложения, "Русская одиссея" насквозь проникнута личной интонацией, выделяющей сборник из ряда подобных научно-библиографических изданий и, вероятно, также способной расположить к книге не только джойсоведа, но и обычного читателя. Книга о русском Джойсе — книга *субъективная*, потому что она о *личном*. Пожалуй, в стране, где поэт (тем паче запрещенный!) всегда больше чем поэт, и не могло быть по-другому. История советского Джойса богата драматическими перипетиями. Литературные игры с запрещенным писателем в большинстве случаев плохо заканчивались во внелитературной реальности. Об одном из трагических исходов литературного увлечения рассказывает известная отечественная исследовательница Джойса Е. Ю. Гениева, вступительная статья которой, "Цена радости", задает субъективный, личностный тон всему сборнику.

"Джойс ворвался в мою детскую жизнь тихим шепотом ночью, на даче", — вспоминает исследовательница, для которой история русской джойсианы — это очень личная история, история ее семьи, дорого заплатившей за "радость" увлечения Джойсом. Игорь Романович, один из первых переводчиков "Улисса" и родственник Е. Гениевой, в ноябре 1937 года подвергся аресту и погиб в лагере от голода. А сама она чуть было не заплатила "за Джойса" жизнью научной. Кандидатскую диссертацию "Художественная проза Джеймса Джойса" ей пришлось защищать повторно.

Лирическая нота, но в иной тональности, звучит в целом ряде документов. Симптоматично, что жанр многих из вынесенных на суд читателя материалов уже предполагает субъективность изложения — это дневники, письма. Но еще существеннее другое: среди размышлений обнаруживаются и такие, в которых об авторе "Улисса" и его книгах не говорится фактически ничего. Джойс упоминается мимоходом, он фантом, неожиданно возникшая ассоциация.

Похороны Тынянова. Я говорю речь у гроба в Литературном институте, откуда выносим. Машинами в быстром темпе — на Ваганьково. <...> Потом несем гроб и закапываем. У всех забота: украдут венки или нет... В этот день — все время вспоминаю "Улисса" Джойса, — 23 декабря 1943 года записывает в дневнике писатель Константин Федин.

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников. <...> Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на "Тучке" и хохотали так до обморочного состояния, как кондитерские девушки в "Улиссе" Джойса, — вспоминает на рубеже 50-60-х Анна Ахматова.

То, что в книгу о Джойсе, пусть и "русском", помещены фрагменты, фактически с ним не связанные, вызывает поначалу недоумение, граничащее с раздражением. И все же история "русского" Джойса оправдывает

"алогичность" сборника и настраивает на миролюбивый лад. Ведь впервые полностью переведенный на русский язык "Улисс" появился в нашей стране только в 1989 году на страницах "ИЛ". И тот факт, что запрещенный, не существовавший по-русски роман присутствовал в ежедневном обиходе советских писателей задолго до этого времени, существовал *не благодаря, а вопреки*, — важное свидетельство и о самом романе, и об ирландском писателе. Собственно, вся "русская одиссея", запечатленная на страницах "Русской одиссеи", — очередное доказательство не нуждающегося уже в доказательстве утверждения: не гостеприимный, перефразируя высказывание Дмитрия Мирского об "Улиссе", сочинитель Джойс, не сделавший ни одной уступки читательским удобствам и привычкам, — явление мировой литературы. Как сказал Петр Вайль, отвечая в 2000 году на вопросы анкеты "Мировая литература: круг мнений": "Масштаб 'Улисса' в культуре — как Октябрьской революции в политике: событие отразилось на всем, нравится это или не нравится". Аксиома.

Екатерина Тарасова

Ирландская литература на страницах "Иностранной литературы" 1995–2006

1995

Ирландские триады. Перевод с английского А. Ливерганта [2]

Джон Бэнвилл — *Улики.* Роман. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [2]

Из современной поэзии. Мартин О'Диран, Брендан Кеннелли, Энтони Кронин, Десмонд Иган. Перевод с ирландского и английского Г. Кружкова [2]

Юджин Маккейб — *Жертвы.* Ферманагская история. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [2]

Брендан Биэн — *Говоря о веревке.* Трагикомедия в трех актах. Перевод с английского Иосифа Бродского [2]

Джеймс Джойс — *Кошка и черт.* Перевод с английского А. Ливерганта [2]

Айлиш Ний Гивне — *Вышивка цветочками.* Рассказ. Перевод с английского В. Воронина [2]

Морис Кеннеди — *Владивосток.* Рассказ. Перевод с английского Л. Локшиной [2]

Уильям Батлер Йейтс — *Единственная ревность Эмер.* Пьеса для танцовщиков. Перевод с английского Г. Кружкова. Вступление В. Ряполовой [2]

Ирландские пословицы. Перевод с английского А. Ливерганта [2]

Петр Вайль — *Улица и дом.* (Джойс — Дублин, Конан Дойл — Лондон) [2]

Шеймас Дин — *Век ирландской литературы.* Перевод с английского О. В. [2]

Ирландская литература на страницах "ИЛ" (1956—1993) [2]

1996

Сэмюэл Беккет — *Пьесы разных лет.* К 90-летию со дня рождения. Перевод с французского и английского и вступление Е. Суриц [6]

Шеймас Хини — *Дань поэзии.* Нобелевская лекция 1995 года. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [6]

Уильям Тревор — *Еще два рыцаря.* Рассказ. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [8]

1997

Флэнн О'Брайен — *Поддача в туннеле.* Перевод с английского А. Ливерганта. Вступление Брайена Эрлса [11].

1998

Пол Деркан — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Г. Агафонова [1]

Шеймас Дин — *Чтение в темноте.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [8]

1999

Десмонд Иган — *Стихи.* Перевод с английского и вступление А. Кудрявицкого [3]

2000

Портрет в зеркалах. Сэмюэл Беккет. Составление, вступление, перевод с французского Б. Дубина [1]

Уильям Тревор — *Рассказы.* Перевод с английского Инны Стам [2]

2001

Г. Кружков — *Крик павлина и конец эстетической эпохи.* Эссе. *Из новых переводов У. Б. Йейтса* [1]

2003

Шеймас Хини — *Стихи. Эссе.* Перевод с английского и вступление Григория Кружкова [5]

Джерард Риди — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого [11]

2004

Уильям Тревор — *Рассказы о любви.* Перевод с английского А. Ливерганта [6]

2005

Сэмюэл Беккет — *Мечты о женщинах, красивых и так себе.* Фрагмент романа. Перевод с английского и послесловие Марка Дадяна [10]

Джойс, каким мы его знали. Главы из книги. Перевод с английского В. Скороденко [10]

2006

Патрик Каванах — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Г. Стариковского [3]

Алан Титли — *Туда.* Короткая повесть. Перевод с ирландского Т. Михайловой [6]

Джон Бэнвилл — *Море.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [10]

Патрик Маккейб
Patrick McCabe
[р. 1955]. Писатель и драматург.

Автор рассказа для детей *Приключения серого мышонка* [*The Adventures of Shay Mouse*, 1985], романов *Мертвая школа* [*The Dead School*, 1995], *Завтрак на Плутоне* [*Breakfast on Pluto*, 1998] и др., серии коротких рассказов *Mondo Desperado* [1999], четырех пьес.
Роман печатается по изданию *The Butcher Boy* [London: Picador, 2001].

Шеймас Хини
Seamus Heaney
[р. 1939]. Поэт, лауреат Нобелевской премии [1995].

Стихи Ш. Хини вошли во многие антологии ирландской, британской и европейской поэзии. Автор поэтических сборников *Смерть натуралиста* [*Death of a Naturalist*, 1966], *Дверь во тьму* [*Door into the Dark*, 1969], *Перезимуем* [*Wintering Out*, 1972], *Полевые работы* [*Field Work*, 1979], *Остров покаяния* [*Station Island*, 1984], *Боярышниковый фонарь* [*The Haw Lantern*, 1987]. Литературно-критические работы Ш. Хини составили книги *Пристрастия* [*Preoccupations*, 1980] и *Власть над языком* [*The Government of the Tongue*, 1988]. В русском переводе его стихи печатались в *ИЛ* [1976, № 2; 1982, № 1; 1991, № 4; 2003, № 5], а также в книгах *Из современной ирландской поэзии* [М., 1983] и *Поэзия Ирландии* [М., 1988]. В *ИЛ* публиковалась его *Нобелевская лекция* [1996, № 6] и интервью с ним [2004, № 2].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *District and Circle* [London: Faber and Faber, 2006].
Эссе печатаются по изданию *Finders Keepers* [London: Faber and Faber, 2002].

Дерек Махун
Derek Mahon
[р. 1941]. Ирландский поэт, журналист, переводчик. Лауреат многочисленных литературных премий.

Автор сборников стихов *Проход в ночи* [*Night-crossing*, 1968], *Жизни* [*Lives*, 1972], *Антарктика* [*Antarctica*, 1985], *Желтая книга* [*The Yellow Book*, 1997], *Портовые огни* [*Harbour Lights*, 2005] и др. В его переводах выходили *Химеры* Жерара де Нерваля, *Вакханки* Еврипида, *Федра* Расина и др. Им написан сценарий телевизионного фильма *Летняя молния* [*Summer Lightning*, 1983], основанный на повести И. Тургенева *Первая любовь*.
Переводы стихов выполнены по изданиям *Collected Poems* [Ireland: Gallery Books, 1999] и *Harbour Lights* [Ireland: Gallery Books, 2005].

Пол Малдун
Paul Muldoon
[р. 1951]. Поэт, эссеист, детский писатель. Лауреат мемориальной премии Джеффри Фабера [1992], премии Т. С. Элиота [1994], поэтической приемии Гриффина [2003], Пулицеровской поэтической премии [2003], Шекспировской премии [2004] и др.

Автор поэтических книг *Зная свое место* [*Knowing My Place*, 1971], *Дух заката* [*Spirit of Dawn*, 1975], *Имена и адреса* [*Names and Addresses*, 1978], *Из Сибири* [*Out of Siberia*, 1982], *Привет* [*Hay*, 1998] и др. Ему принадлежит целый ряд детских книг и сборников эссе о литературе, среди них *Конец стихотворения: оксфордские лекции о поэзии* [*The End of the Poem: Oxford Lectures in Poetry*, 2006].
Переводы стихов выполнены по изданию *Poems 1968–1998* [New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001].

Деннис О'Дрисколл
Dennis O'Driscoll
[р. 1954]. Поэт, писатель и литературный критик. Лауреат *Фостеровской* премии Американской акаде-

Автор сборников стихов *Саркофаг* [*Kist*, 1982], *Короче говоря* [*Long Story Short*, 1993], *Если погода позволит* [*Weather Permitting*, 1999] и др. В *ИЛ* печатались его стихи [2007, № 4].
Публикуемый текст взят из сборника избранных прозаических произведений *Тревожные мысли, волшебные сны* [*Troubled Thoughts, Majestic Dreams*. Gallery Books, 2001].

мии искусств и литературы [2005], поэтической премии О'Шонесси и др.

Алан Титли
Alan Titley
[р. 1947]. Прозаик, драматург, критик, филолог. Лауреат многих литературных премий.

Автор повестей *Разрыв* [*Méirscrí na Treibhe*, 1978], *Кровавые раны* [*Stiall Fhial Feola*, 1980], *Храбрец* [*An Fear Dána*, 1993] и др. В *ИЛ* печаталась его повесть *Туда* [2006, № 6].
Пьеса публикуется по изданию *Tagann Godot* [An Clóchomhar Tta: Baile Átha Cliath, 1991].
Уроки русского – текст доклада на конференции *Kelto-Slavika* в МГУ им. М. В. Ломоносова 16 сентября 2006 г.

Юджин Маккейб
Eugene McCabe
[р. 1930]. Прозаик, драматург, сценарист, журналист.

Автор романа *Смерть и соловьи* [*Death and Nightingales*, 1992], сборника рассказов *Наследство и другие рассказы* [*Heritage and Other Stories*, 1978], циклов рассказов *Христос в полях* [*Christ in the Fields*, 1992] и *Рассказы из работного дома* [*Tales from the Poorhouse*, 1999], пьес *Король замка* [*King of the Castle*, 1964; премия за лучшую пьесу из ирландской жизни], *Упадок* [*Breakdown*, 1966], *Свифт* [*Swift*, 1969] и др. В *ИЛ* печаталась его повесть *Жертвы* [1995, № 2].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Небо – рядом* [*Heaven Lies About Us*. London: Vintage, 2006].

Том Макинтайр
Том Mac Intyre
[р. 1931]. Писатель, поэт, драматург.

Автор поэтических сборников *Fleur-du-Lit* [1994], *Рассказы бродячей луны* [*Stories of the Wandering Moon*, 2000], *АБВ* [*ABC*, 2006], нескольких сборников рассказов, пьес *Великий голод* [*The Great Hunger*, 1983-6], *Добрый вечер, мистер Коллинз* [*Good Evening, Mr. Collins*, 1997], *Великолепный Джон Джо* [*The Gallant John Joe*, 2002] и др.
Рассказ *The Other Silence* взят из сборника *Лучшие новые ирландские новеллы издательства Фейбер 2004-5* [*The Faber Book of Best New Irish Short Stories 2004-5*. London: Faber and Faber, 2005].

Джон Макгахерн
John McGahern
[1934–2006]. Английский писатель ирландского происхождения.

Автор романов *Казарма* [*The Barracks*, 1963], *Тьма* [*The Dark*, 1965], *Среди женщин* [*Amongst Women*, 1990], *Чтобы они увидели восход солнца* [*That They May Face the Rising Sun*, 2001] и др., сборников рассказов *Пройти испытание* [*Getting Through*, 1978], *Высота* [*High Ground*, 1985] и др.
Рассказ *Parachutes* взят из сборника *Избранных рассказов* [*The Collected Stories*. London: Faber and Faber, 1993].
Фрагменты из книги *О прошлом* публикуются по изданию [*Memoir*. London: Faber and Faber, 2006].

Родди Дойл
Roddy Doyle
[р. 1958]. Прозаик, драматург и сценарист. Лауреат *Букеровской* премии [1993].

Автор романов *Обязательства* [*The Commitments*, 1987], *Фургон* [*The Van*, 1991], *Пэдди Кларк ха-ха-ха* [*Paddy Clarke Ha Ha Ha*, 1993], *Женщина, которая вламывалась в двери* [*The Woman Who Walked Into Doors*, 1996], *Паула Спенсер* [*Paula Spencer*, 2006] и др., нескольких пьес и книг для детей.
Рассказ *The Joke* взят из сборника *Лучшие новые ирландские новеллы издательства Фейбер 2004-5* [*The Faber Book of Best New Irish Short Stories 2004-5*. London: Faber and Faber, 2005].

Колум Макканн
Colum McCann
[р. 1965]. Писатель. Лауреат *Пушкартовской* премии.

Автор романов *Танцор* [*Dancer*, 2004], *Золи* [*Zoli*, 2006], нескольких сборников рассказов.
Рассказ *What is it Called, your Country, behind the Mountain?* взят из сборника *Лучшие новые ирландские новеллы издательства Фейбер 2004-5* [*The Faber Book of Best New Irish Short Stories 2004-5*. London: Faber and Faber, 2005].

Дермот Болджер
Dermot Bolger
[р. 1959]. Писатель, драматург, поэт. Лауреат премии Сэмюэла Беккета [1990], премии фонда Стюарта Паркера [1990] и др.

Автор романов *Дочь женщины* [*The Woman's Daughter*, 1987], *Путь домой* [*The Journey Home*, 1990], *Вторая жизнь* [*A Second Life*, 1994], *Искушение* [*Temptation*, 2000], *Семейство на Парадайз Пир* [*The Family on Paradise Pier*, 2005] и др.; сборников стихов *Привычка плоти* [*The Habit of Flesh*, 1980], *Внутренние изгнанники* [*Internal Exiles*, 1986], *Забирая свои письма* [*Taking my Letters Back*, 1998] и др.
Рассказ *Martha's Streets* взят из сборника *Новые Дублинцы* [*New Dubliners*. Dublin: New Island, 2005].

Клэр Киган
Claire Keegan
Прозаик.

Автор сборника рассказов *Антарктика* [*Antarctica*, 1998].
Рассказ *Nights of the Quicken Trees* взят из ее сборника *Стрелы в полете* [*Arrows in Flight*. TownHouse, 2002].

Уильям Батлер Йейтс
William Butler Yeats
[1865–1939]. Поэт, прозаик, эссеист, один из создателей современной поэтической драмы. Лауреат Нобелевской премии [1923].

Автор около двадцати книг стихов, в том числе *Роза* [*The Rose*, 1893], *В семи лесах* [*In the Seven Woods*, 1903], *Дикие лебеди в Куле* [*The Wild Swans at Coole*, 1917], *Башня* [*The Tower*, 1928], *Винтовая лестница* [*The Winding Stair*, 1933], *Последние стихи* [*Last Poems*, 1939] и др.
В *ИЛ* печатался его рассказ *Распятие отверженца* [1991, № 10], пьеса *Единственная ревность Эмер* [1995, № 2], стихи [1980, №11; 1986, № 1; 1990, № 9; 2001, № 1] стихотворный цикл *Размышления во время гражданской войны* [2005, № 10].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Луис Макнис
Louis MacNeice
[1907–1963]. Поэт, эссеист, драматург, переводчик. Кавалер ордена Британской империи [1957].

Автор поэтических книг *Стихотворения* [*Poems*, 1935], *Последний окоп* [*The Last Ditch*, 1940], *Плацдарм* [*Springboard*, 1944], *Провалы в небе* [*Holes in the Sky*, 1948], *Посещения* [*Visitations*, 1957], *Солнцестояния* [*Solstices*, 1961] и др.; книг о поэзии *Современная поэзия* [*Modern Poetry*, 1938], *Поэзия У. Б. Йейтса* [*Poetry of W. B. Yeates*, 1945] и др.; пьес *Кристофер Колумб* [*Christopher Columbus*, 1944], *Темная башня* [*The Dark Tower*, 1947] и др.
Переводы выполнены по изданию *Collected Poems* [London: Faber and Faber, 2007].

Томас Кинселла
Tomas Kinsella
[р. 1928]. Поэт, переводчик, издатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор поэтических сборников *Заметки с земли умерших и другие стихи* [*Notes from the Land of the Dead and Other Poems*, 1973], *Кровь и семья* [*Blood & Family*, 1988], *Собрание стихотворений 1956–2001* [*Collected Poems 1956–2001*], *Избранное* [*Selected Poems*, 2007], сборника эссе *Двойная традиция: эссе о поэзии и политике в Ирландии* [*The Dual Tradition: An Essay on Poetry and Politics in Ireland*, 1995]. В *ИЛ* печатались его стихи [1982, № 1].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *A Dublin Documentary*. [Dublin: The O'Brien Press, 2006].

Памела Трэверс
Pamela Lyndon Travers
[1899 – 1996]. Английская писательница ирландского происхождения. Выросла в Австралии. Кавалер ордена Британской империи [1977].

Автор серии книг о Мэри Поппинс: первый роман – *Мэри Поппинс* [*Mary Poppins*, 1934; рус. перев. 1968], последний – *Мэри Поппинс и соседский дом* [*Mary Poppins and the House Next Door*, 1988], – а также романов *Иду морем, иду землей* [*I Go By Sea, I Go By Land*, 1941], *Две пары ботинок* [*Two Pairs of Shoes*, 1980], стихотворений, сборников статей и др.
Публикуемое эссе печатается по журнальному варианту *Only Connect* [*Quarterly Journal of the Library of Congress*, Washington D. C., 1969].

Кирен Карсон
Ciaran Carson
[р. 1948]. Поэт, писатель и переводчик. Лауреат премии Грегори [1978], премии Т. С. Элиота [1993] и др.

Автор сборников стихов *Новое имущество* [*The New Estate*, 1976], *"Нет" по-ирландски* [*The Irish for No*, 1987], *Первый язык* [*First Language*, 1993], *Опера и так далее* [*Opera et Cetera*, 1996], *Новость дня* [*Breaking News*, 2003], сборников рассказов *Звездная фабрика* [*The Star Factory*, 1997] и *Охота на янтарь* [*Fishing for Amber*, 1999], романа *Чай из трилистника* [*Shamrock Tea*, 2001, рус. перев. 2003].
Публикуемый рассказ *The Frontier Sentinel* взят из сборника *Звездная фабрика* [*The Star Factory*. London: Granta Books, 1998].

Екатерина Владимировна Тарасова
Филолог, критик.

Автор ряда публикаций по современной зарубежной литературе. В *ИЛ* были напечатаны ее рецензии и статьи о творчестве Р. Гари [2001, № 12], И. Бэнкса [2002, № 4], Дж. Барнса [2002, № 7], М. Брэдбери [2002, № 12], Дж. Джойса [2004, № 12].

Переводчики

Ольга Сергеевна Дементиевская
Переводчик с английского.

В ее переводе опубликованы романы Тома Вулфа *Мужчина в полный рост* [*A Man in Full*, 1998] и Дэвида Гутерсона *Снег на кедрах* [*Snow Falling on Cedars*, 1994]. В *ИЛ* в ее переводе печатались фрагменты романа М. Тоуз *Непростая доброта* [2006, № 11].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондаатже [2006, № 11].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолитт*л [2002].

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Каббалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8-9] и *Часы* [2000, № 9], Б. Чатвина *Утц* [2005, № 4], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], А. Миллера [2005, № 10], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4], М. Светлицкого [2006, № 8].

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого, польского и испанского языков. Кандидат психологических наук, доцент

Автор книги стихов *Mezzo Forte* [2001]. В *ИЛ* публиковался ее перевод стихотворения А. Э. Хаусмана [2006, № 6].

МГУ. Лауреат конкурса Британского совета по переводу британской поэзии [2005].

Татьяна Андреевна Михайлова
Филолог, лингвист, переводчик с английского, французского и ирландского языков, доктор филологических наук.

В ее переводах опубликованы романы *Мой рыжий дрозд* Ш. Мак Анны, *Дьявол во плоти* Р. Радиге, *Сердцедер* Б. Виана, *Винни-Пух. Дом в медвежьем углу* [в соавторстве с В. Рудневым] А. Милна, книги *Сообщества зла* П. Фрера, *Наследие кельтов* А. и Б. Рисов, ирландские саги, современная и средневековая ирландская поэзия. В *ИЛ* в ее переводе напечатана повесть *Туда* А. Титли [2006, № 6].

Анна Алексеевна Веденичева
Переводчик с английского.

В ее переводе вышли романы Тома Вулфа и Дж. Фитч, рассказы К. Линк. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Т. Гринвуд и П. Лейна [2006, № 11].

Евгения Константиновна Тиновицкая
Переводчик с английского, финского и польского языков, журналист.

В *ИЛ* в ее записи и переводе опубликована беседа с А. Силлитоу и Р. Фэйнлайт [2006, № 5].

Лариса Георгиевна Беспалова
Переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе издавались произведения И. Во, Б. Бейнбридж, О. Генри, С. Моэма, К. Э. Портер, У. Фолкнера, В. Вулф, С. Беккета, С. Беллоу, А. Моруа и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ирина Геннадьевна Пашанина
Переводчик с английского и французского языков.

В *ИЛ* в ее переводе напечатана повесть *И это только начало* Н. Ре [2006, № 9].

Анна Герцевна Генина
Переводчик с английского, культуролог.

В *ИЛ* в ее переводе напечатана пьеса *Там вдали* К. Черчилл [2007, № 1].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Каббалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8-9] и *Часы* [2000, № 9], Б. Чатвина *Утц* [2005, № 4], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], А. Миллера [2005, № 10], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4], М. Светлицкого [2006, № 8].

Юлия Владимировна Муравьева
Переводчик с английского

В ее переводе публиковались романы для детей Х. Лофтинга *История Доктора Дулитла* и К. Грэма *Ивовый ветер*.
В ИЛ публикуется впервые.

Екатерина Владимировна Скрылева
Переводчик с английского.

В ее переводе вышли романы *Искушение* Дж. Деверо, *Ради Елены* Э. Джордж, *Брик-лейн* М. Али, *Слава* Г. Вука. В *ИЛ* в ее переводе публиковались эссе М. Этвуд и Р. Дэвиса [2006, № 11] и беседа Д. Дроздовского с А. С. Байетт [2006, № 12].

Ольга Александровна Каркищенко
Филолог, студентка МГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины ирландского художника Фрэнсиса Бэкона [1909–1992] *Портрет говорящего Джорджа Дайера* [1966].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 28.05.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1169.
Тираж 7750 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Поздравляем нашего постоянного автора
Мириам Львовну Салганик
с высокой наградой — орденом *Падма Шри* [*Лотос красоты*], — присужденной ей правительством Индии
"в знак признания ее выдающихся заслуг
в области литературы и просвещения".

---

[7] 2007

РОМАН ПИТЕРА АКРОЙДА "ЛОНДОНСКИЕ СОЧИНИТЕЛИ" / РАССКАЗЫ ХУАНА РАМОНА ХИМЕНЕСА В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: "РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР" / СТИХИ ВИЛЛЕМА М. РОГХЕМАНА / БАСНИ АУГУСТО МОНТЕРРОСО / БЕЙЛИ УАЙТ В РУБРИКЕ "НИЧЕГО СМЕШНОГО" /

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №6, 1-350